

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 9

Москва, Главлит А 33.660

СТАТ — формат Б/5

Тираж 21.000 экз.

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Александр МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть, окончание первой части	5
2. Дм. ЕРЕМИН. — Соседи, рассказ	29
3. Н. ДЕМЕНТЬЕВ. — Из цикла «Лирическая экскурсия», стихотворения	64
4. Вл. ЛИДИН. — Искатели, роман, продолжение	66
5. Бор. ПИЛЬНЯК. — Двадцать восемь тысяч печатных знаков, рассказ	105
6. АДАЛИС. — Робаят, стихотворение	115
7. В. КИРИЛЛОВ. — Критику, стихотворение	117
8. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дни, рассказ	118
9. Ив. ПРИБЛУДНЫЙ. — Случай в Монреале, стихотворение . . .	125

10. Ф. НОТОВИЧ. — Ремонтный узел	127
11. Н. ПИКСАНОВ. — Грибоедов-мастер	141

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Дневник журналиста	157
13. Л. ТИМОФЕЕВ. — Современная украинская литература . . .	171
14. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — «Атаманщина» Мих. Алексеева	181
15. Б. ПЕСИС. — Жан Жироду	185
16. А. СТАРЧАКОВ. — Поход на Москву (о книге А. И. Деникина) .	198
17. Ефим ВИХРЕВ. — Палех (с иллюстрациями)	203
18. И. ИЛЬИНСКИЙ. — Заметки о высшей школе	225
19. Л. НИТОБУРГ. — Новая губерния	232
20. Бор. КУШНЕР. — Коммунистический маяк	241
21. Л. ГАМИЛЬТОН. — Письма из Японии	247
22. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики)	253

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Борис ГРОССМАН. — Николай Богданов «Первая девушка»	255
М. ПОЛЯКОВА. — М. Слонимский «Западники».	266
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — В. Каверин «Скандалист или вечера на Ва- сильевском острове».	266
Н. ЗАМОШКИН. — Иван Новиков «В гостях у себя»	267
Н. ЗАМОШКИН. — А. Кожевников «Веники»	268
Бор. АНИБАЛ. — А. Белоруков «В непогоду»	269
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Д. Петровский «Червонное казачество». . .	270
Р. РОШ. — Банкимчандра Чаттерджи «Саиб пришел»	271
Я. ФРИД. — Б. Травен. — «Корабль смерти»	271

Севастополь

Повесть

(Продолжение)

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В первый раз в море!
Бирилев подвинул к себе карту, исчерченную цифрами и пунктирными окружностями. Пол командирской рубки показывало. В радиограмме сообщалось, что возвращающаяся из похода эскадра идет в энном квадрате моря. Бирилев любезно растолковывал — он все хотел казаться передовым, понимающим новые веяния, способным на учтиво-либеральные, а не солдафонские отношения с подчиненным студентом.

— Эскадра — здесь... Проводим теперь курс. Наша диспозиция вот в этом квадрате. Итак, при указанной скорости, ее можно ожидать часа через полтора-два. Значит, около полночи.

Шелехов, стеснительно наклонившись, усваивал.

— Есть.

— Марсовые на местах?

— Так точно.

— Вас не качивает?

— Нет... я чувствую себя хорошо.

Прозрачные выкаты скрябинских глаз не то поощряли, не то насмешничали.

— Он у нас молодцом, молодцом!

И Маркуша, развязно развалившийся рядом с начальством, — наверно, на правах делегата (в другое время смиренно терся бы где-нибудь в тени, а то на палубе с вахтенными), — Маркуша тоже помахивал головой, дружески покровительствуя. — Дескать, ты вот бегаешь с мостика сюда и обратно, а мы вот тут сидим, разговариваем промежду себя; что же поделаешь, у каждого свое... — Иной Маркуша, неожиданно напроборенный, в новеньком мичманском одея-

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 1 и 2 с. г.

нии, выставит перед собой шитый золотом локоть и нет-нет да покосит на него глазком. И Шелехов чувствовал, что не может не любить его: самый карабельный быт становится при Маркуше в тысячу раз забавнее и уютнее.

Правда, обида не зажила еще, но разве такие, как Маркуша, могли загордить ему дорогу?

...Были вторые сутки, как эскадра, с адмиралом во главе, ушла в поход — громить турецкие берега. В ожидании ее бригада траления с полудня работала в минном фарватере.

Для столь важного случая сам Скрябин сопровождал свои суда. На «Витязе» развевался вымпел натралбрига.

Десять или двенадцать тральщиков прощупывали, разметали тралями невидимый канал. Концевые, самые крупные — «Витязь» и «Трувор» — впереди, мористее всех. Выступали парой, далеко за Херсонесский маяк, соединенные зыбиной стального троса и, вдобавок, выпустив впереди, с выстрелов, предохранительные форталы. За ними, тоже в паре, большие серо-голубые пассажирские пароходы, бирилевского же дивизиона — «Россия» и «Батум». Дальше — плоские, длинные зерновозы — «Елпидифоры». Завершала эту кадрилию одномачтовая, мелкосидящая мелюзга — «Чайки», «Альбатросы». Открытое море окружало безвыходным серебряным блеском, блистало целый день утомительно, до сонливой одури. Тральщики прогулялись попарно, разметая канал, сначала в сторону моря; потом, не выбирая тралов, обратно к Севастополю; затем — снова в море. Таким образом, канал был трудолюбиво прочищен трижды. Концевой — «Витязь» — ушел далеко от берегов, за окраи минных полей, на глубину, и там бросил на якорек вешку с лампочкой. За километр от него отстал «Трувор» и тоже бросил вешку. Так же сделали и следующие тральщики через каждый километр. Каждый тральщик, поджидая эскадру, крутился на диспозиции, около своей вешки. Линией крутящихся тральщиков и горящих вех обозначался тайный и единственно безопасный путь, которым итти эскадре по заряженному смертями полю.

Так наступила ночь.

Шелехов поднялся на палубу, в теплую, почти безветренную тьму. Небольшая зыбь раскачивала «Витязь», потому что машины почти не работали. Слабый огонек вехи прыгал неподалеку в ночной волне. Лишь только тральщик отбивало зыбью подальше, на мостике звонил капитанский телеграф, машины кряхтели внизу, тральщик задним или передним ходом опять подбирался к вешке. И снова на две-три минуты засыпали машины. Мир состоял из беззвездной мглы и плеска.

«Где я сейчас? — спрашивал себя Шелехов, — и я ли это?..». Глазам припоминались истаявшие дневные берега. В полдень прошли ослепительно белый маяк на унылой песчаной косе. Мыс Фиолент — последний обломок суши — быком уперся в клочущий прибой, за ним — обрыв в небо, безбрежный прозор ледянисто-синей воды. И мыс, с монастырьком на спине, отошел далеко-далеко, в лиловый

дымок. Где-то поблизости, за темной, дремотная и теплая Балаклава. А еще дальше — южный берег, не виданный еще ни разу, только рассказанный счастливыми, — он чудился некоей таинственной и благоуханной индией садов, мраморные ограды которых лобзает ночное море... А на другом берегу, в сумерках, выходит Жека, скучающе и обиженно смотрит за море, смотрит — и никого нет, только ветер мстительно бьется в грудь, в лицо, гонит прочь с дамбы тоненькую, одиноко сгорбленную фигурку. Может быть, сама теперь хотела бы припасть к нему слабым, ласковым ребенком, больше не лукавить, не мучить никогда... — «И я тоскую здесь и думаю о тебе... чувствуешь ли ты? — Тужась, внушал он ей через многоверстную, бездонную пустыню ночи и воды, — сейчас я далеко в море... в море, на войне...».

Мысли его оборвались: мутную, громоздкую высоту кормы с размаху несло на огонек вешки. — «Сейчас ударит, разобьет лампочку вдребезги!...». И только успел это подумать, зазвонил телеграф на мостике, дыхнули и заворочались машины, бурно заклокотала вода под винтом, и, сотрясаясь корма начала отходить от огонька назад и влево.

Теперь надо было заглянуть еще на мостик — не случилось ли чего нового. «Витязь» в сумерках чудился восхитительной, неисследованной страной, в каждом уголке которой дейлось захватывающе-интересное!

Ветер наверху поддувал сильнее. Никто из занятых на мостике людей не обратил внимания на Шелехова. Темный человек осторожно спускался с мачты, из ночной высоты. Менялись марсовые. Под брезентовым навесом, у телеграфа, бодрствовал штатский пароходный капитан Пачульский (половина команды на судне была штатская, — прежняя пароходная, из вольнонаемных). Сердитый голос, горбина огромного, спесивого капитанского живота, проступавшая в темноте, наводили на мысль о брюзгливости, о досадливом презрении к военным, обратившим изящное увеселительное судно в рабочую лошадь. И марсового молодого матроса, с неохотой готовящегося лезть на мачту, капитан наставлял с вынужденной, презрительной вежливостью:

— Вы, главное... на вешку не глядите, на вешку, поняли? А то в темноте потом ни хрена ни... Глядите вперед, на воду и на горизонт. Понимаете, что значит горизонт?

— Да знаю я все, — досадливо огрызался матрос.

Вешку несло далеко-далеко в низах. Чорт возьми, не на минное ли поле уже прет корабль, за разговором? Телеграф спасительно звонил, корабль бурлил и сотрясался.

— Право на борт, — угрюмо под нос себе бурчал капитан. Рядом, в крытой будке, невидимый рулевой покорно вторил:

— Есть право на борт.

— Одерживай!

— Есть одерживай.

Различалось низкое лазеревое просвечивание звезд. Мгла окутывала корабль домовито, дремотно, как стены.

— Закурить можно?

— Покурить — есть кают-компания. Вам бы, как военному человеку, лучше правила знать.

— Почему же, ерунда.

— Вот вам и ерунда. Немца не знаете?

Война? нет, так только называется, а в самом деле какая же это война? Смехотворное, нелепое пятичасовое кружение в море, около танцующего огонька. Чепуха, нет ничего! Даже, пожалуй, если пустить машины и похропать напрямик — в смертоносное якобы, заказанное всем поле — и то, верно, не случится ни черта.

С мачты — захлебывающийся шопот:

— Господин капитан!

Вахтенный матрос, прикурнувший на трапе под мостиком, тоже встревожился.

— На мостике! Марсовый кличет.

— Ёлышу. Что там?

Капитан повернул голову, сердито ждет.

— Перископ... господин капитан!

— Что-о?

Марсовый, должно быть, свесился там, в ужасе тянется вниз головой.

— Прямо по носу... перископ, вижу ясно.

— Где?

Ночь обертывается невидимым, люто дышащим зверем. Когда он подкрался? Ветер и плеск — может быть, последние в жизни... Неужели вот тут рядом, под водой, в самом деле идут страшные безыменные люди? Капитан шатнулся к перилам, перекосив мостик чугунными вдавинами шагов, рулевой малодушно бросил штурвал, тоже сломился в мрак. Пронзительно и весело ощутилась секунда, в о т э т а, сейчас текущая секунда, когда у меня, Шелехова, неестественно громко шумят мигающие ресницы... И до отчаяния стало интересно, как зевает со стороны. — Пусть будет перископ, — содрогнулся и молил он, — пусть в самом деле будет перископ! — Тральщик несло и несло от огонька.

— Капитан!.. — Шелехов опьянело, ликующе дергал его за рукав. — Капитан, прямо полный ход! Тараньте ее!

Он так где-то читал...

С мачты марсовый кликал опять.

— Капитан! Ф-фу ты, мать честная, обознался. Это выстрел торчит, разгреби его! А я гляжу...

Пачульский с бешеной порывистостью звонил телеграфом.

— Вы-выстрел? Баран! Идиот чортов! Губошлеп!.. Право на борт. Будка безразлично вторила:

— Есть право на борт.

Тральщик загребал винтом к вешке. Капитан погодил, потом высунул голову из-за закрытия и, задрав кверху лицо, отводил душу:

— Сволочь! Идиот чортов! Обалдуй! Фекла!

Наверху виновато посмеивалось...

Вахтенный, тоже облегченный, успел резво сбегать куда-то.

— Телеграммы есть, господин мичман.

Нет, все-таки радостно было, по-животному радостно — опять вернуться в обыкновенные, обжитые людьми комнаты, к ровному их свету. Шелехов, напевая, спустился в просторную кают-компанию. Было невероятно, что рядом с палубным одичалым мраком существует этот зеркальный, праздничный мир. Над коврами, над полукруглием малиновых диванов электрическое сияние рассеивалось матово-золотистым полумраком. Когда-то здесь соловьино гремел рояль, переживались шумные, веселые ночи путешествий, мимолетных романов. О, те ночи были совсем другое — выйти на палубу вдвоем, упоенно вдыхать там море!.. Отзвуки давнего жили еще, наклонялись шелестом неразличимых, вечно желанных женщин... Было приятно лечь в глубокое кресло, пробежать глазами сегодняшние сводки с сухопутного фронта, которые подал ему вахтенный — среди них только одна была шифрованная, — должно быть, особенно приятно именно потому, что наверху, тотчас же за полированными дверями, начинались ветер, мрак и тревожная закинутость в полночном море.

Шелехов блаженно потянулся.

— И это война?

Шифрованная телеграмма таинственно кричала о чем-то рядами пятизначных чисел. Он распутывал ее, медленно подвигаясь сквозь дебри затейливых и трудных расчетов. К тому же электричество вдруг начало пошаливать.

«Обстреляны орудийным огнем угольные копи у Зангулдак...». — Это эскадра сообщала на ходу о результатах своего набега.

У столов неслышно появились двое штатских лакеев и, посоветовавшись шопотом, начали стелить скатерти и расставлять серебро, навевая уют позднего ужина. Капитан Пачульский ревниво оберегал на своем корабле все приятности былого комфорта.

Шелехов, нервничая, проверял еще раз свои цифры: то, что прояснялось из-за них, было дурно и неуместно. Штаб командующего извещал, что при постановке минного заграждения неожиданным взрывом мины убило 28 матросов и ранило 11. Нет, все было правильно. Даже указывалось, что жертвы находятся на борту «Керчи». Шелехов огляделся кругом, он только заметил, что лакеев уже нет, что он один в этом качающемся, разукрашенном подвале... Ему стало жутко. Где-то в темной воде сознания проплыл Софронов, его неотменные, угрожающие, стиснутые веки... Электричество недомогало, то распаяясь с резкостью полуденного солнца, то погружая каюту в припадки зловещей темноты. Как-будто хаос неудержимо прорывался уже сквозь стены, сквозь двери. Отсюда хотелось бежать, бежать.

Вахтенный наверху, в ночной слепоте, столкнулся с ним грудь с грудью.

— Где тут господа офицеры? Дым на горизонте.

И успокоительной деловитостью порадовал, как лаской, человеческий голос.

Бирилев, Скрябин и Маркуша теснились на мостике, около Пачульского, переговаривались отрывисто, вполголоса. Ночь стала населенной. Из кубриков выбредали матросы, крадучись, копились у темных бортов. Шелехов напрягал зрение, но не видел впереди ничего, кроме сплошного черного полотна мглы. Явственный гул— словно от тысячи льющихся в воду ручьев— проступил с моря. Эскадра подходила.

— Свет! — резко скомандовал Бирилев.

Пронзительно вспыхнула лампочка в высоте, на клотике грот-мачты. Тральщик предостерегающе давал передовому направление на фарватер.

Ручьи разрастались, надвигаясь все ближе, хлещась о море с яростной силой. Мутная, многоэтажная громада отделилась от мглы и падала прямо на тральщик, затмевая всю ночь вокруг. Бурно расширяющееся море шипело, «Витязь» клало с борта на борт. Тень передового корабля пролетела мимо, хлеща винтами.

Тогда погасла лампочка на мачте «Витязя». И тотчас — по этому сигналу — иголкою просверлило тьму огоньком следующего тральщика, за километр; и когда погасло там, блеснуло еще дальше... Передовой бурлил от огонька к огоньку, за ним эскадра.

Мутные, мгновенные высоты кораблей нависали из мрака, пронеслись мимо, иступленно-торопливо, безлюдно. Гул воды раздирает ночь. Величие и темная грозность этого шествия были непреодолимы разумом.

Война.

Матросы внизу беспокойно кричали, маяча вытянутыми за борт руками:

— Вон, вон...

Шелехов глянул в ту сторону, куда они указывали. Силуэт одинокого корабля, должно быть, заблудившегося, шатался там и, неожиданно скосив курс, ринулся в бок — казалось, прямо на минное поле. Шелехов оцепенел, не верил себе: может быть, глаза его обманывали. Однако, корабль тотчас же выправился (он просто обошел «Витязя» с другого борта), а матросы все продолжали сбегаться к одному месту, откуда яснее было что-то видно, суматошились, путанно галдели. Очевидно, неестественное матросское зрение распознало в темени что-то неладное. Шелехов прислушался и понял: это «Керчь» плутала, «Керчь» со своим страшным грузом.

Значит, новость уже успела какими-то путями просочиться из радиотелеграфной рубки в кубрики, в трюмы?..

Глаза цеплялись за мглистое, шаткое пятно корабля. Вернее, за неуловимый его, зловещий след. Всех ли сумели выловить? И кто они, рядами уложенные там в трюме, с буйно раскиданными ногами, со

сладковатым смехом на окостеневших ртах. Те ли, что недавним вечером, у собрания, орали, несли на руках самозабвенно?

За стихшим внезапно плеском громко и злобно сплюнул кто-то на палубе.

— Набили как стервятины... да и раз — мать ее, вашу свободу!

И тотчас отвалились от бортов, поныряли все в мглу, сразу погасив голоса. Маркуша не выдержал и прыснул в горстку. Офицерский мостик, один населенный людьми, витал над пустым кораблем. Сочленения машин содрогались, ухали где-то в беспамятных низах. Маркуша, успокоившись, подлез к Шелехову.

— Сергей Федорыч, я что хотел вас спросить. Керенский — как, с высшим образованием, конечно?

— С высшим, — глухо отозвался Шелехов.

— Я, Сергей Федорыч, опять к вам... Насчет алгебры. За классный чин у меня удостоверение есть, эх, мне бы теперь только языки да алгебру! Хочу одну уду закинуть. Давно у меня маленькая просьбица к вам, Сергей Федорыч, только как-то не смею: поясните мне, пожалуйста, как это в учредительное-то проходят?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

...Недобрую пыль, не переставая, гнало по земле из-под воспаленного фронтового неба. С пылью докатило однажды до тихой бухты штрафного матроса-солдата Михайлюка.

В каюту к Шелехову, по своему делу, Михайлюк вломился без спросу, без стуку, пока прапорщик нежился еще в постели. Был в коряжистых сапогах, деготь на которых вязко обсела пыль, в шароварах в заправку, не по-матросски. Шелехов присел барином на койке, позевывая.

— Вы зайдите на минуточку попозже, товарищ, тогда поговорим. Видите, еще туалетом надо подзаняться, — по-дружески пошутил он.

Матрос сбычился у двери, оглядывая непривычную, после окопной земляной норы, роскошь жилья плаксивыми глазами. Нечистым, подозрительным рубцом зияла переносица, на которую падала ухарская мрачная косма. На фронт сдал его два года назад с «Витязя» капитан Мангалов — за воровство и пьянство.

— Я этого ничего не признаю, — страдальческим голосом сказал матрос, — раз вы на его поставлены, должны службу справлять.

Шелехов мучительно покраснел, в одеяле привскочил с готовностью.

— Ну, в чем же у вас дело?

— В чем дело, это вам лучше знать, как матроса за политику в штрафной баталиён списывать. Конечно, эта права раньше была у паразитов, ну теперь такой правы нет, чтобы за политику страдать, теперь права гражданская. Жалею опять во флот, боле ничего.

— Покажите-ка ваши документы, — любезно попросил Шелехов. Матрос раздраженно pokrивился.

— Да я никаких документов не признаю! Это что же, значит, опять как при Миколашке? Ты сам по какому документу живешь, по гражданскому? А от mine романовского хошь? Раз говорю, жалаю опять во флот, надо mine накормить, на денежное довольствие записать, а не волынить!

Шелехов, волнуясь и насильно мягча в себе обидную злобу, начал объяснять, что нельзя не понимать таких простых вещей, что он пойдет ему навстречу... что надо подождать, когда придет начальник Бирилев, без него он не может. Матрос слушал, слушал и ядовито вздохнул.

— И-и, боже... как все это у паразитов устроено: ежели человека в баталиён смерти спихнуть, так ментом, а как с бойни обратно принять, так волынка на год. Придется таки видно... в бригадный комитет заявить, — смиренно, но с угрозой закончил он.

— Но, товарищ... я же не в бригадном состою, это все равно. Конечно, мы вам поможем...

— Та-ак... Значит, и там понасажали? Антиресно! Ну... мы найдем где попросить, — горько усмехнулся Михайлюк и ушел с явной зловещей недоговоренностью.

Мичман грустно поморщил брови и, надев шлепанцы, пошел прогуляться по своим владениям: по коридору, полному матовых сияющих изнутри дверей, по прохладной, утопающей в зеркалах кают-компани. В иллюминаторе плясали светлые жилки — от солнечной воды. Значит, опять штиль и безбрежный зной наружи. Лакеи благоговейно готовили серебряный чай. В каюте уже ждали хозяина ярко начищенные магниезией снеговые ботинки, снеговой синевой сиял любовно выглаженный и аккуратно развешенный на спинке койки китель: это с материнской заботливостью, очевидно, выжидавший вестовой на цыпочках принес, пока господин мичман военного времени навещал уборную, — чтобы зря не беспокоить... Каютный быт, по распоряжению штатского капитана Пачульского, был окутан ласковой ватой тишины и удобств. От этого, пожалуй, еще обиднее чувствовался несправедливый и грубый пинок.

Вообще, после похода над бухтой опустилось на несколько дней безразличное затишье. Самая высокая, накипелая волна пробежала, прошумела, разбилась о неведомые уступы... Теперь даже служба на кораблях пошла кое-как, вкривь и вкось. Бирилев приезжал только на час, до обеда, отмыкал свою каюту на «Витязе» и с вежливой, скорее притворной, начальственностью выслушивал доклад — ничего не значущие приказы по дивизиону, ведомости на денежное довольствие, последние директивы наморси, которые тральщиков ни в коей мере не касаются... Потом удалялся на «Качу», в таинственное бытие скрябинской рубки, куда после обеда, как шмели, слетались бывшие золотоплечие со всех судов (вот где, должно быть, шли разговоры по душам,

без наигранных личин, и зрели в табачном дыму мечты, о которых никогда не узнать непосвященным...). С настоящей серьезностью получали только жалованье да делили кусковой сахар в кают-компаниях.

Но в тот день, когда матрос, с рубцом на переносице, появился непрошено на «Витязе», пасмурью дохнуло на бухту, на Севастополь...

Горланил митинговый рожок, словно перед бедствием. Капитан Мангалов — чего никогда не бывало — прислал вестового за Шелеховым, с просьбой притти немедленно на «Качу». По берегу со всех кораблей к ораторской бочке сбегался по-особенному торопливый, любопытствующий народ.

Мангалов в своей каюте дрожащими руками поймал обе руки Шелехова, просительно прижимал к груди.

— Сергей Федорыч, слышали?.. — Капитан в отчаянии пучил глаза, не в силах даже выговорить, давился. — Эти самые... балтийцы приехали, из Кронштадта, а вперед Михайлюка подослали. Матросам говорят: мы-то со своими офицерами давно разделились, а вы? Резня ведь будет, Сергей Федорыч, ей-богу, а!

Лег на него теплым животом, мигал, подхлипывал.

— Вы уж... выступите, Сергей Федорыч, когда энти забезобразуют! На вас все надеемся. У вас дар есть... и матросы вас слушаются. Мы вам ведь всегда снисхождение... Моторку, когда в город надо или покататься, берите, не стесняйтесь. Выступите, голубчик... из человечества!..

* * *

Над толпой, на бочке, стоял уже старичок в чесунчовом пиджачке, без шапки. Старичок был не простой, ибо в некие забережные времена коснулась его священная тень народовольцев... Чья-то невидимая рука распорядилась предусмотрительно, сгоняла за ним в Севастополь автомобиль, и старичок, прибыв как раз во-время, возвышался, приветливо шурясь: ласковое, успокоительное противоядие.

А может быть, позаботились оттуда, из Совета?

Во всяком случае, старичок ощущался, как надежная, дружественная опора. Обоим приедем, одетым в синие заношенные фланельки, с черными, непривычными для глаза ленточками на бескозырках (о пасмурь и копоть Кронштадта!), пожалуй, было больше не по себе. Как тихая вода, окружило их со всех сторон молчаливое и, казалось, недружелюбное любопытство.

И оба балтийца, наверно, это чувствовали. Поднявшись на соседнюю со старичковой бочку, они в одно время сняли свои бескозырки, как-будто одним движением, слишком почтительно. Один оказался постарше — круглоголовый, года через два заплешивеет; надеть бы ему очки в железной оправе, коростяной, запачканный варом передник и усадить за сапожный верстачок, — и вот перед вами начетчик-мастерской, какой-нибудь Федосеич или Никифорович. Другой — долговязый, чахоточный мечтатель, с сизыми, куда-то за толпу заглядывающими глазами. И совсем не похожи на опасных возмутителей порядка:

в роде, как на ярмарке — сняли стеснительно шапки и вот сейчас запоеют, ожидая грошей на свою бедность.

Из-за спины прячущийся голос гаркнул:

— Партии какой?

Фастовец, припертый к самой бочке, деловито скалил крупные зубы.

— Ну да... объясните... нам его, большевиков не надо!

Старший из балтийцев, благословляюще осеняя толпу руками, успокаивал:

— Да мы беспартийные, какие мы большевики!

— А документы есть, что матросы? — гаркнул опять, не без ехидства, неуловимый вопрошатель.

Из толпы недовольно зацыкали.

— Нет, ежели товарищ не верит,—с готовностью отозвался матрос,—пусть экзамен произведет, мы солидарны. Дайте, скажем, конец и прикажите, какой узел произвести: прямой ли, рифовый ли, задвижной штык, беседочный; можем гачный завязать, можем выбленочный, можем удавку: специальность, как мы марсовые. Пожалте сюда, товарищ!

Вопрошатель, однако, мешкал и не подходил. Толпа ходила ходуном, досадуя на задержку, сердито ворочала головами, ища неуловимого. Оратор хитровато склабился.

— Ежели мой глаз не сфальшил, кто-то из господ офицеров антиресовался?

Понизу серчал, заклокатывало.

— Брось их, чего слушать!

— Они завсегда поперек горла!..

— Если сами говорят, так слушай, а коснись матрос...

Кронштадтец загадочно посмеивался: толпа сама давалась ему в руки.

— Конечно, настоящую удавку — это буржуазия лучше нас умеет завязывать. Скажем сейчас: воспользовавшись нашим обчим энтузиазмом, гонют нас на немцев, а между прочим, травят друг на друга, говоря, что все кронштадтские матросы—шпиены и наймиты палача Вильгельма. Вот мы и приехали, чтобы вы посмотрели сами, какие это бывают наймиты!

Долговязый тоже не стоял без дела: ткнул пальцем в плечо своего товарища, потом себя и с горечью помотал головой, — смотрите, дескать, наймиты! Внизу не удержался кто-то, восторженно прыснул.

— Она одного вам, товарищи, буржуазия не хочет сказать: что балтийский флот держит пары на первом положении и верно стережет революционную столицу. У Вильгельма давно на Кронштадт слюнки текут, почему же, товарищи, не приходит етот Вильгельм и не забирает? Нет, товарищи, не любит нас буржуазия, а за что не любит, за то, что говорим ей постоянно маленькую неприятность.

Кронштадтец пригорбился, словно нацеливаясь прыгнуть, прищур — лукавый, смеющийся.

— ...А мы ей говорим: мы даем наш антузиазм и нашу шкуру за общее дело, хучь, скажем, и до победного конца, как кричат, товарищи, ваши разнаряженные черноморские делегаты, а ты подай тоже— из своего кармана: подай нам заводы и фабрики, подай землю крестьянам! Кто, мол, чем может на общее дело, а!

Долговязый тоже нагнулся, протянул руку горстью, ядовито сучил пальцами, подмигивая: подай, дескать, пода-ай!

Матросы привставали на цыпочки, лоя раскрытыми ртами неслыханную речь,— да и речь ли это была? Шелехова даже свело неприятно-приторной судорогой от такого явного пересола. Но в то же время в назойливом изгибании матросов было что-то змеиное (как и у Зинченко—где он?), зловеще-очаровывающее... Выступить бы, смести это навождение ураганно-огненными, настоящими словами. Но какими и о чем? В мыслях зыбилась туманная, растерянная пустота. А в толпе не выдержало, вырвалось невольным всхлипом:

— Арра-виль-на-а!..

— Извиняемся, говорим, но как мы жертвуем, то пожалте и вы... на обчий котел.

— Пра-ава!..

— Вот, друзья, пока мы, значит, ету маленькую неприятность сказали, то стали для капиталистов бунтовщики и наймиты Вильгельма. Но матрос, он, как известно, от своей службы дальнзоркий; матрос муху увидит на двадцать верст по горизонту, а уж своего брата, конечно, насквозь. Так вот поглядите на нас, братцы, дальнзорким глазом, без буржуазных очков, правильно ли мы есть наймиты?

Толпа ржала, чесала затылки, попихивала друг друга плечами от удовольствия и любви.

— Ну да... сознаемся—наймиты... трудящего народу!

Кронштадтец кланялся, делая ручкой, но зубы одной стороной сцеплены, с пеной.

— Шпиеним! Временное правительство у нас по суседству... Сознаемся, матрос все время шпиенит... что обману какого не было!

Толпа кричала, бешено дышала — не зная, каким взрывом ей облегчиться. Зарычать ли «ура» сразу всеми грудями или вырваться на бочку, мять там плешивого кулаками в бок, любя... Сзади опять раздался голос вопрошателя:

— А как вы, товарищи... насчет офицеров?

То слинялый Иван Иванович, командир с тральщика, набрался вдруг прыти. Раздирая матроскую гущу, лез к самой бочке в упор.

— Вопрос касается—если которые завсегда в ногу с товарищами. Так их резать за што?

Плешивый любезно пощурился.

— У нас етого, товарищ, в программе нет, чтобы резать. Которые же с нами стоят против буржуазии, то мы таких офицеров приветствуем. Вон, про товарища Раскольниковца слыхали?

(Шелехов, про себя: «И у вас, и у вас же есть такой: ну, крикни, кто-нибудь, зачем же показывать им такую жалкую дрянь!»)

Иван Иваныч вытянутой шеей изображал наивысшее внимание и послушание, почтительно мотал головой.

— Так вот у нас...

Кронштадтец рассекал ладонью воздух и поучающе рассказывал, как у них. Иван Иваныч лез ему в глаза и мотола.

Свинчугов не выдержал, скрипуче крикнул:

— Мотай, мотай, чортова балаболка!

Сплюнул с омерзением и зашагал прочь к кораблям. Матросы, стоявшие рядом, затихли, проводили его глазами, неотрывно глядя ему на ноги. На миг нехорошо, хмуро стало около офицерской кучки.

И как раз тут на карачках, под кронштадтцами, появился Махийлюк. Глаза были жалобно-запавшие, пивящие.

— А я скажу, братцы, за офицеров, что это первые хадюки и скорпиены. Вот мне, братцы, — за что на бойню послали? И куда послали, братцы: сверху тама бьеть, снизу бьеть, с боков бьеть... с земли, братцы, бьеть, из-под воды бьеть... Куда деваться живому человеку? За што мне ненормальным изделали?

Но матросы настроились на веселый лад, зубоскалили.

— Ненормальный... от денатурки!

— Слазь... насосался!

Михайлюк сконфузился, ухмылялся по-шутовски.

— Ну, выпил... конечно, сколько полагается свободному гражданину.

Его под общий гогот стащили вниз. Старичок с добродушной улыбкой помахал шляпой, приманивая всех к себе.

— Приятно было, товарищи, выслушать наших друзей из Балтийского флота, призывающих к тому же, к чему и мы зовем: к единению.

Старичок очень осторожно прохаживался меж опасных костров, которые запалили кронштадтцы. Дело было столь тонкое и деликатное, что у внимательно нацелившегося ухом Мангалова через губу пошла слюна—от напряжения. Голос согласливый, сердечно примиряющий, с дрожью. Кто кощунственно прыснет в лицо старичку, за которым годы мученичества и каторги? Конечно, вы правы, товарищи, классовая борьба—наша первая революционная задача. Это наши лозунги, нами выстраданные,—фабрики и заводы, земля. Отраднo, что пришлось дожить до тех сказочных дней, когда миллионные народные массы приняли эти лозунги и понесли их на своих знаменах. (Шелехов: «так, так... вот оно настоящее»). Но нужно найти правильные пути, товарищи! Пути эти сложны, извилисты, надо, может быть, даже немного полавировать, хе-хе, а не так вот: сразу тяп да ляп...

— Я, ведь, друзья, старый воробей... Сорок лет тому назад с народовольцами работал, с таким-то и таким-то.—От костров, вместо жара, потекло благодное, приятно согревающее теплецо.

— Мы приветствуем,—сказал почтительно кронштадтец, и оба низко поклонились; желваки на лице у старшего катались и играли.

— С братцем вашего-то... с Александром Ильичом Ульяновым, которого повесили...

— Мы приветствуем, — истово, в перегиб, накланивались кронштадтцы.

Меж бочек вырос, как внезапное привидение, костлявый, заросший страшным волосом, с белыми от бешенства глазами Фастовец.

— А шо нам лавировать!—истово взревел он, рыща в воздухе свирепо выкинутыми вперед челюстями, тыкаясь ими почти в чесунчового ошеломленного старичка. — Шо нам цацкаться, когда уся прохрама известна! Пуцай ето бураки с нами копают, если кушать хочут, ваши капиталисты. А не можете сами управить, izdelайте мене министром, я вам к завтрему уси эти законы назвенькаю!

Старичок отступал и отступал с доброй, растерянной улыбочкой, ища опоры вокруг; он свалился бы назад, если бы его во-время не поддержали... Кронштадтцы стояли сзади Фастовца, не у дел, пересмеиваясь с толпой. Митинг кончался. Через минуту старичок, с'ежившись, усаживался в машину, не оглядываясь назад, а около бочек сваялся кипучий человеческий крутень.

Лобович с шуточной сердитостью добирался там до кого-то.

— Эй вы, сами сытые, черти, а ребят покормить не надо?

Катясь клубком к кораблю, окёло Шелехова распахнулась на минуту толпа, и он увидел в середине кронштадтцев, которых вел Зинченко. Никто не смотрел на офицера, ему давили ноги, наперерыв стараясь заглянуть, выспросить о чем-нибудь кронштадтцев. Блябликов на ходу изловчился, припал к его уху мокрым, горячим, злобным ртом: «Правильно тогда Николай-то про подлецов сказал... открыть бы немцу фронт... лучше бы было, лучше!..». Но Шелехов не слушал, он поднимался мысленно вместе с багтийцами на трап «Качи», спустился в сумрачный кубрик. Матросам подали жирного черноморского борща—почетный отдельный бак. Шелехов сел напротив и, не в силах сдержать свое дрожное нетерпение, ударил кулаком по столу. — «Эх, товарищи... все правильно у вас, да не такими словами надо. Вот как я сказал бы...». И он начал говорить, горя и задыхаясь, едва видя кронштадтцев, восторженно-побледневших, забывших ложки у рта... Впрочем, на самом деле, поднявшись на «Качу», он постеснялся даже подойти близко к кубрику и с завистью смотрел на Лобовича, выводившего оттуда кронштадтских ребят и что-то им деловито объяснявшего. Потом кронштадтцам дали моторку, в которую с ними сел Зинченко и еще несколько счастливых. Команда с борта и с берега замахала шапками, и шлюпка, в которой оба гостя стояли с непокрытыми головами, завилась по синей, цвета льда, воде.

Из кают-компания тотчас выглянул осторожно Мангалов и, обшнырив глазами палубу, на цыпочках протанцовал в свою каюту. Мимо Шелехова пропыхал, как мимо пустого места, не замечая.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вечер все-таки обещал какое-то забвенье. Стоило только вспомнить вечернее небо, завешенное мечтательной бульварной листвой, мирно распахнутые окна этажей, вдыхающие в себя сумеречные отголоски музыки, говор, стук пролетов... Жека ждала в восемь часов на Историческом бульваре. А в семь мичман поднимался по трапу белоэтажного, упрятавшегося в тополи особнячка на Морской, где нахлебничали Мерфельд и Ахромеев.

На звонок выглянула хозяйка-адмиральша.

— Молодых людей нет дома, они пообедали и опять ушли в экипаж. Может быть, подождете?

Дама изяществовала улыбкой, красуясь, как могла, заигрывая с мужской молодостью.

— Немного посижу,—согласился Шелехов. Хозяйка пропустила его, будто нечаянно тесня корсетными своими пышностями, в переднюю. В тускловатой тесноте коридорчика, загруженного вещами, ее стан темнел стройно, шестнадцатилетне. Да, и адмиральша была когда-то тоненькой и пугливой недотрогой-институткой. А теперь вдовствовала, не покидая своих комнат, и была очень довольна мальчиками-постояльцами, между которыми делила себя поровну (они, смеясь, разболтали это Шелехову),—каждый раз со старомодной кокетливой церемонностью...

В квартире вообще властвовало неопишное смещение девятилетних годов и беззаботно-мальчишечьего распутства и декадентской музыки Мерфельда.

Шелехов затворился в комнате офицеров. Вот жизнь, не похожая на его, каютную! Кувшин с цветами, поставленный с изысканной опытностью,—именно там, где его присутствие больше всего одухотворяло светлую, гигиеническую пустоту воздуха. Раскрытый рояль с нотами (Шелехов заглянул в них с любопытством,—конечно, это был Скрябин); никель и снеговая воздушность кроватей, напоминающих расфранченных горничных. Лакомки-мальчишки забыли на столе коробку с нугой, тут же—пухлый том аппетитно-исчисленного, сотнями пальцев излистанного журнала «Природа и люди» за какой-то старинный год.

...Притти с корабля, вымыться, залечь на диван, уютно водрузив роман на коленках. И вот иные жизни возникают пред тобой, терзаются, кипят, как бы очертанные из неясного, усыпительного дыма. Мутнеет мир; позабытая в нем какая-то беда... Даже вещи которого кругом тебя не живут, а словно отражены в тихой, зеркальной воде...

Шелехов не удержался, прилег на диван, прикрыв веки ладонями. И правда, тотчас же растворился в убаюкивающей, расплывчатой беспредметности. Словно скинута совсем тесная, неотрывно давившая ноги обувь... Нет, он стал бы, конечно, жить по-другому. В последние дни, приезжая в Севастополь, он привык заходить в читальный зал

библиотеки Морского Собрания, одной из богатейших библиотек России. Сначала это делалось случайно, чтобы как-нибудь скоротать время до свидания с Жекой; потом сюда стало тянуть само по себе—может быть, потому, что осторожная тишина, прерываемая лишь шорохами бумажных листов, напоминала отдаленно университет, читальню филологического кабинета, нерушимый высокий мир, в который он мог всегда спастись от скверных передраг улицы. С первых же посещений он с любопытством накинулся на «Морской Сборник», этот замечательный ежемесячник русского флота, о котором раньше лишь по наслышке знал из университетских лекций, из истории литературы: «Морской Сборник», официальное издание, по иронии судьбы служившее в 60-х годах приютом оппозиционной мысли, рупором смелеющей общественности. При некотором воображении эти факты можно было ассоциировать с беспокойным духом морей, с голосами буреветников! И разве он, Шелехов, как-будто не чужой ни флоту, ни историко-общественной науке, не мог успешно заняться более глубоким исследованием этого интересного, но скудно освещенного исторического эпизода? Это было бы то самое, чему с одиноким услаждением отдавался бы он, если бы жил в этой комнатке, успокоительно отгороженной от мира, с окнами, напролет открытыми в сухозвенящие тополя. Ему уже мерещился скелет будущей диссертации... А за каждой дописываемой страницей, словно за поворотом аллеи, сквозил бы силуэт ожидающей вечером Жеки.

Он разнеженно потянулся и взглянул на часы. Ого, уже подбегало к половине восьмого. Пришло внезапно-бурное, обжигающее биение сердца. И воздух неуютно, тревожно потемнел. То же ощущение, которое он испытал однажды во время гулянья на Нахимовской, ощущение чьих-то присутствующих незримо, ненавидяще следящих глаз. Были ли то глаза Михайлюка или балтийцев? И почему при этом и белоснежная комнатка Мерфельда и его собственное волнение Жекой, близкой встречей ощущаются, как нечто преступное, обреченное на расправу? Почему? Он не хотел и все-таки продолжал мучительно думать об этом, уже сходя по лестнице, после прощания с разочарованной хозяйкой. Разве Михайлюк и балтийцы были его совестью? Он хотел жить, не мешая никому, только жить!..

Небо болело ветреным, ядовито-красным закатом. Небо из какой-то постылой, сиротской осени... На тротуаре обогнала кучка матросов, жадно-торопливых, словно боящихся опоздать к какому-то делу. Один окликнул мичмана, козырнул, сияя улыбчивыми девичьими глазами.

— Куда, Любякин?—не выдержав, полюбопытствовал Шелехов, не сразу отпуская его ладонь и невольно пробегая за ним несколько шагов. Остальные матросы были незнакомые, с чужих кораблей.

— А тоже туда... в полуэкипаж. На «Пруте» вот были сейчас, балакали.—Горнист чего-то не договаривал, таил и, стыдясь этого, торопился вырвать руку.—Дела!..

На «Пруте»? Значит, даже этого простодушного парня отняли от него, перетянули? Мельком вспомнилась ночная Таня. Темноты, обволакивающие все события этого дня, сгустились еще более гнетуще, еще опаснее... Нечто тревожное творилось и за улицами, внизу— в закоулках рейда, где тоже пробежали в одну сторону стайки матросов, гнались переполненные народом шлюпки и катерки... Об этом нужно было забыть, не думать. Нижние аллеи Исторического бульвара были почти пустынные, начисто выметены, уютно закруглялись среди лиственных сумерек. Они постепенно, слишком постепенно и томительно вели в счастье... Щеголеватый матрос с саженными плечами и талией в рюмочку, стоя молодцевато любезничал с хихикающей барышней в газовой повязке. Он презрительно и без внимания пропустил мимо себя мичмана. И все это миновало, как в сновидении.

А Жека, оказывается, пришла раньше,—близоруко наклонясь над чем-то, скусающе двигалась на фоне бастионов и белых цветников в верхнем кругу.

— Чорт возьми... если бы я знал, я бы давно...—Шелехов почти задыхался, увлекая ее за руку к скамье.

— Вы уж не так много потеряли!

— Но я вас еще ни разу не видел при свете, все только в сумерках или ночью. Я даже не знаю, какое у вас лицо. Когда же вы мне покажете его, Жека?

— Заслужите сначала.

— Как?

— Как-нибудь заслужите!..

Она нарочно дурачилась, всегда говорила такие пустяки, как ребенку, и этим держала его в руках. А он хотел видеть другую, настоящую, которая могла плакать или лепетать слабеющим голосом, прижимаясь к нему, как в защите. Но Жека каждый раз увертывалась, ускользала в свой ручьистый, казнящий его смех.

Они присели; пальцы их тотчас переплелись. О, забаву с пальцами она допускала без возражений, полуотвернувшись в сумрак, — не то думая там о своем, не то издевательски покусывая губы от смеха. От смеха над таким мямлей, как он! Мимо кружилась редкая, полушопотная карусель гуляющих, иные подходили совсем близко, оглядывались назойливо на них, с виду очень любовно прижавшихся друг к другу. Шелехова вязало и злило это любопытство.

— Пойдемте отсюда,—потянул он Жеку.—Здесь кругом глаза.

— Они же нам не мешают,—удивленно возразила Жека.

Он все-таки заставил ее подняться. В аллеях, в густые кущи которых они спустились, укрывалась позолоченная закатом, неестественная ночь. Оттененные тишиной, призраки каких-то далеких криков чудились в воздухе. Может быть, именно они заставили Шелехова залихорадиться, заторопиться, почти грубо усадить Жеку куда-то в темноту, на первый попавшийся диван. И тотчас же наболелое прорвалось через все плотины, хлынуло—он припал к ней, ища обнять ее. И уже

не мог оторваться от дрожащих, ужаснувшихся ее губ, выдыхал в них всего себя, как ему казалось, — потерянного, с последним отчаянием протягивающего руки. Он хотел расплавиться, не слышать мира...

Но все-таки услышал: с соседней горы, из полуэкипажа, обвалом упал тысячеголосый стон, растекался и глух над Севастополем.

* * *

Членов исполкома вызвали срочно в Совет, даже Маркушу, которого машина неистово промчала меж голых, выжженных бугров бережья, трубя, что есть мочи, и трубным, натужным воплем своим перебивая багровый крик заката.

Для приехавших и прибывших, собственно, было неясно, в чем дело, и зачем эта внезапная бестолочь и спешка. В частном разговоре насчет балтийцев Маркуша, затягиваясь папиросочкой, осторожно предложил даже «заарестовать». Но, помимо всего, балтийцы были неуловимы. Никто не знал, где они. Кто-то сказал, что идут митинги на опальных кораблях — «Синопе» и «Трех Святителях» — или где-то на рейде, около «Жаркого» (Это было вполне вероятно, так как по ходатайству командующего военный министр распорядился вывести «Жаркого» из строя и зачинщиков беспорядков предать суду; «Синоп» и «Трех Святителей» разоружить, а команду списать в отдаленные порты; вот почему матросские зубы скрипели...).

Прошел даже неладный слух относительно адмирала. Из исполкома в беспокойстве звонили на адмиральский «Георгий», но флагкапитан ответил, что командующий отдыхает, и все в порядке. К вечеру были получены определенные сведения, что митинг идет на «Синопе» и балтийцы там; что разлагающая пропаганда, вследствие недовольного настроения разоружаемых команд, принимает опасные размеры. Делегаты исполкома тотчас же вышли на рейд на моторном катере. Однако, «Синоп», поставленный к стенке, был пуст, только вахтенные, ехидно ухмыляясь, поплевывали в воду...

Лишь к сумеркам делегатам удалось разыскать митинг во дворе полуэкипажа. Такого многолюдного сборища флот не видел, пожалуй, с самого переворота. Около десяти тысяч матросских голов бурно колыхались под помостом, на полутемном плацу.

Делегат, обширный телом, смиренный и пожилой, должно быть, из писарей, озабоченно мигая, растопырил усовещающие пальцы над толпой.

— Товарищи, прошу слова!

Человечья волна шатнулась вдоль казарм. На гребне взмыло озорное улюлюканье, рев, свист.

Балтийцы? Нет, даже следа их нигде не было видно...

Черноусый, с угляными глазами, с надписью «Прут» на фуражке, развязно, по-хозяйски загородил собой делегата. Буря свертывалась, тишала от одного пристального, переживающего его взгляда. Черноусый сказал:

— Дадим, товарищи, слово, послушаем, что сбредут.

Непримиримое ворчанье подымалось кое-где, угрюмело, хотело встать на дыбы, в крик. Но иные голоса настойчиво кричали:

— Дать, дать!

— А пуцай брешуть!..

Делегат выступил вперед, неторопливо скинул бескозырку, степенно погладил волосы. Он не сомневался, что одичалое, враждебно примолкшее под ним человечье море через минуту стихнет, подобрет, начнет орать: «правильно».

— Товарищи, мы — ваши выборные представители, которых вы сами послали для дела... революции в Совет... От имени исполкома мы предлагаем вам всем немедленно разойтись.

Гневные вопли и свист опять прорвались со всех сторон. Безликий народ, давя в сумерках друг друга, грудился все ближе к помосту, копился грозой. Какой-то костлявый, с закаченными в припадке белками, задохнувшись, выворотив нечеловечьи огромные зубы, карабкался наверх, стараясь уклещить пальцами ноги делегата. Тот осторожно отступал... Черноусый снова вышел на край, но и его уже не признавали, топили в гаме, в поднятых кулаках.

— Эй-эй! Да стойте вы, пуцай все сразу выкладывает, ухи-то у нас не отвалятся!

Делегат изловчился, просунул свой голос в случайно набежавшее затишье.

— Вы протестуете против офицеров, против командующего, но здесь не место, товарищи, устраивать суды и критиковать, вы приходите к нам, у вас есть свои выборные товарищи, которым вы доверяете...

— Кто тебе выбирал, хад!

— За ахвицеров вы заступники!

— Колчаку лижете!

— Наел мурло на сутошных!

— Долой!

Делегат гнул свое:

— Предлагаю, товарищи, не позорить флот своим выходками, а разрешить все недоразумение у нас, на пленуме исполкома.

— Долой!

— Разогнать всех к матери!

Костлявый карабкался на помост, хватал делегата за ноги, со взрыдом.

— Ты мне правило скажи! Ты правило скажи, ето какая же свобода? Ето, чтобы опять над матросом с аншпугом стоять?

Лихой матросик с «Гаджибея» выскочил, развесело хляпнул себя ладонью по блинчатой фуражчонке.

— Как же ето ловко, братцы, прямо округ пальца нас, как тех баранов крутят! Кожу у порту разворовали, так подожди до приезде товарища Керенского, тогда разберемся. Товарищ Керенский приехал, конечно, мы, как бараны, покричали, покачали, и генерала Петрова сейчас на

свободу, как неприкосновенную личность ахвицера. Хапай, значит, валяй дальше! Теперь нас на бойной сорок человек поклали ни за што, а как матрос корячиться начал, сичас пожалте, на Дунай, к генералу Щербачеву, под первые пули. Это как? Значит, ахвицерам и воровать и все можно, а матрос ша, молчи в тряпочку? За что же тогда, братцы, мы Миколашку уволили?

Делегаты, пошептавшись, потихоньку укрылись за оратором, потом совсем стерлись...

Теперь уже другие — тяжкодумные, решительные, раньше сурово лишь присматривавшиеся, подступали к помосту.

— Долой ахвицеров!

— Колчака заарестовать, никаких.

Кочетиным вывизгом выломилось из толпы:

— А как заарестуешь, у него револьверт, он тебе пригладит, по-пробывай, заарестуй!

— Снять цацки с усих!

Черноусый с «Прута» вкопанно темнел на помосте, на потухающей прозелени неба.

— Значит, товарищи, постановление всего собрания... кораблей и команд: немедленно отобрать оружие у офицеров.

— Прра... вва!

— А адмирала Колчака, как явного...

Под сумятицу, непрощенный какой-то взгромоздился рядом, без шапки, с понуро висящими руками, гнусаво хныкал:

— Етого мало, братцы, што отобрать... Вы спросите, за што они мне на страсть послали? Сверху там бьеть, снизу бьеть, с воды бьеть, с под земли, братцы, бьеть... Куда деваться живому человеку? А как я к етому скорпиену утром пришел, — мне, говорю, жрать нечего, и я проконтуженный весь наскрозь, што он мне, братцы, сказал? Постоый, говорит, поди на палубе, я еще маненько в постели поваляюсь!

..Вот тогда — не хотел и услышал Шелехов над Севастополем непонятный и шевелящий волосы рев.

Но не все ли равно было, на кого двинулись там?..

— Мичман, довольно, — старалась строго пролепетать Жека, боязливо глядя ему ладонями плечи, грудь.

А губами сама прижималась, вздыхая; и ей было приятно, забвенно, — может быть, против воли?

— Слышите, Сережа: не мучайте себя. Все равно ведь никогда, никогда...

Он оторвался от нее, прислушивался с недоверчивым ужасом. Это не ему, а кому-нибудь другому?.. Лицо Жеки лежало у него на плече, он видел черное сиянье стиснутых ее ресниц, чужих, прекрасных ресниц, таких непереносимо-прекрасных, что хотелось плакать. О, как могильно пустел мир!

— Нам нужно поговорить. — Она встряхнулась, начала зачем-то рыться в сумочке. — Вы знаете, что я очень рада с вами встречаться.

Вы — культурный человек, не то, что наши лейтенанты и поручики, с вами интересно быть... ну, не сжимайте же так драматично виски, ха-ха-ха! Я даже скажу, что вы для меня единственный интересный человек в Севастополе...

(Значит, правда: любит того, того?..)

— Мне, пожалуй, приятно, когда вы меня целуете. Видите, какая я откровенная. Но я прошу вас, Сережа... Я не имею права. Можно какие-нибудь маленькие шалости... это другое дело. Вообще, ничего серьезного не может быть. Хороший мой, я не девушка...

— Зачем вы это говорите?

Его била отвратительная, надрывная лихорадка. К чему же было все? Города, громождающиеся впереди, как золотые, облаковые обвалы? Смеющиеся глаза, победительно приветствующие жизнь? Нет ничего, кроме мокрой полночной, мерзко-сияющей панели и бегущего, секого дождем человечиска на ней, воспаленного дрянными, самоутешительными мечтаницами.

Жека беспокойно приблизила к нему лицо.

— Сережа, как не стыдно... слезы. Вы же офицер! Господи, — с насмешливой горечью вздохнула она, — почему вы все такие одинаковые?

Щипала ему щеки, старалась рассмешить, испуганно ласкалась.

— Ну, хорошо, я буду вас любить... Может быть, когда-нибудь под настроением... приласкаю совсем. Слышите?

— Можно ли так говорить, Жека? — печально упрекнул он ее.

Она уже хохотала, заманивала его опять в жизнь, в мучительские свои игры.

— Да-да, когда-нибудь! Когда очутимся где-нибудь... в комнате. Ведь нужны удобства, ха-ха! Ну, устройте, например, нам путешествие в Одессу. Вы говорили, ваш «Витязь» собирается туда?

— К нему? — с нехорошей злобой спросил он.

— Глупый, у меня в Одессе мама! — И близилась, близилась смеженные от смеха, перечеркнувшие вкось лицо ресницы, теплая ее грудь, уже покорная, жалеюще-поддающаяся... Светлячки матросских цыгарок гуляли за кустами, вспыхивал там и сям писклявый смех марусек. Впрочем, то светились не цыгарки, а прямо под кустяным обрывом кишела шлюпочными огоньками ночная пропасть рейда, по которому сновали туда и сюда, развозя с митинга братву, моторки, катера, шестерки. Кое-где, по беспечности не задраенные, ожерельными цепочками горели глазки судовых трюмов. А самые недра кораблей наполнились в этот час необычно-праздничным электрическим светом, ботаньем ног, галдежом.

* * *

На трапе «Витязя», ночью, когда Шелехов возвращался с катера, нерешительно окликнул его — должно быть, уже давно поджидавший — электрик Опанасенко.

— Господин мичман, тут эти дураки одну утопию развели. Поговорить бы мне с вами надо... Да я не сам, меня, как члена судебного комитета послали.

— Идемте в каюту, — предложил Шелехов. Бессвязные мысли, в роде зубной боли, мутно опутывали его, каждый шаг ступал куда-то в пустоту, бесцельно.

— Верно, в каюте лучше, — радостно согласился Опанасенко.

Шелехов, мучительно жмурясь, открыл свет, повел на матроса скучные, вопрошающие глаза. Тот торопливо и виновато заулыбался.

— Так что сделано, господин мичман, постановление отобрать оружие у всех господ офицеров. Я вам, конечно, и расписочку дам... Да это и не навсего, вы не думайте, они через три дня опять взад отдадут!

... Так же было когда-то в полночных, настезь распахнутых чужой рукой юнкерских дортуарах. Все повторялось. Жизнь снова вступала на грозный порог. Шелехов все-таки вяло протестовал.

— Но ведь команда мне доверяет... и всегда доверяла. Я же не какой-нибудь Мангалов, а член бригадного комитета, смешно, господа!

Опанасенко конфузливо переминался с ноги на ногу.

— Да ведь что поделаешь с идиотами, господин мичман! Постановление сделали, чтоб обязательно у всех. А вон командующего, адмирала Колчака, и вовсе заарестовать хочут. — Опанасенко наклонился к Шелехову с негодующим шопотом. — Все энти, которые с Балтийского, намутили... демократы!

Шелехов, пожав плечами, отстегнул с себя кортик, подал матросу; потом снял со стены палаш. Опанасенко принял от него оружие с жалобным вздохом. Мичман открыл ящик стола, где лежал браунинг.

Его пальцы погладили в последний раз желобки черного, изящно отшлифованного дула. Сердце сжалось вдруг зябко и грустно. Это было, пожалуй, последнее, что оставалось от Шелехова-офицера, от торжественных огней Таврического дворца, венчавших его так недавно на новую жизнь. И все это должно было закончиться только вот так?

Он угрюмо сказал:

— Может быть, револьвер вы мне все-таки оставите, это память о школе, и мне было бы очень тяжело...

Опанасенко вздохнул еще жалостнее.

— Так вы и не давайте, господин мичман, только спрячьте подалее, как все равно его и не было. А что, правда, на этих идиотов смотреть! Им хучь все отдай... они возьмут.

Шелехов стыдливо жал ему руку, благодарил.

— Вы не бойтесь, господин мичман. Я-то никому...

Нечто заставило обоих оборвать слова, прислушаться. За бортом пронесся неясный гул, в гушине которого лопались гулкие пузыри, наверно — выстрелы. Опанасенко, тревожно вертя головой, пятился к двери.

— Шо это?

— Господин мичман, тут эти дураки одну утопию развели. Поговорить бы мне с вами надо... Да я не сам, меня, как члена судового комитета послали.

— Идемте в каюту, — предложил Шелехов. Бессвязные мысли, в роде зубной боли, мутно опутывали его, каждый шаг ступал куда-то в пустоту, бесцельно.

— Верно, в каюте лучше, — радостно согласился Опанасенко.

Шелехов, мучительно жмурясь, открыл свет, повел на матроса скучные, вопрошающие глаза. Тот торопливо и виновато заулыбался.

— Так что сделано, господин мичман, постановление отобрать оружие у всех господ офицеров. Я вам, конечно, и расписочку дам... Да это и не навсего, вы не думайте, они через три дня опять взад отдадут!

... Так же было когда-то в полночных, настезь распахнутых чужой рукой юнкерских дортуарах. Все повторялось. Жизнь снова вступала на грозный порог. Шелехов все-таки вяло протестовал.

— Но ведь команда мне доверяет... и всегда доверяла. Я же не какой-нибудь Мангалов, а член бригадного комитета, смешно, господа!

Опанасенко конфузливо переминался с ноги на ногу.

— Да ведь что поделаешь с идиотами, господин мичман! Постановление сделали, чтоб обязательно у всех. А вон командующего, адмирала Колчака, и вовсе заарестовать хочут. — Опанасенко наклонился к Шелехову с негодующим шопотом. — Все энти, которые с Балтийского, намутили... демократы!

Шелехов, пожав плечами, отстегнул с себя кортик, подал матросу; потом снял со стены палаш. Опанасенко принял от него оружие с жалобным вздохом. Мичман открыл ящик стола, где лежал браунинг.

Его пальцы погладили в последний раз желобки черного, изящно отшлифованного дула. Сердце сжалось вдруг зябко и грустно. Это было, пожалуй, последнее, что оставалось от Шелехова-офицера, от торжественных огней Таврического дворца, венчавших его так недавно на новую жизнь. И все это должно было закончиться только вот так?

Он угрюмо сказал:

— Может быть, револьвер вы мне все-таки оставите, это память о школе, и мне было бы очень тяжело...

Опанасенко вздохнул еще жалостнее.

— Так вы и не давайте, господин мичман, только спрячьте подалее, как все равно его и не было. А что, правда, на этих идиотов смотреть! Им хучь все отдай... они возьмут.

Шелехов стыдливо жал ему руку, благодарил.

— Вы не бойтесь, господин мичман. Я-то никому...

Нечто заставило обоих оборвать слова, прислушаться. За бортом пронесся неясный гул, в гушине которого лопались гулкие пузыри, наверно — выстрелы. Опанасенко, тревожно вертя головой, пятился к двери.

— Шо это?

Суматоха начала раз'ясняться понемногу... Матросы продолжали галдеть по берегу, с руганью и давкой осаждают темный «Елпидифор», но это больше не ужасало. Событие, действительно, произошло дикое, но не с мичманом Винцентом, а с Михайлюком.

Качинские, первые свидетели случившегося, собирая около себя кучки, наперебив рассказывали:

Вернувшись с митинга, Михайлюк пришел на «Елпидифор», где служил до «Витязя», и, вынув нож, стал бегать за матросами, чтобы кого-нибудь зарезать. Матросы попрятались, а командир, Иван Иванович, как был — в одних кальсонах, ходил везде за ним вплотную, льстил и смотрел ему в глаза, чтобы Михайлюк его не забыл и не ударил; дал ему выпить воды, и Михайлюк немного отошел. Но скоро помутнел опять, разогнал матросов, зарядил судовую пушку и стал наводить ее на минный трюм. Вся команда с «Качи» и с соседних кораблей бежала в панике на берег. Иван Иванович, которому Михайлюк отрезал отступление, полез с тральщика по канату, но сорвался в воду и добрался до берега вплавь. Михайлюк подошел к борту посмотреть, как все это случилось, и заодно помочиться, а вахтенный с «Качи», прокравшись в это время к орудию, зарядил его и выбросил снаряд в море. Тогда Михайлюк полез в трюм за вторым; но под люком его уже ждали вахтенный и несколько матросов с кувалдами. Вахтенный убил его выстрелом в спину; потом выстрелил еще три раза в лежащего и начал колоть кортиком; другие матросы били труп кувалдами и за волосы — головой о палубу. Ночью изуродованные останки Михайлюка вытащили с тральщика и бросили в свалочную яму, за береговой канцелярией.

Здесь труп валялся три дня, потому что хоронить его матросы запретили, угрожая самосудом.

На четвертый день на автомобиле приехал из Севастополя Маркуша с двумя членами исполкома и созвал команду на митинг. Маркуша возвысился над толпой, мужественно выкатив грудь и пощипывая дрожащими пальцами бело-красную делегатскую повязку на рукаве.

— Товарищи! — сказал он. — Товарищи, я насчет... Михайлюка. Я рассуждаю, что он всегдаки был матрос... и всегдаки православный... нехорошо так, товарищи!

Матросы равнодушно слушали; некоторые даже, с ругательством, смешливо скалились: ярость их уже отбушевала. То было первое выступление Маркуши, как члена Совета. К вечеру же Лобович, вместе с вестовыми, отвез труп на кладбище.

* * *

Разоружение офицеров на кораблях прошло спокойно. Только в полуэкипаже, не перенеся бесчестья, застрелился мичман Жужель. Но адмирал Колчак не пожелал отдать матросам своего георгиевского оружия. Выстроив команду на палубе «Георгия», он кричал ей слова,

полные гнева и упреков. На глазах матросов мечущийся человек подбежал к борту и, переломив о колено свою саблю, кинул обломки в море. То был последний, рассчитанный на обаяние, жест бесстрашия и одиночества. Но команда, вытянув руки вдоль белых штанов, мигала бесчувственно.

На другой день Временное правительство по телеграфу вызвало командующего в Петроград, якобы для немедленного и подробного доклада о бунте. Сделано было во-время, потому что судовые комитеты заседали весь день, обсуждая вопрос об аресте Колчака. В полночь на вокзале наиболее приближенное и именитное офицерство провожало адмирала. Когда пробил третий звонок, и адмирал, передав адъютанту прощальные цветы, поднялся на ступеньку вагона, один из провожающих крикнул:

— Мужество и доблесть, сознание долга и чести во все времена служили украшением народов. Ура!

Но и это не рассеяло мрачной насупленности командующего.

Адмиралы и каперанги, в горести шатнувшись за отплывающим вагоном, проревели «ура» покинуто, вразброд... Поезд пополз по каменной спирали, в предгорья, к Аккерманским тоннелям, минуя звездное море у самой воды, на которой мглились усыпленные корабли, флот.

(Конец первой части)

С о с е д и

Рассказ

ДМ. ЕРЕМИН

«...Если нельзя этих людей повесить, то следует заклеить их огнем. Я... выражаюсь фигурально, я клеймлю в образах».

Гейне.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Городской остряк Миша Мигайчик говорил о купальщиках с такой веселой иронией:

— Вот уже осень почти, а свежему человеку некуда ткнуться ни пяткой, ни пальцами: нет внизу ни берега, ни песку — одни люди, люди, люди... И поверите ли вы мне, в солнечные дни настолько наливается река людьми, что вода в реке выступает из берегов, затопляет луга, лежащие на другой стороне против города, разгоняет с лугов стада. И перепуганные пастухи, непечатно ругаясь, после никак не могут найти отбившихся от стада бычков да телок... А вон та вон мельница, что у сгиба, только и работает, что в праздник: в виду наплыва купальщиков вода прибывает так и с такой остервенелой силой напирает на колеса, что нет никакого смысла не пользоваться ей! А вместе с тем, кто же не знает, что в понедельник... да что в понедельник, во вторник, в среду, вплоть до субботы — воды в реке почти вовсе нет. Расхлестнет ее в праздник, особенно коли солнечно, разнесет по берегам или вниз за мельницу... дно видно даже в заводях, а в мелких местах пискарям уместиться негде: корчатся они, крутятся в иле с таким отчаянием, что даже мальчики стесняются загрести их мешочными сетками... А? каково? Нет, вы ответьте мне, каково?!

Миша Мигайчик суетливо щурился и оглядывал собеседника, ожидая ответной шутки или поощрения. Но собеседнику отвечать было нечего, ибо дело было совершенно ясное: люди на берегу лежали вповалку, словно сброшенные наспех бревна; женский пляж и мужской не разделялись ровно ничем, и вновь прибывающие перешагивали через раскинутые тела с деликатностью нисколько не большей, чем если бы то были действительно бревна. В стороне от купальщиков, на лужайке, весело пыхали паром пузатые самовары; молча тыкался в ящик уста-

лый мороженщик, а рядом с ним, кутаясь в простыни, жадно глотали тающую сладость мужчины, дети и женщины...

— Да-а!.. — несложно отвечал собеседник. И к этому больше ничего прибавить не мог: картина была привычной. Даже к шуткам Мигайчика он относился, как к неизбежному прибавлению к пляжу, и привык к ним настолько, что уже не пытался вникать в их внутренний комический смысл. Мигайчик же весело шурился, стоял с минуту; затем шел неторопясь к другому собеседнику, чаще — к Феоктисту Фомичу, разговоры с которым любил остряк чрезвычайно. Феоктист Фомич был человеком известным; все в городе знали его длинную тонкую фигуру, тихие усики и большой положительный нос. Всякая парочка, вступая ли в брак, разводясь ли — проходила через его деловитые руки в загсе, и любопытные подруги жены его не меньше трех раз в неделю забегали узнать: не развелся ли кто, не женился ли кто, не родился ли кто, не умер ли кто?.. Эти известия обегали город с быстротой невероятной, и любопытному остряку приходилось их черпать из разговоров с Феоктистом Фомичем уже несвежими. Однако, любил он разговоры эти еще потому, что о многих предметах Феоктист Фомич имел мнения твердые и прямые, будучи, между тем, человеком мечтательным и нестойким. Так, Феоктист Фомич знал, например, что — «сапоги носить лучше осенью: и теплее и не так грязнишься»; «водку пить натощак не следует: с первой же рюмки развезет»; «долго париться с плохим сердцем не стоит: сократите себе жизнь», и т. д. Но вместе с тем, был он примечателен еще тем, что всегда его что-нибудь глубоко поражало, захлестывало, как блаженное опьянение, и он ходил полный счастливой тревоги, избегая всех, и только веселого Мишу Мигайчика осчастливливал разговором.

Говорливый остряк такими словами передавал глубину переживаний пораженного чем-нибудь Феоктиста Фомича:

— Ах, боже мой, молодой человек! — говорил Феоктист Фомич восторженным и негромким голосом. — В бане бываете ли? Нет, не бываете... жаль! Чудеса там творят татары: весьма примечательный и небывалый народ, скажу я вам. Плесканут в печь полную шайку, а до того красна эта печь, что мимо ходить невозможно! Дадут в печь, а сами влезут наверх и хлещутся, и полощутся, и кряхтят... До багрового мяса вздует их, и пот пойдет с них, как сало, густой и липкий, а они хоть бы что: сожмут морды и жарят, и жарят вениками по ляжкам, по пояснице, по плечам... Да, скажу я вам, необычайный народ! Век того не видывал, да и не увижу, знать: чудеса да и только, поверить трудно со стороны...

Татары в такие дни рисовались ему чем-то наиболее поразительным в жизни, уступая место не менее поразительному барану, курдюком которого можно было закрыть целиком лысину лавочника Сысоева...

Но нестойкость и мечтательность Феоктиста Фомича видны были особенно из того, что женился он совершенно случайно. Голиндуха

Карповна «окрутила» его с такой напористой быстротой, что он до сих пор еще с трудом мог понять, насколько бессильным и щупленьким он перед ней оказался. Она нашла, что все князья, «люди крови голубой и пылкой», совсем недаром носили длинные фамилии. И Феоктисту Фомичу было приказано у него же в загсе расписаться с ней двойной фамилией; при чем, в знак своей особой силы, его фамилию Голиндуха Карповна поставила в конце, и он теперь расписывался всюду со стыдом и с нетерпимым сознанием неизбежности своего позора:

«Феоктист Фомич Тычаев-Тюшкин...».

Начало Голиндухи Карповны виделось во всем: она и одевала его по-своему, и усики он отращивал соответственной длины, между тем как сама она была женщиной невероятно страшной. Миша Мигайчик так о ней выражался в кругу остряков-друзей:

— Если бы взять нам сучковатую горбылевую доску, приделать к ней снизу вместо ног неприличные загогулины, а сверху поставить кривоглазую картонную морду, — то и тогда бы это было милевиднее Голиндухи Карповны...

— Да уж чучело совершенно удивительной дикости! — отвечали ему остряки-друзья. — И чего в ней нашел Феоктист Фомич, и как все это стряслось — просто уму непостижимо...

Феоктист Фомич и сам не знал, как все это стряслось: он был настолько взволнован (как и татарами в бане) напористым безобразием Голиндухи Карповны, что даже и не успел заметить, как далеко зашел он в обольстительные дебри почти супружеских отношений... Теперь он нес все тяготы своей подневольной жизни молча, с растущей робостью замечая, что Голиндуха Карповна подминает его под себя, как львица, даже и от твердых мнений не оставляя следа. Несмотря на это, он пользовался репутацией почтенного и милого человека, и все обыватели с удовольствием видели его в продолжение лета на одном и том же месте песчаного пляжа, в то время как Голиндуха Карповна купалась поближе к женщинам. Стесняясь и любопытствуя, Феоктист Фомич поглядывал на голых женщин, побрякивал с тайной завистью, когда видел рядом с тощей женой что-нибудь пышное, молодое, округлое, — и разговоры на эту тему были особенно в ходу. Больше того — они-то и погубили Феоктиста Фомича, положив начало внезапным и тягостным приключениям, которыми с нарочитым азартом наградила его судьба...

Однажды, в начале осени, в один из тех дней, когда еще гнулось небо за городом ясное и сияющее, а широкая гладь реки под ним голубела и лоснилась, как опрокинутая с неба радуга, Миша Мигайчик сказал с веселой гримаской:

— Гляжу я, гляжу, Феоктист Фомич, а не вижу я ни одной подходящей мордочки. Потому, знаете, и не женат. А уж если бы!.. вот, ну, видите ту, что шагает в воду? Это же квашня с перекишим тестом! Ноги как тумбы, спина подобна лошадиному крупу, а руки... Так в

этих же руках задохнуться можно: отекут они вокруг шеи — и погиб, как в тугом хомуте!

— Это Кукуева, главного бухгалтера жена, — робея от прямоты Мигайчика, пояснил Феоктист Фомич. — Она-то, действительно, нездорова...

— Эта квашня нездорова?.. — весь просияв, заметил Мигайчик, и уже хотел сказать что-нибудь остроумное о Кукуевой, но за ними вдруг кто-то фыркнул, и молодой звонкий голос весело произнес:

— Ну, ясно: такие-то и больны! Вот ими навоз бы возить, небось похудели бы!

Феоктист Фомич обернулся и сразу нахмурился. Перед ним сидел Кругляков — человек невзрачный и молодой, но, как всякий молодой — с задором. По плутоватому лицу Круглякова, не уставая, катались, как шарики, круглые карие глазки, с удовольствием и занозистой веселостью останавливаясь на всяком предмете, а тем более на предмете таком любопытном, как Феоктист Фомич. Руки его были маленькие, но крепкие, и Феоктисту Фомичу всегда казалось, что они живут какой-то особенной жизнью, как и глаза, стараясь прощупать людей до последней складочки, — расправить, раздеть, а затем уже сделать что-нибудь обязательно резкое и насмешливое. И, несмотря на то, что Кругляков был в совете только налоговым агентом, Феоктист Фомич боялся его, может быть, больше, чем председателя, всегда испытывая при нем чувство безотчетного страха и непонятной вины. Ему казалось, что служба его в совете учтена Кругляковым совсем по-особенному: насмешливый агент следит за ним хитро прищуренным глазом, видит, как втирается Феоктист Фомич с трудом осторожным, но плодотворным, в узкие щели управления; как вот уже стал он человеком почтенным и милым, а затем... Вот здесь-то и сделает Кругляков нечто злое и веселое!.. И теперь, не желая показаться невежей, Феоктист Фомич промычал:

— Да-а... конечно: жир от бездельной жизни.

Но Кругляков ему не ответил. Он с насмешливой ухмылкой всмотрелся в женскую половину пляжа и, может быть, зная, а может быть, и не зная жены Феоктиста Фомича, вдруг весело выкрикнул:

— Ого! Эта толстая еще что, вы вот поглядите: вышла вон та, что с простынью... Так ведь это же доска, совершенно доска! А ноги, а ноги...

Феоктист Фомич с испугом и обидой переспросил:

— Вы чего там... о ком вы?..

— Да эта вот ведьма, видите: тощая, как лопата? Ну, знаете я впервые вижу!..

Миша Мигайчик фыркнул — и кубарем откатился в сторону. Он после рассказывал острякам-друзьям своим так: встал Феоктист Фомич белее своего белья, которое ухватил он дрожащими руками с земли, Качнулся он в сторону насмешника Круглякова и хотел сказать ему что-то неразборчивое и злое:

— Вы... вы, молодой щенок...

Но язык его не смог повернуть больше ни единого слова, будто застряли слова во рту, как сухие щепки, острыми концами распирая щеки... Тогда Феоктист Фомич только жалко сморщился, заторопился вдруг от Круглякова прочь, стараясь не глядеть в глаза удивленным купальщикам, и пошел на лужайку к самоварам и мороженщику. Там он встал, дрожащими руками подтягивая кальсоны, оделся и, дудкой наставив ладони, крикнул через весь пляж надтреснутым и грустным голосом:

— Голиндуха Карповна, иди сюда-а-а!..

— Чего ты? — ответила Голиндуха Карповна с неохотой и злом.

— Иди-и, тебя обижа-ают...

Сверкая косыми глазами, Голиндуха Карповна подошла к нему, и все услышали ее острый, как шило, скандальный голос:

— Ты что? Обо мне говорят «доска»?.. Так у них язык, как доска, а матери их доской морду били! Я вот найду, кто сказал... это тот вон, тощий? ах, то-от!.. Бессовестная скотина! Я покажу ему, где у него доска, а если нет у него, — я все ему в доску расплющу!..

Голиндуха Карповна рванулась в сторону Круглякова с желанием настолько явным, что тот, неудержимо хохоча, слабея и спотыкаясь от смеха, откатился к берегу, с берега плюхнулся в воду и быстро поплыл на середину реки, раскидывая веселые брызги. Миша Мигайчик вскрикнул ему вслед, предусмотрительно спрятавшись за песчаный бугор:

— Ату его, лови-и!..

Но тут же испуганно стих и, когда Голиндуха Карповна случайно взглянула на него, он с выражением искреннего страха на своем розовощеком лице кинулся с берега вниз головой. Тогда Голиндуха Карповна раскидала по всему берегу небольшие кучки его и кругляковского белья, швырнула в перепуганного остряка полную пригоршню песка и только после того, как увидела, что бить больше некого, вернулась к Феоктисту Фомичу на лужайку...

.....

К городу шли они быстро, в полнейшем и злом молчании. Голиндуха Карповна несла свою кривоглазую голову мимо знакомых и незнакомых надменно, ожидая, быть может, расспросов, намеков, смеха; и вид ее был так неприступно-напорист, что гораздо позже веселый остряк перевел его в такую, якобы сказанную Голиндухой Карповной, формулу:

— Любопытные стервы! вам от меня не услышать больше ни разу о том, кто развелся или женился, у кого мальчик или же сразу двойня! Нет вам больше моей потачки, живите и узнавайте все, как хотите и можете! Вы ведь только и ждете случая, длиннохвостые сороки, как бы пострекотать на чужом заборе! Так вот вам: если я тощая, то и у вас — знаю я! — мать тоща... а не мать, так тетка или кто-нибудь из родственников. Так-то вот — вот вам! тьфу на вас!..

Миша Мигайчик при этом делал жест влево, будто бил кого-то прямо по зубам. Но все это было шуткой: Голиндуха Карповна не сказала на пляже ни слова из этой речи, и только вид ее был, действительно, невыразимо яростен и страшен. Феоктист Фомич рядом с ней представлял собой зрелище крайне жалкое и невзрачное: он шел к городу вслед за ней уныло, опустив голову и волоча по песку полотенце. Его большой толстый нос висел спереди, как луковица на ниточке; редяющие волосы были растрепаны, лицо бледно, и весь он казался измятым тонконогим болванчиком, у которого лопнула основная пружина... Уже у города, когда речка осталась далеко позади и любопытные лица купальщиков скрылись в тени наплывшего облака, он вдруг сказал Голиндухе Карповне тихим, трясущимся от обиды голосом:

— И зачем ты такая худая?!

Голиндуха Карповна сначала не поняла; затем, вспыхнув, затопала на него ногами. Но он сказал ей, уже тверже и настойчивее, все еще опустив голову и не глядя по сторонам:

— Зачем ты такая худая?! Все люди как люди, а тем более дамы: посмотри на жену Кукуева!.. А ты? Ну, ешь, что ли, больше, спи, лежи. Загрызли меня, показаться нигде с тобой не могу: засмеют...

— Ах, вот оно что-о... — в тон ему заметила Голиндуха Карповна, и ее косые глаза сверкнули предельной яростью. — Вы это что же, мой друг, разводиться прикажете?.. Ну уж нет, вам не удастся, да и я-то не из таких: раз вы сумели меня соблазнить, когда я была еще девушкой, то теперь умеете и жить со мной. На толщину нужно было раньше смотреть, не теперь. А раз так — вот тебе же на зло: не хочу я толстеть, не буду толстеть, до тех пор буду тощей, пока перестанешь заглядываться на полненьких или слушать наветы своих друзей...

Феоктист Фомич обидчиво вспыхнул.

— Раз так... — сказал он упрямо. — Раз ты не хочешь никогда толстеть, то и я за себя не ручаюсь. Я могу и развестись, а может быть.., наша соседка, Фаина Леопольдовна Сирота...

Но при первом же звуке ненавистного имени Голиндуха Карповна побелела, охнула и взвизгнула прямо в упор:

— Довольно!..

Косые глаза ее сверкнули такой одержимой яростью, что Феоктист Фомич сразу с'ежился, уныло замолк и медленно, — боясь, что кто-нибудь видел его, следил за ним и смеялся, может быть, над его незавидной долей, — пошел по заросшей травой улице к дому. Небо над ним уже не блестело свежестью: по его голубому полю ползли широкие облака, густые пятна теней тянулись вниз к востоку... Феоктист Фомич, с трудом удерживая накипевшую горечь, открыл калитку в свой палисадник, уныло закрыл ее. И вид привычных вещей на дворе и в палисаднике — вещей таких же крутых и недобрых, как их кри-

воглазая хозяйка,—вызвали в нем горькое чувство одиночества, досады, невыносимой тоски. Он оглядел горбылевую спину идущей впереди жены, ее ноги, похожие на кривые ходули, и голову — плоскую, жидковолосую, вместе с жилистой шеей дающую образ какой-то злой и ободранной хищной птицы. И вид ее обидной худобы был теперь так невыносимо тягостен, что Феоктист Фомич опять с невольной симпатией подумал о соседке своей, Фаине Леопольдовне Сироте, крыша дома которой была видна со двора через забор. Он потихоньку вышел во двор, к своей бане — в сад, прошел по грядкам моркови за кусты молодого крыжовника, все время думая, что Голиндуха Карповна увидит его, поймает, пристыдит... Но жажда хоть чьей-нибудь ласки была так сильна, что с решимостью совершенно неожиданной он шагнул на дорожку к забору и боком полез в калиточку, соединяющую участок Сироты с тычаево-тюшинским садом...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фаина Леопольдовна была в городе лицом почти совершенно анекдотическим. Всезнающий Миша Мигайчик о ней говорил в таких, не лишенных правды и яркости, выражениях:

— Если вы посмотрите на нее сзади, вы можете с непривычки подумать, что перед вами идет не женщина, а тем более не девушка— будьте благонадежны! Перед вами над стоптанными задками тряпочных туфель непременно треплются старинные, уже измусоленные и рваные бахромки нижней юбки; прыгает зад, неизвестно как еще сохраняя свои деликатные жиры; трясется прикрытая шляпкой, а сверх шляпки розовым зонтиком, голова — и все это грязное, нелепое, старомодное, но живое... Уж это, знаете, будто бы страннее всего!

Остряк недоумевающе разводил руками, хлопал себя ладонями по коленям. Но его розовеющее лицо не переставало при этом весело улыбаться и лосниться. Он набирал в легкие воздуху, словно собирался глубоко и надолго нырнуть, и замечал с неизменной улыбкой:

— А ежели захотите вы поглядеть на нее прямо спереду... Ну, если бы я не знал, что к людской коже не пристаёт свекла в своем естественном цвете — темнеет, — я бы сказал, что лицо Сироты всегда только что терто свежей распаренной свеклой: до такой багровости натирает она щеки свои губной помадой. При этом запах от лица ее идет такой непреодолимой густоты, что дышать буквально невозможно: забивается нос мелкими частицами помады, пудры, черни для бровей, задыхается человек, нюхая, и, наконец, уходит, навеки пораженный в нюх тяжкими чарами неувядаемой девы... Поэтому, знаете, и не покупает у нее никто, когда стоит она на толкучке с разным барахлом, улыбается с деликатностью просто неправдоподобной, а глаза бегают, боясь: не купит никто!.. Да и как тут, действительно, купить? Жизнь-то свою, я думаю, всякому жалко!

Миша почти без погрешностей описывал Фаину Леопольдовну: в глазах обывателей она представлялась именно так. Она была известна среди горожан под именем «дурочки», «барышни» или «помещицъей дочки», хоть дочкой помещика она никогда не была. Ее звали так потому, что отец ее был когда-то управляющим генерала Хлюпина; Варенька Хлюпина пригласила Сироту подругой, почти горничной; Сирота с неподражаемой прямоотой усвоила этикет светской барышни, до последней запятой заучила правила приличий, изложенные неизвестным автором под руководством провизора Остроумова в книге «Женщина дома и в обществе»; и теперь манеры ее отличались курьезным изяществом. При разговоре с людьми она кланялась во все стороны с таким искусным разнообразием и улыбалась, делала жесты, вставала и садилась при этом так, как этого требовал возраст или внешность редкого собеседника...

Годы словно не коснулись Фаины Леопольдовны: она не замечала ни перемен, происшедших с ней, ни лет своих; она сохранила нетронутой девственную свежесть институтки, и вряд ли был в городе обыватель, который не знал ее пышной смешной фигуры, крупного толстощекого лица, на котором еще сияли торжественным ожиданием выцветшие глаза. Летом она ходила по городу кокетливо, в мягкой соломенной шляпке с огромным страусовым пером и помятыми хвостами ленточек. Поля шляпки круто сгибались к ушам, из-под них выбивались волосы — волосы парика, скрывавшего почти облысевшую голову старой девы. По улицам за ней бегали мальчишки и остервенело кричали, прыгая на одной ноге:

Чучело, чу-учело,
Пузо квасом вспу-учило,
Из волос торчат вихры,
Из низу висят мохры...

Фаина Леопольдовна жила в своем доме совершенно одна — с козой Нелли и с тощим котом Агамемноном. Комнаты дома, исключая кухни, были закрыты наглухо; вещи из комнат Фаины Леопольдовна продавала на толкучке, питаясь козьим молоком и редкой вырубкой от вещей. Зимой закутанная фигура ее представляла собою зрелище совершенно редкостное: поверх всяких тряпок, старых фуфаяк и рейтуз, поверх брезентовой юбки, кофт и телогреек, поверх изодранной и непомерно длинной шубы, соломенной шляпки, прикрытой пуховым платком, и замотанной полотенцем шеи, — всегда от верха до низа прикрывало ее шерстяное с кисточками одеяло, во многих местах прожженное, изодранное, изжеванное козой. На ногах ее были туфли, тряпки, валенки, и она спала в нетопленной кухне не раздеваясь, около Нелли, вместе с котом, на деревянной кровати. Подол ее шубы, юбок и одеяла был всегда мокр, как тряпка; за ночь леденел, затвердевая до металлической крепости, — и Фаина Леопольдовна с утра уходила греться к соседям, всюду оставляя после себя широкие лужи воды.

О ее посещениях говорили так:

— Придет и сядет, деликатно улыбаясь. Спросит: что же не заходите? А из-под ног вот уже потекло, потекло... закрутилось ручьем, запенилось!..

Когда темный ручей растекался от ног под стулья и плетеные половички, Фаина Леопольдовна вставала, мягко кивала закутанной головой и шла на улицу. Подол ее качался, как деревянный, оставляя повсюду мокрые пятна; одеяло звенело кисточками, замерзая на жестком ветру, но в пылком сердце Сироты ни на минуту не гас энтузиазм и первые пробужденной любви... Она была девушкой, и горькая тяжесть позднего девичества угнетала ее невыразимо. Вместе с тем ее одиночество заставляло тем пристальней углубляться в приятные области любовных мечтаний, что кот Агамемнон весной сладко жмурился после ночных походов, а Нелли часто ходила задумчивой и счастливой, бережно нося живые, вздувшиеся бока. Поэтому неудивительно, что ближний сосед Сироты стал объектом вежливых, но уже и нескромных атак. Она глядела из своего садика через забор во дворик Тычаевых-Тюшкиных, писала записочки на рваных клочках обоев на бумаге старинным огрызком карандаша; просовывала записочки сквозь щели забора, надеясь, что милый увидит, прочтет, придет. Но милый не мог ни прочесть, ни притти: Голиндуха Карповна швыряла записки нечитанными, измятыми, рванными обратно, и Миша Мигайчик недаром рассказывал о горестях сиротской любви так:

— Трудно же девке, ей-богу! Сами посудите: не худая, не кривоногая, а вот подите ж: без мужика!.. Тут поневоле взвоешь, а тем более, знаете, сосед миловиден и тих, с носиком наподобие луковицы. Такие носы женщинам, как известно, слаще меду; поэтому грусть и берет за сердце... да что берет: пяткой на сердце становится! Тут-то Фаина Леопольдовна и садится на пол к своей козе, жалостливо мэмэкающей хозяйке на ухо, и обнимает козу за шею. Сидят они обе на полу и поют, качая головами:

Отвели-и-и уж давно-о-о хризанте-емы в саду...

— А когда доходят до места, где

А любо-овь все живе-от в этом се-ердце больно-ом...

— то обе плачут. Еще бы, знаете! Полюби-ка соседа, когда сосед робок да что-то неласков, а жена у него тоща и даже издали, кажется, может заесть глазами! Тут поплачешь, тут и подумаешь, обняв не то что козу, а самую простую галошу...

Миша надувал свои розовые щеки, изображая Фаину Леопольдовну, делал лицо свирепо-печальным и вдруг отдувался так, словно лютая тоска уже наступала пяткой на его сердце...

В глазах Фаины Леопольдовны Феоктист Фомич приобрел особую прелесть еще потому, что он рисовался ей в образе Гименея, соединителя пылких сердец, хранителя многих любовных тайн, неизведанных ею и поэтому возросших в мечтах ее в огромные радужные миры. Она вела дневник, вписывала в него почерком крупным и неровным кривые вос-

торженные строки, и Феоктист Фомич в них рисовался небывало прекрасным, любящим и любимым. По дневнику можно было подумать, будто бы он давно уже пылкий возлюбленный Сироты, будто ее девическая постель не раз была нескромной свидетельницей испепеляющих порывов, объяснений, слез, криков радости и страсти...

Все это не укрывалось от городских остряков, и каждому в городе был известен игривый стишок, посвященный Феоктисту Фомичу и влюбленной Сироте. Стишок этот был сделан неумело, но зло, и начинался так:

Кто дура та?
Сирота.
Кто там бел, как бумаги лист?
Феоктист.
Почему?
Потому что ему самому
Приходилось в горячем дыму
Для соседки пылающей страсти
Вылезать из окошка и...
.....

Дальше автор стишка рассказывал неправдоподобную историю о том, будто видели Феоктиста Фомича ночью вылезавшим из окна Сироты во всем белом, с кружкой козьего молока в руках, которое было якобы условной платой за известные одолжения...

А между тем, Феоктист Фомич не мог лезть из окна соседки уже только потому, что окна кухни ее были всегда забиты двойными рамами, — даже мохом обросли, до такой степени долго не отворяли их. Он не только не стремился к Фаине Леопольдовне, как это иногда ревниво думала и Голиндуха Карповна, которой невольно казалось, что всякая полная женщина — ее безусловный враг, но даже Сироту терпеть не мог. Шел он к ней теперь исключительно потому, что жар ее явной и пылкой любви влек его застывшее от одиночества и горечи сердце...

И вот как раз в то время, когда он шел к ней, Фаина Леопольдовна переживала тяжелые минуты любви. Она не могла больше вынести того, что жар любви ее пышет впустую — не радуя, не привлекая возлюбленного и только злостью распаяя крикливую Голиндуху. Она долго думала о любви своей; наконец, взяла большой лист неизрасходованных обоев, перевернула его белой стороной кверху, — и сразу ей стало отрадно и весело. Она вспомнила — совершенно туманно — перетянутого мундиром офицера, которым не раз дразнила ее Варенька Хлюпина, почему-то хохоча, — и жесткая обойная бумага внезапно показалась ей глянцевицей и ароматной: Фаина Леопольдовна с нежной заботой помуслила огрызок карандаша и, отставив мизинец, задыхаясь от нахлынувшей влюбленности, вывела карандашем на измятой бумаге:

«Милый...».

Буквы протянулись кривые и крупные, как у школьницы. Фаина Леопольдовна с любовью остановилась на них, прочла слово —

короткое и какое-то теплое, круглое, как лицо наполовину вымечтанного офицера, — и розовая, незаметно для себя мусоля карандаш и замазывая губы лиловыми пятнами, быстро вывела еще:

«Мой котик, Ты забыл свою Фаину, а она так любит тебя. Где ты, приди, мой котик... Ты мучаешься без меня, я знаю—не нужно слов. Но тебя не пускает эта ужасная Голиндуха, которую мне иногда видно через забор... Ты томишься в ее цепях... Но, котик, я всюду с тобой, я жду тебя, я сделаю лепешек на козьем молоке и не буду запира-ть дверь... Ты придешь из душной темницы, мой Феоктист, и мы будем счастливы.

Твоя навеки. Люблю моего котика. Ф. С.»

Фаина Леопольдовна долго со счастливыми слезами на глазах перечитывала письмо. Оно ей казалось и хорошим, и вместе с тем не хватало в нем чего-то такого, что, может быть, возникает только в то время, когда возлюбленный возьмет его, дрожа от счастья, и расцелует каждую строчку... Она сложила неровный листок плотным пакетиком, связала его цветной рогожкой, и предстоящая встреча с Феоктистом Фомичем приобрела вдруг такое особое значение, от которого, казалось, будет зависеть и вся судьба. Фаина Леопольдовна долго рылась в старых тряпках, стараясь найти что-нибудь новое, неожиданное и благородное. Но все уже было изношено и оборвано, с висящими лоскутками. Только расписная кофточка украинской девушки еще могла послужить для такой торжественной цели. Фаина Леопольдовна примерила ее к бурой брезентовой юбке, которую носила без пере-мен и в праздник и в будни; вышла из кухни в садик. И как раз в то время, когда Феоктист Фомич пролезал в калитку к Сироте, она с тре-петом прислушалась: не гремит ли где-нибудь голос ненавистой Голиндухи?

Но голос Голиндухи Карповны не гремел нигде, а только вдруг со стороны забора скрипнула тихонько калитка, и Сирота увидела, как на фоне заборных планок и пышной зелени сада показалась люби-мая голова Феоктиста Фомича... Выражение лица его было такое нерешительное, что даже Фаина Леопольдовна поняла, что возлюбленный сам не рад своему неожиданному влечению и что он сейчас дернется, вскрикнет и убежит с глаз долой, никогда больше и не подумав попытаться счастья. Она поняла это по-своему так, что ее возлюблен-ный застенчив и робок, как юноша, — да и как не быть робким, если всякую минуту можно услышать злое Голиндухино рычание? Поэтому с ловкостью, совершенно грациозной, она бесшумно приблизилась к Феоктисту Фомичу, быстро захлопнула калитку и с обворожительной улыбкой потянула от забора к дому...

Он пошел за ней по заросшим дорожкам к дому; и даже при небывалой игре своего воображения не смог бы догадаться о том, что думала идущая впереди Сирота. А между тем, она еле шла. Ей было и небывало приятно, и блаженное счастье охватывало ее, но и понятный страх подкашивал ноги: она уже давно ждала к себе воз-

любленного; она разыскала в ящике с книгами, среди многих достойных — одну, автор которой был скрыт за неясными инициалами, озаглавив свой труд так: «Жгучие тайны первой брачной ночи или подарок неопытным девушкам»... В этот решительный день Фаина Леопольдовна в десятый раз от корки до корки проглядела книгу, и теперь визит Феоктиста Фомича представлялся ей и радостным и страшным, предназначенным самой судьбой, жестокой, но и милостивой к одинокой влюбленной...

Они сели в кухне за столом, рядом с греющимся на примусе чаем. Фаина Леопольдовна сидела как на иголках, то вспыхивая, то угасая; но лицо ее неизменно улыбалось, голова отдавала поклоны, и Феоктист Фомич с невольным любопытством глядел на нее. Скучая, но стараясь быть вежливым, он вяло расспрашивал ее о здоровье козы и кота; но Фаина Леопольдовна волновалась при разговоре страшно: опускала глаза, говорила тихо, ни на минуту не забывая о правилах остроумовского руководства. И когда Феоктист Фомич спрашивал ее:

— Не лучше ли иметь не кота, а кошку?

Она сразу улыбалась, вспыхивала, отвечала голосом «негромким и приятно модулированным», и кланялась при этом, зная, что «долг хорошо воспитанной молодой особы, когда ее спрашивают, отвечать скромно, и в конце своего ответа она должна слегка наклонить голову»...

Наконец, желая расспросить и его, горя страстной жадой войти с ним в теснейшее общение, так как «в разговоре открываются степень разума и состояние души,—разговор—это главное и, может быть, единственное средство нравиться в свете», — она спросила его нарочно по-французски, с трудом подбирая соответственные слова:

— А не кажется ли вам, что день сегодня приятен, а по лугам гуляют мальчики, и девочки рвут цветы?

Она улыбнулась в ответ на его молчание и скромно заметила:

— Есть даже подходящие к тому стихотворения. Вот, например, хотите? Вам каких — любовных или драматических? Мы с Варенькой Хлюпиной *les avons beaucoup étudié*...

Феоктист Фомич сконфуженно промычал:

— М-мм...

— Что? ah, простите!..

Она замолчала, отмахнулась руками так, словно слова навязчивыми мухами лезли ей некстати на язык, и, наконец, с легкими удивлением заметила:

— *Vous ne comprenez pas?*

— Гм-м.... говорю я вам...

Феоктист Фомич снова хмыкнул, придумывая, что бы ответить, потом крикнул и суровым от полнейшего непонимания голосом сказал:

— Теперь, Фаина Леопольдовна... и мне странно, что это вам неизвестно?! Но теперь всякая иная речь, кроме коренной великорусской, запрещена декретом. Всех в том виновных без излишнего шума

забирают в ГПУ и направляют, может быть, к каким-нибудь родственникам на Соловки!..

У Фаины Леопольдовны были троюродные племянники, дети бывшего купца Караваяева, и ей часто думалось, что все ее покинули потому, что вырвали их из родимых гнезд, осудили и выслали куда-то на Соловки. И хоть Миша Мигайчик не раз говорил ей, что племянники ее живы, благоденствуют — кто счетоводом, кто агентом по закупке, а кто и просто сторожем магазина в обширных московских трестах, но Фаина Леопольдовна не помнила этого никогда, и после слов Феоктиста Фомича долго не могла произнести ни слова. Чтобы как-нибудь успокоиться, она сняла с примуса скипевший чай, быстро разлила его в чашки и поманила козу. Феоктист Фомич с ужасом увидел, что соседка поставила козу, над узкой скамеечкой, сдоила молоко из козьего вымени прямо в чашки, и все это сделала она так просто, с такой привычной ловкостью, что Феоктист Фомич понял: коза для нее, как сестра, с которой сжились они, сроднились, не замечая между собой разницы, и вымя козы для Фаины Леопольдовны приятно и чисто не в меньшей степени, чем новенький молочник...

Феоктист Фомич с отвращением взял чашку и отхлебнул. Он давно уже пожалел о том, что пришел сюда: его тяготили влюбленные взгляды Сироты, и он сидел рядом с ней, проклиная себя и этот день, столь неудачно начатый им. Он хотел уже встать и уйти, но Сирота, видимо, с этих-то мгновений и ожидала наиболее интересного. Стараясь не показаться слишком взволнованной, она с милой грацией поправляла непослушные складки широкой брезентовой юбки, опустила глаза... И, наконец, сказала, через силу улыбаясь:

— Вы, Феоктист Фомич, так приятно выглядите... Одна моя подруга — Варенька Хлюпина — называла это: вид de l'amour... И это правда.

Феоктист Фомич сердито насупился: он уже начинал бояться пылающих глаз Сироты.

— Я не понимаю вас... — сказал он кисло и с отвращением отхлебнул из чашки.

— Нет—это правда! А вы, Феоктист... ах!—Феоктист Фомич... вы любили когда-нибудь?

Она подвинулась к Феоктисту Фомичу, и он совсем явственно ощутил пугающий жар ее шопота:

— О, вы должны были любить... или, может быть, — любите.

— А я говорю, что нет! И, в общем, мне некогда....

Феоктист Фомич с нарочитой резкостью встал, боясь, что вслед за словами Сироты последуют недвусмысленные действия, а затем про него напишут новый стишок, осмеют, ославят, и, как ни вертись, а трудно будет разуверить жену и веселых друзей. Он уже не хотел ни ласки, ни симпатии, ни простой заботы. Тощая Голиндуха Карповна показала ему приятней всех толстых женщин, с которыми говорить совершенно трудно, кровь которых бушует с такой ненадежной

стихийностью, что вот, того и гляди, накинется тигром на собеседника...

— Как-нибудь после! — сказал он поспешно, затем испуганно протянул в сторону Сироты чашку с недопитым чаем, надеясь, что это удержит ее от решительного прыжка, и задом вышел из кухни. Последнее, что он увидел, это было лицо Сироты — грустное, недоумевающее, полное противоречивых желаний. Она стояла в кухне у стола, и руки ее тряслись от горя и желания обнять возлюбленного.

— Вы... куда же? — услышал Феоктист Фомич. Но ему уже было не до нее.

— Идите вы к чорту! — крикнул он весело и безбоязненно, просунув голову в дверь.

Соседка все с тем же выражением горького недоумения стояла в кухне у стола. Тогда, оставив чашку с чаем, на пороге, Феоктист Фомич быстро кинулся со двора Сироты — через ее запущенный садик к своему дому.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другое утро встал Феоктист Фомич с трудом, разомлев от комнатной духоты и серой сырости за окном: ночью шел дождь. Вчерашние сцены на речке, а затем разговоры с соседкой сразу же омрачили и без того серый день, наполнив сердце не то предчувствием какой-то беды, не то ощущением тягостного стеснения. Феоктист Фомич уже совершенно сознательно встал с постели левой ногой, огляделся по сторонам с такой мрачностью, что обиженная вчера упреками в худобе Голиндуха Карповна не сказала ему ни слова, когда с тайным страхом перед ее молчанием, но с видом гордым и равнодушным, прошел он умываться в кухню. Однако, в кухне он уже сам не выдержал своей мрачности до конца: за окном, на мокрой бурой земле, напряженно воя и вздрагивая хвостами, сидели друг против друга два тощих кота, и Феоктист Фомич с радостью увидел, что один из них был его полосатый Барс, другой — соседкин Агамемнон, белый, с круглыми рыжинами...

Агамемнон сидел перед Барсом комком, пораженный привычной трусостью: не раз носил он на ушах своих и на спине царапины или рваные плешины после подобных побоищ, и лучше кого бы то ни было знал боевую работу своего врага. Поэтому, выл он с такой безнадежной натужливостью и так тоскливо поглядывал по сторонам, что можно было сказать заранее, на чью сторону склонится слава победы. Барс следил за ним с кровожадной внимательностью, как за притихшей мышью, стараясь казаться вполне равнодушным, но хвост его перекатывался вправо и влево полосато-бурой пружиной, откидывая в стороны мелкий сор...

Феоктист Фомич засмеялся даже, поняв перспективы приятного зрелища. Он сразу забыл и о полотенце, обмотанном вокруг шеи, и о сердитой жене, осмеянной Кругляковым на речке; даже унылость

погоды **показалась** ему в своем роде прелестной. С остро вспыхнувшей **радостью он** встал перед окном, уже заранее насмехаясь над трусливым Агамемноном и противной его хозяйкой, прижался носом к засиженному мухами стеклу и, жадно ловя каждое движение настороженных противников, просительно прошептал в окно, обращаясь к Барсу:

— Бей его... ну, Барсик, бей! Хоть кота ее бей, хоть кота!

Он ткнул нетерпеливо в окно кулаком, стараясь не напугать котов, с остервенелым увлечением **крякнул** и приник к окну совершенно вплотную.

— Дай ему, ну дай! — повторил он просительно, следя влюбленными глазами за Барсом. — Дай ему, Барсик, лапой по морде! Царапай ухо!.. рвани за морду!.. ухвати за горб — да об угол, об угол, об угол!..

Коты выжидающе выли и, казалось, глядели на все, что только никак не касалось их. Полосатый Барс был напряженно распластан, его усатая морда очарованно тянулась к рваным кончикам вражеских ушей, но мяукал он с таким густым равнодушием, что даже при-выкшего к его тактике Феоктиста Фомича разбирало смертельное нетерпение.

Наконец, не выдержав, сжавшийся комом Агамемнон стал нерешительно шевелиться, едва заметно и нехотя пополз он от кухни к забору. Но Барс туго дернулся; кот Сироты испуганно взвыл... и вой их смешался в дикую боевую музыку... Феоктисту Фомичу трудно было уследить за каждым их движением: он только ту же налипал на стекло, скрипя по нему жесткими усиками, откидывался туда и сюда, стараясь охватить поле битвы полнее, во всех его проявлениях, — и дикая музыка воя зажигала его, как вино. Вино это было так опьяняюще, что если бы было можно, если бы стал тощий кот Сироты драться с ним, — лег бы Феоктист Фомич на живот во дворике, закрутил бы ноги в напряженную дудку хвоста и, подобно упругому Барсу, прыгнул бы прямо с размаха на круглую шею Агамемнона..

Но коты буро-белым клубком откатились в сторону; их перепутанные хвосты метнулись где-то уже у забора, наполнив сердце Феоктиста Фомича взрывом невольной горечи: он понял, что не увидит ему конца их волнующей драки. С досадливой торопливостью, еще полный музыкой пережитого волнения, он плеснул пригоршню свежей воды в лицо, глотнул на ходу горькую жижуху чая и быстро, привычной рысью побежал в совет.

Однако, день встретил Феоктиста Фомича игрою странных случайностей: упоительный бой котов оказался первой и последней радостью пасмурного дня. Но, ничего не зная, вышел Феоктист Фомич на улицу с бодростью и весельем. Он, как юноша, быстро шагал по грязным переулкам, перепрыгивал с камня на камень на мостовых, стараясь не запачкать штилеты; и музыка яростной битвы еще звучала в его ушах. Но за кокетливым зданием почты улица опускалась вниз, к реке,

образуя широкую лавину, всегда сырую — даже и в солнечный день; Феоктист Фомич подвигался там медленно, взвешивая каждый свой шаг. На брюках его и на новых блестящих штиблетах еще не было ни одной помарки, ни одной грязной капли, и поэтому особенный страх охватил его, когда подошел он к дверям совета: разлившись в мутное озеро, перед самым порогом раскрытых дверей блестела огромная лужа, и кучка приехавших по делам кляпинских мужичков веселыми прибаутками провожала скачущих по луже служащих.

Вода доходила до щиколоток, и, несмотря на то, что время работы уже наступило, Феоктист Фомич не решился пройти по луже. Он остановился перед ней, на буром ее берегу, и с горькой досадой произнес:

— М-мм, чорт! Нанесло ее, чтоб ей, не во-время...

— Да уж, товаришш!.. — весело заметил длинношей кляпинский мужик, прожевывая хрустящий огурец с хлебом; и все остальные мужички с любопытством поглядели на Феоктиста Фомича. Он сердито подергал себя за усики, взглянул на мужичков так, точно они были больше всего во всем виноваты, и понял: надо лезть! Заранее жалея не впрок погибающие штиблеты и брюки, он уже хотел прыгнуть с размаха в лужу, как вдруг увидел идущего с деревянной лопатой гиковского сторожа Пантелея. Пантелей был щупленький и шустрый, погнувшийся вперед так, будто на каждом шагу его ожидало неотложное дело; на его деловитом лице в беспорядке росли сероватые волосы, переплетаясь у рта, как замысловатый плющ; с плеч свисала мешком длинная рубаха, а штаны ему старуха сшила с такой мотней, что гиковские поломойки всегда кричали ему одно и то же:

« И-эх, Пантелей, что те в мотню-то, аль проса насыпали — по полу везется?!

И теперь Пантелей деловито трусил по грязи, держа деревянную лопату наготове, а его удивительная мотня свисала до самой земли. Он ковырнул лопатой бережок на своем конце лужи, но бережок почти не тронулся, и длинношей мужик весело пошутил:

— Ну, тебе бы, дядя, могилу такой лопатой вскопать — век бы, знать, без похорон остался!..

При виде Пантелея Феоктиста Фомича словно толкнуло что. Он опустил уже задранные кверху брюки, нахмурился, оглянувшись, — но тут же радостно закричал Пантелею, уже и хмурясь и улыбаясь одновременно:

— Пантелей, голубчик! Не в службу, а в дружбу: помоги, голубчик Пантелей, перебраться через лужу, а? Время нет ждать, понимаешь?! да помоги, говорю — двугривенный твой будет, а? Чего ты?..

Пантелей был на ухо крепок: услышал сразу, но понял с трудом; и когда с несколько робкой готовностью подбежал через лужу к Феоктисту Фомичу, случайная публика уже ожидала конца происходящего с явным нетерпением, — и с особенным любопытством следили за ходом дела кляпинские мужички. Чувствуя понятное стеснение и не

желая показаться смешным, Феоктист Фомич хотел попросить Пантелея принести кирпичей или доску, но вместо этого вдруг рассердился и обиделся, что стоят мужики без всякого смысла и, усмехаясь, глазят на него, как на вступающего в драку кога... Он быстро сунул опешившему от неожиданности и непривычности происходящего Пантелею двугривенный, ухватил его за плечи и, подтолкнув к дверям, повис у него на загорбке. Едва удержавшись на ногах, Пантелей подхватил Феоктиста Фомича руками, потоптался на месте с лицом недоумевающим и унылым и медленно тронулся через лужу к низкому гиковскому порогу...

Из ахнувшей публики кто-то протянул с насмешливым сочувствием, и Феоктист Фомич сразу узнал, что это веселый длинношей мужик, перед тем жевавший огурец с хлебом:

— Поехала молодница, да коняка не годится!..

«Ладно, чорт!»—подумал Феоктист Фомич с досадой, стараясь не глядеть по сторонам и делая лицо строгим. Он сидел на Пантелее, как на остром подламывающемся заборе, туго обхватывая его тощие бока. И тот, задыхаясь, качался в луже из стороны в сторону так, что Феоктист Фомич потихоньку кричал, сползая с Пантелеевой спины и снова с трудом подтягиваясь... «Ничего, доедем!»—подумал опять Феоктист Фомич, уже примеряясь к скачку на гиковский порог. Но обычное благополучие покинуло его: смутно послышался голос длинношеего:

— Взнуздай, взнуздай коня-то, не разбил бы!

И тут же негодующий женский выкрик ударил по ушам как тугой тонкий прут:

— А-ах, господи!.. Залез, мерин, а еще советский!.. Прочь, большеносый чорт... ах, боже мой!.. Шлепни его, дядя Пантелей, шлепни ты его враз в лужу, тонконового жеребца!..

Пошатываясь и вытянув побагровевшую от стыда и натуги шею, Пантелей шел к двери, и его тонкие старческие руки едва держали вытянутые ноги седока. Он тыкался вперед и в стороны, как пьяный, с трудом передвигая в луже свои трясущиеся ноги, и каждый выкрик доходил до него с внезапной ясностью: он ежился и спотыкался, охваченный стыдом, будто это он ехал по луже верхом на человеке!..

Сзади пронзительно свистнул мальчишка. Свист пронесся как пуля, и Феоктист Фомич украдкой поглядел по сторонам. Он мельком увидел стоящих около лужи людей, веселых кляпинских мужичков,— а за ними, совсем близко, хитрое, усмехающееся лицо Круглякова... Кругляков шел от угла совета к месту необычайной переправы, и по его прищуренным, по-вчерашнему спрятанным глазам Феоктист Фомич понял, что не ждать ему ничего хорошего, что по-своему оценил насмешливый агент его необычный поступок. И этот поступок только теперь представился Феоктисту Фомичу во всем своем постыдно-унизительном, нелепом и недостойном виде: все годы приспособления, медленного вранья в жизнь, казалось, непоправимо рухнули: ему откажут в доверии, не сочтут «своим», а просто «соседом», который

неприятен, но с которым иногда можно издали поздороваться... «Ну, уж теперь-то влопался» — растерянно подумал Феоктист Фомич. И ему вдруг так неудобно стало сидеть на костлявой спине Пантелея — на глаза у всех, днем, у дверей городского совета, — что, почти дрожа, рванул он свои ноги из Пантелеевых рук и хотел встать в лужу.

Но Пантелей не понял намерений своего соседа. Ему показалось, что ноги Феоктиста Фомича нечаянно скользнули в воду из его слабых, уже отслуживших свое время старческих рук. И Пантелей, нагнувшись, хотел подбросить Феоктиста Фомича и зажать его в руках своих крепче... Но Феоктист Фомич испуганно уперся руками в Пантелеевы плечи, рванул ноги свои еще раз; Пантелей не выдержал — и, не выпуская ног седока, вместе с ним тяжело шлепнулся в лужу. Толпа ахнула; хохот кляпинских мужичков и негодующие крики женщины раздались так громко и сразу, что из ближнего продуктового магазина с лицами удивленными и напуганными выскочили все покупатели — кто с сыром, кто с хлебом, кто с чеками в руках, и встали на крыльце, заглядывая через головы любопытных. Даже лошадь одного из кляпинских, как острил после Миша Мигайчик, вдруг подняла свою морду от изгрызенной кормушки и заржала так звонко, что после долго не могла опомниться от своего же собственного ржания и с этих пор навеки потеряла голос...

Из лужи встал Феоктист Фомич весь грязный и растерзанный. Опираясь на ползущего по луже Пантелея, он прошел до дверей совета, не поглядев ни на кого, не подняв забрызганного бурой жижей лица, не выпрямляясь. Он встал в дверях, и с его опущенных рук, с побритого подбородка, с прилипших к ногам брюк деловито и быстренько побежала вонючая вода, живописно растекаясь по истоптанному порогу. Весело скалясь и отпуская язвительные остроты, стояли по ту сторону лужи кляпинские мужички, любопытные и мальчишки; негодующе причитала женщина, стараясь поднять ослабшего от непривычной натуги Пантелея. И все они показались Феоктисту Фомичу на одно лицо, и на этом лице, отуманенном смехом и шутками, нестерпимо горели прищуренные кругляковские глаза, от пристального взгляда которых бросало Феоктиста Фомича и в жар и в холод...

Он в замешательстве опустил голову и кинулся вверх по лестнице.

...Как он работал в тот день — нетрудно представить. Влюбленные парочки, толпясь у барьера перед столом записей актов гражданского состояния, совсем путались перед его пустыми глазами, и он равнодушно вписывал сведения в книгу, не вдумываясь и не понимая их. Одной очень тихой паре, опрошенной в тот миг, когда с особенной силой — как гроза — шло над Феоктистом Фомичем тоскливое воспоминание о недавно пережитом позоре, он вписал обе фамилии так, что молодая была отмечена как «Полевая жабина», а муж только именем и отчеством. Девушка расплакалась, подошедшая публика, чертыхаясь, шутила над будущими «полевыми жабёночками», и Феоктист Фомич переправил, не заметив ни возмущения, ни слез, ни шуток.

Но ближе к полдню в его тоскливое равнодушие стали все чаще врываться жгучие ключи предчувствий, ожиданий, боязни. Ему уже стало казаться, что он на службе в последний раз, что Кругляков при помощи тайных интриг уволит его и посадит нового, и город, где каждый знает регистратора свадеб, разводов, крестин, — уже не вспомнит о нем, как о вычеркнутом из жизни. Никогда еще должность делопроизводителя в загсе не была настолько привлекательной для Феоктиста Фомича, как в этот день. Если бы должность эта была материально оформлена, как стол или стул, он ухватился бы за нее руками, прижался бы к ней плечами, щеками, грудью — и не отпустил бы ее даже тогда, когда стали бы оттягивать его за ноги, кинули бы вместе с ней в воду и он, барахтаясь, прямо пошел бы ко дну...

Волнуясь и торопясь, Феоктист Фомич опрашивал посетителей, и старая ручка мелко дрожала в его непослушной руке. Бухгалтера Кукуева, пришедшего заявить о своем разводе с толстой женой, а может быть, еще и одуматься, Феоктист Фомич развел так быстро, что тот счел такую поспешность за личную обиду, нахмурился, крикнул и, промывчав неясную благодарность, пообещал никогда не забыть «настолько явного отношения» к его семейным делам...

Но даже и после этого Феоктист Фомич не мог удержать пугливой поспешности, охватившей его. Каждый хлопок расхлябанной двери, каждый возглас или шарканье, даже привычное щелканье счетовых костяшек в кассе рядом — подкидывало его словно на кулаке, заставляя морщиться и воровато оглядываться по сторонам. К подсунутому Пантелеевой старухой чаю он в тот день не притронулся, несмотря на то, что, вокруг него пили чай, скрипели стульями, ходили и кашляли. А ровно в полдень, точно не зная ничего и невзначай, к его столу подошел длинношей кляпинский мужик, помялся с едва заметной ухмылкой и спросил, перегибаясь через стол:

— Скажите, товаришш, председателя нет ешшо?

Лицо длинношеего смешливо расплзлось, не выдерживая нарочитой деловитости, а за ним сгрудились остальные, думая, что дело здесь видно шутовское, с этим давешним седоком; что можно здесь посмеяться на досуге вдоволь, а после насмешить деревню своими рассказами до порчи порток!.. Лица их тянулись к Феоктисту Фомичу с выражением совершенно непередаваемого любопытства и крайней веселости; иные даже подмигивали ему из-за плеча длинношеего, точно ласково приговаривая: «Ничего, милл-лой, не робь! Но-ох, уж и выдумщик же ты, леший те забодай!».

— Так, значит, нет ешшо председателя? — снова спросил длинношей, заговорщически подмигнув сотоварищам. — Знать, через лужу никак не пройдет, внизу-то...

Феоктист Фомич не вынес веселой симпатии мужичков. Он подпрыгнул на стуле так, словно сел на булавку, с визгом выкрикнул в лицо длинношею, охваченный нестерпимой яростью:

— Пошел ты, «товаришш», вон!..

И сразу осекся: к нему со всех сторон повернулись удивленные, недовольные лица сослуживцев и публики. Всегда веселый и ровный секретарь совета, Антон Клоков, поднял от стола свою кудрявую голову, поглядел по-кругляковски прищуренными глазами прямо в лицо Феоктиста Фомича и вполголоса, но внушительно заметил:

— Так, товарищ Тычаев-Тюшкин, нельзя. Перед вами не кто-нибудь, а посетители. И вообще, раз люди спрашивают—надо ответить.

И Феоктисту Фомичу показалось, что за суровостью клоковского лица вдруг блеснула игривой искрой быстрая смешинка, и секретарь, перемигнувшись с веселыми мужичками, стал таким строгим, что видно, едва удерживал страшное желание брызнуть хохотом.

«Знает, что я ехал на Пантелее... уже всем известно!» — с тяжелым испугом подумал Феоктист Фомич и низко отпустил к бумаге голову.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Около четырех часов, перед самым концом занятий, когда в совете уже не было ни председателя, ни секретаря, и Феоктист Фомич, как и подобные ему, с торопливой аккуратностью укладывал регистрационные книжки в стол, из коридора вышел счетовод Кубышкин и, кругло сияя безбровым лицом, выкрикнул звонким от счастья голосом:

— Ну, мамочка Тюшкин, тебя осмеяли в газете ужасно! Ужа-асно, мамочка, даже и незнакомые узнают, а смеху на улице — уши больно!..

Счетовод подпрыгнул на каблуках, прищелкнул пальцами и, обращаясь ко всем оставшимся в зале, с восторженным увлечением прибавил:

— А вас прошу полюбопытствовать, граждане. Такое зрелище, скажу я вам... такое, знаете, не часто бывает!

Холодея от догадки, Феоктист Фомич подумал: «...вот оно, началось!». И вслед за кучкой обрадованных сослуживцев, задевая ногами углы столов и тяжело опрокидывая стулья, выбежал в коридор — позаячы, вприпрыжку — и встал у лестницы, глядя вслед убегающей вниз толпе. Через прыгающие головы любопытных он увидел висящую около выходных дверей совета длинную фанерную доску, на ней щиток стеной комсомольской газеты, а рядом с нею на отдельном листе слоновой бумаги — яркую, даже издали понятную карикатуру и неровные полоски веселого текста... Карикатура изображала Феоктиста Фомича в виде розовой большеносой свиньи с маленькими усиками, самодовольно глядящей на раскрытую дверь совета, а под нею — дохлую, пригнутую мордой к луже клячу — Пантелея...

Скорее угадывая, чем различая злые детали карикатуры, Феоктист Фомич охнул и прислонился плечом к скрипучим перилам лестницы. А внизу, у фанерной доски, столпились хохочущие люди — тесно грудились ближе к карикатуре, перешучивались, отесняя передних в сторону, сердясь, крича и требуя скорейшего проникновения

в такую смешную и любопытную историю. Отдельные выкрики долетали до Феоктиста Фомича совсем ясно, словно обрадованные бесплатным развлечением люди кричали ему свои шуточки прямо на ухо, а над гомоном и веселостью их, как тугой мячик, прыгал звенящий голос Кубышкина, читающего по складам карикатурную повесть утренней поездки Феоктиста Фомича:

«... И сел тот рыцарь Тычкушкин-Чушкин на оную клячу,— читал с радостным трепетом счетовод, не отрывая глаз от веселой картинки,— и поехал по оному морю, волоча боевые доспехи по воде. Вид его, оного рыцаря Тычкушкина-Чушкина, был гордый и величавый. Он возвышался на кляче, подобно дивному монументу, но вот на самой середине моря того...».

— А знаешь?.. эй, мамочка!—счетовод поднял лицо к Феоктисту Фомичу, неподвижно стоявшему на верхней ступеньке лестницы, и, окончательно перейдя на тон дружеский, ласково помахал ему ручкой. — Ты, Тюшкин, выдумщик, знаешь! Тебя бы, мамочка, в цирк!..

От бешенства и нестерпимой обиды не смея двинуться с места, Феоктист Фомич молча слушал и с пугливой торопливостью думал: чем же ответить? что сделать такое, чтобы смыть все, — словно не было ничего в это злое утро? Но в голове его все вертелось и смазывалось, как липкая патока, и он все яснее видел, что не смыть ему никогда такого позора...

Взрыв хохота, раздавшийся вслед за тем, как, давась от смеха, прочел счетовод место злосчастного падения «рыцаря Тычкушкина-Чушкина» в лужу, обрушился на Феоктиста Фомича, как грузная каменная стена, и он понял, что надо сделать — сейчас же, не медля ни минуты — нечто огромное и удивительное. Он вспыхнул... Но голос Кубышкина подпрыгнул, прокатился в хохоте, не заглушаемый ничем, и Феоктист Фомич тоскливо закачался на лестнице, невольно вслушиваясь:

«...и выполз оттуда рыцарь наш Чушкин нечестивой свиной, навеки оною оставшись и произведя в долгие годы жизни своей многие сотни свинят. Аминь!»

Веселая, довольная кучка людей колыхнулась вниз по лестнице, плеснулась белыми пятнами лиц кверху, к Феоктисту Фомичу, и он с непонятным страхом попятился в коридор, точно снизу поглядело на него многоглазое чудовище.

— Э-э!.. стой, мамочка, стой! Что же ты? — тревожно выкрикнул неутомимый Кубышкин, заметив невольное движение Феоктиста Фомича. — Раз уж ты, мамочка, ехал на Пантелее, — иди расскажи! Расскажи, право, ну что ты стоишь там, ломаешь компанию? Иди, братец, иди. А то гляди, право, — приведем тебя сами, ей-богу!

— Приведем, ей-богу приведем! — в тон словам неутомимого счетовода закричали все сослуживцы, одобрительно поглядывая друг на друга и боясь упустить любопытное зрелище встречи человека с его же собственной карикатурной копией. — Иди лучше, друг «Тыч-

кушкин-Чушкин», ей-богу, иди! Такой, право, случай: тут-то бы, кажется, и посмеяться всем в волю, а он как нарочно ломается!!!

Самые веселые из них, по примеру Кубышкина, перейдя на тон дружеский и грубовато-приятный, нетерпеливо пошли уже вверх по лестнице, — и им с особенной красочностью рисовался момент полного ошаления Феокиста Фомича, когда он увидит карикатуру вблизи, вникнет в нее и завоет, может быть, или будет ногтями царапать веселую акварель... Кубышкин, растопырив руки, как для пасхальных об'ятий, двинулся после всех, и его лицо выражало тревожное опасение, что не сумеют они повлиять на Тюшкина, убежит от них шутник «рыцарь», и прощай тогда небывалое зрелище, не видать его, как ушей своих! От такой тревоги лицо счетовода стало даже просительным, жалким, а протянутые к Феокисту Фомичу руки тихонько дрожали. Он шел позади передних, спотыкаясь, и мягко приговаривал, как бабка, принимающая теленка у впервые рожающей телки:

— Иди, братец, ты уж иди!.. Ну вот, право: мы на тебя посмотрим. Иди же... ах, Тюшкин, чудак ты какой! Да что ты? Ну, мамочка, ну, иди!..

Взволнованное лицо Кубышкина тянулось к Феокисту Фомичу все ближе, — то расплываясь в розовое пятно, то пропадая за плотными спинами идущих впереди людей; и тогда Феокист Фомич слышал только его шопот — просительный, тревожный и нежный...

Сослуживцы подступали к Феокисту Фомичу со всех сторон лестницы, стараясь зажать его плотным кольцом и не дать вырваться... Но когда рукавов его новой сатинетовой толстовки уже коснулись длинные пальцы канцеляриста Плюхина, а сбоку заходил разбираемый охотничьим задором канцелярист же Инжеваткин, — Феокист Фомич вдруг рванулся в сторону, прыгнул, как напуганный выстрелом заяц, и кинулся вдоль по коридору, еще не зная, куда бежать. Вслед ему кто-то остервенело и весело гикнул, раздался выкрик разочарованного Кубышкина, — и больше Феокист Фомич не помнил ничего. Он пронесся по коридору в зал, настигаемый сослуживцами, подставлял им стулья, запирал двери; пробегая мимо окон, заглядывал вниз, думая броситься со второго этажа на улицу... Но внизу ходили люди, гремели телеги по мокрой мостовой, — и Феокист Фомич отпрыгивал от окна, уже слыша за спиною вздохи неутомимых преследователей. Совсем обессилев, но от страха перелетая через десятки ступеней, он выскочил, наконец, черным ходом во двор совета и прислушался, задыхаясь. И когда в дверях показался, как увлеченная охотой гончая, все тот же канцелярист Инжеваткин, со сбитым в сторону галстуком, потный и возбужденный, — Феокист Фомич быстро влез на грязный мусорный ящик, огляделся и прыгнул с ящика через забор...

Опомнился он уже на улице, на людном перекрестке, около шумной столовой местного общества потребителей. И о том, что затем

последовало, Миша Мигайчик рассказывал так, хитро прищуриваясь и взмахивая, как веселая птица, руками:

— Нет, захотела видно в тот день судьба посмеяться над Феоктистом Фомичем всерьез. Видно, она подумала: «возьму-ка я его, как старый мешок, и выверну-ка я этот мешок наизнанку, всеми мохрами вверх...». И что же? вывернула!.. И, знаете, очень смешной изнутри получился мешок-то. Смешной и очень, знаете, жалко его: пыль там, труха, паутина...

И дальше из рассказа Миши можно было понять, что, едва опомнившись от необычного потрясения, едва подняв голову свою, Феоктист Фомич прямо перед собою, на расстоянии нескольких шагов, вдруг увидел агента Круглякова... Тот стоял с постовым милиционером и, хитро прищуриваясь, говорил ему что-то такое веселое, что розовощекий молодой милиционер, неистово охая, откидывался всем телом назад, хватался руками за обтянутый ремнями живот и хохотал настолько громко, с такими смешными перекатами, что проходящие мимо люди невольно улыбались, стараясь понять причины такого неудержимого смеха.

Феоктисту Фомичу сразу стало ясно: рассказ ведется о нем, и Кругляков — единственный виновник его небывалого позора! Он остановился против смеющихся людей, точно с размаха наткнулся на столб, и, неистово вспыхнув злобой, обидой, медленно пошел прямо на Круглякова. Тот обернулся, словно почувствовав напряженное кипенье Феоктиста Фомича; весело прищуриваясь, примолк... Но тут же вдруг поглядел на смешливо сморщенное лицо собеседника, и они оба, сразу вместе, брызнули при виде Феоктиста Фомича таким оглушительным хохотом, что даже он где-то в неуследимой глубине своей почувствовал легкое щекотанье шевельнувшегося смеха, и все происходящее показалось ему на миг безобидным и остроумно подстроенным приключением... Однако, миг прошел — и еще сильнее охватило Феоктиста Фомича обидное сознание несмываемого позора. Он подошел вплотную к хохочущему Круглякову и едва заметно, бессильно толкнул его в плечо.

— Ты... смейся! — сказал он приглушенно, с трудом раздвигая трясущиеся губы. — Я вам, постой, отплачу ужо!..

Но Кругляков равнодушно поглядел на него и, не то потому, что так было нужно, не то потому, что было ему противно глядеть на Феоктиста Фомича — смачно и насмешливо сплюнул...

— Как вы смеете?! — задыхающимся от обиды голосом выкрикнул Феоктист Фомич и взмахнул руками перед лицом Круглякова, точно пытался взлететь над ним. — Кто вам позволил?! Плевать на людей не имеете права, и я прошу вас, товарищ милиционер, защитите людей, раз плюют на них прямо на улице!..

Милиционера этого только с неделю назад регистрировал Феоктист Фомич в загсе с голубоглазой рябой девушкой; жал им руки, желая счастья. Поэтому он считал себя теперь в праве просить защи-

ты — уличить насмешника Круглякова в наглом и противоестественном поведении. Он поглядел на милиционера с надеждой и радостью, ожидая с его стороны действий решительных и строгих. Но тот, улыбаясь, подумал и сказал с заботой:

— Да что вы, товарищ дорогой, зря ссоритесь? Плевать на улице запрещенья нет.

— Ах, нет?!. — растерянно от рухнувших надежд на защиту переспросил Феоктист Фомич.

— Ну да — нет. Да и что там, что плюнул? Плюньте и вы! На вас не попало, ведь? Значит — и крыть нечем.

Добродушное лицо милиционера не выдержало даже и такой серьезности: совсем открыто заулыбалось, расплылось — любовно и примирительно.

— Так что идите себе, товарищ регистратор, и дышите свежим воздухом. А между прочим...

И милиционер со счастливой конфузливостью нагнулся к Феоктисту Фомичу и, видимо, чувствуя к нему известную признательность, негромко заметил:

— А кумом, ежели что, уж я приглашу вас... Очень, знаете, бабенка хорошая попалась, помните — в прошлый вторник?..

Феоктист Фомич не понял радостей молодого мужа.

— Я вас не о бабенке вашей спрашиваю! — задыхаясь, крикнул он нарочно визгливым голосом. — Плевать мне на вашу бабенку, вот что. Тут всякие типы походя плюют на людей или же мимо их, что все равно, а вы о бабенке... Начхать мне на вас вместе с вашей рябой бабенкой!

Милиционер нахмурился от неожиданной обиды и кашлянул.

— Вот что, — сказал он, с трудом принимая вид строгий и деловитый. — Идите себе, гражданин, и зря не скандальте. Раз сказано вам — нечем крыть, значит и нечем, а вы нервный, знать с расстройством.

При звуках доброго, с трудом ставшего строгим голоса, Феоктист Фомич счел себя особо несчастным: он почувствовал себя так, точно его незаслуженно обидели и опозорили страшно; словно должны были понести его на руках, как мученика, а вместе того посадили теперь в густую крапиву... И охватил его нестерпимый зуд.

— Вы... вы... — хотел он крикнуть добродушному милиционеру и не смог: все время улыбающееся лицо Круглякова доводило его до помрачающего косноязычия. Он неожиданно для себя икнул, ничем не сумев окончить речи, — и только когда на лице милиционера снова расплылась веселая улыбка, а Кругляков звучно фыркнул, — окончательно обидевшись, Феоктист Фомич, наконец, сказал прерывающимся от озлобления голосом:

— У тебя, милый друг, как я вижу, еще в носу не кругло!.. а твоя бабенка — рябая! Ты дикий чорт еще, вот что!..

Лицо милиционера вдруг вытянулось, побледнело и сразу сделалось совершенно чужим. Он поправил хорошо прилаженный у бока кобур нагана, сухо кашлянул и строго спросил у Феоктиста Фомича:

— Вы, гражданин, чего кураживаетесь? С вами нянчиться прикажете? Вам сказано, нет причин забирать товарища Круглякова — и ша, значит! А за оскорбление личности при исполнении служебных обязанностей можно ответить.

— Ничего не ответить! — с еще большей обидой и злостью, но уже изрядно перетрясав, взвизгнул Феоктист Фомич. — Вы обязаны защищать, если хулиганы не дают мне на улице проходу! Я вам с вашей бабенкой во вторник руки жал и после все сутки запах бабенки отмыть не мог, да! А раз так — вы обязаны... вы обязаны таких вот, как этот тип...

Сам поражаясь своей решимости, Феоктист Фомич кивнул в сторону Круглякова и уже в полном отчаянии добавил:

— А я, если так, жаловаться буду! Я вам всем покажу, и вы увидите!.. Чего вы хватаетесь?! — закричал он пронзительным фальцетом, собирая последние остатки храбрости, хоть его и не тронул никто. — Я вам не девка, чтобы приставать. Это вы своих бабенок да комсомолок трогайте...

— Ого-го! Это надо выяснить!.. — услышал он вдруг холодный звенящий голос. И непривычно хмурое лицо Круглякова стало перед ним расти в огромный тяжелый пузырь: оно нависло над Феоктистом Фомичем, и он в изнеможении схватился за голову, поняв, что сказал совсем лишнее, что дело теперь испорчено совершенно и ему уже не отвертеться от тягостного ответа. Он беспомощно поглядел на милиционера, но тот хмуро отвернулся и сказал равнодушно:

— Вот что, гражданин: идите-ка вы за мной, там выясним...

— А я не пойду! — изнемогая от страха, выкрикнул Феоктист Фомич.

— Не пойдете?..

— И не пойду! Вы нарочно подстроили, я знаю вас... я вам докажу это, да! Вы не имеете права...

Он рванулся, хотя его опять не тронул никто, и, не удержавшись, ткнулся головой милиционеру в плечо. Лба его коснулся узкий холодок ремня, заставив потерянно взвизгнуть, точно на лоб упала мертвая плеть змеи. Милиционер невольно придержал его, притянув к себе за плечи. И Феоктисту Фомичу показалось, что его уже крепко схватили, держат — и скоро свяжут, может быть, как сопротивляющегося власти!.. Мысль эта мелькнула настолько быстро и так вдруг остро хлестнула его, что он, не соображая, уцепился руками за парусину летней милицейской рубашки, рванул ее вниз и, оторвавшись, быстро побежал вдоль ближайшего забора по улице к огородам...

Ему показалось, что за ним затопают тяжелые сапоги, зазвенит, как стальной соловей, тревожною трелью свисток. Но милиционер стоял с Кругляковым не двигаясь, и когда Феоктист Фомич оглянулся, задыхаясь, он увидел бессильно качающиеся от хохота фигуры врагов своих на том же месте, откуда он побежал, а на улице — из столовой, из окон домиков глядели люди — смеющиеся, любопытные, знакомые...

ГЛАВА ПЯТАЯ

К дому подошел Феоктист Фомич через чужие огороды — растерзанный, злой и усталый. Боясь показаться на улице, а больше стыдясь людей, видевших его постыдное бегство, он долго ходил по чужим задворкам и грязному садику Сироты; заглядывал через ее заборы к себе. Но там, — перед баней у колодца, — мелькала спина жены, слышалось сочное чмокание стираемого ею белья, — и Феоктист Фомич не решался пройти мимо нее такой растерянный, смешной и грязный. Он сел у забора, около пышно разросшейся по соседскому саду крапивы, и, горестно качая большим своим носом, как маятником, думал о том, что еще не было во всей его жизни такого поганого и неудачного дня. Ему было слышно иногда, сквозь чмокание стираемого женой белья, как нежный голос соседки звал кота, пролезал в сад, тоненько, как в щель:

— Агамемнон... Агамемнон...

Кот мяукал совсем близко, сидя на прогнившем столбе забора, и Феоктист Фомич злым шопотом отвечал призыву:

— Ободрали твоего Агамемнона, да-с... Нынче утром Барсик показал ему изрядно. Клынул твой кот страху, старая ведьма!..

На ушах кота, действительно, утренние царапины с грязными кусочками пристывшей крови виднелись ясно, и весь вид его был такой встрепанный и пугливый, словно Барс драл его в продолжение полного дня. Косясь на Феоктиста Фомича, он мяукал в ответ на нежно зовущий голос или, рванувшись, хватался зубами за тощие свои ляжки, напрасно стараясь поймать игравшую в них блоху... И Феоктист Фомич, уже забывая тяжелую горечь своих размышлений, с возрастающим злорадством приговаривал, глядя на кота:

— Кусай-ка, кусай!.. Она, брат, блоха-то, быстрая — не уцепишь, морда!

Кот судорожно рылся зубами в искусанной шерсти ляжек, замирал на мгновение и, разочарованно поднимая усатую морду, с вялой растерянностью тянул:

— Мя-а, мя-а-а!..

Для Феоктиста Фомича он вдруг приобрел особую цену. Сам того не замечая, Феоктист Фомич преобразил его во что-то враждебное и злое, имеющее прямое касательство к только что разыгравшейся на улице сцене. Морда Агамемнона — с круглыми драными ушами, с прищуренными глазами — вдруг показалась ему похожей на ненавистного агента Круглякова, непонятно отбившегося от своих приспешников и теперь сидящего в растерзанном одиночестве рядом с Феоктистом Фомичем перед крапивой на заборе... Феоктисту Фомичу захотелось унижить кота, давить его так, чтобы сплющить коту кругляковские уши, набить ему на узкую спину сразу и без боязни заметную шишку, чтобы смеялись люди и коты при встречах и кричали бы, указывая на него пальцами:

— Вот он, побитый и с шишкой, а еще смеялись над Феоктистом Фомичем!..

И хотелось Феоктисту Фомичу сделать так, чтобы помнил после этого кот свою кругляковскую обиду, но ничем отомстить бы не мог!..

Пряча руку от кота и делая лицо свое дружески нежным, он нащупал под собою обломок красного кирпича и метнул его в Агамемнона. Кирпич резко свистнул, с хрустом ударился в балясину забора и, не задев кота, разлетелся во все стороны мелкими кусочками. Кот прыгнул кверху, словно подхлестнутый прутом, метнулся с забора в сторону и, забившись в густой призаборный вишенник, начал тягуче и пронзительно орать. Тогда Феоктист Фомич, крадучись, встал, огляделся и, увидев у забора отбитую планку, — шагнул к ней, намереваясь ткнуть ею кота сквозь вишенник в спину. Но дверь со двора Сироты вдруг скрипнула, распахнулась, и над порыжелыми кустами крапивы, между ветками старых яблонь показалась знакомая голова самой Фаины Леопольдовны... От неожиданности Феоктист Фомич присел в крапиву, притих там, слушая. И когда совсем близко раздался встревоженный нежный голос, зовущий Агамемнона, а вслед затем и пронзительный крик кота, — он попятился задом на четвереньках глубже в крапиву и сел там, обжигая руки...

Кот вылез из вишенника на прогалину — рядом с Феоктистом Фомичем; пыхтенье соседки послышалось совсем уже близко, утрашая своей торопливостью, — и Феоктист Фомич не выдержал. Он с внезапным стыдом за свое смешное сиденье в чужом саду, за измазанный в мокрой земле и покрытый репьями костюм, с внезапным испугом перед какой-нибудь новой любовной выходкой противной «помещичьей дочки» присел еще ниже и, повернувшись к идущей соседке задом, тихо пополз в глубину крапивы. Крапива зашуршала, сыпля на его толстовку мокрые седые семечки, и шорох ее был так таинственно тих, что встревоженная Сирота с приглушенным криком кинулась прямо к своему Агамемнону, ожидая увидеть врага его — Барса или, может быть, вора. Добежав до кота и уже нагибаясь к нему, она пронзительно вскрикнула и сразу встала, оцепенев: глазам ее представился сам Феоктист Фомич. Качаясь, уползал обтянутый полосатыми брюками зад его, часть спины, да круто согнутые ноги... Но и этого было достаточно, чтобы поразить влюбленную Сироту несказанно. Она торопливо сорвала с дорожки кота своего — не интересуясь им и почти на него не глядя, — прижала его к себе, не спуская восторженных глаз с Феоктиста Фомича, и вдруг позвала его нежным, обрывающимся от счастья голосом:

— Феоктист!..

Феоктист Фомич вздрогнул от неожиданности и лег, обессилев, в крапиву на живот.

«Так и есть! — подумал он с растерянностью и досадой. — Накрыла... теперь начнет петь, чортова баба, не отвяжешься!».

Он, морщась от крапивных ожогов, с трудом вылез задом на дорожку и встал перед восторженно примолкшей соседкой — взлохмаченный и грязный, с побагровевшим от напряжения лицом. Фаина Леопольдовна отодвинулась от него, точно испугавшись, что он не выдержит, сразу подступит к ней, ни слова не говоря, и поцелует, может быть, пользуясь счастливым стечением обстоятельств... Вся ее фигура, каждая морщина густо-розового лица светилась при этом торжеством и радостью, не омрачаемыми ничем, даже злым и растерзанным видом Феоктиста Фомича. Она видела: вот он, возлюбленный, стоит с нею рядом, наедине, смущенно и страстно пожирая ее глазами! Он вырвался из цепей тощей женщины — Голиндухи; пришел сюда в садик, ждал здесь, быть может, целый час свою дорогую Фаину, приманив для призыва кота и прячась от любопытных в зарослях едкой крапивы!!

Ей вспомнилось вчерашнее свиданье и торопливые слова Феоктиста Фомича: «как-нибудь после»... И вот теперь — он здесь. Он возьмет ее за руку... он скажет ей, наконец, то, что давно раздирает его пылкое сердце, что он скрывал ото всех, таил и берег, как драгоценный цветок любви!..

Счастливо улыбаясь, Фаина Леопольдовна вспыхнула и прижала кота к груди своей так, что он слабо пискнул и с вороватой поспешностью оглядел окрестности, пытаясь вырваться. Но полные руки хозяйки сжали его накрепко, и он притих, прижав уши к загылку, опасно косясь на стоявшего сбоку Феоктиста Фомича.

— Да-а, знаете... — промычал, наконец, Феоктист Фомич, стирая с колен прилипшие ошметки земли и сора. — А я тут вот курицу ищу. Снесла, что ли, знаете, и вон со двора, pardon, стерва!..

Он с опасливой суровостью поглядел на полное счастья и ожидания любовных дел лицо Фаины Леопольдовны и невольно сплюнул.

— Фу, говорю, pardon, стерва!..

— Кто? О чем вы, Феоктист?..

— Да курица эта. Ищу, ищу — нету, pardon, стервы! А ведь сидит где-нибудь рядом, слушает и тайком от хозяев несется! Самая из всех непослушная — бесхвостая курица, серая...

Среди привычной природы Феоктист Фомич понемногу пришел в себя и, сам себе веря, сердито оглянулся — нет ли где серой бесхвостой курицы? Но ничего подобного не было нигде, и Феоктист Фомич, вздыхая, хотел уже потихоньку, боком, тронуться в свой огород, мимо восторженно притихшей соседки. Но, поняв по-иному его движение, она вдруг радостно охнула, блаженно прикрыла глаза и стала клониться вперед, к Феоктисту Фомичу, ожидая любовной поддержки или, быть может, бешеных страстных объятий... Кот в ее руках дернулся, торопливо метнулся хвостом своим в сторону, приглушенно пискнул и замер с вяло открытым ртом, как издыхающий.

Отпрянув, Феоктист Фомич крикнул:

— Да я не за тем... что вы?!.

Но полная рука Сироты уже ухватила его за конец толстовки, потянула его вниз на себя. И Феоктист Фомич с ужасом увидел, что на него вплотную налезает ее покрытое помадой лицо, широкие и огромные губы, раскрытые от упоения, а за ними блестят прямые, как заборные слезы, зубы... Он зажмурился и невольно толкнул ее, вскрикнув:

— Стой, ты! Пристала, как банный лист... о-ох!

Но соседка уже не слушала его, захлестнутая небывалым желанием, забыв и свой собственный деликатный характер и правила провизора Остроумова. Она обхватила его поперек, стараясь прижать как можно теснее к своему взволнованному сердцу, и даже в такую минуту Феоктист Фомич не мог не подумать с известной завистью:

«Эк ее распирает!...».

Он бессильно уперся в грудь ее локтями, но лицо Сироты, дыша нерастраченной нежностью, подбиралось к нему все ближе, губы уже начинали самозабвенно мусолить его выбритый подбородок, возбуждая странный, сходный с крапивным зуд..

Почти теряя всякую надежду на спасение, Феоктист Фомич отчаянно дернулся и, не жалея ни нового сатинета толстовки, ни брюк своих, бросился напрямик к забору, думая улизнуть сквозь планки или перелезть через них к себе в огород. Сминая вишневую поросль, траву и крапиву, он ухватился за верхние планки забора и подскочил, надеясь оставить взволнованную соседку далеко позади — огорченную и смешную. Однако, не удалось ему сделать так. Едва только тело его метнулось вверх и легло животом на заборные балясины, уже готовясь перекинуть и ноги, как вдруг забор звучно треснул, тихо качнулся, и Феоктист Фомич почувствовал, что на ногах его повисли невидимые гири — тяжкие и горячие, как разогретый солнцем кирпич. Они потянули ноги его обратно вниз, в садик остервенелой соседки, — и, лежа на животе на острой верхушке забора, поняв, что вырваться теперь уже невозможно, что замучает его небывалой страстью влюбленная Сирота, — он вдруг безотчетно, полный единственным жадным желанием вырваться, бессильно и натужливо завыл...

Вой его раздался жалобно и глухо. И сквозь него усталое ухо Феоктиста Фомича без труда уловило взволнованный шопот влюбленной.

— Милый... куда же? Котик, а целовать?! Не бойся... я одна... вернись... вернись!..

Она обнимала его ноги, — и, висая вниз головой, Феоктист Фомич видел сквозь редкие планки забора, что ноги его прижаты к груди Фаины Леопольдовны туго, а о них страстно трется щека ее, оставляя на светлых брюках розовые помадные пятна.

— Пусти же ты!.. — с остатком растерянной злобы выкрикнул он непослушным голосом и слабо дрыгнул ногами, пытаясь вырваться. Но ноги его застряли в руках Сироты накрепко, — и тогда он снова завыл, уже громче, тоскливее и протяжнее...

От низенькой бани Тычаевых-Тюшкиных, мелькнув удивленным лицом над кустами крыжовника, отошла с недостиранной кофтой в руках Голиндуха Карповна и прислушалась. Станный вой пронесся еще раз от соседского забора — протяжный и жалобный, напоминая голос мужа; а вслед за ним, как шорох вслед за летящим камнем, тревожно донесся соседкин шопот:

— Милый, постой... люблю! Феоктист... котик... куда же?..

Не выпуская из рук намоченной кофты, с криком, сорвавшимся с губ, как мгновенное пламя, Голиндуха Карповна кинулась прямо через крыжовник к забору... Там, вытянув шею и устало мыча, висел на острых планках побагровевший большеносый муж, а за ним, прижимаясь к брюкам его щекой, беспорядочно шепча и вздыхая, прыгала соседка со сбитым на затылок пышноволосям париком. Из-под парика ее блестела почти голая кожа черепа, торчали на висках седые реденькие косички, свисая вниз, как гибнущий на камне чахлый мох; но лицо ее дышало такой любовной решимостью, что даже Голиндуха Карповна опешила на мгновение и с ревнивой завистью пригляделась к ней.

Мгновение было неловким и тягостным. При виде вставшей рядом жены, Феоктист Фомич сначала покрылся испариной, со страхом следя за болтающейся в ее руках мокрой кофтой. Но потом ему сразу стало совсем все равно. Даже если бы и сам Кругляков, и все люди вместе встали перед ним, закричали бы, любуясь его перегнутым, как палка, телом, и засмеялись бы и затопали, указывая на сотни веселых карикатур... Он поглядел бы на них и повис бы так же, как и теперь, длинной тряпкой на планках забора. Он прижался головой к холодным балясинам, равнодушно закрыв глаза, и уже не видел ни жены, остервенело бросившейся к нему с лицом злым и решительным, ни Фаины Леопольдовны, в своем любовном увлечении не обращающей ни на что внимания. И только в тот миг, когда его властно схватили жесткие руки жены, когда с диким криком раздраженной тигрицы она дернула его с забора к себе из рук пораженной соседки, — он снова открыл глаза и огляделся. Прямо у глаз его качнулась влажная земля родного огорода, топтали эту землю тощие ноги жены — и Феоктист Фомич почувствовал себя цыпленком под крылом наседки. Он успокоенно вздохнул, ткнулся лицом в облезлый куст милого крыжовника — и не вставал больше. Уже сквозь туманное забытье он услышал, как жена его победоносно вскрикнула, — и голос ее был мощен, как боевая труба, полная пыла и возмущения.

— Ах ты, поганая мразь!.. — прогремела труба, и грохот ее беспощадной волной пронесся от забора по садику. Феоктист Фомич услышал тяжелый топот налезавшей животом на забор жены, прихлиפהе дыханье перепуганной соседки — и блаженство покоя охватило его.

— Ты это что же, а?! У себя на заборе чужих мужьев ловишь за ноги?!? — снова грянула гулкая музыка, и забор торопливо трес-

нул.—Он... ну, я с ним-то особо поговорю!.. А вот ты мне ответишь! Ты мне сейчас же ответишь, мамкина дочь! Я из тебя все потроха... ах, боже мой!..

Недостиранная кофта крутилась в руках Голиндухи Карповны, как орудие дикаря-охотника, брызгала мыльной водой во все стороны, задевая остолбеневшую от страха и неудачи соседку по лицу и оставляя на нем длинные грязные полосы. Голиндуха Карповна густо редела:

— Ну не-ет! Я с тобой, злая разлучница, так не кончу! Я тебе юбки на голову скручу и крапивой... нет, тряпкой!.. да я тебе и просто ногтями там расцарапаю, будь покойна!.. Ты узнаешь, кому записки подсовывать, кого котиком, милочкой — тьфу! — да Феоктистиком звать! Я и сама так-то умею. Не хуже твоего об ноги щеткой потрусь, да и не то еще бывало! А ты... ну, уж ты—ах, боже мой, да что же это такое?!

Забор не выдержал озлобленного натиска Голиндухи Карповны, с хрустом упал в крапиву, н'а низкие кусты бузины и вишенника, и она кошкой кинулась на охнувшую соседку. Та отбежала в сторону, встала на заросшей травой дорожке, бледнея от ужаса. Но сразу же, ухватив подол своей брезентовой юбки дрожащими пальцами, кинулась к дому напрямиком... Голиндуха Карповна взвизгнула, — и первый же удар ее мокрой кофточкой пришелся Сироте по голове. Пышно-волосый парик беззвучно скакнул кверху. Зацепился за ветку старой яблони и повис на ней; а за тощими косичками затылка, на обнаженной коже темени и по шее — с сочным чмоканьем захлестали удары, потекла вода, заалели узкие полосы...

— Вот тебе! вот тебе!! — услышал Феоктист Фомич торжествующий голос. — Не блуди, не расстраивай!.. не хватай мужьев за ноги!.. На тебе! На тебе! На тебе!..

Длинные ноги Голиндухи Карповны били бегущую Сироту прямо в зад, ударяя по пяткам. И соседка путалась, изнемогая... У калитки во дворик она вдруг споткнулась, бессильно ахнула и упала плашмя вниз, подминая брезентом юбки нежные заросли малины. Голиндуха Карповна надела на нее, как собака на зайца, — и еще долго сад избиваемой Сироты оглашался тяжелыми визгами, ревом, треском срывааемых тканей, вздохами, хлюпаньем, шлепаньем жестких ладоней и всякими звуками остервенелой возни....

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Оставшись одна, Фаина Леопольдовна прежде всего испытала такое чувство, словно над миром прошел небывалый ураган, случайно оставивший ее в живых. Она с трудом встала на ноги, путаясь в перемятом брезенте юбки, сняла с низкой яблоневой ветки висящий парик и равнодушно надела его на свою избитую голову. Косички из-под парика повисли, не вправленные, вниз растрепанными концами; ленты

изодранной кофты болтались грязные, мокрые, словно измусоленные голодной козой. И в каждом ее жесте, в каждой морщине вдруг поблекшего лица виднелось полнейшее, безнадежное равнодушие. Любовное напряжение неожиданной встречи с возлюбленным, ловкие пинки в зад и удары мокрой кофточкой Голиндухи Карповны, а после тяжкая возня в малиннике у забора — все это было настолько острым и изнуряющим, что Фаина Леопольдовна не испытывала ничего, кроме бесславной усталости. Она медленно побрела в дом и села там около двери на полу, понемногу оживая и все больше ужасаясь того, что произошло с нею в саду у забора, разбило близкое счастье, сделав жизнь похожей на старую дымную головешку.

Только теперь в голове Сироты мелькнула невероятная мысль, что, может быть, возлюбленный и не любил ее никогда, лишь только смеялся над ней, беззащитной девушкой, впервые отдавшейся зову своей любви!..

Эта мысль окрепла в ней с такой внезапной ясностью, так поразила ее взбудораженное воображение, что ничто уже, казалось, не сможет вернуть ей утраченную веру в чудовищно вероломных людей, и никакой иной выход не казался ей страшнее и проще, чем этот: взять и пойти утопиться...

Вся истерзанная, полная горя и возбуждения, она с трудом отыскала в грязных клочках дневника огрызок карандаша, открыла чистую свеженькую страничку. И невольно крупные, как градины, слезы скатились на листок по ее лицу. Она обмакнула конец карандаша в крупную круглую слезинку и так, точно кровью, написала последнюю память о себе, все, что ей казалось необходимым.

«Да, все кончено — сердце разбито... Пусть льются слезы: я обманута, как и все девушки. Он разлюбил... или нет — какой он жестокий!.. Для него я забыла Нечли, и вот — все кончено...

Почему?

Я не знаю. Пусть нас рассудит смерть.

Может быть, и эта жертва вызовет на устах его только усмешку... Что же, тогда нас рассудит бог!..».

Фаина Леопольдовна подумала и, не удерживая катившихся слез, приписала:

«Он пришел ко мне — один... в сад!.. Но вот... Я кричала ему: *je suis seule, retourne!*.. А потом... потом эта страшная женщина, кофточка которой пахла скверным мылом...

Я и сейчас слышу запах ее... даже душно, даже душно!..».

Карандаш внезапно сломался, хрустнув, как палец; Фаина Леопольдовна швырнула его за стол, и вместе с ним, как игла, скользнула последняя надежда: писать было нечего. Она встала и пошла через палисадник на улицу, все в той же изодранной кофте, с тощими косичками торчащих из-под парика волос. На улице ее увидели мальчишки, но лицо ее было настолько строгим и непонятым, что даже они не решились бежать за ней дальше угла своей улицы,

больше для вида поскакав перед ней на одной ноге, подергав за грязные длинные ленты и спев специально ей посвященную песенку.

За городской окраиной, у реки, она встала. Пышные кочки туч торчали из грязного неба, распростертого над рекой и городом. Едва заметные широкие полосы угасающего солнечного света пробивались сквозь тучи, покрывая блестящими пятнами заливные далекие луга. И на фоне этих пятен, пугая Фаину Леопольдовну внезапной надеждой, — вдруг обозначился длинный профиль идущего к городу от реки человека... Вздрагивая от волнения, она проследила за ним — за нескладным и ленивым, несущим корзину за спиной, — и, убедившись, что это не он, не ее вероломный возлюбленный, подгоняемая отчаянием, с плачем спустилась к реке.

Там у перевоза стояла лодка, почти полная людьми. Краснощекие молочницы, гремя пустыми бидонами, размещались на узких лавочках, и белозубый кудрявый парень-перевозчик командовал ими от кормы, торопя и посмеиваясь:

— А ну, квочки, садись на насест!

При виде растрепанной Фаины Леопольдовны он на мгновение смолк, затем сказал девкам что-то острое и смешное, — и девки фыркнули, закрывая рукавами рты, а звучный хохот перевозчика раздался широко, во всю водяную гладь, заставив Фаину Леопольдовну невольно поморщиться. В лодке ей дали место на кормовой скамье, стараясь подальше от нее отодвинуться и едва удерживая раздвигаемые смехом губы. Но Фаина Леопольдовна, полная внутреннего волнения еще непрошедшей любовной горечи, не обращала на них никакого внимания. Она давно привыкла к тому, что на улицах ее провожали улыбками, разглядывали платье, кокетливо украшенное бантом, или шляпу с огромным страусовым пером. Ни криво надетый, смятый парик, ни грязные ленточки, которые остались почти единственным из всего, что было недавно праздничной кофтой, — теперь не беспокоили ее. Она с напряженным вниманием следила за лодкой, качающейся на воде; и когда ловкий кудрявый перевозчик истово выкрикнул, загребая веслом:

— А ну-у... крестись, девки: тронулись!.. — она тихо перекрестилась.

На самой середине мутной реки, когда девки, пошушукавшись, затихли и с равнодушной сосредоточенностью глядели в быстро бегущую воду, — Фаина Леопольдовна вдруг охнула и привсталала.

Напуганный перевозчик спросил с досадой:

— Ты чего — пьяная, знать?

Но Фаина Леопольдовна ничего не ответила. Она снова охнула, уже громче и безнадежнее, удивленно всплеснула руками и прямо с кормы кинулась в воду...

Перед глазами взвизгнувших девок мелькнули концы ее грязных лент, прыгнул мятый парик и раздувшийся колокол широкой брезентовой юбки. Мутная вода под ней булькнула так, словно в речку

плюхнулся тучный буйвол; и девки, визжа от ужаса и любопытства, схватились за борта круто качнувшейся лодки, не переставая следить за «утопленницей». Но то, что они увидели, сразу же рассмешило их: покинутая париком голова Сироты не окунулась в быстро бегущую воду, не смокла под быстрым напором брызг. Нет: голова повернулась в сторону, повернулась в другую, затем обернулась к лодке лицом, а за нею и тело, плывущее поплавром по воде, — и тогда раздался крик, крик испуга и просьбы о помощи. Девки от удивленья смолкли, и этот крик разнесся по реке, как сирена, заставляя людей на берегу думать, будто где-то совсем недалеко плывет пароход, потерпевший аварию...

Напуганный перевозчик ударил веслами и громко выругался. Но звук его голоса был еле слышен в буреподобном вое Фаины Леопольдовны: она сразу, как только ее нога коснулась прохладная быстрина реки, с ужасом перед тем, что с ней может случиться, — задрыгала ногами, захлопала, как мельница, по воде руками, выла, визжала, звала и плакала... Но случиться с ней теперь ничего уже не могло. Расправленная колоколом широкая брезентовая юбка держала ее под мышками так крепко и с такой правильностью раздула по воде вокруг головы упругие пузыри, что, если бы действительно упал в реку огромный бугай, — и он, вовсе не двигаясь и не стараясь дышать, мог бы плыть на чудесной юбке до ближайшего губернского города.

Когда удивленный необычайным зрелищем перевозчик тронул, наконец, лодку, перепуганная Сирота уплыла уже аршин на десять, и веселая быстрина крутила ее, как щепку, не давая опомниться. Пышный парик ее, напоминая сорванное наводнением птичье гнездо, плыл впереди — качался и крутился, словно потешаясь над ней и приглашая играть в догонялки... И людям на берегу казалось, что в быстрине не один, а двое, — и оба тонут, случайно удерживаясь на воде. Они бегали по берегу с деловитой бестолковостью, кричали старому рыбаку, ловящему рыбу с лодки:

— Э-эй, дедушка Трифон!...

— Дедушка Трифон, лови!...

— Лови, плыву-уть!..

Но старика, словно нарочно, давно уже мучил неугомонный ерш, обрывая червей со всех лесок. Теперь поплавок одной из них тыкался в воду круто, прямо ко дну, заставляя трястись стариковы руки от злости и возбуждения. Старик морщился, крякал; ерш дергал вниз, обрываясь, — и, наконец, круглой серебряной щепкой шлепнулся в Трифоновы руки. Только тогда старик обернулся к берегу и веселым от удачи голосом расспросил:

— Эй, ну, чего вы? а-а? Тону-уть?! Ладно, я в сей минут!

Он оглядел отливающую вечерним глянецом поверхность реки, нашел в ней черное гнездо парика и крутящиеся руки Фаины Леопольдовны и нехотя, с расстановкой тронул свою душегубку.

Лодочка его и лодка перевозчика встретились на середине. Старик держал Фаину Леопольдовну за тощие косички головы, тянул

ее кверху, не давая хвататься за края своей душегубки, и весело приговаривал:

— А ну, молодка... а ну, не лезь! А вот лезь-ка ты, матушка, кверху!..

Перевозчик зацепил конец ее юбки багром, притянул вплотную к себе, — и Фаина Леопольдовна влезла в его лодку, цепляясь за девок ослабевшими от перепуга руками.

К берегу везли ее весело и долго. Гулкая толпа на берегу теснилась прямо к воде, стремясь обстоятельней рассмотреть спасенного самоубийцу. По словам остряка Мигайчика, лысая голова незадачливого «утопленника» заставляла предполагать мужчину и, судя по косичкам, все думали, что вылезет старенький поп Гагантий. Всеми соболезнующие бабы уже говорили, что, видимо, тяжело жить старому батюшке без прихода, — не ходит никто в церковь, и церковь хиреет. Бабы уже решили, что все попы, которых теперь, как служителей культа, даже частник не берет в приказчики, должны непременно топиться и поэтому с любопытством, как на чудесного зверя, глядели на отчаянного попа. Но вылез из лодки не поп; и при первом же взгляде на «утопленницу» толпа облегченно ахнула: утопленница шла бодро, с лицом измятым и перепуганным, но совершенно земным: даже полосы розовой помады еще красили ее пышные щеки. Ни на кого не глядя, она прошла между людьми, оглянувшись и, всхлипывая от счастья, сучая по козе своей и коту, кинулась от реки к городу. Ее мокрая негнушащаяся юбка закачалась, отекая книзу; косички мелко затряслись, — и скоро ничего уже не было видно в густой синеве осеннего вечера.

Веселый Трифон заметил ей вслед:

— Убежала барыня... была — и нет! Только мокреть одну оставила.

Он добродушно развел руками и побрел к своей лодке — пустить в ведерко пойманного ерша...

Из цикла „Лирическая экскурсия“

Н. ДЕМЕНТЬЕВ

І. Н Я Н Ь К А

По лужам хлюпая с опаской
(Полусапожки скверные),
С никелированной коляской,
Бульварами и скверами

Ползет семидесятилетняя,
Горбатая и лысая,
В платке, завязанном по-летнему,
Одна. С какими мыслями?

Но, впрочем, — из последней немочи
Идя навстречу вечеру,
Старушке даже думать не о чем
И вспоминаться нечему.

И тротуарами, бульварами,
У стен, лотков и будочек
Везет, покачивая, старая
Дите с огромным будущим.

ІІ. У БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Ветер из-под кузова
Санок быстр и тонок,
Холоден, как музыка
С крыльев флексатонов.

До поры до времени
Снег идет... Любуйся,
Как ползет беременный
Корпус автобуса.

И как папиросами
Пышет люд случайный,
Занятой, разбросанный
Врозь по Театральной.

Как над хмурой группой
Усачей и бритых
Черным горлом рупора
Плачет Маргарита.

III. ВЕСНА В ПРИГОРОДЕ

В этот пригород входит весна и за дело:
За ночь дождь убирает остатки снегов,
А на утро, как-будто протертое мелом,
Небо вовсе без пятен и без облаков.

Лишь потом появляется пар кудловатый,
Белый, как полуватная лампочка. Нам
Сразу кажется серой, свалявшейся вата
Между пыльными створками зимних рам.

Радость яркая, как украинская плахта,
С первым бликом рассвета дает себя знать
Той, совсем необычной манерой кудахтать,
Крякать, лаять, помыкивать, ржать.

Блеклый поезд, запыхавшись, словно астматик,
Мчит по вымокшим шпалам в леса напролом.
Ветер свеж...
И на жирной земле, как в кровати,
Старый пригород греет ребро за ребром.

Искатели

Роман

В. Л. ЛИДИН

(Продолжение ¹)

XVIII

Старатель пропал на весь день, вернулся в сумерки. Финогенов ждал его в доме. Семафорными огнями зеленели лампадки. Финогенов спросил:

— Привел?

Старатель ответил:

— Сам явится.

Финогенов сел на скамью, лицо его было сизо.

— Гляди, парень... твой интерес берегу, артель берегу. Не досмотрели, дали старикам раззвонить... теперь нам как вернуть себе поле, знаешь?

Дышло молчал.

— Инженера в следствие надо вогнать, беспорядок в шахте устроить. Встанет шахта в убыток, могут бросить и вовсе... А ты знай... дело сделаешь — со спасибом поклонимся.

Дышло сказал:

— Я от себя не отказываюсь. Человек я мелкий... по мелочи моей меня и дари. Большую игру затеваешь, Фрол... инженер не дастся задешево.

— А я не скуплюсь... — Увидел человечешка волосатых два кулака, медвежьи глазки в овчине бородищи; налез Финогенов на стол. — Поперек дороги не остановились чтоб мне, это главное... тут я всякого сокрушу. На наше пришли, родом нам Благословенная гора завещана... отцы рыли, мы рыли, у меня в горе этой, может, как в сундуке лежало, своим считал. А теперь отдавать? Нас восемь лет щупают, вывернуть наизнанку хотели, а вот мы — целехоньки. Большую я в себе силу скопил... дай срок — развернусь.

¹) См. «Новый Мир» кн. 1 и 2 с. г.

Кулаками, бородищей простерся на столе Финогенов.

— Ты ступай, жди... задами с дороги веди человека. Сам себе жизнь строишь...

Бурильщик Блохин пришел к вечеру. Дышло встретил его на дороге; по отвалам, мимо брошенных старательских шахт, они вместе пробрались к дому. Был бурильщик коричневым лицом, без единого волоса, как обточенный камень; белки у него были красные. Говорить он отвык: земля и море одинаково отучают говорить человека. Бурильщик пришел в дом, сел за стол, картуза не снял. Финогенов сказал:

— Картуз-то сними... видишь— иконы.

Бурильщик ответил коротко:

— В бога не верю.

— Разговор есть с тобой.

— Без дела не позовешь, знаю.

— На тебя вся надежда.

— Ты говори...

Финогенов сказал. Бурильщик слушал, глаза его были знойки, смотрел он мимо.

— Все сказал?

— Значит, все.

— На убийство меня подбиваешь?

— Зачем убивать, шахту и без людей можно нарушить.

— Кто нарушит — тому отвечать...

— Твой ум — твоя добыча... тебе не впервой. Я ведь знаю, Гришка, как ты в карательном действовал, на Омск подавался, с Кап-пелем ходил. Мастер ты старый.

— А ты не вспоминай... могу и я вспомнить, кабак Финогенова старатели знают.

— Старые знакомые — для совета и звал.

— Тебе совет, а мне ответ.

— Мы заплатим...

— Вы заплатите сначала, я посоветую.

— Торопишься... Харчем платить?

— Плати золотом.

— Что я — банк тебе, что ли? В банке и то бумажками платят.

— А ты плати золотом... я в Китай подаваться хочу, мне золото нужно.

— Бандитом заделаешься?

— Опием торговать стану.

— Это ты правильно, то же золото.

Лампадки полыхали над ними. Бурильщик сидел в картузе; крутая сила была в человеке. Финогенов сказал:

— Следствие нужно, чтобы прикрыли работы... Жилу подсекут, начнут выбирать, тогда не подступишься. Думали, вода нам поможет, зальет шахту. Справились с водой. Вот и гадай.

Бурильщик сказал:

— Гадать нечего... человека бревном зашибет — и то отвечать надо. Давай договариваться, я объясню.

Вдруг он встал, обошел комнату, приоткрыл припертую дверь.

— Чего ищешь?

— Людей.

— Одни мы.

Бурильщик снова сел, в глазу его зеленая блестела лампадка.

— Породу динамитом рвут, знаешь?

— Ну, знаю.

— Три патрона заложут и рвут. Случается, один не взорвется... запальщик осечки не отобьет, не добудет патрона — кайлом может ударить шахтер, искра будет, снесет все к чорту... а ты говоришь — без людей. Здесь одному человеку ложиться — не миновать. За это отвечать инженеру, понял? А ты дешевишься...

Они молчали. Бурильщик сидел прямо, не сгибаясь. Шипели, кашляли, давились часы, бронхитом отмечая время. Финогенов сказал:

— Один за себя ответ держишь, Гришка.

— Моя дорога прямая... сам иду, сам и ответ нес.

Финогенов сказал опять:

— Заливать сговор будем?

Бурильщик ответил:

— Не стану. В себе мне быть надо.

— Когда явишься?

— Как со всем справлюсь, так вернусь.

— На тебя артель надеется, Гриша...

Опять пошел человечиска провожать бурильщика в поле. Ночь была в рваных облаках, застилавших луну. На селе пели песни, песни были жалостливые, кручинилась гармошка, — видимо, до тоски догулял человек. Они выбрались по отвалам в поле. Смутно лежала большая дорога, тракт на Сибирь. Бурильщик пригнулся к человеку, был тот на голову ниже его, сказал:

— Болтать начнешь, Дышло, убью... знаешь?

Дышло ответил:

— Знаю.

Выпить ему хотелось; бурильщик от угощения отказался, теперь он беспокоился — исполнит ли обещание Финогенов. Бурильщик стал уходить по дороге. Дышло смотрел ему вслед, потом повернул, затропился назад по отвалам. Вдруг сердце его стало от ужаса: прямо против него из разодранных туч непомерная ацетиленовая выдвигалась луна. Разоблачительным светом она освещала их росстани. Бурильщик сошел с дороги, исчез. Дышло заспешил по отвалам, миновал пустую угрюмую шахту, разверстую в ночи, как могила; прямо на него надвигалось гульбище тех же высоких тоскующих голосов, какие он слышал, сопровождая бурильщика. Он лег на

землю, притаился за кучей породы, лежал лицом к камню, хранившему золото, может быть. Люди прошли мимо, песни у них были высокие, пронзительно кручинилась гармошка, выворачивая загулявшую душу. Ему хотелось пить, утешиться, получить обещанный дар. Он пропустил людей и дальше побежал по отвалам, спотыкаясь, скрываясь от бесстыдного и немигающего света луны. Тучи сваливались, ночь обещала большую росу, чистое утро.

XIX

За все эти месяцы, за всю горячку работы Инжеватов вспомнил о себе только раз. С пути получил он размашистое, полное превосходных надежд, письмо Дмитрия Шологова; это было за несколько дней до его отъезда в Америку. Память встречи, неясные шумные, многообещающие для него, Инжеватова, строки... другое было тоже с пути — открытка из Кёльна. Вид собора, слово привет и знакомая короткая подпись Наташи. Итак, все в иных странах... он остался один со своим трудом, с надеждами своих свершений. Грусть надо стиснуть привычно, не стремиться к этим дальним путям, где были теперь самые ему близкие люди. Первая победа — победить себя. Хлынувшие воды укрощены, работа продолжается в шахте. Он предполагал пресечь жилу на восьмой-девятой сажени, — что же, он пресечет ее на десятой, может быть, на двенадцатой даже. Он сложил письмо Дмитрия, открытку Наташи вместе с полевой своей старою книжкой, где начал он и так и не кончил записи жизни.

Шахту углубляли, шахта оказалась заливаемой водами, это удорожало работу, требовало мощных насосов. Дни первой горячки утихли, шли будни. Он об'езжал другие шахты — шахту «Иераклий Пастухов», шахту № 4, — добыча падала всюду, решение о свертывании работ состоялось, надежда была на новую шахту. Она была за болотом, ей дали невеселое имя — «Гиблая елань». Работа шла безостановочно в четыре смены, по шести часов каждая. Шахту углубляли динамитом. Запальщик закладывал три динамитных заряда обыкновенно, рабочие выбирались наверх, запальщик зажигал шнуры, тоже выбирался наверх. Наверху выжидали тройного взрыва, затем спускались снова, разбитую породу выволакивали наверх, дальше легче было работать кайлами. Проходили уже горизонтом десятой сажени. Инжеватов приехал перед вечером, как обычно. Смена отужинала в казарме, рабочие пили из кружек чай. Андрюша Рыбак налил ему в кружку жидкого чая. Чай пахнул жостью, был темен от болотной воды. Инжеватов пил чай, слушал разговоры рабочих. Разговоры были обычные — о породах, о золоте, о присланных плохих сапогах. Он выпил чаю, надел брезентовый костюм, пошел к вышке. Андрюша Рыбак сопровождал его.

— Как, старик, — спросил Инжеватов вдруг, — на десятой сажени пресечем жилу?

Андрюша Рыбак помолчал.

— Хотеть надо, вот главное, — сказал он погодя. — Золото, может, и ниже лежит... но лежит. Искать должен человек. Кто на легкую добычу пошел, того золото сначала поманит, а потом обманет. А золото есть здесь... жилу возьмем, большую добычу наладим... пушай золотишка прибавится, народу веселее жить будет.

Они дошли до вышки. Гремел ворот, выволакивая породу. Людей, вращавших ворот вручную, сменить должна конская сила. Все еще первобытно, начальный труд человека в земле. Он стал спускаться переходами в шахту. Знакомая сырость, могильный сумрак камней, грохот ворота; вскоре — шум передач, работают насосы, выхлебывая безостановочные подземные воды. Опять застучали капли о поля шляпы, потом дождь, потом ливень. Он спустился на дно. Хобота насосов лежали в воде. Люди в сапогах, которые должны были не пропускать воду и которые все же были полны воды, били кайлами стены. Мокрые куски шлепались в воду. Запальщик закладывал третий динамитный патрон. Розоватое, невинное на вид тесто динамита. Кусок отпавшего мокрого кварца, который Инжеватов достал из воды, показался ему в золотой чешуйке. Он поднес его к свету; блестела вода, чешуек не оказалось. Он снова бросил камень в воду. Жилы все еще не было. Надо углублять шахту дальше. Рабочие стали выбираться наверх, выбрался за ними и он. Запальщик остался внизу зажигать шнуры. Мокрые шахтеры стояли под вышкой и ждали запальщика. Много было попустительством, небрежением к подземному их нечеловеческому труду. Непромокаемая одежда промокала, сапоги были полны воды, до сих пор лестницы были временными, опасными для спуска; взятые из других шахт. Надо было держаться сметы, использовать изношенное оборудование, мириться с промокавшей одеждой. Люди приносили из шахты простуду, ревматизмы, увечья. Он знал их труд, вместе с ними проводил в шахте дни; каждое крепление шахты, каждый вершок углубки лежал в нем самом, ответственном за всех людей в ней, за соблюдение сметы, за побеждение вод. Совместным трудом десятков людей, общей их волей создавалось это новое, открывавшее далекие видения, дело. Строитель и рабочий несли один труд, верили в одну надежду. Люди назывались шахтерами, штейгерами, инженерами; у людей было одно общее имя — золотоискатели.

Запальщик выбрался из шахты, стал ждать. Минуты спустя глухой подземный взрыв всколыхнул вышку — взорвался первый патрон. Люди ждали. Еще минуту спустя снова сотряслась вышка — второй взорвался патрон. Люди опять ждали. Взрыва не было. Проходили минуты, все было глухо, внизу была тишина. Буровой мастер Блохин сказал:

— Ступай, Черняков, отбивай осечку.

Потухал Бикфордов шнур, попадался плохой динамит, часто не взрывались патроны. Теперь надо было спуститься запальщику Чер-

някову вниз отбить осечку — найти в стене невзорвавшийся динамитный патрон, зарядить его снова, снова зажечь фитиль. И человек ушел вниз. Один человек ушел искать патрон в недрах, продолжать свою работу с динамитом. Опять все стояли и ждали. С шахтеров капала на пол вода. Проходили минуты, четверть часа. Широкая мокрая брезентовая шляпа возникла в люке. Запальщик Черняков выбрался наверх.

Инжеватов спросил:

— Нашел?

Он ответил:

— Нашел.

Третий глухой удар потряс, наконец, землю. Люди вздохнули, шахтеры стали собираться в обратный путь вниз. Один за другим ушли они в землю. Буровой мастер Блохин пошел с Инжеватовым. Нужно было выписать из материального склада ряд инструментов. Они прошли в казарму, в его отделение за фанерной переборкой. Вероятно, двадцать минут говорил он с бурильщиком. Внезапно загрохотали шаги, кто-то бежал, кто-то кричал:

— Инженера!..

Почти мгновенно, вытолкнутый неистовым зовом, он выбежал из казармы. Бежали шахтеры, тяжелые сапоги били землю.

— Инженера... несчастье!.. Взорвало людей!

Он побежал вместе с ними. Все было непонятно сначала. Так же стояла вышка, люди лезли в шахту. Старик Шаверда надел на него свою шляпу.

— Попортили людей... патрон забыли отбить, — сказал он на ходу.

Инжеватов не понял. Люди спускались, наступая на пальцы идущим впереди. Скрипели ступеньки, человеческое остервенелое дыхание наполнило тьму; как мог остаться неотбитым патрон? Было три взрыва, запальщик спустился вниз и нашел невзорвавшийся заряд динамита... Все было попрежнему на этих переходах в шахту, надо было сберечь в себе мужество. Люди топчутся на площадках, выжидая, пока спустятся нижние. Четвертый переход, наконец. Обычно — успокоительно, деловито — работают насосы. Человек блесит в темноте слепительными ненавидящими белками.

— Сволочи... попортили людей.

На дне шахты тесно, люди разгребают обвалившийся угол породы. В стене был неотбитый патрон, шахтер ударил кайлом, высеклась искра. Взрывом обрушило угол, разнесло человека. Двух других оглушило, поранило, отбросило в сторону.

— Запальщик отрекся... волокни его наверх!

Инжеватов увидел бледное лицо Чернякова. Мокрые черные волосы лежали на его лице. Шахтеры поволокли его наверх. Огромный кулак ударил его вдруг по спине. Внезапно Инжеватов лицо к лицу увидал человека; по лицу текла кровь, необыкновенно черного

цвета была эта кровь. Он сам молча, без помощи, стал взбираться по лестнице наверх. Другого держали подмышки, снимали с него сапог, в сапоге была кровь; красная портянка была как флаг. Он ревел, выл, глаза его с ненавистью и мукой поглядели на Инжеватова. Шахтеры понесли его наверх. Инжеватов протиснулся вглубь. Люди разрывали осыпавшуюся груды породы. В воде, меж камней, он увидел брезентовую спину, кровавую глыбу, только минуты назад называвшуюся человеком, шахтером. Отбрасывали камни, вода становилась красной, в воде на камнях лежала человеческая неживая рука, не тронутая, не побитая, невероятной своей и ужасающей белизной. Только хобот насоса равнодушно, как голова дремлющего бегемота, пофыркивал и давился воздухом и водой. Произошла катастрофа. Непоправимое несчастье обрушилось на шахту. Только в эту минуту Инжеватов уяснил все вполне.

XX

Чья воля осуществила обдуманый замысел? Солгал ли запальщик, не найдя патрона в стене и понадеявшись найти его завтра? Но запальщик был опытный старый мастер, он знал игру с динамитом. Забыли ли прежде в стене динамит? Но сколько закладывали патронов в породу, столько же бывало и взрывов. Иная цель, иной замысел. Сила стихий, силы человеческой низости восставали против него. За эти дни следствия, ревизий управления и горного надзора он поразмыслил о многом. Чего искал он в земле? Одно ли самолюбие добиться поставленной цели вело его этим путем? Иначе, шире, глубже усвоил он свою цель. Великие годы свергали имена и потомства. Рушились породы, пласты, новые геологические образования бушевали в судьбах и сроках. Огонь плавил землю, как в древнюю пору. Новое поколение прошло через кровь, чтобы вернуться к миру. Иные великолепные цели сменили малый круг своей обособленной жизни. Своя судьба, своя жизнь связались с судьбой страны для целого поколения. Ветер был немилосерден и великолепен. Многие пытались укрыться от него в наскоро сколоченную лачугу. Ветер рушил лачуги, надо было строить дома. Не умевшие, не захотевшие строить сносились вместе с покоробленной фанерой своих жилищ. Так он принял, как большинство его сверстников, эту новую веру. Боля человека — побеждать. Он искал золото. Старый план, в который уверовал он, водил его вокруг золота. Старики-старатели, через старообрядческий толк поколений пришедшие к новой правде, привели его на золото, чтобы добыл он его для всеобщей пользы. Не все старики отвергали новую жизнь, у иных были ясные души, сбереженные мудростью начала начал — земли. Так нашел он след золота, наконец. Тогда на него поднялась стихия, хлынувшие воды едва не залили шахту. Воды удалось победить, подземный поток покорился человеческой воле. Теперь

новая сила восстала против него. В неотбитом патроне был умысел, запальщик Черняков безвинно страдал вместе с ним. Инспекция горного надзора приостановила работу в шахте; крепление было признано ненадежным, управление требовало отчета. На краю этого крушения надо было сдаваться или стиснуть зубы, преодолеть и это препятствие. Он стиснул зубы. Пока приостановлены были работы, он сменял крепи, погнал на бегунную фабрику первые партии кварца — определить процент золота в них. Колымов уехал хлопотать, чтобы работы разрешили продолжить. Раненые шахтеры поправлялись. Погибший был молодой рослый парень родом из Шайдана. Его оплакали бабы, три дня голося на приисковом запущенном кладбище, оставив на могиле ячмень. Инжеватову не верили в управлении, теперь перестали ему верить шахтеры. Неудача разделяет людей; у него не было удачи. Следствие о катастрофе велось, ему угрожали судом. Человеческая жизнь требовала возмездия. Горный надзор приостановил работы совсем. Он стал ожидать судебного следствия. Наконец, его вызвал к себе Колтухов. Он приехал в управление, его встретили недружелюбно. В управлении не любили несчастий, следствий, возни с надзором. Он рассказал Колтухову о взрыве и о своих предположениях. Колтухов сказал, ская:

— Так-то все так... а судить все-таки будут запальщика и инженера, инженера особенно. Вы ответственны за порядок в шахте... подпочвенные воды, скажем, это — несчастье, хотя нужно было и это учесть. Но неотбитый патрон, взрыв, это — недосмотр, за это отвечает инженер. За такое дело могут дать и два года... случаи были.

Инжеватов сказал:

— Что ж, я готов.

Колтухов вдруг процвел, даже просветлился от ярости.

— Вы-то готовы, я знаю, да управлению неприлично числить у себя таких инженеров...

Инжеватов спросил:

— Может быть, подать мне заявление об увольнении?

Узкие беловатые глазки глядели ему не в глаза, а ниже — на подбородок.

— А это вам уж виднее...

— Все-таки я заявления не подам, — сказал Инжеватов вдруг с успокоительным для себя разрешением. — Если я виноват, пусть меня судят... сейчас я прошу об одном, — чтобы разрешили продолжить работу.

Он ушел от Колтухова почти без надежд. Здесь было еще и иное — выжидательное недоверие, недружелюбие другого поколения. На стыке двух поколений это всегда неизбежно, молодости не прощают неукротимых искательских сил. Все же шахта стояла. В эти дни он решил: если прикроют работы, он вместе со стариками-старателями продолжит труд. После недели хлопот, беготни по учреждениям в городе, исправления крепей — вторая инспекция горного надзора

все же разрешила работу продолжить. Судебное следствие велось своим порядком. Сновидения минувших недель окончились. Он снова мог вернуться к земле.

Запальщика Чернякова до суда сместили в низший разряд, он работал простым шахтером. Люди в земле привыкли к несчастьям, знали опасности, у всех был старательский опыт, когда бьют землю без крепей, под нависшими глыбами пород. Все же первое несчастье насторожило людей, шахтеры не верили ему до конца, откуда-то из глубин пошла слухи... В казарме, во время ужина, говорили о нем; глухо, как бы прозмеиваясь в породах земли, шел удушливый, низкий слушок. Инжеватов встретил раз по дороге Андрюшу Рыбака, пошел вместе с ним. Его простая, отстоявшаяся в махорочном кислотоватом дымку душа сопутствовала ему в эти дни. Он сказал погодя:

— Ты слышал, старик, что обо мне говорят?

Андрюша Рыбак ответил:

— Слышал. Людям человека хулить первая радость. Тут против нас большая сила готовится... ты берегись. Люди за золото драться умеют

Инжеватов сел на пенек, Андрюша Рыбак присел на корточки, достал кисет.

— Я тебе про братьев Семирековых молву рассказал, помнишь? По косточкам человеческим к золоту шли. Так и тут... десять полягут, один найдет. Ты это помни. Впрямую тебя не возьмут, штреком под тебя копать будут. На жилу эту сто человек, может, метило.

— Не для себя ведь я работу веду... — сказал Инжеватов.

— Народ привык, что каждый для себя старается... в защитников народных верить еще не научились, не так приучали. Впервой доказывать нужно... черная работа.

Синеватый кислый утешительный дымок махорки поплыл. Андрюша Рыбак сел рядом на соседний пенек, крепкий коричневый череп был виден сквозь белое курепье волос.

— А что говорят обо мне? — спросил Инжеватов вдруг.

Старатель поглядел на него спокойно.

— Говорят, что со старателями дружбу ты свел, — сказал он нараспев и незатуманенно, словно дивную вспоминал повесть, — крепи ты ненадежные ставил, патрон в стене нарочно припас, золото скрыть тебе надо.

Мерно раскачивались ели под ветром. В колеях, изрытая подводами и лошадьми, лежала дорога на шахту. Ему не верили в городе, не верили здесь. Он смотрел на дымок, на колыхание елей; горечь была сильнее всех чувств.

— А все-таки я копать буду, — сказал он вдруг, и даже судорогой упорства и злобы свело его скулы, — пусть меня судят, пусть низости обо мне говорят...

Андрюша Рыбак поглядел на него, были глаза его синеваты и словно по-женски заволокнуты своею плывучею мыслью.

— А ты погоди, инженер,—сказал он спокойно,—дай срок.. мы ведь тоже старатели. Под нас штрек ведут, а мы встречный. Ты—человек пришлый, а мы здешние, мы знаем, кто песни поет. Ты слухи туши, а землю глуши. Мы жилу на двенадцатой сажени возьмем, даст порода добычу, со ста пудов пятнадцать золотников для начала доставим... подавятся людишки песьим воем. Ты нас слушай, мы — старики.

В земле, в труде, в хмурости неодолимых дней находил человек человеческую свою основу. Золото тысячелетних правд отлагалось в кварцевых прожилках, и огонь далеких эпох так же плавил огнестойкий металл человека. Этот день новой волей к жизни остался в нем. Он вернулся к шахте. По-северному глуха и угрюма была лесная поляна. Великий мир дышит огнями далеких городов. Давно уже в Америке Шологов, давно уже в Европе — в Париже или Риме — Наташа... всё, с чем он связан неукротимую памятью неукротимых надежд. В этом великом мире огромной неотделимой частью его лежит страна, которую вместе с тысячами других пришел он заново строить. Что же, прав золотоискатель-старик: надо продолжать свое дело. Чем больше препятствий, тем больше упорства. Ищущий находит, бьющий породу — добывает... этим простым истинам он научился, как уроку земли.

Он переделся под вышкой. Рука привычно ухватила железную скобу, нога нащупала ступеньку. Перехват за перехватом, за ступенькой ступенька — он начал спускаться в шахту. И знакомая сырая мглистая тьма сменила видения жизни.

XXI

Служитель в бархатном высоком клобуке, в красной мантии с черными полосами, звоня в медный колокольчик, проходил полутьмою собора, грандиозностью его векового простора с цветными стеклами витражей, с пестрыми святыми на них, с лимонными огоньками лампад, затепленных в нишах, с серо-каменными угловатыми колоннами, смыкавшимися наверху полукругом. Было утро, свежесть Кёльна. Этот утренний город с туманными голубыми шпилями крыш, спокойствие Рейна, еще задымленного пловучим туманом, уже сменяющим голубоватость на иные, жемчужные, цвета; цепной мост над ним с бронзовыми зеленоватыми всадниками, оберегающими недавнюю покинутую вахту Германии; необъятный готический сумрак собора — в цветах, коленопреклоненьях и огоньках; бритого плутоватого служителя в красном облачении, позванивавшего в медный свой колокольчик; угольную стремительную Бельгию, сменившую ночную Германию, пронесшуюся спящими городами, мокрыми от ночного дождя улицами Ганновера; уголь и розы; розы и уголь; путь на Париж — широкими белыми станциями, садами, меловыми дорогами, маленькими городками, листаемыми экспрессом, в провинциальности своих неторопливых улиц, и вот в разрыхленных дымах, в мареве,

в тысячах сверканий и чешуей наполненных закатом окон далекий, сиявший из десятков прочитанных книг — Париж. Мутная, закопченная скитальческим дымом многих разлук и прощаний треугольная крыша Северного вокзала, носильщики в зеленом, торопливый разбег багажных тележек, вокзальная площадь в дегтево-черном блистании торцов, зеленые сквозные ставни на окнах старинных отелей напротив; спущенные длинные полотнища навесов с оранжевыми полосами и надписями над пустынными в этот час кафе; мраморные столики, плетеные стульчики, красные плюшевые диваны у стен; гарсоны в своих черных коротких пиджачках и белых фартуках; реклама ликера во всю боковую кирпичную стену пятиэтажного дома, — таким и во всех подробностях, впервые возникших пред нею, запомнила Наташа этот путь на Париж, — и Париж, вечеряющий, готовящийся сбросить дневные дела, чтобы, стуча ножами и вилками, осесть в семь часов за обедом в тысячах ресторанчиков и ресторанов, пока голубеют, синеют, наполняются пеплом улицы Парижа, чтобы еще через час залосниться желтыми огнями, воспламениться светящимися четырехугольниками, пентаграммами огней над входами в кафе, в кино, в рестораны и дансинги. Впервые Европа, блеск далеких огней, неизвестная жизнь открылись в эти дни перед нею. Привычный мир сменился, народы, страны своеобразно расцвели его, наполнили беспокойством и счастьем скитаний. Шологов привез ее с собою сюда, чтобы открыть перед ней этот мир.

Они поселились в маленьком, знакомом ему отельчике на одном из отдаленных бульваров Монпарнаса. Здесь жизнь еще сохраняла старопарижскую неторопливость. Они заняли комнаты рядом. Балкончик ее комнаты свисал над этим широким и спокойным, с зацветшими уже деревьями акаций бульваром. И заново размеченные дни пошли своим новым порядком. За месяц пребывания в Париже Шологов должен был побывать в нескольких клиниках, в Сорбонне у знаменитого Дюпьи, проследить за выполнением заказов для института, сделанных еще зимою, укрепить научные связи с людьми, с которыми был в переписке. В сущности, в Париже кончались дела, дальше были полтора месяца отдыха и возвращение в Россию. Он решил сейчас же, как покончит дела, уехать на отдых в Нормандию или в Бретань, оттуда в Марсель и из Генуи морем — на родину. За многие годы одиноких поездок в Европу, делового порядка своих заграничных дней впервые был он не один. Глаза, открытые этим широким видениям мира, сопровождали его. Он мог бы быть счастлив; и он впервые почувствовал, что он — несчастлив. Душевный мир, который знал он в своей отстоявшейся жизни, в своей научной работе, был нарушен. Неверная, неутолимая сила днями за днем исподволь, незаметно меняла ход его жизни. Вероятно, все же в душевном строе одиночества, в днях, накапливаемых постепенно с годами, хранится живоносная пыльца этого последнего цветения жизни. Тогда невозможное становится возможным, с тугою силой разворачивается стиснутая спираль, и горечь

второй этой младости, закатным пламенем освещающей невозможность, находит иные голоса и видения. Так в парижских голубеющих днях он нашел себя снова на утраченной с годами земле.

Утром, в шестом часу, огромный стремительный шум большого города проникал сквозь продольные щели опущенных жалюзи. Шологов поднимал эти свертывающиеся с грохотом жалюзи и видел Париж. Это было утро Парижа. Грузовички с клеенчатыми покрывалами, зеленые длинные автобусы, повозки с овощами, везомые к Центральному рынку, — жизнь внизу, широкой перспективой бульвара, за которым желтыми готическими лунами в этом утреннем синеватом тумане светились двойные часы Аустерлицкого вокзала. Облака, облака, раздвигаемые восхождением солнца, лежали в этот час над Парижем. Купол Пантеона с колоннами, далекий белый голубь *Sacré Coeur* на мон-мартрском холме, красноватые черепицы крыш, уставленные глиняными мелкими трубами, похожими на горшки для цветов, — утренний, облачный, туманный Париж. Шологов ложился обратно в постель. Возвышенная прохлада входила в окно, можно было легчайше дремать под этот нарастающий шум. Рядом, в соседней комнате, отделенной от него стеною в наивных обоях в полоску, утренним сном спало существо, которое знал он сызмальства, которое из ребенка становилось подростком, из подростка девушкой, чудесно и бессознательно пронося перед ним свою юность. Он был его отцом за все эти годы отречений; девическая прелесть, очарование юности сопровождали его теперь. Знакомый уединенный мир науки отступал перед этим вторжением живых сил в его жизнь. Она опиралась легко о его руку, из-под полей шляпы с благодарностью и давним обожанием подростка в своем очаровательном узком разрезе глаза смотрели на него. Он стал из отца ее старшим спутником, который должен принять и благословить новое цветение ее жизни. Так должно было быть неизбежно. Но в эти предутренние часы, когда вместе с шумом входила прохлада Парижа, небывалые видения сменяли прожитые годы; утро приходило, все кончалось.

В десятом часу он был уже свеж, готов для дня. Он стучал в ее стенку, поторапливая. Они здоровались в коридоре, спускались по ковровой дорожке крутой лесенки, искали писем в продольном ящичке деревянной витринки, где торчали газеты, журналы и письма для обитателей небольшого отельчика. Были письма из России — дела института, обстоятельные отчеты о ремонте. Они выходили на улицу, покупали газеты, ехали на трамвае, как все утренние деловые французы; город пахнул уже солнцем, той сладковатой приятною вонью отработанного бензина, каким пахнут все большие города Европы, ручейки журчали вдоль тротуаров, освежая камень. В утреннем пустынном кафе на площади Обсерватории, пленившей ее с первого дня, они пили утренний кофе. Гарсон без пиджака еще выметал террасу, похожую на палубу; утренние сдобные хлебцы — эти круассаны, бриоши, неторопливая жизнь голубеющей площади, где задорный

маршал Ней стоит с обнаженною шпагой в разлапистой чаще каштанов; налево у фонтана, у начала Люксембургского сада, высовывают из воды черепахи свои библейские головки, выплевывая дугами струйки воды. Дальше шумный студенческий бульвар Сент-Мишель и направо — в далекой перспективе деревьев — сероватый купол обсерватории. Тихое уединенное место Монпарнаса. Так начинался день. Она сопровождала его в деловых поездках, в его посещениях научных учреждений, ученых. Знаменитый Дюпьи, хирург, назначил встречу в Сорбонне утром, в десятом часу. Они пришли сюда вместе, она осталась ждать в вестибюле. Задумчивый Пастер освящал тишину университетского дня. На площадке лестницы, в вестибюле, сидели студенты и студентки, была пора экзаменов, юность посвящалась здесь в зрелость. Дюпьи разработал новый метод трансфузии крови. Еще в войну, в сотнях операций в полевых госпиталях, он получил мировую известность своими методами переливания крови. Тысячи обескровленных, осужденных на гибель людей получали новые силы жизни. Человеческая кровь, бессмысленными потоками пролитая в землю, обретала дар продолжения жизни от человека к человеку. Утраченная кровь восстанавливалась. Годы мирного сожительства народов совершенствовали эту начальную меру восстановления человеческой жизни. Отравление газами, сенная лихорадка, злокачественное малокровие — тысячи случаев, когда живая сила человеческой крови спасала истощенное, отравленное, израненное существо человека; все это рядом операций и опытов прошел в своей клинике знаменитый Дюпьи. В Сорбонне, окрыленной тенью Пастера и сумрачной статуей Клода Бернара с опытным кроликом под рукой, он читал лекции новому поколению — будущим клиницистам, хирургам, врачам.

Они проговорили весь перерыв между лекциями, условились о свидании в клинике. Предстоящее это свидание было одной из основных целей поездки Шологова. Он спускался довольный по широкой мраморной лестнице. Наташа ждала его в вестибюле. Не только спутник, но и соратник в работе, которому он мог рассказать о свидании, взять с собой в клинику, — это была их общая повесть. С знакомой и радостной доверчивостью она устремилась навстречу. Легкая рука легла на сгиб его руки. Они вышли вместе на бульвар Сент-Мишель, миновали старинные владенья музея Клиши с его безносими статуями, средневековьем, зеленью лужаек и птицами и со старенькой иссушенной ветрами Мадонной с какого-нибудь перекрестка Бретани. Было сероватое летнее небо, под которым так единственен Париж, мягкие тени, речная голубизна бульвара, уходящего к Сене. Это был студенческий Латинский квартал, мир университетских надежд. Они пошли рука-об-руку вдоль по бульвару, спустились к Сене. Аспидные гряды облаков покоились над речным простором, над дугами дальних мостов; пароходик, вытягивая складками воду, бежал в Сен-Клу, вероятно. В деревянных ларьках букинистов ветошью неувядающего любования стояли книжки с золотыми корешками столетий, наивным размышле-

нием отживших человеческих поколений. Необыкновенно было это утро в Париже. Живая воля к жизни упруго и полно наполняла сердце той неслабеющей силой, которую считал для себя утраченной Шологов. Никогда и никак не мог бы открыть он это. Вдумчиво и легко рука лежала на сгибе его руки. Так же ляжет она на другую руку, чтобы вместе с нею войти в жизнь. Зрелость сменяет юность; иной мир, иные чувства. То, что с неудержимой силой хотел бы он сберечь для себя, должен отдать он спокойно и просто. Свежий ветер вошел в его жизнь напоследок, чтобы разбросать листы многих написанных, многих, в порядке сложенных рукописей. Остается собрать их снова, сложить, сесть за писание новых. Он давно себя отдал науке, труду. Личная жизнь сменилась жизнью общественной. Новое поколение училось у него искусству продолжать ножом хирурга, точностью движения руки человеческую жизнь; это давно заменило память о себе, с своей жизни. Теперь безудержный ветер забушевал напоследок. Что же, надо попытаться закрыть окно, собрать разбросанные листки его рукописей.

Он повел ее в этот день завтракать в маленький студенческий ресторанчик на бульваре Сент-Мишель. Было шумно, душно и людно. Это была живая торопливая студенческая молодежь. Молодой человек, студент, вероятно, глядел на нее. У него были слегка грустящие прекрасные глаза француза. Ее беспокоил взгляд, она ответила взглядом. Молодой человек продолжал смотреть на нее. Легкая краска прошла по ее щекам, она наклонилась над тарелкой. Минуту спустя взгляды их встретились снова. Теперь она сердилась на себя, знакомая двойная морщинка свела ее брови. Шологов положил свою руку на ее руку, лежавшую на столе.

— Вот такой же молодой человек когда-нибудь уведет тебя от меня, — сказал он грустно.

Она не подняла головы; легкая морщинка, сведшая ее брови, не расправилась. Он сказал снова:

— Что же, к этому я давно подготовил себя, Наташа... Митяй говорил мне о многом. Только все-таки, пожалуйста, если можешь... — он опять положил свою руку на ее руку, — не очень меня забывай.

Этот завтрак в студенческом ресторанчике они запомнили оба. Острой памятью прекрасного города остался он в ней. И впервые новые смутные чувства чудесно и тревожно, и невероятно посетили ее в этом городе. Шологов решил уехать на отдых в Бретань. В июле пустел Париж, праздником взятия Бастилии, народными ярмарками во всех кварталах города завершался зимний сезон. В один из этих последних дней в городе они уехали в Версаль, в Трианон. Пригородный поезд быстро уносил сквозь Медону, Севр, в Версаль. Купами деревьев, прудами, мощеными старинными камнями площадями королевских владений простерся Версаль. Мария Антуанетта выходила на балкон дворца перед площадью, бушующей восставшим народом. Теперь пустынный пепельный простор этой площади, далекая перспектива

прудов, аллей и газонов, маленький розоватый дворец Трианона и пастушеская ферма мадам Помпадур, где давнею пасторалью дремала история. Большие тучные карпии, сонмища карпий кишели в пруду; в тишине пустынных аллей было больше осени, успокоительной грусти заката, которой так много в Париже. Они бродили весь день по этим аллеям Трианона, отдыхали под круглыми полотняными зонтиками пустынного в этот будничный день кафе, — и то, что впервые инстинктом и грустью она ощутила в маленьком студенческом ресторане, безмолвствованием и прощанием с Парижем сопровождало теперь. Они вернулись обратно под вечер. В Версале была уже синеватая тень облачного заката; в Париже горели огни. Светящимся танцующим зигзагом опоясывалась Эйфелева башня — тоскующей автомобильной рекламой в низвергавшемся сумраке города. Угасало небо под натиском его вечернего сияния. Электрические стеклянные трубки реклам, налитые красным, синим огнями, лились по фронтонам домов, бежали надписи, и матовые шары фонарей на мостах отражались в черных извилинах Сены, увлекаемые, но не уносимые течением. Широким простором Плас Этуаль разбегались и обегали автомобили, уносясь Елисейскими полями к Булонскому лесу. Это был вечерний Париж, люди сидели в кафе, смуглые черноусые марокканцы предлагали свои пестрые скатерти и нитки поддельного жемчуга, на углах неподвижно стояли ажаны в каскетках и синих плащах, вдовьими голосками напевали такси, и город сменил осеннюю грусть Трианона.

Деловые свидания были закончены, в клинике Дюпьи Шологов видел две классические операции, которые с галльским блеском провел знаменитый хирург. Летний Париж затихал. Три дня спустя после прогулки в Версале они уехали из Парижа в Бретань, к океану.

XXII

В маленьком городишке Кимперлэ они пошли с вокзала пешком по игрушечным улочкам. Так было уже, вероятно, в снах или в детских прочитанных книгах: узкие домики под зелеными треугольными крышами, белая фаянсовая посуда на полках, деревянные потолки в домах, высокие дубовые стулья; прохладный вечерний шум шлюзов, торопливое постукивание деревянных сабо по камням, женщины в накрахмаленных высоких чепцах, в бархатных черных корсажах, и бархатные шляпы мужчин с лакированным верхом и пряжкой, под которыми стариковские бритые лица, католическая схима морщин и красноватый огонь раздуваемой трубки. Это была — Бретань, океанская провинция Франции, тишина в прикурнувшем игрушечном, голландски изрезанном шлюзами городке, где неслышно подавали к столу девушки в черных шелковых юбках, в высоких, как митры, полотняных чепцах с голубыми лентами, и газетчик, потягивая автомобильным гудком в руке, выкликал столичные газеты, прибывшие вечером. В маленькой гостинице «Золотой Лев», где было мало при-

езжих и много этой провинциальной неотразимой тишины, они долго стояли у окон своих комнат, каждый по-своему полный раздумий и чувств. Шумела вода шлюзов, реже стучали сабо, позванивали башенные часы, отмеряя неторопливое время, окна потухали в игрушечных домах, своими остроконечными черепичными крышами похожих на старые пряники. Земных очарований была полна жизнь. Он знал в ней труд, целые десятилетия, отданные науке, две попытки в прошлом найти человеческую пристань. Сходни рушились, когда он сходил на эти пристани, пристани затапливались водой. Человеческому сердцу дана роковая сила находить привязанность в жизни, не остывать в своем биении до конца. Верный сторож, бодрствующий ночи и дни.

В легком сумраке маленького этого городка, в тишине, сам с собой, слушая спадающую воду шлюза, Шологов ощутил теперь свое одиночество. То, к чему привыкал он с годами, стало постепенно частью жизни. Когда пришли склон, закат, эту часть ревниво хотел он сберечь. Отстоянная сила чувств умеет принимать запоздавший дар жизни. Он стоял у окна и смотрел в провинциальную пустоту этих улочек. Тот же малый мир засыпающего городка, те же остроконечные крыши пряничных домиков, из которых в детстве так хотелось повыковырять плоские большие миндалины, тот же спад воды шлюзов, так же распахнутые в ночь створки другого окна... В маленьком ресторанчике на бульваре Сент-Мишель, в прогулке по пустым аллеям Версаля, в их расставаньях и встречах на площадке узенькой лестницы парижского пустого отеля, — во многом, о чем никогда она не думала раньше, открылись для нее и возникли его тревога, его боязнь одиночества, его скупая уединенная нежность... Это был — отец, человек, ставший ее отцом. Детство, проведенное в доме, его уверенная рука, баловавшая ее, год за годом затем руководившая в жизни; годы ученичества, революции, первых университетских шагов. Из подростка она стала постепенно тем недостающим звеном в его доме, которое с бессознательной радостью хотела она восстановить. Смешная рыжая морская свинка, распятая ею на столе, пока он вырезал у нее часть щитовидной железки, — совместный их труд... Но разве — при всей невозможности — не было ли оправдано то, что рука, руководившая ею всю жизнь, захотела в своем одиночестве ее удержать?..

Ночь, прохладно одушевленная спадом, плыла мимо окон, и одинокий стук запоздавших сабо отстукивал, как метроном, в тишине. Эту первую бретонскую ночь и широкие просторные океанские дни затем запомнила она, как свое вхождение в мир, дремавший для нее доселе. Маленькие рыбацьи городки, вуалевые голубые сардинные сети, коричневые паруса, красные и синие костюмы рыбаков, сардинные фабрички с сардинщицами в таких же деревянных сабо и накрахмаленных белых, зеленых и красных чепцах; простор океана, спокойной в эту пору Атлантики, соленый угрюмый мир рыбацкого труда,

скалистых берегов окраины европейской земли. Эта неделя поездки их по Бретани осталась памятью сероватой голубизны океана, запахов оливкового масла сардинных маленьких фабричек и иодистого перелетного океаном настоянных водорослей. Они сели на окраине этой земли, в маленькой деревушке Сент-Генолэ, над обрывами каменных рифов. Это был последний трехдневный отдых перед путем на Марсель и далее возвращенья на родину.

В большом старомодном отеле с деревянными потолками, со старинной бретонской мебелью, было просторно и пусто. Два-три художника, несколько небогатых семейств здесь проводили каникулы. Были дни непогоды, угрюмо бушевал океан, просторный северный ветер рушился в окна. Маленькая рыбацья деревушка, пустынная земля без деревьев, без зелени, тысячелетние скалы, нагромождениями древнего мыса свержающиеся в океан. Окна Шологова были обращены к океану; ее комната каменным широким балконом выходила к деревушке, к маяку Пенмарша, к земле. Опрятная девушка в черном корсаже, в белой кружевной своей митре, принесла в кувшине воду. Наташа умылась с пути. Далекий слепительный огонь вдруг блеснул в синеве: зажегся маяк. Маяк вращался, посылая стремительный луч в непогоду, мигая глазом земли. Необыкновенно одиноко стало в большой этой комнате. Наташа вышла, прошла коридором, постучала в последнюю дверь. Шологов стоял у окна. Широко в окнах лежал океан, обрушиваясь на прибрежные скалы, вздымая чрева воды.

— Посмотри, как сурово и дико, — сказал Шологов ей.

Он одиночествовал в этом сумраке. Она подошла к окну, стала с ним рядом, плечо-о-плечо. Широкий водный мир, просторы стихии, серые толпища облаков, теснимые, как при отступлении, на запад. Угрюма и дика была здесь Бретань. Вдруг они увидели смутный стремительный парус, несомый этим штормовым ветром. Это была рыбацья барка, борющаяся с ветром и морем, одинокие рыбаки, ушедшие на далекий лов. Парус падал на воду и вновь поднимался, валы поглощали его, и он снова выныривал, это было упорство жизни, воля людей, человеческая борьба со стихией. Они смотрели, не отрываясь, на парус, выискивая его в ходячей пучине. Шологов знал эту борьбу человека за жизнь. Угасавшее сердце еще упорно сокращалось, когда сознание уже покинуло человеческое существо; содрогаясь под его ножом, обращенный своим разверстым чревом к миру, человек хотел жить, разъятые ткани срастались, оставшиеся органы принимали на себя функции удаленных болезненных органов, вместе с злокачественными фибромами вырезывались жизненные части, и все же человек оставался жить. Это была великолепная, изученная им воля человеческой ткани к жизни. Воля к жизни вела рыбаков в непогоду. Парус падал, чтобы подняться, люди моря продолжали свой путь. Не так же ли сокращалось в нем сердце, посылая бесполезные силы, когда уже пройдены были две трети жизни?..

— Надо жить, Наташа, — сказал он как бы себе самому, — погляди, как бьются люди за жизнь... и нам, хирургам, врачам, надо уметь удалять болезненные наросты, мешающие жить человеку.

Он смотрел на исчезающий парус и говорил это. Большая грусть была сейчас в его голосе. Седые виски, подстриженные, седеющие усы еще с упрямой своей чернизоной, свежие молодые глаза, знающие отличную зоркость, спокойная рука, удержавшая не одну человеческую жизнь. Таким она знала его. Сейчас иное, новое впервые открылось ей в этих знакомых чертах. Уверенная рука знала грусть, спокойные глаза знали одиночество, сердце узнавало очарования, для которых считало себя закрытым давно. Рыбачий парус исчез. Загруженный сумерками океан был пустынен, белые смерчи вскипали над скалами. Шологов ждал, что она ответит ему. Она знала, что сейчас ей нужно ответить. Какие-то двери должны были открыться в этот миг, чтобы принять с ее смятением и горечью.

— Я пойду к океану, — сказала она вдруг.

Минуту спустя она вышла из комнаты. Он остался у окна, как стоял. Она быстро спустилась по скрипучей широкой лестнице, за каменной оградой двора сразу ударил ветер. Она пошла навстречу ему, одолевая его упругую силу, по высеченным ступенькам в скале поднялась на мыс. Потоки освобожденного ветра хлынули на нее, брызги разбивавшихся волн долетали сюда, ветер и океан владычествовали на этом просторе. Что она могла сказать и ответить? Стоя с ним плечо-о-плечо, глядя на уносящийся парус, она думала о другом человеке, которого не было с ней... Путь их обратно лежал через моря, за морями были многие земли, за многими землями была земля родины. В этой земле, на десятки сажений в глубине, бился и искал человек. О, как страстно, вдвойне она любила сейчас эту далекую золотоношащую и суровую землю! Хаосом вод кропился каменистый берег Бретани. Здесь был конец земли. Дальше лежал океан. Она продрогла под ветром, был уже сумрак, каменные ступени надо было нащупывать ногой. Света в его комнате не было попрежнему, угрюмо к океану был обращен пустынный отель. Она вернулась к себе, в свою темную комнату, хотела зажечь свечу, и вдруг стремительный луч ворвался в балконную дверь, с фосфорической яркостью пронесся по стенам, исчез и вновь возвратился на миг, чтобы так же исчезнуть. Это был маяк Экмюль; вращаясь, посылал он луч за лучом, и люди, застигнутые непогодой в море, за сотни миль видели эту зарницу земли, как весть неугасающей жизни. Она не зажгла огня, вращался маяк, луч проносился и вспыхивал в темноте бретонской непогодливой ночи. Ночь шла в непрерывном колыхании световых его крыльев. Ветер бушевал, сдвигая толпища туч, обнажая тощие, засеянные звездами небеса. И утром — впервые за все эти дни непогоды — солнце осветило побоище волн, океана, растерзанного отбушевавшей ночью. Все было утром забыто. Солнечный день лежал на земле. Шологов был ровен, спокоен, даже весел.

как всегда. В маленьком доисторическом музее они осматривали восстановленное погребенье далекого предка бретонцев и каменные доломены ледниковой поры. Компания болтливых англичан прикатила на автокаре любоваться рыбацким поселком и первобытной дикостью скал. Это были последние дни в Бретани. Впереди был Марсель, путь через моря мимо Италии, Греции, Турции, и вчерашний непогодливый вечер казался небывшим...

Два дня спустя они уехали отсюда в Марсель. Опять на пути был Париж — голубоватой очаровательной памятью, нарядный экспресс со своими дорогими вагонами в золоченых гербах и кружевных занавесочках уходил в Барселону, в Испанию, и после ночного пути стремительно прорезаемой Франции — Дижона, Лиона, Авиньона и плодородной цветущей долины Роны — встретил приморский, по-южному яркий, по-южному шумный Марсель.

XXIII

Пароход из Марселя ушел день назад. Другой уходил через две лишь недели. Проще было сесть на пароход Триестинского Ллойда в Италии. В Италию на обратном пути звал к себе в миланскую клинику Еttore Брагацци, два года назад посетивший Россию; он же прислал разрешение на в'езд: Шологов решил ехать через Италию, остановиться в Милане на день, поспеть на пароход Триестинского Ллойда в Триесте или Венеции. Старая бельгийская набережная Марселя со створчатым миром своих «кокиляжей» — устрицами, слизняками, улитками, южный говорливый город, путь Ривьерой, берегом Средиземного моря, мимо Канн с их толстыми стволами пальм, по-медвежьи обросшими войлоком, Ницца с черепичными крышами, с извозчиками под полотняными большими зонтами, белыми вилами в изнеможенной зелени пальм и магнолий, граница французской земли; и подплывшая незаметно Италия черными карабинерами в треуголках и с красными лампасами, крикливой толпой на перронах, цветными купальными костюмами пляжей и сумрачной вечернею Генуей, сменившей этот солнечный, яркий и синий мир побережья. Электрический поезд стремительно пересекал прохладную долину Ломбардии, по-северному в туманности откидывались поля, испарения рисовых болот стояли над ними. Этими отлистанными последними днями — летним душным Миланом с говорливой толпой и воплями продавцов газет под стеклянным решетчатым куполом галереи Виктора Эммануила; посещение клиники Еttore Брагацци, делавшего хирургические чудеса, одного из основателей новой теории об экстирпации околощитовидных желез; и возникшей на один только день праздничной, с полотнищами ярких знамен, зеленой Венецией завершился европейский успокоенный мир... Теперь путь был назад, морями, на родину.

Пароход, вышедший из Венеции в полдень, прошел за полтора суток всю Адриатику, оставил последним портом в распластанных

кронах пиний Италию и к полдню другого дня подошел к каналу Коринфа, к вратам мифологии, к древней, иссушенной сирокко и зноем Греции. Это был большой пароход, один из отличных тех пироскафов, что срочным положенным рейсом идут из Триеста в Константинополь, поясами полуденных стран, увозя с собой на Восток запахи проходимых морей — Адриатики, Ионического, Эгейского морей и векового простора путей Византии и Генуи. На пароходе в первом классе, прикрытые тентами от зноя и копоты, ехали пассажиры, неперенные англичане в белом тропическом одеянии, вылеживавшие весь путь в расставленных на палубе шез-лонгах, турки и греки — богатые и тучные люди с оливковыми лицами, с плохой французской речью, с орехами бриллиантов на пальцах и со ртами, сияющими золотыми коронками работы европейских дантистов. Адриатика, Ионическое море были полны тишины, зноя, мускусно дремавшего над материками — Италией, Боснией и островами Левкаса и Кефаллинии... Пассажиры лежали в шез-лонгах, тревожимые лишь буддийским стенанием гонга, с которым пробегал каждые два часа ловкий проворный камерьере в белой курточке и в лаковых туфлях, возвещая бульон или сэндвичи, завтрак из шести блюд еще с итальянским вином, чай и пранцо — обед. В туманах и маревах проходили материка, острова, видения Италии, Албании, Греции, зной сменялся звездной тропической ночью, оранжевым парусом восходила луна и плыла вдоль горизонта, похожая на рыбацью барку, на которой развели огонь рыбаки.

К каналу Коринфа, к желтой песчаниковой земле, пришли в полуденный час. Горюче и выжженно, библейской пустыней лежала земля, иссушенное одиночество поста с флажком, узенький мол. Из-за мола вышел старый буксирчик с греческим лоцманом и пошел к пароходу. Длинноносый, чугуно обугленный солнцем лоцман, в застиранном белом костюме, взобрался по трапу наверх. Лоцман прошел на капитанский мостик, минуту спустя дрогнул авральный звонок, и пароход медленно тронулся в путь, в голубую расселину канала Коринфа, за которым начиналась Эгея, колыбель мифологии. Близко проходили песчаные стены в греческих буквах и надписях, начерганных на высоте смельчаками и похожих на древнюю клинопись. И Эгейское море открылось за ними. Буксирчик посвистал, отдал чалки, греческий лоцман спустился в моторную лодку, и губочно-желтые большие медузы медлительно поплыли навстречу.

Все эти дни Шологов просматривал бумаги и письма, делал заметки, страны отодвигались назад, навстречу шла родина. Он был опять ровен, замкнут; ничто не тревожило покоя этого голубого пути. И ветренная бретонская ночь, рассекаемая переменным огнем угрюмого маяка Экмюль, казалась Наташе пронесшейся непогодой. Впрочем, по-иному, иначе возникло все это снова. Пароход пришел в Пирей в дневной расплавленный час. Лодки, десяток лодок с полицейскими в сером с красной перевязью на рукаве, с вояжерами отелей, с продавцами янтаря и менялами устремились навстречу. Далеко, белой

вознесенной короной, был виден Акрополь, путь на Афины. Зноом, древним миром, красноватой пережженной землею лежала Греция в дневной этот час. Вояжер отеля, в темных очках, уныло болтался на лодчонке, прикрытой стершимся ковриком, вопя: «Отель Лондр!». С ворохами ассигнаций по палубе ходили менялы, Восток сменял европейский, пронесшийся в полуторамесячном их путешествии, мир. Пароход простоял в Пирее полдня и тронулся дальше. К вечеру зной стал спадать, безветренная теплая ночь засветилась сигнальными огнями створ и маяков, пароход шел архипелагом греческих островов, чтобы на утро войти в Дарданеллы, в теснины турецкой земли. Полуденные страны оставались на пройденном пути. В этот последний их вечер на итальянском пароходе Шологов прошел с ней вместе на нос. Был поздний час, люди разбредались, в салоне курили англичане и пили коктейли, которые с языческой сноровкой нацеживал и разбалтывал в баре буфетчик с закаченными до локтей рукавами.

— Дня через три — Россия, Наташа... ты рада? — спросил он ее погода.

Она ответила:

— Очень.

Теплом и, вероятно, полынью пахла древняя земля островов греческого архипелага. Ближко проходили красные и зеленые огни. Она сказала еще:

— Я не хочу, чтобы вы грустили, Алексей Михайлович... право, совсем не нужно грустить!

Он ответил ей просто и тотчас:

— Все это навождение, мой друг... Когда отходишь от труда, от привычного круга занятий, — тогда возвращаешься к себе, начинаешь раздумывать над собой... В жизни все поставлено в своем разумном порядке, конечно. Сейчас нужно много работать, организовывать, строить, а не останавливаться в растерянности над собой... Человек, проработавший всю жизнь над постройкой общего дела, — вернувшись к себе, часто там находит развалины... редко кому удается построить два мира. Есть разумное соревнование этих миров, они не терпят друг друга.

Широкие россыпи звезд поднимались с востока, обходя острова, пароход шел в это опрокинутое звездное небо, лежавшее над древностью Византии.

— Ты видела, как все организовано в мире, какая культура помогает народам совершенствовать жизнь, — сказал он еще серьезно и грустно, — и как отстали мы, какими десятилетиями надо поднимать культуру нашего народа, нашей страны... Это — великие цели, великие задачи. Наша медицина, наши врачи — одни из лучших врачей во всем мире... у нас еще умеют врачи жертвовать собою, уходить на дикие эпидемии, бороться с чумой — и в каких условиях, часто без медикаментов, без инструментов, в глуши... у нас еще иногда избивают врачей, и знахарь соревнует с ними. В клиниках Дюпьи и Брагацци об этом не скажешь. Я к тому это все, что можно ли тут думать о себе,

Наташка, о своей жизни, — добавил он еще шутливо и дружески. — Через неделю Москва, институт... в этом году хочу я проверить на людях некоторые наши лабораторные опыты. У меня есть одна догадка о деятельности эндокринных желез... тут мы, хирурги, может быть, сможем притти терапевтам на помощь. Я хочу ввести тебя в этом году в курс практических работ в клинике... лабораторные опыты у нас отойдут на второй план, многое для себя я уже проверил и выяснил, как мне кажется.

Он говорил обычные деловые слова, общим трудом шли они жизнью, но она знала, что главного он не сказал и не скажет. В этом несказанном было его одиночество, его страх перед жизнью, которая оказывалась сильнее человеческой воли и человеческой стройки, и невозможность изменить ее ход... Ночью из Мраморного моря задул ветер, погода изменилась, запахло суровостью осени. И утро пришло скудными берегами турецкой земли, угрюмостью берегов Дарданелл, разрушенными и скрытыми фортами и черепичными кровлями нищих турецких деревень. Весь день шел пароход мимо этих берегов, волнующимся беспокойным Мраморным морем, терзаемым штормом, — и к вечеру, в огнях взнесенный на высоту, копиями минаретов, куполами мечетей, обликом, виденным некогда в давних прочитанных книгах, встретил Константинополь.

Разбитая большая машина несла их из порта навверх кривыми полутемными улочками, вспыхнула Пёра цветными огнями и музыкой, и город Востока открылся из окон гостиницы своими садами, Босфором в огнях, тысячелетним дыханием Византии и Блистательной Порты. Это были легкие дни, блуждание сводчатыми коридорами Бююк-Чарши, Гранде-Базара, с лавочками ювелиров, стегальщиков одеял, кожевников и антикваров; узенькими улочками букинистов под арками виноградных лоз; дворцами султанов — Топ-Капу, откуда виден легкий просторный Гюсфор, берега Малой Азии, черепичные дома Скутари; кофейнями, где стучат турки костями и сонно сосут мундштуки, булькая в кальцах водой, и смуглый бесшумный служитель приносит в медной кастрюлечке на длинной рукояти пахучий густейший кофе; всеми закоулками этого древнего города, остановившегося на своем тысячелетнем пути, чтобы дремотой и памятью отоснившихся дней напоминать о Востоке, о прошлом... И еще — самое волнующее для нее в этом городе было то, что это последний город на их пути, что далее — родина. Два дня спустя, поднявшись на русский пароход с сибирским названьем «Тобольск», она узнала эту последнюю радость. Пароход был старенький, бегали русские матросы, палуба была загружена, и хорошенький мальчик в белом кителе, помощник капитана, улыбнувшись смуглой и белозубой улыбкой, сказал:

— Вам, профессор, приготовлена каюта № 4.

Это была Россия, родина, и пароход назывался именем далекого сибирского города, где тоже, наверное, залегают золотиносные жилы, которые ищет в земле человек.

XXIV

И после многих недель старый московский мир принял и ревниво заполнил собой открывшиеся иные миры. Там были путевые просторы, здесь была — земля, основа жизни. Начинались университетские занятия. С'езжались загоревшие на южных побережьях товарищи, ремонт института был закончен, поступило и еще поступало заграничное оборудование. Труд начался. И нарушенная жизнь вошла в московские свои пределы. Шологов возобновил занятия в институте. В почте, сложенной Лизаветой за летние месяцы на его столе, было письмо для Наташи. На письме был штемпель уральского города. Он знал, от кого было это письмо. И Наташа прочла письмо, которое написал Инжеватов в дни следствия, прекращенной работы, своего отчаяния и надежд. Сильнее отчаяния все же были надежды. Так верила и она. И в далекий вечер ее одиночества в бретонском рыбацьем поселке переменный огонь маяка, врывавшийся в темноту ее комнаты, больше всего говорил о неутоляемой человеческой жизни, о надеждах ушедших в море, о песнях земли.

Своим вниманием, как бы клятвенным обещанием остаться навсегда в его жизни, она старалась теперь наполнить часы труда и отдыха Шологова. Были письма от Дмитрия из Америки, он писал о золоте Чили и Калифорнии, о рифовых россыпях, о своих американских скитаниях... По-своему, иным путем Дмитрий продолжал его жизнь. Нужно было в своем труде, в этой его преемственности искать знакомую силу успокоения. И Шологов постарался ее найти. Он перевел Наташу с лабораторной работы на практическую работу в клинике. Сложным разнообразием страданий принимал мир к спасительной руке хирурга, врача. Но опыт человеческих усилий был все же мал, полку людей уходили из жизни, чтобы уроком своих неисцеленных болезней указать путь для спасения одного человека. За первым спасенным человеком следовал другой. Микроб за микробом, опыт за опытом, операция за операцией боролся человек за жизнь. Вчерашние блуждания наощупь казались средневековым. Познавались новые методы, пересаживались ткани, железы; сложная техника пальпации живота, брюшной полый области, лишенной костной основы, находила новые методы распознавания; рука хирурга, концы его пальцев обретали живую впечатлительность щупалец, проникая в сложную и глухую область внутренних органов; впервые применялся широкий опыт переливания человеческой крови. Крохотные существа — крысы, морские свинки и кролики — воссоздавали человеческие процессы. На опыте над животными проходило изучение существа человека. На сложных больших и менее сложных обыденных операциях уверенной и точной руке хирурга должны были сопутствовать спокойные руки ассистентов, помощников. На распростертом обнаженном человеке проводился первый удар ножа хирурга, вскрывая кожную и жировую подкожную ткань. Как бы испуганно и недоуменно под-

ступала кровь к разрезу, чтобы хлынуть через мгновение из человеческих недр. Ловкие быстрые руки закладывали первые томпоны, перехватывали зажимами и пeанами отвернутую ткань и пресеченные органы, следили за пульсом, держали наготове откупоренные склянки с хлороформом и эфиром, выбирали из полости органы, гладкие, синеватые, иногда покрытые узлами новообразований, иногда обессиленные плохим питанием, зловеще-лиловатые от истощения. Работал хирург, нож вырезывал сращения, новообразования, фибромы, раковые опухоли; вскрывал полости почек, желчного пузыря, опорожня их от камней и песка, иногда удалял совсем эти органы, — работал иглою, сшивая недостающие пресеченные части, а руки ассистентов, помощников укладывали обратно эти бьющиеся, пульсирующие органы, сменяли напитанные кровью томпоны, снимали пeаны и зажимы, накладывали первые швы на распоротое существо человека. Неистощимый дух бушевал в этой слабой, подверженной тысячам калечений, инфекций и изменений его оболочке. Иссякала основа питания человека — его кровь; и надежным спутником новая кровь приходила на помощь. Пуповиной питала мать новорожденного; кровью своих артерий мог питать здоровый человек обреченного на истощение и гибель человека. Новый запас горючего приводил в движение механизм, и вот сызнова начинал свою работу мотор, чтобы восстановить человека для жизни. В этом была высокая и вырванная из угрюмого запаса ее неотданных тайн мудрость начал.

Давно все это приняла для себя Наташа, как основу пути. Шологов раскрыл перед ней этот мир, и заново человеческая кровь, столько раз виденная ею на операциях, обрела свой сумрачный, великий и неотданный до конца человеку смысл. Это была повесть о белых, о красных шариках, о сложном мире этой непознанной силы, передающей от гения — гений, от преступника — преступную волю, — о человеческой крови.

На четыре особи, на четыре группы делился человек по признаку крови. Сыворотка крови одних склеивала и растворяла красные шарики крови других и обрекала на гибель. Не во всякой крови нового хозяина хотели ужиться перенесенные шарики крови. Это был сложный, капризный, изменчивый мир. Дающий кровь и берущий кровь должны были быть в одинаковых лагерях, не каждая мать могла отдать свою кровь любому ребенку, высокая тайна родоначалия берегла этот путь. Тысячами опытов и догадок была разложена на цифры и формулы кровь человека. Изучено было свойство, определены были группы дающих и берущих кровь, формулами восполнял человек исчезающие при выходе из организма химические свойства крови. Это была агглютинационная сила сыворотки, сила свертывания крови. С этой силой подбором и химией боролся человек. Он кипятил и замораживал кровь, разводил и дополнял, выводил формулы групповой принадлежности человека. Великий Мендель своим начер-

танном законом баюкал эти испытанья и опыты. В пробирках делался опыт смешения крови — дающего ее и принимающего ее в себя. Реакция определяла путь; стеклянные пробирки становились прообразом человека. В пути следования от человека к человеку остывала и свертывалась эта текучая и изменчивая основа жизни; десятилетиями измышляли и измыслили, наконец, реактив, задерживающий это свертывание крови. Арсено-бензол, лимонно-кислый натр сопровождали путь крови, оберегая и восстанавливая ее. Зловещие препятствия возникали на пути этого продолжения жизни. Расширилось сердце берущего кровь от притока новой стремительной силы, образовывались кровяные пробки в венах, задерживая ее ход, и столкнись неоднородные крови, неминуемо осужден был на гибель берущий ее человек. Когда падало до одного-полутора миллионов количество населяющих кровь существ — кровяных ее шариков, когда понижалось кровяное давление, когда острое малокровие, шок, кровотечения после операций угрюмо сигнализировали о близком довершении человеческой жизни, — тогда приходила на помощь живая горячая кровь. Сотни тысяч кровяных шариков, как солдаты во время прорыва, как люди у разрушенной при наводнении плотины, бросались на приступ, заделывая брешы, заполняя поля отступления, и первый удар учащенного сердца посылал сигнал, что помощь принята и оправдана...

Эти мгновения благодарности человеческого организма знал Шологов; стала узнавать их Наташа. Сигналы о бедствии во время своих многих дежурств; первые признаки возвращения жизни, утоленного биения сердца, — этим проходила она, как проходила путем операций, лабораторных опытов, изучения мира, открывшегося перед нею в своем биологическом несовершенстве. Она была помощником, ее внимательные ловкие руки сопутствовали при операциях. И летнее путешествие — памятью пройденных стран — осталось позади. Была еще теплая осень, Москва, вернувшаяся к зимнему порядку своей жизни, большая ответственность, труд. Наташа возвращалась домой, приносила иногда цветы, купленные у мальчишки у Арбатских ворот, эти северные неяркие астры, ставила на стол в кабинете. Опять женская внимательная рука была в его доме. Ни разу не открылся он ей в замкнутом своем одиночестве; ни разу — так повелось — он не возобновил разговора, начатого в путешествии, в сосредоточенном ощущении себя, своих чувств, — как всегда в пути, когда утрачивает жизнь свой обычный порядок. Гудки паровозов, вспененная вода от винта парохода, несогретая пустынность случайного номера, одиночество в больших городах, где иноязычная, в кругу своих удовольствий и дел, устремляется и отдыхает толпа, — все это больше всего напоминает человеку о себе, о своей жизни... Теперь все это как бы пересекли и затмили иные дела, иные раздумья. Хирург начал свой труд, но многое не поддается искусной руке, многое осталось прежним... Двамя мирами шли они в общем их доме. Два мира соседство-

вали, как бы открытые до конца друг другу, и два мира — в малой ревнивой своей затаенности — все же не были до конца друг другу открыты. Она ощущала его, этого близкого и единственного для нее человека, и человек этот двоился, принимал облик другого, столь тревожно и полно лежавшего в ней... Это было не как единоборство двух сил, а как одна, ее ведущая сила.

Так начали они эту осень и зиму. Астры и флоксы пахли московскою осенью. Они стояли у него на столе. На столе его по утрам лежали письма, положенные Лизаветой. Иногда, редко, среди этих писем было письмо, почерк на котором он уже знал. И люди, ждущие от его руки исцеления, в эти дни казались ему не узнавшими полной меры всех испытаний. К сентябрю закончено было переоборудование операционной. Тот же европейский блеск, что в клинике Дюпьи, что у Еttore Брагацци в Милане, был теперь в двухсветной зале для операций. Упорство, которое было для него сильнее своего отъединенного мира, осуществляло его замыслы понемногу. Он делал жизнь, своя жизнь перед ней отступала. Так было всегда в порядке деловых его дней. Астры отцветали понемногу, дождями были закапаны стекла. Из больших, наполовину забеленных окон операционной видно было осеннее грифельное Замоскворечье, туманы, сырые дождевые просторы непролившихся туч.

XXV.

Это был немолодой рабочий-металлист, длительно страдавший гемофилией. Он получил на заводе тяжелую травму, внутренние кровотечения его обескровили. Его привезли с резкими конституциональными изменениями всего организма, с плохой свертываемостью крови при исследовании, с пониженным ее давлением. В институт приходили люди, продающие кровь; эти люди знали цену полновесному избытку своей драгоценной крови, как цену золота. Молодой повар, нуждавшийся в заработке для покупки коровы в деревне, предлагал свою кровь. Его исследовали, он принадлежал ко второй группе; металлист принадлежал к группе первой. Повар мог дать ему свою кровь. Операция была назначена на утро, в десятом часу. Больного привезли в кресле-каталке и положили на операционный стол. Костистый большеносый человек с синеватым отёчным оттенком кожи, с ясно выраженным цианозом. Его тяжелый большой подбородок мрачно оброс траурной седою щетиной; резко желтоваты, как бы прокурены, были белки. Повар был розовый белоресничный парень, довольный случайным обогащением; все же, когда привели его в операционную, он встревожился. Блеск инструментов, внимание к нему ожидавших людей затуманили мечты о корове. Его синеватые глаза стали по-детски округлы. С него сняли рубаху, розовое его тело сразу покрылось гусиной кожей. Его правую руку стали дезинфицировать бензином и спиртом. Шологов, ассистент доктор Егоров, фельдшерица, Наташа. Больной лежал,

высоко по-мертвому задрал хрящеватый нос, страшный обросший свой подбородок. Повара положили на другой операционный стол, согнули его руку на маленьком столике, туго перепоясали резиновым жгутом, чтобы проступили вены. Розовое лицо его стало несчастным. На согнутой сильной руке, перетянутой жгутом, стали проступать голубоватые разветвления вен. Шологов несколько раз ощупал и разглаживал пальцем толстую синюю вену, давая ей наливать. Приставив затем иглу, он с силой проткнул эту вену. Повар охнул, темная, почти черная кровь стала выбрасываться равномерными толчками. Длинноватый стеклянный сосуд начал наполняться кровью. Наташа держала руку больного, готовившегося принять этот дар. Молодость питала старость. Сквозь стеклянную пуповину повар вскармливал для жизни человека. Жилистая, много поработавшая рука лежала на столике, ожидая новой и обновляющей силы. Минуты спустя ту же иглу Шологов вонзил во вздувшуюся вену рабочего. Медленно, сжимая баллон, вводил доктор Егоров кровь под напором. Капля за каплей переливалась она в нового владельца. Захваченное ее потоком, с удвоенной силой начало биться сердце. Желтоватые белки глаз были прикрыты веками. Внезапно синеватость лица стала буреть, как бы под натиском усилий, дыхание его участилось, с силой выталкивали воздух ноздри большого носа, — казалось, лихорадка возбуждения охватила его в этот миг. Шологов следил за сердцем, оно бушевало, вазомоторная система нагружалась, как сотрясается от работы мотора машина. Доктор Егоров вынул иглу, зажал вену, стал забинтовывать. Шологов считал пульс, биение сердца. Новая кровь распространялась по венам, найдя привычное убежище, надувшиеся жилы на лбу стали опадать, краснота лица спала, пульс улучшался. Сердце начинало обычную работу. Он отпустил руку, больной лежал, как бы раздавленный тяжестью этой обрушившейся на него крови. Шологов подошел к умывальнику, привычно, старательно намылил руки. Операция была закончена. Наташа мыла инструменты, кипятила иглу: это был пока малый мир ее обязанностей при операциях. Больного и повара перевели из операционной обратно в палату. Час спустя, при обходе, Шологов подошел к больному. Он спал. Лицо его посветлело. Он дышал ровно, ровно набирала и выбрасывала воздух запавшая грудь. Пульс был хорошего наполнения. Шологов сделал обход, вернулся обратно в свой кабинет; Наташа сопровождала его. Он снял халат и сел в кресло.

— Все-таки великое дело — кровь человека, — сказал он в раздумьи, — повар через неделю забудет об этом, а человек останется жить. Хорошо бы, если бы можно было освежать так каждое сердце... влить бы немного молодой свежей крови, чтобы по-новому забилося оно. — Он говорил с усмешечкой; голос его был невесел. — И вот еще что, Наташа... — добавил он вдруг, — была бы у тебя мать, ты бы с ней дружила по-женски... тогда все было бы проще. А то я вот отец — и плохой отец при этом.

Она подошла к нему, теперь совсем близки были седые виски, исчерченный знакомыми линиями лоб, две красноватые вдавленки от пенснэ по бокам носа.

— Алексей Михайлович, вы для меня всегда — самый лучший, — она сказала негромко и искренне.

Он взял ее руку и удержал в своей.

— Ну, я ведь знаю, я знаю... ты не думай, пожалуйста. Просто поглядел я сегодня, как обновляет молодая кровь старость, и подумал о своем поколении... ничего не поделаешь, всему свое время, дружок. Сегодня я вернусь домой пораньше... если никуда не уходишь, проведем вечер вместе, поговорим о Митяе.

Они условились, что он вернется к семи. В этом его раздумьи и одинокости она хотела быть ему ближе всех. Памятью парижских дней, по-осеннему пустого Версаля осталось в ней чувство смятения, которое затем перешло в живую волю напоминать ему о сопутствующей женской руке. Она убирала его кабинет рукой женщины. Вещи на его столе жили живой жизнью. Лизавета не касалась их. Она сама приходила сюда по утрам, прибирала его стол, вещи на нем, как бы сбегая след проведенной за этим столом его ночи. Легкий чадок ночного табака был еще в комнате. Книги были заложены закладками. Она вытирала вещи, клала их обратно в его порядке. У мужчин свой, мужской порядок на столе, который ревниво они берегут от женщин. Он, садясь за свой стол, чувствовал след ее руки. Это был замкнутый круг их ощущений. Большое и мучительное для него было попрежнему не раскрыто и не рассказано. Третий человек стоял между ними. Глубже лежало в ней то, что влекло ее из дальних стран обратно на родину, ни разу за годы не становясь ни слабее, ни дальше.

Она ждала его к обеду к семи, читала книгу на диване в его кабинете, читала и слушала. Английский замок вдруг щелкнул вниз, знакомый бронзовый кружок с надписью «Vale». Она быстро закрыла книгу, пошла к дверям. Он поднимался по лестнице. Плюшевая темно-серая шляпа, которую вместе выбирали в Берлине, знакомая суковатая палка. Она стояла в дверях, ступеньку за ступенькой поднимался он по старенькой лестнице. И милые, суженные в устьях глаза благодарностью молодости, нежности и ожидания встретили, как обычно, его в этот час. Он снял шляпу, пальто, потер одна о другую руки — привычка врача, хирурга, дающая им нужное и подвижное тепло, — и вместе с ней плечо-о-плечо прошел в кабинет. Хрустнул выключатель, свет зажегся вверху. И город, день остались позади.

XXVI

Инжеватов из управления погнал лошадь по выбоинам и ухабам городской мостовой. Черная грязь разлеталась, лошадь отфыркивалась. Стиснув зубы, радуясь боли от каменной встряски, он гнал лошадь через город. Скоро пошли деревянные домишки окраин, заборы, нехит-

рое глухое жилишко с красной геранью на окнах, с огородами, с пустыми собачьими будками. За все эти последние месяцы, за годы своего копанья в земле — впервые узнал он отчаяние. Старатели верили в жилу на шестой, на восьмой сажени. За эти месяцы прошли десятую, одиннадцатую, двенадцатую сажени; его миновало судебное следствие, случай с патроном был отнесен к несчастным случаям по недосмотру самих шахтеров: горный надзор ограничился выговором. Он снова возвратился в шахту. Прошли двенадцатую сажень — жилы не было. Он знал ее простирание, знал угол ее падения, начал ощупывать ее кварцлагами — жилы не было. Он отмалчивался на требование управления сообщить точные сведения о ходе работ; в управлении были уверены, что жила выклинилась, это было торжество Колтухова. Он предупреждал, что для данного месторождения жилы непостоянны — так случилось, его опыту не поверили, шахту били впустую. День назад телефонограммой Инжеватова вызвали в управление. Он знал теперь, что решается судьба шахты, шахта стала давно частью жизни, — следовательно, судьба его жизни. Он повез сведения о ходе работ, чертежи. Как знал он заранее, так случилось. Ему не поверили, не верили его планам. Колтухов сказал:

— Загонять для вашего самообразования, товарищ Инжеватов, деньги — для этого должны быть отпущены специальные средства... у управления их нет.

Инжеватов ответил грубо:

— А кто оплачивал ваше образование, товарищ Колтухов? Акционером предприятия был тобольский губернатор...

Колтухов не обиделся, он вдруг расцвел; его улыбка была сочувственная и ненавидящая.

— Вот мы и договорились прекрасно, — сказал он и даже откинулся в кресло, — по крайней мере, все ясно... больше вопросов я не имею. По представленным материалам будет иметь суждение специальное совещание.

Инжеватов гнал лошадь, провинциальные улички сменились колеями проселка, полными воды. Что же, захотят прикрыть шахту, он останется со старателями, так он решил для себя. Если жила проходит не здесь, он дрянной инженеришка, у него нет чутья, одним апломбом ничего не добудешь. Пока же, до совещания, — бить шахту дальше, дойти до пятнадцатой сажени, нащупывать штреками. В глубоких россыпях мертвых рек десятком саженей глубины — базальтом, черной и синею глиной, песком, речниками, ложною почвой — нужно пройти, чтобы дойти до золотоносных песков. На десятке саженей глубины залегают золотоносные россыпи. Древние реки, стремительно проносимые в своих руслах, умирали, откладывая на глубинах почвенные породы, постель, содержащую золото. Кварцевые жилы, простираясь между слоями пород, залегших с доисторических времен остывающей планеты, пересекали углами пласты этих пород, сужаясь, обрываясь, обогащаясь по мере приближения к зоне разлома. Линиями.

разведочных скважин, определением чередующихся водоносных горизонтов добычливо и пытливо шел человек. Россыпи и жильное золото кварцев вели его, обманывая, обрываясь, иссякая. Сдавшийся уходил побежденным. Не сдавшийся — становился победителем. В управлении хотели, чтобы он сдался; он предпочитал в нечеловеческих условиях продолжить труд со старателями. С этим он ехал сейчас обратно, с этим он приехал к Колымову. Колымов слушал его, на аршинных его плечах опять треснул пиджак; пиджак на плечах через день зашивала жена. Слегка воловьими, малоподвижными глазками он смотрел на него:

— Ну, и что же, от этого ты захирел?.. Рановато! Мы свою линию будем вести. Я тебе поверил, ты себя оправдываешь... а дело у нас — общее дело. Я, брат, шахтером был, я жизнь сверху вниз прошел и снизу вверх... сколько что стоит — я знаю. Ты вот пообедай сначала, а потом едем в лес. Мне тут старателя твоего надо пощупать, разное люди болтают... Я расскажу дорбогой.

Слова его были округлы и покойны, как валуны. Человек говорил, усмехался, пиджак его трещал на плечах. Жена подавала на стол, слушала мужа, таежная дремавшая улыбка лежала на ее губах. С человеком этим, с простым шахтером ушла она в тайгу. Шахтер теперь покрикивал, хозяйствовал, командовал. Она подавала на стол с этой же дремавшей улыбкой. Час спустя они поехали в тележке на шахту.

— Я тебе давеча говорил — болтают люди...

Инжеватов спросил:

— О чем?

— Я расскажу... нно, слушаешь, чорт! — Он ударил кобылу вожжей. — Ты про Финогенова слышал? Давно я до него добираюсь. За десять лет всех не повыдергаешь. Дернешь одного, а он осыплется, семенами землю засеет. Финогеновых - кабатчиков все старатели сорок лет знают... хищников приучали, золото на спирт наменивали, в ту пору еще спиртоносы ходили... это и я прошел. Теперь Финогенов трактир на зятево имя держит, в старатели сам записался... вот отсюда и весь разговор. Он Благословенную гору для себя отвел, а тут старики подвернулись, тебя привели. Слышал я, что неотбитый патрон — его работа, бурильщика в долю взял. У меня Блохин в наблюдении, мои ребята за ним наблюдают... понял? Со стариками хочу разговор повести, к старикам слух к первым доходит.

— Это что же — и сверху и снизу? — сказал Инжеватов не сразу.

— Выходит так. Ты в золотоискатели шел... здесь горечи похлебаешь. Золото задаром в руки не дается. Сколько берет у человека, столько и дает.

Из лощины тянул холодок. Инжеватова начало знобить. В одну из сырых погод, запухший от комаров, он залихорадил. Он думал сначала, что это простуда. Лихорадка прошла, потом повторилась. Она стала повторяться в определенные сроки, лишая его сил, выбивая из работы. Тогда он понял, что это малярия. Он глохнул от хины, хина смягчала приступы; болезнь осталась. Осень находила постепенно свое

привычное пристанище. На елани тучно паслись стада туманов. В лесу была сырость. В пятом часу они приехали к шахте. Колымов послал за старателями. Андрюша Рыбак был в смене, работавшей под землей. Старатель вышел на свет, брезентовая одежда его была мокра, со шляпы капала вода. Отвыкшие слабые глаза непривычно смотрели на свет.

— Скидавай мундир, есть разговор, — сказал Колымов ему.

Старатель переделся, сменил сапоги. Они пошли по лесу к опушке, чтобы никто не услышал. Там на мокром бревне они сели.

— Скрути по цыгарке, — сказал Колымов. Старатель скрутил. — Ты старой веры человек?

— Старой.

— Ладно.

— А ты? — старатель спросил неспеша.

— А я новой.

— Ладно, — ответил он так же.

— Ты звон промеж народа слышал? — спросил погодя Колымов.

— Мало ли звонят.

— О Финогенове слышал?

— А что о нем слышать? — Старатель стал вдруг колючим, даже глаза его словно зашелушились. — Убрать его в чистую надо, чтобы народ не мутил... вы другого хорошего не стерпите, а этот все у вас в упряжи ходит.

Колымов смеялся:

— Погоди, доберемся...

— Десять лет добираетесь, да склизок угорь.

— Злобу на вас Финогенов имеет, что жилу нашли?

— Ему всей землей володеть, а у него из-под носу берут... сердает маленько.

— А неотбитый патрон его работа?

— А кто закладывал? Никто не видал, кто закладывал.

— А чуешь что?

— А чую что — про то моя думка знает...

— От нас-то чего таить?..

— Я не таю. Как на след приду, заявлюсь. А сейчас говорить мне нечего.

Колымов сказал:

— Ладно. Я терпеньем богат. А работу срывать не позволю... сам на месте справлюсь.

Старатель поглядел на него; были шестидесятилетние глаза, как солнце в тумане.

— Я про тебя слыхал. Капеля ты отгонял?

— Было такое.

Дымки цыгарок плыли. Осенью, махорочным дымом пахнул вечер. Желтое лезвее зари лежало между распоровшихся туч.

— А насчет жилы как скажешь? — спросил Колымов вдруг. —

— Фарт будет—найдем.

— Это я знаю... сызмальства слышал. Меня старатели с двенадцати лет в свою веру крестили.

— Тогда и сам разберешься...

— А не выклинилась она, чортова сила?.. — спросил Колымов вдруг близко, вполголоса. — Денег впустую нам бить не дадут. Тринадцатую сажень проходим.

— Инженер лучше меня правду знает... у него своя наука, у меня своя примета.

— А твоя примета какая?

— На пятнадцатой сажени штреком нащупаем. Не зря Финогенов тревожится... впустую бы били, он бы молчал. Ты вот старательскую веру прошел, да не все разумел... не жила за человеком идет, а человек за жилой.

— Это я слышал.

— А слышал, так дальше трудиться надо. Как найдем — скажем. Верно, инженер, я говорю?

Он докуривал свою цыгарку, опалая усы. Человек верил. Верил Инжеватов. Без этой веры не стоило б жить. И утро, которое он провел в управлении, показалось ему сейчас давним утром его жизни. Они вернулись обратно к шахте. Комары пропадали к осени, дым от костра шел книзу. Инжеватов подсел к огню, его лихорадило. Кожа на лбу была горяча и суха. Веки ломило. Огонь показался ему блаженным. Если бы можно было остаться вблизи его согревающего пламени. Отдалялись голоса, он задремал на мгновение. Вдруг Колымов сказал:

— Да, постой, брат, я и забыл... — Он полез в карман и достал конверт.—Держи письмо, инженер.

Колымов качнулся, стал на место. Двойная голова старателя поспешно сужалась. Это было письмо из Москвы. При свете костра, в лихорадке, он читал это письмо от Наташи. Оно было кратко, как были кратки его письма к ней. Только напоминание, память. Он все еще сидел у огня, читая это нескончаемое письмо, вдруг стал он клониться. Колымов удержал его за плечо:

— Да ты болен, братишка... катим домой!

Он надел на непо свой бушлат, посадил в тележку. Лес, освещенная красным поляна, вышка шахты, письмо, которое держал он в руке, хруст под колесами сухостоя—все чередовалось и удалялось и приближалось снова. Надежно было большое плечо Колымова. Он прислонился к нему головой, счастье колыхало его на каждом толчке. Сладостно и смертно в самое сердце улыбалась малярия.

XXVII

«I. Северный конец жилы на горе. Мощность 30 сантиметров. II. Лежачий бок той же жилы. Проба из шурфа. III. Кварцитовидная порода из разреза № 2 с окислами железа... линия разведочных канав.

боковые породы»,—здесь, на плане, в пробах она лежала всем своим простиранием. В недрах, в породе оказывалось иное. Инжеватов рассчитывал, что до осени успеет на пятнадцатой сажени углубки пройти штреками в поисках жилы. Колымов самолично увеличил штат за счет сокращения работ на шахте № 4, которая считалась ликвидируемой. Днями, ночами шла работа на шахте. Весь этот месяц Инжеватов боролся с малярией. Острота припадков прошла. Слабость, колокольные звоны в ушах качали его. В начале сентября дошли до горизонта пятнадцатой сажени. Он приостановил углубку, начал прохождение штреком. Порода выбиралась из тоннеля, надо было установить прочные крепи, вода сильно размывала породу. Теперь стал уже ощущаться недостаток воздуха. Он надеялся штреком нащупать жилу, хотя бы 7-8 золотников получить со ста пудов раздробленных добытых пород. Его беспокоили еще непрерывные потоки воды в этой злосчастной заливаемой шахте. Всё было против него. Колымов, он, два старателя, шахтеры противопоставляли свою надежду и труд стихийным и человеческим силам, боровшимся с ними. Осенние дожди размывали дороги. Путь к шахте становился малодоступен, начиналось осеннее бездорожье. Вдобавок ко всему, он терял силы. Лихорадка изнуряла его, он боролся с ней упорно, слабея от припадков, от потов. С утра глушил себя он хинином, вечером сваливался без снов и видений. Колымов глядел на него тревожно:—«Гляди, братишка, как бы тебя не завалило совсем...». Он об этом не думал. Пока были силы, нужно было продолжать жизнь.

Он приехал в ненастье на шахту, переделся в костюм, стал спускаться. В руках не было прежней крепости, осторожно перехватывал он мокрые ступени, боясь сорваться. Штейгер дожидался его на шестом переходе. Инжеватов спросил:

— Новости есть?

Штейгер ответил:

— Вода донимает.

— Надо проверить крепи...

Инжеватов спустился вниз, взял фонарик, стал пробираться штреком. Он исследовал породы стен; шаг за шагом проходил он этим тоннелем. В глубине кайлами били шахтеры, углубляя штрек. Вдруг он остановился; остановился шахтер, сопровождавший его. В сланцах, в боковых наслоениях сланцев он обнаружил зеркало скольжения; зеркало скольжения в сланцах указывало, что произошло перемещение пород. Жила куда-то ушла или произошел перерыв. Он стоял с фонариком у этих отблескивающих черных глянцевиных сланцев. Загадочная нить, как нить Ариадны, вела его, чтобы прерваться, переместиться там, где больше всего надеялся он ее встретить. Это был новый удар, теперь больше никто не поверит, не станут дожидаться, пока отыщет он линию перерыва. Он велел шахтеру позвать старателя. Андрюша Рыбак был наверху, пришел Шаверда.

— Гляди сюда, — сказал Инжеватов, — что видишь?

Они поднесли свои фонарики к породе. Старик долго разглядывал сланцы. Сотни пород видел он за срок своей работы в земле.

— Сместилась здесь жила, — ответил он, наконец, — искать надо сброса...

— С вами придется мне бить, — сказал Инжеватов с трудом; он не скрыл безнадежности. — Управление денег не даст...

Его качало. Начинался приступ малярии. Старатель вывел его из штрека, помогал подниматься по лестницам ствола.

— Ты не робей, на меня опирайся, — сказал он, когда выбрались они, наконец, на площадку, — лихорадку ты на болоте схватил... есть противу нее верное средство. Наверх выйдем — я помогу, против каждой болезни трава есть.

Он повел его дальше. Бесконечны были ступеньки. В поту, пронизанный сыростью, Инжеватов поднимался этими переходами лестницы. Так выбрались они наверх. Шаверда провел его в казарму, в казарме кисло пахло хлебом, мокрою кожей сушившихся сапог. С Инжеватова сняли шахтерскую одежду, он лег на скамью; Шаверда сдал его Андрюше Рыбаку, велел напоить травами. Дождь шумел о крышу казармы. Инжеватов дрожал под полушубком старателя. Андрюша Рыбак намешивал в чайник траву, поставил кипеть на огонь. Он сел подле него, дожидаясь.

— Послушай, друг, — сказал Инжеватов дрожа, — переместились породы, ты слышал?

Старатель ответил:

— Ну, слышал. Мы жиле не указ, она свой путь знает... этим штреком не нащупали — другим нащупаем, найдем сброс. Ты наперво настоя испей, в себя вернись... без силы золота не возьмешь.

Он помешивал в жестяном своем чайнике.

— Всею земля свою правду дала, — сказал он еще, — всякая травинка себя оправдывает. Знать только надо и во-время каждую траву собирать. В Иванов день снимать, или старый месяц когда на ущербе и зародился новый, — на весь год у тебя от всяких болезней средство будет...

Инжеватов слушал его, тот помешивал плавающую в чайнике травку. Старатель говорил:

— До солнышка, по росе собирать надо траву... трав на свете, что вер, что языков — семьдесят семь. Это я тебе верно сказываю. Двенадцать почек с двенадцати разных лесин настоишь — чахотку поборешь. А хвороб таких, как твоя, до пятнадцати разных ходит. Хвороба эта в лесу по имени подзывает, отзываться не надо только. Лихорадка у тебя листопадная, искательская... девятью стеблями колокольчиков лечить ее надо. Я бы в июне враз тебя вылечил! Траву на степи рвать следует, чтобы человека не видеть, петуха не слышать. Денная, белая лихорадка днем трясет; вечерняя — вечером; полуношная — в полночь трясет. Напою я тебя сейчас настоем листа от осеннего листо-

пада... видишь, осиновый лист плавает. Как пришла в листопад лихорадка, так листопадом уйдет.

Инжеватов слушал его бормотню, подрагивал чайник крышкою на огне, закипала вода. Желтоватая лысина с белым ободком легких волос была близко. И память всех дней, легкая, туманная предобморочная память слабостью смежала глаза. Он спал и слушал. Человек говорил. Лесная вера, лесные приметы, многие истины земли. Тысячами верст была отделена от него сейчас его земная человеческая радость. С каждым днем углубления шахты сокращались дни, отделявшие встречу, о которой он думал все годы. Теперь опять отодвигались надежды, огромные трудности он преодолел, чтобы встретить еще большие трудности. Великой земною силой переместились пласты, снова и снова от него отдаляя добычу. Нитью его жизни была сейчас эта прерывающаяся, уходящая золотоносная нить. Жар ломил веки, его знобило. Старатель налил в жестяную кружку настоянного кипятку, приподнял его на нарах, дал пить. Мелкими живительными глотками он пил этот крепко настоянный, пахнувший древесным листом кипятком. В кипятке была сила тепла, он согревался, приступ ослабевал. Старатель говорил:

— С осины кору очистишь, как тело человеческое розовое по стволу... в каждой травинке человеческое сходство есть. Есть растение, у которого корень на сердце похож, сердцевая трава это. Есть игловатка, от колотья в животе помогает. Желтый цвет от желтухи лечит. Все, инженер, знать надо. Науке народ первый помощник.

Так бормотаньем, настоянным густым кипятком, облегчил он приступ. Инжеватов засыпал. В казарме уютливо пахло хлебом. Засыпая, успел он сказать:

— Надо проверить крепи... штейгеру скажи, чтобы проверил.

Старатель ответил сурово: — Ладно, спи.

Вечер шумел дождем. К полночи из тучевиц выбралась обглоданная худая луна. Она проворно спешила, спотыкаясь на буераках, проваливаясь в тучевые ямы, как желтая испуганная самка. Ошалевшими поджарыми самцами, вытянув вслед ей носы, неслись облака. Звериное, тревожное было в этой ночи. Дожди, лившие неделю под ряд, уносились в неистовой погоне туч. Утром впервые засветился желтым туман. В нищете, залитые дождями, стояли деревья. Солнце освещало дождевые побоища, сыр, мокрых людей, мокрую угрюмую вышку шахты. Паром дымилась согреваемая земля. Лихорадка минувшей ночи прошла. Инжеватов был слаб. Все же непомерное счастье было в этой как бы возвращенной ему жизни. Всю ночь рядом с ним просидел Андрюша Рыбак; он уснул на рассвете, покрывшись мешком. Инжеватов снял с себя его полушубок, пахнувший кислой и по-новому милой овчиной, накрыл старика. Ночью из шахты пришла смена, люди вповалку лежали после шести часов труда под ливнем на пятнадцати саженях глубины. Инжеватов вышел из казармы, его шатало после этой лихорадочной ночи. Высокий день, полный осеннего средоточия,

стоял над лесом, над расчищенным человеком стойбищем. И снова, как всегда, сердце поверило победоносному солнцестоянию, бодрому запаху прели, человеческим голосам, грохоту ворота, выволакивающего вверх десятками тонн земную породу. Он прошел под вышку; встретил штейгера, они принялись обсуждать предстоящий порядок дел.

XXVIII

— Ты красичную жилу подсек возле кладбища?

— Ну, подсек.

— Сам сказал к югу идет, а под кладбище штреком прошел, трех покойников выволок.

— Ну, и выволок.

— Гореть на том свете будешь.

— Вместях. Ты их в землю вогнал, я их выволок. Только и всего. Финогенов глядел на длинный лоб старателя, на белые пряди волос, висевшие на впадинах щек.

— Шумишь сильно, Рыбин. Кто тебя на ум наставлял?

— Земля наставляла. Двадцать лет в земле бьюсь, в темноте научился видеть, как кошка.

— Чего тебе надо?

— Я скажу, Фрол, дай срок... меня не стращай.

Старатель присел на отвал. Лицо его было желто, чахоточный пот лежал на лице.

— Ты думаешь, в артель нас собрал, чтобы мы на кабак промышляли?

— Трактир не мой, зятев... я с ним не в дележе.

— Слыхали, Фрол, знаем... Три года в земле бьемся, что найдем— тебе несем. Самородок где, что я на Желтухе нашел?

— Ты же на спирт его выменял.

— Верно... сторожишь ты со спиртом. Раньше спиртоюсы тайгой ходили, теперь ты сидишь... старатель от холода в бутылку залезет, это ты знаешь

— Чего ты шумишь?

— То шумлю, что люди добычу находят, жизнь свою выправляют, а мы впустую бьемся.

— Не я золото в землю сажал... репой его не рассадишь.

— Ты не сажал, да урожай отгребаешь... В прошлом году заявку бы сделали, никто бы на нашем месте не стал шахту бить. Свое отдаем!

— Про то и я говорю... плохо слушаешь, зверем кидаешься.

— Нужда кидает... надеяться устает человек.

Финогенов вдруг подвинулся ближе. Широкая шерстяная его борода раскроилась.

— А ты надейся, Рыбин, — сказал он возле самого лица человека; из жаркого его рта пахло как бы сырым разодранным мясом, как из

звериной пасти. — А ты надейся, Рыбин... вода не залила, патрон не взял — другое может случиться.

Рыбин не отсел, он слушал, на чахоточной его груди плоско висел серебряный крест.

— Всякое может случиться... на земле — один разговор, под землю — другой. Мне Блохин говорил — шахта эта бельмом в управлении лежит... чуть что — и прикроют. Стариков не купишь, старoverьы, крутой, дурашливый народ, Блохин сам на примете... стало-быть, мы не постараемся — от нас и уйдет.

Рыбин спросил:

— А стараться-то как?

Финогенов молчал, медвежьи глазки дремали чуть сонно, словно не он говорил, не его слушали.

— Обвал может случиться, — он сказал, наконец, — вода льет, крепи ненадежные... обвал будет — прикроют шахту. Слышал я, из шахты № 4 крепи перебрасывать будут.

Он опять замолчал. Старатель ждал, слушал. Спокойно дремали глазки в овчине бороды.

— Ну, возьмут крепи, а нам что?

— А то, что дурак ты, Рыбин... знай, жди, говорю. Меня десять лет к ногтю давили, не придавили. Авось, и тут выберусь.

— Три года ждем... все надеждами кормишь. Вот оно брюхо, гляди!

Старатель выдернул кверху свою худую рубаху. Человеческий запавший живот с наперстком пупка телесной упрямой ямой лежал под ребрами. Финогенов сказал:

— Чахотка тебя точит... я не при чем.

— В южную степь, с Сычом уйти я хочу, — завопил вдруг старатель. Он поднялся с отвала, ветер вздыбил, трепать стал, как флаг, подол линючей рубахи. — А ты меня здесь в сырости три года гноишь... что найду, тебе же в кабак несусь. Мне золото государству сдавать, а я от людей хоронюсь, вором к тебе крадусь... мне за самородок тюрмой отвечать, а ты от'едаешься. Сжечь тебя надо!

— Ну, ты! — Финогенов взял вдруг его за худое плечо, человека качнуло. — Ну, ты, Рыбин, смотри... сжую — памяти не оставляю, — сказал Финогенов возле самого его лица. — Со мной мир вести надо, а врагу не завидую... тебе чего нужно? Прямо мне говори. Одежи надо — я дам, отработаешь. В долг тебе в трактире давать — я заплачу, отдашь. Чего тебе надо, шумишь зачем зря?

Старатель стоял перед ним. Пот стекал по его длинному лбу.

— В степь с Сычом я хочу, — сказал он, наконец. — Пропадаю я тут... сгубит чахотка меня, знаю. В степи травами залечу, кузнечики трещат, пшеницу по осени собирают... из земли хочу выйти, всю жизнь, с царской каторги землю впустую бью.

— Я отпущу, — сказал вдруг Финогенов, — ты потерпи еще, Рыбин... инженера убрать — наша добыча в земле лежит. В три месяца

на всю жизнь себя оправдаешь... жилу эту отцы искали. Мы свое возьмем, Рыбин, в последний раз понадейся... а не возьмем — распускаем артель, в степь подавайся, я на первую пору тебе помогу, не оставлю. У зятя взаймы возьму. Люди болтают, что с зятем я в доле, а ты не верь. Я отцовое давно в землю вогнал, на старательском горьком житье учился.

Старатель сказал,—прежняя сила оставила его, тускнели закаченные пустые глаза:

— Гляди, Фрол, дай выжить...

Он сел опять на отвал. Ветер сушил лицо, он отдышался. Финогенов сказал:

— О разговоре нашем чтоб не болтать... понял?

Старатель ответил:

— Понял.

Убогая шахта зияла подле. Пустые кварцы из брака лежали в отвале. Человек набирал брак, Колымов дробил его задаром на бегунной фабрике, найденный золотник приносил десять фунтов муки. Упущенное предыдущими искателями золото поддерживало теперь человека, как пенсия земли. Рыбин остался сидеть на отвале. Финогенов шел, аршинным шагом он мерил землю. Человечишка дожидался его на дальней поляне в лесу. Дождавшись, заспешил он с ним рядом. Лицо Финогенова было люто.

— Угнать его к дьяволу надо вместе с Сычом,—сказал он неистово.— Шагай за мной, Дышло... доверие наше должен ты оправдать!

Они вышли из леса на тракт. Пустынен и грязен был этот тракт, далеко уходящий в поля. Финогенов пошел теперь тише, Дышло рядом шагал через лужи, чтоб не отстать.

— Что на шахте?

— Дальше углубку бьют... еще нащупывать будут.

— Вона... ты меня теперь слушай. Мне Блохин говорил, что из шахты № 4 крепи брать будут. Знаешь?

— Сам в ней трудился. На плаунах она стоит, шахта...

— Вот это и главное. В плаунах двинет земля, выпадет балка на десять пудов... сама земля силу показывает. Инженер осматривать крепи поедет, слышал? За Блохиным шахтеры досматривают, Колымов своих людей поставил... — Финогенов остановился. Остановился старатель.— Шахта № 4 пустая стоит, последние ушли из нее... инженер осматривать крепи ползет, балку в пазу освободить нужно... за это возьмешься?

Дышло молчал. Мочальную его бороденку клонил ветер.

— Страшно, Фрол Евстигнейч... подпилку увидят, следствие начнут.

— Сделаешь дело, пятьдесят целковых деньгами,—сказал вдруг Финогенов жестоко,—полный харч целый месяц, водки бутылка в день, артель не жалеет...

Старатель стоял, выжидал, весь он словно задымился; как загнанная на этом нескончаемом тракте лошадь. Наконец, он сказал, лицо его было отчаянно:

— Согласен я, Фрол... по уговору только уплата.

— Обманывал тебя я, случалось? — Они дошли до верстового столба. На версты столбами этими поделен великий тракт. Много человеческих путей отмерено ими. Финогенов спросил:—Когда двинешься? С вечера надо итти, опередить инженера. Болтать начнешь — всей артелью навалимся и следа не оставим.

Дышло молчал.

— А в дележе не обманешь, Фрол?—сказал он, наконец.—Дай мне три целковых задатку.

— Не дам. Пьяным в шахту сорвешься. Трезвым ступай, завтра твой день, гулять будешь.

Он пошел по дороге. Старатель стоял, смотрел вслед, пока не скрыл поворот человека. Тогда с мокрого лба снял он картуз, ветер сейчас же поставил жидкую паклю его волос. Опять из прорвавшейся тучи хлынули сети дождя. Человек подождал еще, надел картуз и пошел в сторону, через отвалы, словно шел без пути. Он шагал, спотыкался, мокрые камни катились из-под его ног. Пустые брошенные шахты зияли своей чернотой. Старатель шел мимо них, по отвалам, на запад.

(Окончание следует)

Двадцать восемь тысяч печатных знаков

Рассказ

БОР. ПИЛЬНЯК

Алексею Силычу Новикову-Прибою, учителю.

Штормы приходят так — —
Падает барометр, и все следят за его падением. Радио приносит вести с морей о путях циклонов. Метеорологические станции посылают предсказания, которым никто не верит. Море серо, как серо небо, закованное латами волн. Барограф вдруг начинает визжать десятью баллами ветра, судно воет такелажем, рвутся гребни волн, — и через полчаса штиль, — а через пять минут вслед штилю рвутся десять с половиною баллов. Радио сообщает об SOS'ах и о штормах во всех морях северного полушария. Капитан приказывает задраивать судно к шторму. Циклон, который шарит рядом в море, дует одиннадцатью с половиною баллами и уронил барометр до 219-ти, — барометр на судне показывает 231, и он все время падает.

Тогда приходит шторм. Море начинает кидаться этажами и латами волн, и этажи корабля ползут на эти этажи лат, воет и стремится ураган, эмульсия воды и воздуха летит выше мачт, и ночи начинают путаться с днями. Ветер сшибает людей и прерывает дыхание. Вода перекачивается через палубы. Люди, морские жители, которые по тридцать лет ходят морями, заболевают морем, ибо нет ни одного человека, которого море не било б. По кораблю, кидаемому этажами, нельзя ходить, — на корабле нельзя спать и нельзя работать, — каждая человеческая мышца должна быть напряжена, — и вскоре голова начинает набухать бредом, должны притти гениальные музыкант и психиатр, которые запишут музыку шторма и бред мозга. — Ветер рычит, плачет, хохочет, кудахчет, — скрипят, рычат, визжат переборки, — воет такелаж, — пароходный гудок гудит, гудит, гудит, и его не слышно. Ничего не видно кругом. Волны становятся полом, небо становится стеною, вода летит над мачтами. — Бред, переутомление. — Новый возникает звук, растет, накатывает, — мозг осмысливает: судно стало против

волны, воют винты в воздухе. Звук исчез—и тогда: ничего нет, совершенно тихо, комната в родном городе, диван, книги на столе, на диване в шали заснула жена, не потушив ночную лампу...—Новый звук—та-та-та-та-та—стрельба из пулемета,—человеческих слов не слышно, и слышен голос капитана:

— Вахтенный!

Электрический фонарик. В круге его света лицо матроса. Лицо зелено в свете электричества, лицо испугано. Говорит капитан. На фок-мачте размотался стальной конец, это он та-та-та-кает пулеметом в ветре по мачте, он расшиб лампочку топового фонаря. Капитан приказывает:

— Вахтенный, на мачту, наладить топовый огонь!

Лицо матроса очень злобно, матрос протестует. В зеленом свете электрического фонарика появляется рука капитана с револьвером. Прожекторы освещают мачту. Под матросом перекатываются волны. Матрос лезет по веревкам вант. Мачта справа налево кидает матроса к месиву волн, и брызги волн летят над матросом. И:—все мы, все мы были мальчишками,—пустырь соляного амбара, оставшегося от откупов и заросшего бузиной,—мальчишки повесили кошку за хвост, кошка не умирает,—мальчишкам мучительно до тошноты—скорее б умирала кошка, чтобы перестать мучиться ее смертью. Та-та-та-та исчезает,—какою невероятною музыкой воет шторм!—а жены уже нет, и шаль вытерлась, и ночная лампа давно разбита, тишина, ничего нет.—Матрос с веселым лицом рапортует капитану:

— Есть, капитан!

Радист, этот человек, потерявший пространство и шарящий в пространствах, повис над аппаратами своей мистической кухмистерской, он слышит в бреду моря и в бреду мозгов вести о гибели—SOS, SOS.

Пактовое судно идет с лесом, волны бьют в бревна. Бревна занайтованы стальными тросами. Волны перекатываются через корабль, волны бьют в бревна. И тросы на бревнах лопаются. Стадом взбесившихся дьяволов кидаются в стороны бревна. Волны кинули бревна вверх, бревна поднялись над судном. И—одно, другое, третье—бревна бьют таранами в капитанский мостик. Рулевой бросился в сторону: вместе с волною и с ревом таран бревна бьет по штурвалу, по компасу, пробивает переборку в штурманскую рубку,—паровой руль уничтожен, компас — указатель морских путей — уничтожен, матрос, грудь которого смята,—уничтожен. Люди бегут к ручному рулю, на ют. Лица людей бессильны. Волны и ветер воют. Матросы тянут налево ручное рулевое колесо, синие жилы вздулись на их висках: волна накатилась, ударила, кинула вверх, вторая волна ударила не в ритм по рулевому перу,—люди полетели в стороны от рулевого колеса,—боцман—он не успел отскочить, не успел бросить рулевое колесо—он в воздухе над колесом, его ноги над его головой—и он летит за борт. Люди вновь хватаются за руль. Капитан смотрит за борт, куда упал боцман,—и видит: бревно — бревна мечутся стадом диких кабанов в кипении

волн—волна несет бревно—бревно ударило по рулевому перу. И капитан командует:

— Отставить!

Все кончено, авария, гибель. Капитан смотрит за борт, в стремление волн и воздуха. Капитан бессилен и беспомощен. Матросы покойны, как люди должны быть покойны в смерти, и матросы достают мокрые кисеты. Капитан командует бессильно:

— Аврал! К шлюпкам! Ждать команды!

...и матросы теперь уже не люди: номера людей встают под волны под номера шлюпок, — не надолго, впрочем, ибо больше команд не было за ненадобностью.

Капитан идет в радио-рубку, она на спардеке, сзади штурманской. Капитан говорит радисту:

— Кидайте SOS!

...За много рейсов до этого шторма пришел с моря на родину, в родной свой порт — кочегар, старый моряк. Целые сутки до земли тогда он мылся, выпаривая из тела копоть и уголь. Он вез жене с моря подарки, наряды, редкости, сладости, патефон с пластинками фокстротов, экваториальные фрукты, ананасы, бананы. Он любил жену, он всегда все свои деньги — вещами — привозил жене, — и он мечтал, как передаст жене подарки. Судно пришло в порт ночью и к рассвету стало на прикол. В рассветной пасмури на набережной теснились жены и невесты моряков, пришедшие встретить мужей и любимых, — среди них не было жены кочегара, — и через четверть часа матросы знали от жен и невест о том, что жена кочегара нашла себе другого мужа. Товарищи сказали мужу, что его жена ушла от него. Кочегар до сумерек ждал жену, она не приходила, он молчал. К четверем часам кочегар переоделся в праздничное. Он вызвал себе в порт автомобиль. Посыльному он приказал отнести на дом к жене — в его прежний дом — подарки, наряды, патефон, сладости, фрукты. На автомобиле он заезжал в цветочный и ренсковой магазины, и он послал жене цветов и вин. Он дважды промчал на автомобиле под окнами своего дома. А когда посыльные сообщили ему, что жена недоуменно приняла его подарки, — он поехал домой. Он вошел в комнаты. У под'езда рывкал автомобиль. Жена вскинула в ужасе и в нерешительности руки. Новый муж стоял, опустив руки в карманы. Старый муж улыбнулся, собрав морщины на лбу, глаза его были неподвижны, — он улыбнулся еще шире и сказал удивленно:

— Ну, вот, здравствуйте!.. Вот, я и пришел с моря. Здравствуй, Клавдия, познакомь с твоим мужем. Мы ведь с тобою хорошо жили. Мы же все порядочные люди... Я вам подарков прислал на новоселье. Ну, что же, здравствуй, Клавдия!..

Муж улыбнулся очень удивленно, морщины сползли со лба в искренности, глаза стали добрыми. Жена опустила руки. Новый муж опустил глаза. Жена сказала не сразу:

— Ах, Николай!..

Николай перебил ее.

— Нет, зачем же, Клавдия?!—Все понятно!—Зачем говорить слова? — Вот, я приехал, — вот, я привез подарков, — вот, здравствуйте, — давайте попируем на новосельи и на прощании. Вот и все. Мы же порядочные люди! А ты будешь еще лучше жить, — ты ведь так хочешь.

Старый муж протянул Клавдии руку. Новый муж был молодым, крепким и штатским человеком, с алмазиком в галстуке и с золотыми зубами. У старого мужа выбиты были штормом два передних зуба, а его жизнь у котлов сделала его лицо серым. За окнами фыркал автомобиль. Новый муж шагнул вперед и протянул руку, чтобы поздороваться, жестом равного к равному, — но Клавдия первая поздоровалась, она хотела поцеловаться, — Николай поцеловал руку, устранившись от поцелуя. Николай удивленно улыбнулся.

— Ну, вот, и отлично. Клавдия, теперь дай закусить, выпить. Надо отпировать праздник, я там прислал вина.

Через несколько минут алкоголь, цветы, средиземные сладости и экваториальные фрукты были на столе. Николай налил два стакана рому, отодвинув в сторону третий стакан.

— Ну, выпьем, — сказал он новому мужу. — Клавдии не стоит пить, пусть будет она трезвой.

Новый муж протестовал против рома, — старый муж настаивал и настоял. Они выпили по второму стакану. Они весело заговорили о пустяках. Старый муж рассказывал о море. И тогда старый муж откупорил шампанское, пробка весело ударила в потолок. И Клавдия увидела, что старый муж — не весел. Новый муж был пьян, старый муж разливал шампанское, опустив голову, исподлобья глядя на стаканы. Глаза и руки его были тяжелы. Трезвой Клавдии стало страшно. Золотое шампанское весело искрилось.

— Не надо больше пить, Николай! — сказала Клавдия.

— Выпьем на счастье! — сказал Николай.

— Надо передохнуть, — сказал новый муж.

— Выпьем! — крикнул Николай и опять удивленно и беспомощно улыбнулся.

Они выпили. Николай очистил для Клавдии банан. Новый муж разрезал для Клавдии ананас. Николай налил два стакана шампанского и встал от стола. Он пошел к патефону, им подаренному, завел его и поставил фокстротную пластинку.

— Теперь вы выпьете вдвоем, — сказал Николай, — вы поцелуетесь, как на всяких свадьбах, — я буду кричать «горько!» — и вы будете целоваться, потому что я у вас на свадьбе и мне горько!

— Я не умею танцевать фокстроты, — миролюбиво ответил новый пьяный муж.

Он не видел, что глаза Николая полезли из орбит, и кожа на лбу, в жестокой злобе, полезла на затылок. Трезвая Клавдия встала из-за стола. Патефон взвизгивал фокстротом. Николай улыбался, корчась.

— Николай! — крикнула Клавдия.

— Теперь вы выпьете вдвоем и будете танцевать и целоваться, — сказал Николай и вынул из кармана браунинг, щелкнул им, переводя патрон из кассеты в ствол. — Ну! Слушать приказание! — Чокаться! Веселиться! Пить! Целоваться! Плясать!—Я ведь знаю, Клаша, как ты целовалась и плясала со мной. Я хочу посмотреть, как ты целуешься с новым мужем!

Дуло револьвера ходило от висков нового мужа к вискам прежней жены.

До рассвета у под'езда спал автомобиль. До рассвета в доме визжал граммофон. И до рассвета под визг граммофона и под дулом револьвера плясали, пили и целовались двое—новый муж и прежняя жена. За плечами старого мужа стояла смерть, рассматривая танцующих. Новый муж был пьян, он задыхался, падал на пол, пил и танцевал вновь. Прежняя жена была трезва, она танцевала, плакала и целовалась. — На рассвете проснулся автомобиль и отвез прежнего мужа на корабль. Больше в этот приход кочегар не сходил с корабля.

И корабль ушел в море, пактовое паровое судно. Кочегар стоял свои вахты. Люди с кораблей в морях живут от порта до порта, — в портах матросы пьют алкоголь, ночуют с проститутками в притонах, сыплют своими шиллингами. Молчаливый кочегар не стал компаньоном своих товарищей в портовых ночах. Он не пил, и он тратил свои шиллинги на вещи, он покупал себе костюмы, он покупал женские редкости для подарков. И когда вновь пришло судно на родину, он опять нанял автомобиль. Он не поехал в дом своей жены, но, каждый раз в новом наряде, он назойливо ездил на автомобиле под окнами дома с товарищами и с женами товарищей, которым он раздарил редкости, — он был полупьян и очень весел, он хвалился своими морскими удачами, а жены товарищей вечерами показывали его прежней жене подарки и рассказывали об удачах первого ее мужа. Жена в те дни сидела за всеми крючками дома, в страхе воспоминаний поцелуев под дулом браунинга.—Много раз судно уходило в море и много раз возвращалось на родину. Скопленное месяцами кочегар выкидывал в несколько дней, жена узнавала о приходе корабля рывками автомобиля в ее переулке. Жена знала, что новый ее брак есть проклятье этих автомобильных рывков.—В море кочегар молчал, упорно отстаивая свои вахты, скулы его серели и морщинились, но глаза его крепили, и товарищи смолкали при нем, — он был примерным моряком. И другой был примерный моряк на судне — третий механик. Шипшандеры в портах предуказывают дороги в универсальные магазины, где морякам делают скидки. Кочегар ходил по магазинам с третьим механиком, они говорили о вещах, которые покупали, — в море в свободные часы они играли в шахматы, у них была общая вахта, — и на судне знали, что у этих людей — дружба. Механик был, так же, как и кочегар, молчалив и пасмурен, громоздкий и сильный человек. Они считались друзьями и у них были общие пути, — но, если кочегар был полупьян и висельно весел в родном своем порту, механик был висельно полупьян в порту перед последним пере-

ходом на родину. Этим портом был Стамбул. В ночь перед тем, как уйти в Черное море, механик и кочегар шли в Галату. Кочегар охранял механика и пил кофе. Механик понуро пил раки и искал в дальних переулках проституток хамалов, самых грязных и самых отвратительных, какие есть на земле. Таких проституток судьба выкинула в портовые закоулки под голое небо и на гнойные рогожи. Механик покупал проститутку, самую отвратительную из них, он оставался с нею на ее рогоже, угощая ее английскими сигареттами, — а кочегар ждал его в стороне, приготовив нож для защиты друга, ибо это были места убийств. Друзья были молчаливы, кочегар не был любопытен. Через сутки моря был родной порт. Механика всегда встречала жена. Она стояла в стороне от других жен и невест, молодая, красивая и чужая морякам. Все знали, что она учится в университете, студентка медицинского факультета. Моряки обнимались со своими женами и невестами и уходили из порта обнявшись, — механик целовал руку жены, точно они расстались только вчера, он передавал ей подарки, привезенные с моря. Кочегар ждал своего автомобиля, он ничего не хотел сопоставлять — —

...Капитан идет в радио-рубку, она на спардэке, сзади штурманской. Капитан говорит радисту:

— Кидайте SOS!

Капитан скомандовал: — Аврал! К шлюпкам! — и матросы теперь уже не люди, номера людей стоят под волнами у номеров шлюпок. Ветер и волны воют, вздымаясь, падая, становясь в отвес. Матросы безмолвны под волнами в месиве воды, ветра и воздуха. Люди набухают бредом, должны притти гениальные музыкант и психолог, которые запишут музыку шторма и бред мозга. Волны рвут звуки клоунами, бред срывается с мозгов в пространство воды. Зловещий красный закат красит в лиловое латы волн, латы волн сломаны. Механик наклонился над кочегаром, механик крикнул, и шум погасил его слова, и его откинуло от угольных ям к зияющей топке, — тогда кочегар шепчет, ибо шопот слышнее крика, когда все кругом рычит и воет.

— Я ее убью, механик. Я буду ее медленно убивать, как она убивала меня. Я ее убью, механик, если море не убьет нас!..— глаза кочегара вылезли из орбит и кожа на лбу полезла на затылок.

И кочегару прошептал механик:

— Мы гибнем, кочегар?— моя жена учится в университете, ученая и чистая женщина!— она называет себя честным человеком и она сказала мне, что у нее есть любовник, такой же благородный и ученый, как она, и тоже медицинский студент. Только она забыла, что она все-таки живет со мною, как жена, когда я прихожу с моря, и что она учится и состоит в благородстве потому, что я хожу по морям. Она благородно молчит о том, любит ли она меня, молча отдаваясь, и берет мои шиллинги. Но у меня нет честной любовницы—и у меня есть проститутки, самые грязные из всех,— для уравнивания чувств моей жены, потому что я люблю ее! Мы гибнем, кочегар!?

Волны вздымаются над головой, небо становится стеною, все летит и воеет. Бред, переутомление. И тогда: нет ничего, совершенно тихо, — комнаты в родном городе, ночник, книги, патефон — —

Матросы называют машинную команду — «духами», — люди из машинного называют палубных матросов — «рогатиками». Разговор кочегара и механика был около топков в машинном отделении. Сзади механика и кочегара стоял старший инженер, — он слышал их разговор. Инженер был стар и брюзгл. Он подошел к механику и кочегару — и поцеловал их, очень крепко, отцовски, благословляя. Волны заливали машинное отделение, люди кидали каменный уголь, метаясь по взбесившемуся трюму, по пояс в сбесившейся воде, пока вода не залила котлы. Тогда машины стали. Погасло электричество. Старший инженер отдал приказ: уходить из машинного. И старший инженер, потому что ему нечего было делать в эти часы до смерти, пошел в свою каюту, чтобы умереть на койке. В каюте инженера не было еще воды, она медленно просачивалась сквозь иллюминаторы. Инженер зажег подвесную лампу, свет закачался по каюте. Вещи в каюте жили сумасшествием, они метались — сапоги, фуражки, книги, мундиры, щетки, — все металось по каюте, обгоняло друг друга, лезло друг на друга, ломало, било. Инженер был стар, брюзгл, усталый человек. Он снял свой мундир, чтобы лечь полураздетым в койку. На полу, среди щеток и башмаков, метался том Пушкина в кожаном переплете. Инженер был в том бреду, который приходит в минуты ужаса, когда движения и поступки человека медленнее и естественнее, чем сами медленность и естественность. Этот том Пушкина инженер купил в Лондоне около Британского музея у букиниста. Это был первый том посмертного издания сочинений, цензурованный «Апреля 3 дня 1837 года цензором Никитенко». На титульном листе этого тома хранилась английская надпись, указывающая, что книга попала из России в Англию через Севастополь в 1854 году, во время Севастопольской кампании, при чем она была взята из походной сумки убитого русского офицера. Книга была переплетена в потрепанный кожаный переплет. У книги сложилась странная судьба, — инженер ее купил, чтобы вернуть на родину. Сейчас, в этот час смерти, книга металась по полу вместе со щетками и ботинками, в несложном скарбе морского жителя, — кожаный переплет ее оторвался за эти часы, когда вещи оживали. Инженер поднял с полу Пушкина. Инженер прочитал три строчки, мелькнувшие в свете качнувшейся к нему лампы, — «Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя». — Инженер наклонился, чтобы поднять переплет, — поднял — и из-за кожи переплета выпала пачка писем, письма были тщательно вделаны в переплет между кожей и картонкой переплета. Среди писем была миниатюра на пергаменте, изображение молодой и очень красивой женщины. Лампа жила, качаясь под потолком, — вода ползла в каюту через иллюминаторы и начинала плескаться вместе с вещами. Инженер лег на койку и, ловя свет, читал письма. Письма были датированы 1847 годом, письма женщины, актрисы, рус-

ские. Владелец их, — быть может, тот самый офицер, из сумки которого был взят том Пушкина, — умер, похоронив имя автора писем. Англичанин, вывезший эту книгу из России, не знал об этих письмах, и тоже умер. Миниатюра сохранила лицо милой русской девушки в счастливой улыбке.

Писем было немного, меньше десятка, и все они были подписаны одною буквою: «Н».

Она писала:

«Друг мой!

Трудно предположить, чтобы мне удалось сегодня переговорить с вами серьезно, а потому я спешу изложить в письме все, что мне так нужно сказать Вам. Мысли путаются и положительно не знаю, с чего начать. Постарайтесь сами разобраться в хаосе этого письма. Сцена, разыгрывающаяся между нами, не должна, — слышите ли, — не должна никогда больше повторяться, иначе я почту своим нравственным долгом уехать совсем из Москвы. Ваше признание застало меня врасплох, я до того растерялась, что все забыла и не в состоянии была справиться с собою. Надеюсь, этого больше со мной не случится. Большую половину жизни я уже прожила, — хотя, правда, с прехом пополам, в чем ежечасно каюсь, — и бог поможет мне до конца остаться честной девушкой. Мы с Вами забыли о том, что пора научиться владеть собой и своими чувствами. Вам поздно начинать снова, — так как на Вас лежат священные обязанности отца и мужа, которых Вы, как честный человек, не имеете права слагать с себя и коверкать жизни ни в чем неповинных детей и жены. Что касается меня, то я никогда не соглашусь строить свое счастье на несчастьи других, не только потому, что это противно моим нравственным правилам, но уж потому одному, что, зная хорошо свой характер, я уверена, что при таких условиях я никогда не была бы покойной, а покойствие мне необходимо для моего искусства, пусть маленького, но моего. Вот, что я должна была сказать Вам.

Н».

Воды уже много набралось в каюте, она металась вместе с вещами. Лампа металась под потолком. Инженер метался вместе с койкой. В мире вокруг корабля неистовствовали мрак, волны и ветер. Инженер был очень покоен, он читал:

«...Нет, я не отказалась от того, что было написано в том письме, друг мой! Оно продиктовано было долгом чести, и я не соглашусь итти на сделку с совестью. Мне так тяжело, что я не берусь и выразить этого. Я считаю более возможным для себя вырвать с корнем зародившееся чувство, чем так мучиться. До свидания, желаю Вам того, что сама утерьяла и без чего очень тяжело жить, а именно — душевного покоя.

Н».

И еще последнее письмо — под вой ветра:

«Я пришла к окончательному выводу. Завтра мы увидимся последний раз. Пожалуйста меня и поймите, наконец, что все это

настолько важно для меня, что является вопросом жизни и смерти. Эту фразу я пишу совершенно смело, так как знаю, что Вы настолько успели узнать меня за наше знакомство, что не заподозрите в рисовке. Это свидание будет последним и, по всей вероятности, оно в то же время будет тризной моей молодости и всему, что она уносит с собою. Если мои слова что-нибудь значат для Вас, вы поймете меня. Вы хотите полной откровенности? — Извольте. Я чувствую себя совершенно непригодной для той роли, которую Вы предназначаете мне на жизненном спектакле, очень обидную для моего человеческого достоинства и совершенно противоречащую тому уважению ко мне, о котором Вы не раз говорили. Много раз Вы говорили мне о том, как легко прозевать жизнь. Если судьба мне предлагает только такой выбор, я предпочитаю прозевать жизнь, чем потерять спокойную совесть перед богом и перед людьми. Поэтому — прощайте, хотя я и люблю Вас. Помните, что у меня в жизни есть мое святое — искусство, которое дается только в чистые руки. Н».

Инженер рассматривал миниатюру: русоволосая голубоглазая девушка улыбалась инженеру. Инженер собрал письма, всунул их в переплет, вложил в переплет книгу, положил книгу под подушку. И инженер заплакал. Старый и брюзгливый человек плакал чистыми слезами. Казалось, он не замечал бури. Он вынимал книгу из-под подушки, рассматривал миниатюру и плакал. Воды все больше набиралось в каюте. И тогда инженер закричал в мрак жилой палубы:

— Эй, кто там? — Прислать ко мне третьего механика и кочегара Николая!

Кочегар и механик вползли в каюту, толкаясь о стены. Инженер доставал из шкафа бутылки с ромом. Лицо инженера было в слезах. Стаканы были разбиты, инженер дал каждому по бутылке. Вода в каюте была выше колен, и она металась по каюте.

— Выпьем, — говорил поспешно инженер, — вот из этих узких горлышек — выпьем за широкую — вы не видите, какую широкую, какую прекрасную — жизнь!

И они трое пили из горлышек ром.

Был инженер стар, брюзгл, — его дела на корабле были окончены. Инженер не мог не думать о смерти. «Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя». Пушкин — погиб. Тот офицер, из походной сумки которого был взят том Пушкина, — погиб, убитый на севастопольских холмах. Та девушка, которая писала письма о своей любви и о своей чести, — погибла, ибо с тех пор прошли десятилетия, большие, чем сроки человеческих жизней. Кочегар, механики, инженер — «духи» — пили из узких горлышек ром, ожидая смерти —

...Капитан приказал радисту:

— Кидайте SOS!

На морях, на рейдах больших гаваней всегда под полными парами стоят спасательные корабли, стервятники. Они ждут и ловят с морей

SOS'ы, чтобы итти в море спасти гибнущих,—и у международных компаний спасателей есть свои правила. — Радист кинул в волны и в вой моря — SOS, имя судна, широта, долгота. Сейчас же из-за воя волн с земли запросили спасатели: имя пароходной компании, тоннаж судна и груза, стоимость судна и корабля, ибо по международным законам спасания на океанских водах, в противоположность прямому смыслу пароля SOS, — «sevi our souls» — «спасите наши души», — спасатели спасают не души, но деньги, ибо спасательные компании берут за спасение треть стоимости корабля и груза. — Радист кинул в вой волн и ветра — имя компании, тоннаж, название груза — лес. Волны несколько минут ревели только своим ревом, радио принимало чужие SOS'ы, ибо в море гибло в тот день много кораблей. И спасатели с земли ответили, подсчитав, должно быть, на бумажке выручку: слишком велик шторм и ничтожен груз корабля, чтобы итти спасать, спасательная компания не может рисковать за такие деньги,—впрочем, если капитан даст обязательство уплатить сумму, большую стоимости корабля, а именно — —

Капитан не мог дать такого обязательства. Капитан прислонился к переборке в позе распинаемого человека. Радист снял наушники и глянул на капитана. Два человека долго смотрели в глаза друг другу. И радист сказал, усмехнувшись:

— Не трать, куме, силы — опускайся на дно.

Волны били в переборки радиорубки, за иллюминаторами ломались латы воды, спутавшейся с небом. Новые и новые панцыри волн били в стенки радиорубки. Корабль метался без управления, заливаемый водою.

— Идемте отсюда,—сказал капитан,—рубка сейчас будет разбита.

И действительно, через четверть часа радиорубки не было на спардеке. Судно никакой уже вести не могло дать о себе — —

Спасательные компании на земле очень точны. Спасатели сообщили телеграфом пароходной компании об SOS'е корабля такого-то, пароходчики в свою очередь подсчитали на бумажке, ради любопытства, — что выгоднее было бы: уплата трети стоимости корабля или получение страховой премии, — решили, что премия выгоднее, и телеграфировали спасателям благодарствие. В правлении пароходства ожидали вестей с корабля еще двое суток, корабль молчал, хотя циклон уже прошел, — и пароходчики отдали приказ в бухгалтерию списать стоимость корабля и грузов в счет прибылей и убытков, начав ходатайство перед страховым обществом.

Но судно не погибло. На четвертый день в пароходство пришла телеграмма о том, что судно такое-то вынесено волной на траверз порта такого-то, — судно завели в гавань, машинное отделение его было залито водою, бак его ушел под воду. В бухгалтерской графе бухгалтер исправил: не гибель, но — авария. Том Пушкина и письма женщины, имя которой утеряно, остались целы, как остались для жизни механик, инженер и кочегар, бредившие штормом, подлинными моряки.

Р о б а я т

АДАЛИС

... Этот кувшин был когда-то певцом
и влюбленным.

Омар Хайям.

Над грудой гор качается закат;
Он полон сил и, как верблюд, богат.
На севере косые облака.
Я покидаю город Ашхабад.

Кувшин с вином сосед приносит нам, —
Я провожу губами по краям:
Как пахнет глина солнцем и трудом!
Не твой ли это прах, Омар Хайям?

Дехканская лоза растет в горах,
Но кровь ее гуляет на пирах...
Как пахнет глиной бедное вино!
Омар Хайям! Не твой ли это прах?..

Под головой жужжит ковер густой,
Шумят стихи настроенной листвою,
Набухли влагой свежие слова...
Омар Хайям! Не прах ли это твой?

Миндаль червив, и персики тверды.
Омар Хайям, как ты любил сады! —
В саду фонтан, и бродят меж дерев
Разреженные призраки воды...

В июльский зной не стоят и хулы,
Грязней могил базарные столы, —
А в прохладительном моем саду
Сидит весь день мечеть Беха-Уллы!

Она толста, черты ее прямы,
Покрыты ханжеством ее холмы;
Спит на скамье пастух поповских роз.—
Наш трезвый путь куда девали мы?

Лишь по утрам в какой-то бодрый бой,
Бегут дома раздвоенной гурьбой,
И на одной из мутных площадей
Дрожит фонтана тополь голубой...

Так низко солнце этих спелых лет,
Так сладко-красен этот круглый свет,
Что, положив на виноградный лист,
Снести б его соседу на обед!

Кому, старик, ты говорил, что нет
 У этих мест преданий и примет?
 У этих мест и память есть и честь, —
 Горит в песках двууглекрасный след!
 У этих мест и память есть и честь!
 У этих мест горячий воздух есть, —
 И потому так мало, что его
 За час до казни пили двадцать шесть ¹⁾.

Прошли года по знойному пути;
 Семь раз хотел сухой миндаль цвести, —
 И снова ночь, и полон острых звезд
 Осенний воздух двадцати шести...

Старинный каравансарай закрыт,
 За фонарем — сутулый, горный вид;
 Но в мертвый край, как дальняя вода,
 Проведена свобода — и гремит!

Песок пестрей, чем сочные плоды;
 На темных лицах милые следы
 Какой-то нежной, полной, молодой,
 Неподающей ковшу воды!

Пришла пора, — и верен мой рассказ, —
 Прошли столетья засухи для нас:
 Как дождевая туча, собралась
 Поэзия над нами в первый раз!

Омар Хайям! От бранного житья
 Летучим пеплом стала кровь моя!
 Перемежающаяся впотьмах,
 Она звенит, — и зорко слышу я,

И зорко чувствую за годом год,
 Что в землю молодость моя идет:
 Уже травой растет вокруг меня,
 И полон сил ее такой восход!

Как песня путника, за слогом слог
 Уходит молодость моя в песок:
 Уже травой растет вокруг меня, —
 И полон сил ее такой Восток!

¹⁾ Бакинских комиссаров. Ты б глядел,
 Как стар и мал поет про их удел!
 Тот самый зной, которым дышим мы,
 В их алых горлах бился и гудел!

К р и т и к у

В. КИРИЛЛОВ

Критик умный и речистый,
А стреляешь, друг мой, в небо:
Никогда, поверь, я не был
В этой жизни пессимистом.

Строчки острые смакуя,
Ты меня хоронишь раёно,
Если б знал ты, как люблю я
Землю, кровь ее и раны.

Да, я часто спотыкался,
Все ж не празднуй ты победу,
Оттого я спотыкался,
Что уж очень жизни предан

У меня ошибок бездна,
Не ищи их у поэта,
Вспомни Пушкина, любезный,—
Как там сказано про это.

Что из всех ничтожных в свете,
Может быть, он всех ничтожней,
Только все же строчки эти
Принимай ты осторожней.

Не писал я по шпаргалкам,
По чужим не пел я нотам,
Мне лишь тех поэтов жалко,
Что в чужом сидят болоте.

Пой, как знаешь, только честно,
Честно, пламенно и прямо,
Эта истина известна
Уж наверно от Адама...

Критик умный и речистый,
А стреляешь, друг мой, в небо:
Никогда, поверь, я не был
В этой жизни пессимистом.

Д Н И

Рассказ

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Из Роттердама вышли на седьмой день утром.

Всю эту неделю я скитался по стране, показывавшейся после родных пространств и лесов игрушечно малой, метался из края в край в электрических, сверкающих лаком и зеркальными стеклами вагонов; ночевал в щепетильно опрятных гостиницах, один бродил в люднейших и узких улицах старого города; пробовал, поднявши за хвост, есть на базарах селедок — любимое кушанье простых людей, гулял по аристократичнейшему пляжу Гааги; сиживал в скромных фолендамских и маркенских пивнушках, — чокался, пил пиво со степенными, бритыми, обутыми в деревянные тяжелые башмаки рыбаками... Всю неделю я вставал с солнцем, ходил, ездил, слушал, смотрел... Плоский и пасмурный (отец нашей невской столицы), весь из темного камня, Амстердам, шумнейший и обширнейший порт Роттердама, благополучнейший, благообразнейший Саардам; городские, заплывшие зеленою ряской каналы, дома, поток велосипедистов на улицах и мостах, базары и толкучки, грязнейшие кварталы чернорабочих-малайцев и голландских чинезов; разносчики цветов и уличные продавцы селедок; уличная, сплошная и шумная, неугомонная толпа; загородные пастбища и болота; каналы и канавы, ветряные допотопные мельницы и, у подножия их, на сотни гектаров засеянные пунцовыми, желтыми, лиловыми тюльпанами поля, а куда не поведи глазом, среди полей, мельниц, каналов и крыш — неисчислимые, как пчелы на сотах, стада черно-пегих, сытых, спокойно жующих жвачку коров; красные черепичатые крыши и часовни; падающие над полями и дорогами белые чайки, хохлатые чибисы на сырых черных кочках, водяные черные курочки в заплывших, заросших камышами старых канавах; города, шумные набережные, разводные мосты, фабрики, плотины; рабочие и рыбацкие чистейшие домики с деревянными башмаками у низких порогов, со скворцами на черепичатых крышах, — и опять городской несмолкаемый, всепокрывающий шум, автомобили, густейший лес флагов, мачт, труб, блеск зеркальных витрин и медные глотки

гудков отходящих ежечасно в океан пароходов, — безостановочная, непрерывная, неумолкаемая суeta суeta...

Накануне отхода я возвращался на пароход ночью. За городом, над каналом и болотами, над болотистыми пастбищами, над городским шоссе стоял густейший, непроницаемый, молочно-белый туман. Автомобиль катился в нем черепашным ходом. В молочно-призрачном месиве выростали, жутко увеличиваясь, огни встречных. Мы подвигались медленно, останавливаясь у каждого поворота. У завода, где стоял, воздымаясь смутной массой, пароход, расплачиваясь, увидел я мокрое, бледное от усталости и волнения лицо шофера...

Утром по палубе растекались черные лужи; над рекою и берегами ползли сизые ключья. Вышли поздно, когда совсем открылась река, побежали одна за другой белые яхты... Мы шли в море; лежали плоские берега; черный, неряшливый, похожий на пирата угольщик-итальянец заступал нам дорогу. Два крепыша-лоцмана, положив на поручень короткие волосатые руки, сердито бранили неуклюжего итальянца...

С чувством увеличивающейся радости смотрю в приближающееся море, где стоят — не движутся дымки кораблей... Нет, мало, мало тожусь я для городской бойкой жизни: ход автомобиля меня пугает, я по-детски боюсь переходить шумную улицу, и недаром каждую ночь снятся мне городские страшные сны! И не умею я рассказать толком о гамбургских и берлинских площадях и кварталах, о железо-бетонных небоскребах-домах. Проще мне и понятнее море...

Мы выходим в море, прощаемся с лоцманами, пожимающими нам руки. Море светло и спокойно; бескрайним чудится горизонт, недвижные стоят над ним дымки пароходов. Ночью проходим Ламанш, — в беззвучной черноте ночи видны неисчислимыe огни Дувра, едва отличимый открывается слева французский маяк. Справа и слева, в густой темноте, мерцают-плывут огни кораблей...

Долго стою на пустынной палубе, вслушиваясь в безмолвие ночи, вглядываясь в мерцание огней; спускаюсь в каюту, где домашне горит над столом лампа, лежит на столе тетрадь. Я записываю два-три слова и опять спешу наверх. Волнует меня, что завтра проснемся в океане...

Засыпаю под утро, а когда просыпаюсь, уже светло, за иллюминатором свет туманного утра, вибрирует и чуть колышется пароход. И я выхожу на палубу, гляжу в океан. На пароходе уже по-походному чисто и прибрано, за ночь утряслась береговая нескладница, богатырь-боцман, в кожаном фартуке и резиновых сапогах, таскает за собою по палубе брызжащий фонтанчиками воды, туго наполненный шланг, матросы идут за ним с голяками. Вода из шланга брызжет по палубе, шумит и пенится... Домашне расхаживает по мостику вахтенный штурман; что-то высчитывает в рубке над картой, пошевеливает седыми усами капитан. И мне живо вспоминается давнее, когда особенной, полною приключений казалась мне эта морская корабельная скудная жизнь...

Капитан поднимает от карты, засыпанной крошками резинки, сухую седеющую голову, играя желваками на скулах, с удовольствием говорит, что проходим французские острова — знаменитые «Каскетки», описанные некогда у Гюго, что теперь можно считать, что мы в океане. Я смотрю на разложенную карту, на тонкую, проложенную на ней карандашную линию, обозначающую курс: океан — морская пустыня, мы выходим на великий путь кораблей!..

Весь день океан спокоен, белес; белые, розоватые на восходе, плывут на раскинутых крыльях чайки и видно, как поворачиваются, осматривая палубу, их острые клювы; иногда они падают, садятся на воду, высоко поднимая и держа крылья; белый, нарядный пассажирский пароход обгоняет нас, оставляя за собою длинный хвост дыма... Кто и куда он идет? — В Индию, Китай, далекий Сидней?.. Меня волнует и радует, что здесь, в океане, я четвертый раз, и опять вспоминается «Меркурий», лица и имена, давнишние чувства... Но каким кажется все это далеким, как по-новому, по-иному воспринимаю я теперь жизнь...

Пароход безнадежно стар, ветх (сколько видов видывал он на своем веку!). Он старчески трясется, вибрирует каждой своей стойкой, каждым листом железа. Мне приятна эта старость большого видалого корабля. С удовольствием разгуливаю я один по вытершейся просторной, подбившейся палубе, сижу в хромом старом лонгшезе. Мала и бедна, течет, как решето (об этом предупреждал устраивавший меня буфетчик), моя каютка, мал и неудобен откидной столик, жестка и узка высокая койка, но что мне за дело до всех этих маленьких неудобств, — я счастлив тем, что опять свободен, что встречает нас океан ласково, что хорошо вспоминается прошлое, что я, наконец, когда захочу, сажусь за свою тетрадь...

Вторник.

Начинает медленно, медленно валять: океан. Один брожу по пустой палубе, смотрю в наступающую ночь, на зелено-светящую пену, все накатывающую под высоким форштевнем. На корабле тишина, безлюдье. Плотный соленый ветер дует, увлажняя лицо и руки, наполняя легкие. Небо почти беззвездно. Тускло и призрачно светят топовые на мачтах огни. Черный дым из трубы сливается с чернотой ночи. Океан молчалив, страшен.

Я стою на носу парохода и, перевесясь, гляжу вниз, в черную, вспыхивающую бледными искрами воду, чувствую, как трясется, вибрирует пароход, ходуном ходят железные пиллерсы. Иногда прохожу палубой и по трапу поднимаюсь на мостик, захожу в рубку, где светло, лежит на столе белая карта, сама собою щелкает и загорается лампочка электрического лага, пахнет краской, старыми картами... После освещенной рубки особенно черной и беззвездной кажется ночь... С утра с нами идет пароход, то отставая, то опять нагоняя; едва видны огни его в беззвучной, бескрайней черноте океана... Кто он?.. Там, как и

у нас, подняв воротник, засунув руки в карманы, наверное, ходит по мостику вахтенный; стоит рулевой над компасом, перекладывая из руки в руку влажные рожки штурвала, и на его лицо снизу падает свет; в освещенной рубке белеет разложенная на столе карта...

Спускаюсь в кают-компанию, где дымно, горит над столом белый матовый шар, стоит на столе жестяной чайник, и смеются, звонят в стаканах сидящие за столом люди, спорят и привычно ссорятся механик и старший о чем-то земном и ничтожном. Мало, мало интересуются моряки великим... И я опять выхожу на волю, на морской ветер, в черную океанскую ночь. Какая-то пустынная, одиноко-призрачная сияет над океаном звезда...

С р е д а.

Бискайский залив, грозный Бискай, великое и страшное кладбище кораблей!..

Утром проснулся от оглушительного, сотрясающего пароход гудка. Над океаном туман, молочно-белый, почти непроницаемый, а весь пароход потемневший, с лужами в выбоинах палубы, с тускло расплывшимися очертаниями мачт, снастей. «Старик» (так кличут на пароходе капитана), в теплом пальто, в надвинутой на сивую голову шапке, стоит наверху. Время от времени маленькой своею рукою он тянет привязанную к проволоке деревяшку, и, захлебываясь кипятком, сотрясая воздух, ревет над нами медный широкогорлый гудок... Медленно нарождается над океаном день. Медленно поднимается, тает над черными водами, разбегается сивыми космами туман. И океан с утра темный, с зловещею сединою. Зловещее, страшное поднимается над ним солнце — кровавое, снизу дымно-багровое, точно из чаши с дымящейся кровью... Грозной кажется висящая над горизонтом лиловая мга...

На пароходе, от самой Голландии, плывет с нами маленькая птичка. Днем она перепархивает над палубой, садится на кнехты и снасти, чирикает жалобно. Станным кажется это её чириканье в грозном беззвучии океана... Иногда она весело взвизывает на маленьких крыльях, пропадает за бортом и с чириканьем появляется опять, шустро прячется под лебедками... За ней охотится, крадется, припадая к палубе, извивая кончик рыжего хвоста, пароходный кот. Она перепархивает, садится на новое место. И весь пароход следит за этой охотой...

Сегодня до двенадцати стоял на мостике вахту. Океан весь день был мутный и грозный, звезды видны лишь в зените, над верхушками мачт... А всё так же обочь идет, то нагоняя, то отставая, вчерашний наливной пароходик...

Встречный пароход семафорил нам долго, вызывая. Мы прошли молча, не отозвавшись. Капитан рассказал, что так же, под Сингапуром, встречный англичанин вызывал долго, а узнавши, что говорят русские, отвечал дерзостью. С тех пор молчим.

.

Четверг.

Под утро налетело великое множество серых ночных, похожих на моль бабочек. Они толстым слоем покрывают палубу, ими полна каюта, стол, умывальник... И с каждым часом теплее, проясняется небо, синее седой океан. Проходим берега Португалии, и теплый береговой ветер доносит терпкие запахи — пахнет чем-то маслянистым, знойным и цветущим (так вдруг вспомнился Афон, афонские запахи!). И почему-то очень грустно, быть может потому, что нет возможности «привернуть», поглядеть ближе незнакомую землю...

Сегодня слушал рассказ о страшном тайфуне, в котором два года назад, под Сабангом, едва не погиб пароход. Было воистину не по-земному ужасное. Потрясающая гибель капитана (и теперь на мостике цела крышка дубового ящика для биноклей, за которую, сшибленный толчком, ухватился, падая, капитан; крышка сорвалась с петель и, сжимая ее в руках, со всего размаху ударился капитан головой о железную стойку)...

Здесь тишина, лазурность. Кончается день и, как всегда неповторимо, дальние облака похожи на высокие, озаренные солнцем снеговые вершины гор. «Старик», из большой осторожности (боясь тумана), ведет от берегов дальше. И всё ближе Африка, Столпы Геркулесовы, склзочная подводная Атлантида...

А все так же плывет с нами, перепархивает, жалобно чирикает маленькая с севера птичка...

Пятница.

В открытом иллюминаторе виден испанский берег, сухой, пустынный, подмытый океаном. Солнце, по-южному призрачное, всенаполняющее, освещает бурые скалы, седые извилины, пески, кажущиеся мертвыми и безлюдными. На крутом, обрывистом, выступающем в океан мысе видны стены форта — старинной каменной крепости. Испанский флаг вьется над крепостью, и в бинокль видно — мост и ворота, каменная, пустынная, уходящая вдоль берега дорога. Вдали лиловые, дымчатые, похожие на облака горы. Там — гремучие названия, имена, знакомые нам по романсам...

Океан спокойный, почти безжизненный. Редко прилетают маленькие серые чайки (чайки здесь острокрылы, как ласточки), взмывают над пароходом и падают на воду — уже лазурную.

А в обед не гадало налетели испанские гости — воробьи. Они прилетели густой хлопотливой стайкой, рассыпались по всему пароходу, чирикая весело, деловито, бочком прыгая по железной обветренной палубе и, обыскав пароход, скрылись... Теплеет с каждым часом, в воздухе — «вино»... Два - три парохода, дымя, сходятся к воротам Гибралтара. А странно представлять, что тут недавно пароходы шли с потушенными огнями, шныряли подводные лодки, люди ложились спать в пробковых поясах...

Два часа ночи.

Гибралтар!

Выбежал на палубу, ослепленный чернотой ночи. Поднимаясь на мостик, увидел, как крупны, редки звезды. И взволновало обилие огней, береговых и корабельных, плескание воды за бортом... Медленно и спокойно, волоча бледно-призрачный меч свой, рассекая темь, вспыхивает огонь маяка слева. Это европейский берег. Справа, из мрака, тройными быстрыми вспышками отвечает ему африканский маяк. Африка!.. Небо чуть светлеет на востоке (всходит луна, и от этого видны только крупные звезды), чуть обозначаются берега, правый и левый. Огненной тонкой полоской светится на европейской стороне город, и я долго смотрю на эту переливающуюся огнями полоску, на странно беззвучный луч маяка, слушая, как разговаривает за бортом зыбь...

В рубке уютно, светло, домашне. Старик-капитан маленькими женскими руками вычерчивает на разостланной новой карте. Потом поднимается, и мы вместе идем на мостик, где дует встречу ровный и свежий ветер—вечно дующий здесь сквозняк. В небе черкнула, пролетела, оставляя за собою тающий след, звезда. Капитан останавливается над компасом, тихо приказывает рулевому.

— Есть, — четко и бодро говорит из темноты рулевой.

Всю ночь не сплю, скитаюсь по палубе, взглядом провожаю остающиеся позади огни. Нет больше «сквозняка»—влажный, пахучий, теплый, догоняет нас береговой ветер... Средиземное море встречает нас рассветом. И холоднее и колючее перед утром светят, гаснут одна за другой звезды...

...А весь день солнце, голубизна, упругий ветер. Утром виден европейский берег — туманные горы, мелово белеющий над морем обрыв, весь в тонкой палевой дымке. И опять море, солнце, ветер.

Вечером ветер свежее, но тепло, душно: подходим к африканскому берегу...

Ночью дорогу нам пересек парусник. Он едва приметно покачивался в темноте на чуть сверкающей черной зыби. По морским правилам вежливости мы уступили ему путь. Было видно, как он прошел совсем близко, пересек, резко обозначившись парусами, месячную серебряную дорогу. Каким одиноким, древним, сказочно-жутким показался он...

В о с к р е с е н ь е.

Африка, Африка!..

Видны берега: плоские, туманные холмы, похожие на складки материи, брошенной небрежной рукою, призрачные далекие горы, и над всем этим сизая легкая дымка... В бинокль видны песчаные косы и полосы, бурые земляные, обожженные солнцем бугры, маленький, рассыпавшийся на берегу, городок—плоские квадратные крыши, белая

башня на вершине круглой, похожей на ковригу аржаного хлеба, горы, и ярко вспыхивает - трепещет на стеклах городка солнце...

С тоскою, похожей на боль, гляжу на эти берега, плоскокрышие кирпичики - домики, на плоские, белые, висящие над берегом, облака. Над морем, над синею зыбью, над кудрявыми вспыхивающими барашками. падают серые маленькие чайки. Сажу под тентом, смотрю на синее море, на чайки, на дальний, призрачный, похожий на мираж, островок, на то, как в туманной голубизне залива медленно открывается белостенный, призрачный, туманно - ступенчатый, весь в зыблющейся дымке Алжир.

Сентябрь 1928 г.

Атлантический океан—Средиземное море.

Случай в Монреале

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

Предки лгали, деды врали,
Я ль в наследьи виноват?..
Дело было в Монреале
Года три тому назад.

Монреаль, как вам известно, —
(А известно это всем)
Живописнейшее место
Для эскизов и поэм.

Он и в фауне и в флоре,
Лучше Африк и Флорид,
Тут и горы, здесь и море,
Синь, и зелень, и гранит.

Если б был я Тицианом, —
Посетив эти места, —
На Венеру с толстым станом
Я не тратил бы холста.

Я бы в красках прихотливых,
Не жалея бранных сил, —
В небывалых перспективах
Этот город воскресил.

И в картинной галерее
Удивлялся б ротозей
И манере, и затее,
И правдивости моей.

И в припадке впечатленья,
Покорившийся страстям,
Кто-нибудь мое творенья
Распорол бы пополам.

А по эдакой причине,
Года этак через три,
Кучи книжек о картине
Написали б Грабари.

И со шрамом в три аршина,
Сквозь веков слепую даль,
Пробиралась бы картина
Под названьем «Монреаль»...

Если б, некоторым часом,
Я Шаляпиным вдруг стал,
Я бы самым страшным басом
Этот город воспевал.

Взяв профундисто-басисто,
Я бы так его вознес,
Что народного артиста
Дал мне сразу б Наркомпрос.

Дал бы щедро, даже гордо,
Чтобы после — невпадал,
За один фальшивый «форто»
Отобрать его назад.

Но былым уже пригретый,
Невзирая на скандал,
Город, громко так воспетый,
Ничего б не потерял.

Эти горы — будто тучи,
Это море — будто мир,
По балконам плющ ползучий
И порядочность квартир...

... Мистер сядет на диване,
Ноги выбросит на стол,
Скажет горничной иль няне,
Чтоб сосед к нему зашел.

И войдет сосед, кивая, —
Рад подвыпить после дел, —
И до самого «гуд-бая»
Все «ол-райт» да «вэри-вэл».

Выдет стройненькая Мери
 За последнее жильё:
 Милый Билли среди прерий
 С поцелуем ждёт ее.

И поймет она, встречая,
 Как он мужествен и смел...
 И до самого «гуд-бая»
 Все «ол-райт» да «вэри-вэл»...

Город прериями дышет,
 Мреют горы позади,
 Море катеры колышет
 На вздыхающей груди...

Я всю жизнь мою разлажу,
 Мне до смерти будет жаль,
 Если к этому пейзажу
 Не подходит Монреаль.

Кто б поверил, что бесплатно,
 Что хочу я, то беру,
 Кто б подумал, что так складно
 И так здорово я вру.

Дело в том, что... извиняюсь,
 Как ни стыдно, как ни жаль,
 Все же каюсь: я не знаю,
 Что такое Монреаль.

Просто вычитал я где-то
 Это слово под шумок
 И решил, что для поэта
 Не помеха сотня строк.

Относительно ж «гуд-бая»
 И других таких приправ, —
 Даже города не зная, —
 Я уверен, что я прав.

Потому, что где ни глянь ты,
 Кроме разве наших мест,
 И «гуд-баи» и «ол-райты»,
 Я уверен, — всюду есть.

Предки лгали, деды ввали,
 Я ль в наследьи виноват?..
 Дело было в Монреале
 Года три тому назад.

Репарационный узел

Ф. Нотович

Ревизия плана Дауэса

Если в наследие от феодального мира осталась человечеству в назидание пословица: «у каждого барона есть своя фантазия», то от современных баронов капиталистического царства — магнатов финансового капитала, — когда они исчезнут, и подобной пословицы не останется. Банкиров нельзя упрекнуть в цветистой фантазии, но зато они имеют свои отличные методы работы и повеления. Они имеют свой стиль, отличный от других стилей, которыми пользуются различные классы. Заседающая ныне в глубокой тиши с 11 февраля в Париже конференция могущественнейших банкиров мира по пересмотру плана Дауэса открылась невиданным еще до сих пор образом. Не было произнесено ни одной приветственной речи, ничего не было сказано о задачах конференции, банкиры не проронили ни одного слова. Молча, без слов была открыта и начала свою работу одна из важнейших послевоенных конференций.

Если Лондонская конференция 1924 г., на которой был принят план Дауэса, закончила с военными санкциями Паункаре, наложила узду на французскую военщину и временно разрешила финансовые споры между побежденной Германией и ее победителями, если на основе плана Дауэса началась стабилизация капитализма в Германии и во всей Европе, если план Дауэса явился предпосылкой для та-

ких громадной важности политических событий, как Локарно и вступление Германии в Лигу Наций, то заседающая ныне в отеле Георга V конференция банкиров будет иметь куда более важные последствия, чем ее предшественница в 1924 г. Можно с полной определенностью сказать — решения Парижской конференции 1929 г. определяют взаимоотношения Германии и союзников, с одной стороны, и союзников между собой и Соед. Штат. Америки, с другой стороны, не на 4 года, как это сделала Лондонская конференция 1924 г., но на куда более длительный отрезок времени. Вот почему и советское общественное мнение крайне заинтересовано в том, что происходит в отеле Георга V. Нет сомнения, что результаты конференции будут иметь важное значение и для нашего Союза, ибо такова уже природа противоречий между СССР и капиталистическим миром, что каждый вопрос, возникающий в любом уголке земного шара, независимо от его важности, непременно задевает прямо или косвенно интересы пролетарского государства. Здесь же мы имеем дело с вопросом кардинальной важности, и то или иное его решение отразится также на взаимоотношениях СССР с государствами прямо в нем заинтересованными. Мы, однако, этой стороны вопроса сейчас специально касаться не будем. Настоящей статьей мы себе ставим определенную ограниченную задачу: вскрыть основные противоречия между быв-

шими союзниками и Германией и союзниками между собой по репарационному вопросу и противоречия между последними и Сев.-Ам. Соед. Штатами по вопросу о междусоюзных долгах. Мы также попытаемся вскрыть взаимозависимость между репарационным вопросом и оккупацией Рейнской области. Эти вопросы имеют важнейшее значение для политических и экономических международных взаимоотношений капиталистического мира, а для Германии они, кроме того, имеют еще особое значение для внутренней политики. Они вместе с другими важными вопросами капитализма, как-то: борьба за рынки сбыта и сырья, месторождения нефти, борьба за морскую гегемонию доминируют над всей политической и хозяйственной жизнью капиталистического мира. То или иное окончательное разрешение репарационного вопроса в Париже предопределяет, по крайней мере, на десятилетие ход развития международных политических и экономических взаимоотношений важнейших государств, которые, в свою очередь, определяют экономику и политику всего мира.

Отсюда и вытекает особая важность и для советского читателя уяснить себе значение обсуждаемых в Париже вопросов и глубже вникнуть в круг раздирающих капиталистическую систему неразрешимых противоречий.

А для этого нам придется рассмотреть в главных чертах репарационную проблему, того большого, который находится на операционном столе могущественных банкиров.

* * *

Банкиры — люди дела, попусту слов не тратят. Да им это и не нужно. Говорить могут и будут другие, те, которые находятся у них на службе. И те говорили ровно пять месяцев. Дипломатическая возня началась еще тогда, когда германский рейхсканцлер Мюллер в сентябре 1928 г. несколько неуклюже, но довольно настойчиво заявил в Женеве союзникам, что пора бы после десятилетнего аккуратного выполнения Германией обязательств мирного договора и четырехлетнего выполнения репарационных платежей по

плану Дауэса также подумать и об эвакуации германской территории. На это ему союзники ответили устами Бриана: раньше определится окончательного долга Германии союзникам с выдачей определенных финансовых обязательств, плюс установление постоянной союзнической комиссии для Рейнских областей, а уже затем можно будет поговорить и об их эвакуации. Германский канцлер все напирал на «право» и «мораль» и настаивал на том, что Локарно и вступление Германии в Лигу Наций дают ей право требовать очищения ее территорий от иноземных войск, что между репарациями и эвакуацией нет никакой юридической связи и что такой зависимости второй от первой германское правительство признать не может. После длительных переговоров представители Англии, Франции, Германии, Италии, Бельгии и Японии сошлись на общей формуле, которая известна как решение 16 сентября 1928 г. Это решение, на которое впоследствии при переговорах ссылались и ссылаются еще теперь, состояло из трех пунктов и касалось:

1. Открытия официальных переговоров по поводу выставленного рейхсканцлером требования досрочного освобождения Рейнской области.

2. Необходимости полного и окончательного урегулирования репарационной проблемы, для какой-либо цели решено было назначить комиссию из финансовых экспертов.

3. Назначения констатационной и согласительной комиссии. О составе, функциях, предмете и сроке деятельности помещенной в третьем пункте комиссии должно еще быть особо договорено между правительствами.

Несмотря на содержание резолюции, — в действительности одержала верх французская точка зрения. Об эвакуации никто и не заикается, а раз решение репарационного вопроса, т. е. окончательное установление величины общего долга, его расщочки и суммы ежегодных взносов поручено крупнейшим банкирам Америки, Англии, Франции, Италии, Германии и Бельгии.

Время между 16 сентября и 23 января прошло в дипломатических переговорах и дискуссиях между Берлином,

Парижем и Лондоном. Предметом дискуссии были такие вопросы: кто должен назначить экспертов, должны ли они быть зависимыми или независимыми от правительства их назначающих, должны ли эксперты вновь установить платежеспособность Германии или же она должна считаться уже установленной по плану Дауэса. Здесь столкнулись две противоречивых точки зрения.

Немцы настаивали и настаивают на пересмотре вопроса о платежеспособности, ссылаясь на то, что взносы по плану Дауэса они делают не за счет внутренних накоплений, а за счет иностранных займов. Кредиторы же Германии настаивают на том, что эксперты должны только установить окончательный долг Германии и срок его амортизации, не уменьшая ежегодных взносов, достигающих уже в текущем году 2.500 миллионов зол. марок. Союзники, а особенно Франция, выдвигали еще в первую очередь вопрос о коммерциализации германского репарационного долга, что означает превращение нынешнего политического долга Германии союзникам, каким является всякий правительственный долг, в частный коммерческий долг. Это может быть достигнуто следующим образом: Германия получает крупный заем под обеспечение железнодорожных и промышленных облигаций, выдачу которых на сумму в 16 млрд. марок предусматривает план Дауэса, деньги же от займа получают кредиторы Германии. Только этим объясняется желание союзников привлечь во что бы то ни стало к репарационному вопросу и Сев.-Амер. Соед. Штаты, хотя они сами, как мы увидим ниже, весьма мало непосредственно в нем заинтересованы. Такая грандиозная финансовая сделка может быть произведена только в Америке, поэтому такой вопрос, естественно, не может быть разрешен без участия американских капиталистов. Приглашение Америки вызывалось настоятельной необходимостью. Германия же по совершенно другим причинам желала участия Соед. Штатов в разрешении репарационного вопроса. Ей казалось и кажется, что она сумеет

использовать противоречия между Америкой, Англией и Францией в свою пользу и, таким образом, она получит от первой поддержку, что ослабит ее изолированное положение в комиссии экспертов.

Надо отметить, что с самого начала предварительных переговоров все кредиторы Германии, несмотря на существующие между ними противоречия, выступали довольно единодушно общим фронтом против Германии. Оно и понятно. И Франция, и Италия, и Бельгия заинтересованы получить как можно больше от Германии для покрытия своих долгов Америке и возмещения других убытков, связанных с ликвидацией войны.

Установление союзниками зависимости между их платежами Америке и получением ими репараций от Германии, хотя Америка действительной зависимости между ними никогда не признавала, в свою очередь связывает репарационный вопрос с междусоюзническими долгами, что его крайне усложняет. Но это, в свою очередь, требовало участия в комиссии экспертов представителей Америки, а последняя дала понять, что она согласна послать таковых, но они должны заседать с экспертами, «независимыми» от своих правительств. Это явилось поддержкой требования Германии. Что означает «независимый» эксперт для Америки, это мы увидим ниже.

После вышеизложенного становится вполне понятным заключительный результат предварительных дипломатических переговоров между правительствами Германии, Англии, Франции, Италии, Бельгии и Японии. Он был опубликован в выпущенном 23 декабря 1928 г. коммюнике, который в своей существенной части устанавливал следующее:

1. Желательное участие в комиссии экспертов представителей Соед. Штатов.

2. Комиссия экспертов должна состоять из независимых экспертов, которые пользуются международным уважением и авторитетом в собственной стране и не связаны никакими инструкциями своих правительств.

3. Комиссия экспертов получит от правительств, участвовавших в решении 16 сентября 1928 г., поручение разработать предложения для полного и окончательного урегулирования репарационной проблемы. А предложения эти должны охватить урегулирование всех обязательств, вытекающих из существующих договоров и соглашений между Германией и ее кредиторами, каковые должны быть переданы каждому из 6 правительств и репарационной комиссии.

Таково задание комиссии экспертов.

Кто же является этими «независимыми» экспертами, кому поручена столь деликатная задача? Знакомство с ними чрезвычайно интересно и поучительно.

Начнем с дирижеров комиссии экспертов, американцев. Ниже мы даем характеристики только главных «независимых экспертов» по странам.

Америка. Пирпонт Морган — глава банкирского дома Морган и К-о. Банк Моргана находится в теснейших отношениях с самыми могущественными американскими трестами и контролирует главнейшие отрасли американского народного хозяйства. Достаточно назвать такие тресты, как американский стальной трест, «Женераль Электрик Компани», крупнейший химический трест «Дюпон де Немаур» и др. Большая часть электрических и железнодорожных компаний, верфей, торговых фирм и пр. находится под влиянием Моргана.

Помимо всего этого, Морган контролирует многочисленные банки Соединенных Штатов, Южной Америки, Европы и Дальнего Востока. Это он, Морган, организовал во время войны все финансовые сделки и займы союзников в Америке. Это, наконец, при его помощи были стабилизированы все почти без исключения европейские валюты. Займы стабилизации, предоставленные Морганом французскому, английскому, итальянскому и другим правительствам, после войны исчисляются в 700—800 млн. долларов. Заем Германии в 800 млн. марок для осуществления плана Дауэса был опять-таки реализован Морганом.

Оуэн Юнг. Этот крупнейший промышленник и банкир Америки находится в тесных сношениях с Морганом. Он является председателем наблюдательного совета «Женераль Электрик Компани» и находится также почти во всех наблюдательных советах крупнейших фирм, связанных с банком Моргана. Но помимо всего этого, он является председателем наблюдательного совета американского союзного банка (Федераль Резерв Банк).

Англия. Стемп — находится в тесных сношениях с английским химическим трестом и одновременно член наблюдательного совета английского банка и председатель крупнейших английских железнодорожных обществ.

Лорд Ревельсток — глава эмиссионного банка «Беринг Бродерс и Компани». Он также член правления английского банка и личный друг короля.

Франция. Пармантье — глава крупнейшего банка, располагающего капиталом в 300 млн. франков.

Морро, — управляющий «Банк де Франс». Французский финансовый гений и диктатор.

Италия. Альберто Пирелли — глава концерна его же имени, владеющего многочисленными каучуковыми фабриками в Италии, Англии, Испании и Аргентине и каучуковыми плантациями в Ост-Индии. Он, кроме того, председатель объединения итальянских акционерных обществ и председатель международной торговой палаты.

Бельгия. Банкир Эмиль Франки — является одним из важнейших столпов бельгийского капитализма. Он состоит вице-председателем крупнейшего бельгийского банка «Сосиете Женераль де Бельжик», который контролирует большую часть бельгийской промышленности, угольных обществ, железодельных, транспортных и электрических компаний, а также и химический концерн «Сольвей».

Германия. Д-р Шахт — председатель германского имперского банка.

Д-р Феглер — представитель стального треста, связанного с целым рядом других крупнейших предприятий Гер-

мании, а именно, концерн Сименса, Рейнско-Вестфальский электрический концерн и некоторые другие.

Тайный советник Кастль — член правления союза германской промышленности Эта организация является центральной и важнейшей в Германии, в которой организован крупный промышленный капитал.

Карл Мельхор — совладелец гамбургского банка «Варбург и К-о», который находится в тесных сношениях с крупнейшими американскими банками.

Япония. Аоки — директор императорского японского банка. Такова физиономия «независимых» экспертов, собравшихся решать судьбы Европы. И каким издевательством являются дискуссии между Пуанкаре и Штреземаном о том, «зависимыми» или «независимыми» должны быть эксперты от своих правительств? Это Морган и Юнг, Стэмп и Ревельсток, Феглер и Кастель «зависимы» от Пуанкаре, Штреземана и Чемберлена! И какой смешной кажется роль мировой дипломатии на службе у финансовых магнатов, несколько месяцев дискуссировавшей и подготавливавшей слет «зависимых» от нее птенцов.

Список «независимых» экспертов по-прежнему, что 6 из них являются авторами плана Дауэса, который они же теперь призваны ревизовать. Дело для них не новое.

Если дипломатическим канцеляриям понадобилось 5 месяцев для того, чтобы толькo собрать комиссию экспертов, то последней, являющейся истинным хозяином капиталистического мира, понадобится гораздо меньше для того, чтобы решить по-своему стоящую перед нею задачу и заставить принять это решение и других. Демонстрацией молчания 11 февраля банкиры показали своим слугам-министрам, что они только им разрешают многословие, себе же они этого не разрешают. Они люди дела, им некогда: время — деньги.

Хотя работы комиссии экспертов в Париже окутаны глубокой тайной, но состав комиссии говорит достаточно за ее продуктивность, и можно себе впол-

но представить, по какой линии она будет искать разрешения вопроса. Эта линия уже наметилась при выборе участников комиссии. Еще 20 января «Фоссише Цейтунг» по поводу состава комиссии и ожидаемых от нее работ писал:

«Интересы, которые эти господа представляют, очень различны, но с большей вероятностью одержит верх также и на сей раз та группа, как и в 1924 г., которая имеет за собой самый могущественный капитал, т. е. группа банкирского дома Морган и К-о. Уже тот факт, что Морган лично едет в Париж, является порукой тому, что речь идет о громадных интересах для международного финансового капитала. Уже заем Дауэса являлся очень крупной сделкой, при которой один провизионный барыш участвовавших в займах банков равнялся 44 млн. марок. «Коммерциализация репараций» в связи с новым, еще более крупным германским займом, — возможно, что в связи с изменением межсоюзных долгов Америки, — сделается еще более крупным объектом. Все не является тайной, что Пирпонт Морган в течение уже нескольких лет выступает за полное вычеркивание или уменьшение долгов европейских государств американскому правительству, от чего, по его мнению, американский банковский капитал только выиграет. На место государственных долгов, какими являются настоящие долги, заступит увеличенная и из года в год растущая частная задолженность Европы, главным образом, американским кредиторами, адвокатами которых и являются банки и в первую очередь банкирский дом Морган и К-о».

Что американский капитал получит главную выгоду от того или иного решения репарационного вопроса и что представителям американского капитала принадлежит руководящая и командующая роль в отеле Георга V, об этом говорит также и тот знаменательный факт, что еще до открытия конференции председательское место было предоставлено главному американскому делегату Оуэну Юнгу, а сама конференция была окрещена именем Юнга.

Итак, финансовые эксперты молча приступили к ревизии плана Дауэса. Что же он собой, однако, в настоящий момент представляет?

* * *

В сентябре 1928 г. кончились льготные сроки платежей по плану Дауэса. С сентября же начались нормальные платежи Германии, которые определены по плану Дауэса в 2.500 млн. герм. марок в год. Эта сумма поступает главному репарационному агенту для ее распределения по следующему установленному еще в июле 1920 г. на конференции союзников в Спа ключу: Франции — 52 проц., Великобритании — 22 проц., Италии — 10 проц., Бельгии — 8 проц. и всем остальным — 8 проц. Германские платежи, начиная с первого нормального года, составляются таким образом: 1.250 млн. марок поступают от государственного бюджета, 660 млн. от железных дорог, 290 млн. от налога на транспорт и 300 млн. от налогов на промышленность. За 4 истекших льготных года Германия передала тому же репарационному агенту в

1924/25 г. — 1.000 млн. марок.

1925/26 г. — 1.220 » »

1926/27 г. — 1.500 » »

1927/28 г. — 1.750 » »

Итого — 5.470 млн. марок.

Всего же с сентября 1924 г. по февраля 1929 г. Германия выплатила 6,7 млрд. марок. План Дауэса до сих пор действовал без отказа, и Германия выполняла аккуратно свои обязательства. Но план Дауэса, задуманный и выполненный с определенной целью и для определенного задания, имеет и крупные недостатки. Он не определяет общей суммы задолженности Германии союзникам, как и не устанавливает количества ежегодных взносов (срока амортизации долга). Да и ежегодная сумма в 2.500 млн. марок не является величиной постоянной. Она может повышаться в зависимости от так называемого индекса обогащения. Если, скажем, благосостояние германского населения повысится, то мастер плана Дауэса — репарационный агент — может

по определенному ключу повысить сумму ежегодного взноса.

По плану Дауэса, как мы уже знаем, Германия должна выдать репарационному агенту железнодорожных облигаций на 11 млрд. и промышленных облигаций на 5 млрд. марок. Эти облигации должны приносить их держателям 5 проц. ренты и 1 проц. амортизационных. Срок погашения — 36 лет. 960 млн. ежегодных поступлений от железных дорог и промышленности и являются процентами и амортизацией на непроданные облигации. Неопределенность в постановлениях плана Дауэса вызывает массу неудобств и для должника и для кредиторов и дает широкий простор для всякого рода толкований и определений срока действия плана Дауэса. Немцы, например, утверждают, что срок погашения железнодорожных и промышленных облигаций и является конечным сроком платежей Германии. Если согласиться с таким толкованием, то, капитализировав ежегодный взнос по 6 проц., мы получим современную стоимость германского репарационного долга, которая составит сумму в 9.000 млн. долларов. Германские кредиторы, особенно Франция, утверждают, что общая сумма репараций уже была определена лондонским ультиматумом от 27 апреля 1921 г. в 132 млрд. марок, а затем подтверждена репарационной комиссией в 1923 г. Следовательно, после отпадения через 36 лет 960 млн. марок, поступающих от железнодорожных и промышленных облигаций, эта сумма должна быть переложена на германский бюджет. Таким образом, и через 36 лет ежегодный платеж не должен быть ниже 2.500 млн. марок, и это должно продолжаться до тех пор, пока не будет выплачена Германией вся сумма в 132 млрд. марок.

Эти рассуждения совершенно несерьезны, поскольку даже французы не надеются получить с Германии такой суммы, а растянуть платежи на столетие немислимо. Наоборот, как раз французы, как получающие выше половины репарационных платежей, заинтересованы больше всех в том, чтобы задолженность Германии была по-

гашена как можно скорее, ибо всякий полученный миллиард — реальность, будущие же платежи — это нечто не-весомое. А погасить свой долг в скором времени Германия сможет в том случае, если ей будет поставлены приемлемые условия, т. е. долг будет значительно сокращен.

Французы это прекрасно знают, но они, однако, упорно повторяют вышеприведенные доводы, выставляя чрезмерные требования, желая этим оказать на Германию политическое давление и заставить ее отказаться от требования досрочной эвакуации Рейна.

Более серьезными являются другие аргументы, выставленные кредиторами Германии в пользу удлинения срока платежей по плану Дауэса и после амортизации железнодорожных и промышленных облигаций. Англия, Франция, Италия, Бельгия и другие государства получаемые суммы по плану Дауэса передают Америке для погашения своей задолженности. Франция, Италия, Югославия и др., кроме того, из этих же сумм выплачивают свои долги Англии. Все эти государства заключили долговые договоры с правительством Соед. Штатов, а Франция, Италия и Югославия, кроме того, еще и с Англией, согласно которым междусоюзнические военные долги должны быть погашены в течение 62 лет. Поэтому, утверждают они, репарационный долг Германии не может быть раньше погашен, чем междусоюзные долги.

* * *

Этим не исчерпываются противоречия между Германией и ее кредиторами. Чтобы обеспечить нормальное хозяйственное развитие Германии, а только в этом случае она может выполнять возложенные на нее тяготы, нужно обеспечить от потрясений германскую валюту. И для защиты германской марки план Дауэса предусматривает специальный трансферный комитет (комитет по переводам).

Общезвестна истина, что собрать внутри страны известные суммы и нераспределить их — вещь сравни-

тельно не трудная. Скопление в казначействе или банке крупных сумм еще не означает, что эти суммы можно безболезненно перевести за границу в иностранной валюте. Такие операции всегда приводят к падению собственной валюты, если государство, их производящее, не имеет активного торгового или платежного баланса. Функции же трансферного комитета состоят в том, что перевод переданных репарационному агенту сумм может быть задержан, если такая операция по состоянию валютного рынка способна поколебать устойчивость германской марки. Если же накопившаяся у репарационного агента сумма денег, которую по этой причине нельзя обменять на иностранную валюту, достигнет 5 млрд. марок, то это означает, что ежегодный взнос по плану Дауэса исчислен в превышающей германскую платежеспособность сумме, и он должен быть соответственно уменьшен. Таким образом, трансферный комитет является своего рода градусником для определения нормального состояния хозяйственной жизни Германии. И вполне понятно, что Германия дорожит трансферным комитетом и согласится на его отмену только за определенную компенсацию.

Коммерциализация германского долга, какую хотели бы провести союзники, т. е. выпуск громадного займа и превращение нынешнего политического долга, каким является всякий долг одного государства другому государству, в частный долг, неизбежно влечет за собой отмену всего предусмотренного планом Дауэса аппарата главного репарационного агента со всеми его институтами, в том числе и трансферного комитета. «Коммерциализация долга» несовместима с трансферным комитетом, так как обладатели германских государственных облигаций должны получать ежегодно без перебоев свои проценты. «Коммерциализация долга» означает для Германии шаг вперед по пути обретения своей независимости, но она сделает ее более доступной для внедрения чужеземного капитала, лишившись одновременно защиты своей валюты от обесценения.

Если значение коммерциализации репарационного долга перевести на понятный язык, то это означает, что международные банкиры оценят нынешнюю стоимость репарационного долга, т. е. определят, сколько можно без риска получить от Германии в короткое время и выдадут под залог определенных обеспечений заем, соответствующий его нынешней стоимости. Политические же обязательства Германии по отношению к союзникам превратятся в частно-правовые обязательства по отношению к мировым банкирам и частным капиталистам. Политическая зависимость Германии от своих кредиторов будет ослаблена, но зато она попадет под полную зависимость мирового капитала. Коммерциализация, как уже отмечалось выше, вполне соответствует интересам мирового финансового капитала, и в этом отношении ровно ничего не стоят все рассуждения французских публицистов в роде Зауэрвейна, Пертинакса и Сейду о бредовых суммах, в которые они оценивают репарационный долг. Банкиры не дадут больше, чем они считают нужным для того, чтобы получить в течение ряда лет крупные барыши. Самые же непримиримые кредиторы также принуждены будут успокоиться, т. к. ни один разумный человек не верит, что с Германии можно получать крупные суммы в течение 62 лет.¹⁾ При коммерциализации репарационного долга кредиторы получают выгоду, избавляясь от риска. Опыт же последних лет показал, что политические долги очень часто с изменением международного положения вычеркиваются вовеки. От частно же правовых долгов можно избавиться только посредством объявления государственного банкротства. Но это мера вызывает такие громадные хозяйственные потрясения, с полной утерей кредита, что государства решаются к ней прибегать только в самом крайнем случае.

¹⁾ В интересах Германии, однако, выгодно согласиться на растяжение срока платежей на 62 года. В этом случае она будет вносить уменьшенные годичные взносы. События же ближайших лет могут ее совсем освободить от долговых обязательств.

Но коммерциализация, с другой стороны, означает также похороны надежд националистических кругов Германии, состоящих в том, что в один прекрасный день счастливый случай избавит Германию от всех ее платежных обязательств.

Все счета, в конце концов, оплатит германский рабочий. Происходящая борьба на конференции банкиров между германской буржуазией и буржуазией союзных стран, в сущности, сводится к следующему: германская буржуазия добивается получения от своих противников более крупной доли от тех сумм, которые она сдерет с трудящихся Германии для передачи победителям.

* * *

Одним из основных разногласий и споров между германской буржуазией и буржуазией стран кредиторов является вопрос о том, может ли Германия платить 2.500 млн. марок в год без потрясения своего хозяйства. Кредиторы утверждают, основываясь на опыте прошлых лет, что она безболезненно такие платежи производить может. В доказательство этого приводится нынешнее состояние германского народного хозяйства, которое оценивается очень оптимистически, и свидетельство главного репарационного агента Паркера Гильберта. Французы утверждают, что процветание германского народного хозяйства, которого оно достигло под благодетельным воздействием плана Дауэса, позволяет наложить на нее еще более крупные тяготы.

Немцы же свои требования уменьшения ежегодных платежей основывают на следующих данных: план Дауэса устанавливает, что Германия сумеет исполнять возложенные на нее обязательства только в том случае, если ее внутренние накопления будут достигать достаточной суммы, которую она сможет без ущерба для своего хозяйства перевести за границу для оплаты своих долговых обязательств. Хотя развитие германского хозяйства и показало, что внутренние накопления растут, но перевести их в иностран-

ную валюту можно только тогда, когда экспорт значительно превышает импорт. Или же когда имеется невидимый экспорт в виде доходов с помещенных за границей капиталов. Германия же по Версальскому договору лишилась всех капиталов за границей, оцениваемых в 16 млрд. марок и приносивших 2 млрд. прибыли в год. У нее отобрали также ее торговый флот, который давал в свою очередь значительный доход в иностранной валюте. Из этого следует, что Германия может платить столько, на сколько ее экспорт превышает импорт. В последние же четыре года развитие внешней торговли Германии представляет следующую картину:

в миллионах марок	Экспорт	Импорт
1925	8,96	11,92
1926	10,01	9,70
1927	10,37	13,72
1928	12,00	14,00
	41,34	49,34

Из приведенных данных видно, что торговый баланс за 4 года дал пассив в 8 млрд. марок. Это объясняется тем, что германский экспорт натывается на сильные таможенные рогатки и другие препятствия. Здесь обнаруживается внутреннее противоречие интересов должника и кредиторов. Германия может платить только за счет форсирования экспорта, кредиторы же заинтересованы в развитии своей собственной промышленности, и усиленный нажим на Германию вызывает более усиленную конкуренцию германских товаров, что бьет и по кредиторам. Но так как Германия все же обязана платить, то для того, чтобы ее экспортные товары стали конкурентно-способными, она принуждена понижать рабочим заработную плату, ухудшать жизненные условия рабочего класса, что вызывает его сопротивление и социальные потрясения. Она, кроме того, принуждена назначать более дорогие цены на товары, употребляемые внутри страны, с тем, чтобы можно было те же товары продавать за границей по более низкой цене и сделать их конкурентно-способными. Такое положение вещей,

утверждают немцы, долго продолжаться не может, последствия же его могут быть чреватые не только для Германии, но и для всего капиталистического мира, так как оно питает почву для развития коммунистических идей.

Репарационный нажим союзников на Германию заставляет ее форсировать свой экспорт, который натывается на заградительные таможенные рогатки. Результатом этого является перерастание производственных возможностей германского промышленного аппарата над его действительностью. Это состояние вещей выразилось в колоссальной цифре безработных. В начале февраля одних зарегистрированных на биржах труда безработных насчитывалось 3,2 млн.

Немцы далее утверждают, что хозяйственный расцвет Германии, о котором жужжат на всех перекрестках, является самообманом. Германское хозяйство в течение последних четырех лет получило 14 миллиардов из-за границы. Германия же уплатила за этот самый период по плану Дауэса только 6,7 млрд. марок. Следовательно, все ее платежи были произведены не за счет накопления или избытка, а за счет ее основного капитала. Поэтому перед конференцией стоит задача — так утверждает германская сторона — еще раз подвергнуть серьезному рассмотрению вопрос о платежеспособности Германии.

Ко всему сказанному следует еще прибавить следующее. Многие представляют себе, что Германия регулярно платит свои долги только с 1924 г. В действительности же она и до введения плана Дауэса выплатила победителям довольно значительные суммы. Так, например, с 1 мая 1921 г. до 31 июня 1922 г. германское правительство передало репарационной комиссии наличными деньгами, углем и товарами 2,7 млрд. зол. марок. До этого же срока германское правительство передало союзникам, торговый флот, Саарские рудники, железнодорожный материал, наличностью и другими товарами, по оценке немцев, 30 млрд. зол. марок. Если даже признать эту сумму

преувеличенной, то и по оценке более умеренной все платежи Германии, вместе взятые, равняются не меньше 20 млрд. марок.¹⁾ А поэтому Парижская конференция и должна решить, сколько же еще Германия должна уплатить, и в какой срок она может выплатить оставшуюся сумму репараций.

Требования отдельных государств и междусоюзнические долги

А н г л и я. Наиболее определенными и умеренными являются требования Англии. Еще в августе 1922 г. английское правительство нотой лорда Бальфура определило свою точку зрения на междусоюзнические долги. Последующие ноты Бонар Лоу и Керзона ее уточнили. Английское правительство желает получить от всех своих должников ровно столько, сколько оно само должно Америке, и оно согласно уменьшить своим должникам их обязательства настолько, насколько ему Америка уменьшит его собственный долг. Во всех соглашениях по военным долгам Англии с государствами-должниками имеется такой пункт, согласно которого государство-должник имеет право требовать уменьшения своего долга в том случае, если Америка в будущем сократит долг Англии. Этой точки зрения английское правительство придерживается и сейчас. Следовательно, его требования к Германии сводятся вот к чему: репарационный долг и получаемые годичные взносы от Франции, Италии, Югославии и Греции должны покрыть ежегодные взносы, выплачиваемые Англией Америке. При этом следует иметь в виду, что Англия, начиная с 1923 г. и по настоящее время заплатила Америке на 2 млрд. зол. марок больше, чем она сама получила от Германии, Франции, Италии и др. должников вместе с 1920—21 г. Эти 2 млрд. золотых марок с выросшими процентами она также хочет получить от Германии и остальных должников.

¹⁾ Англичане оценивают эту сумму в 700 млн. ф. стерл. или около 15 млрд. марок. См. Кенворти «Берлинер Тагесblatt», 20 февраля 1929 г.

Франция. Менее сложными, но более тяжелыми являются требования Франции. Она добивается не только получения от Германии полностью тех сумм, которые она должна выплатить Америке и Англии, но еще предъявляет счет Германии в 16 млрд. марок с процентами, которые она затратила на восстановление разрушенных во время войны департаментов Северной Франции, что в общем равняется 20 млрд. марок. Помимо этого, французское правительство еще настаивает на том, чтобы расходы на содержание инвалидов войны и подобные им расходы были также покрыты Германией.

Б е л г и я. Так как по Версальскому договору военный долг Бельгии Франции и Англии был аннулирован, то претензии Бельгии могут распространяться только на покрытие суммы, выплачиваемой ею Америке. Но аппетиты бельгийской буржуазии куда больше, хотя Бельгия первые годы после окончания войны получила преимущественно перед другими государствами от Германии громадные суммы деньгами и натурой на восстановление разрушенных во время войны областей. Но она, кроме того, требует теперь еще возмещения оставленных германскими военными властями в Бельгии бумажных марок, исчисляемых в количестве 5 млрд. марок. Таков счет, предъявляемый Бельгией Германии на конференции в Париже.

И т а л и я. Позиция Италии более трудная. Она тоже хотела бы получить не меньше, а если возможно, то и больше, чем она выплачивает Америке и Англии, но ее доля в репарациях слишком незначительна, и она выдвигает требования другого порядка. Так как Италия должна была бы получить свою долю репараций от Австро-Венгрии, которую заменили согласно мирным договорам и в угоду Франции новообразовавшиеся государства, а от этих государств — наследников Габсбургской монархии — получить эти репарации она не может, то итальянская делегация будет доказывать необходимость их переложения на Германию. Но так как эта задача почти безнадежна, то она будет добиваться изме-

нения ключа, по которому распределяются получаемые от Германии взносы, с таким расчетом, чтобы доля Италии была увеличена.

Америка. Интересы Америки в репарационном вопросе незначительны, хотя она также получает около 100 млн. марок в год по плану Дауэса. Она резко выступает даже против мысли об аннулировании военных долгов ее должникам, не отказываясь, однако, уменьшить общий долг в зависимости от платежеспособности должника. Но, не будучи заинтересованной непосредственно в репарациях, заинтересованность Америки в их окончательном разрешении громадна, и без нее оно не может быть произведено. Платежи ее должников так тесно связаны с получаемыми ими от Германии репарациями и настолько от них зависят, что она не может допустить какого бы то ни было их разрешения без ее участия и не согласно с ее интересами. «Коммерциализация репараций», как мы уже выше указывали, предоставит громадное поле для наживы американскому финансовому капиталу, так как только на американском денежном рынке может быть реализован такой громадный заем, какой будет необходим для осуществления коммерциализации репараций. Этими сложными интересами американского финансового капитала и следует объяснить новгородный отчет главного репарационного агента Паркера Гильберта, в котором он так оптимистически оценивает состояние народного хозяйства Германии и ее платежеспособность.

То обстоятельство, что Паркер Гильберт, являвшийся в течение 4 лет другом Германии и заступником ее против Франции, сделался после выпуска его отчета чуть ли не национальным героем Франции и главным ее коронным свидетелем против доводов и статистических данных, приводимых германской делегацией на конференции в пользу германского требования уменьшения ежегодных взносов, говорит достаточно ясно вот о чем. Америка не допустит такого сокращения репараций, которое

бы невыгодно отразилось на стройной системе заключенных ею соглашений со своими должниками по военным долгам. Она поэтому берет в свои руки разрешение репарационного вопроса, чтобы главные выгоды от этого получил американский капитал. Беспокойная деятельность Паркера Гильберта в последние полгода это блестяще подтверждает. Национальным «героем» французской буржуазии он сделался потому, что его взгляды совпали со взглядами ее идеологов, и все они вместе ныне защищают одно общее дело. Хотя интересы Англии и Америки разнятся от интересов Франции, Бельгии и Италии, но у всех этих государств есть одно общее: все они единодушны в том, что Германия платить должна. Таким образом, последняя имеет перед собой единый фронт всех бывших главных союзников. Это, конечно, не означает, что между ними не будет разногласий по некоторым менее важным вопросам. С этой точки зрения важно уяснить себе следующий вопрос. В каком положении находятся союзные платежи, т. е. получают ли кредиторы Германии достаточно взносов для покрытия их собственных обязательств. Ниже помещаемая таблица дает ответ на поставленный вопрос.

Суммы, полученные от Германии за первые 4 года применения плана Дауэса (в млн. зол. марок или долларов ¹⁾):

	марки	доллары
Франция	2.668,8	667,2
Великобритания .	1.106,2	276,5
Италия	367,1	91,77
Бельгия	387,8	96,95
Соед. Штаты . . .	199,7	49,9
Остальн. страны .	303,0	75,7
Общие расходы .	435,9	108,9
Итого	5.470	1.367,5

Вышеприведенная таблица интересна сама по себе, но она недостаточна для правильного понимания противоречи-

¹⁾ L'Europe Nouvelle, 8 Decembre, 1928.

вых точек зрения, защищаемых с одинаковым усердием и Германией и ее противниками. Чтобы это понять и уяснить себе, вовсе не важно знать, сколько каждая из них получила от Германии по репарациям. Куда важнее

будет для нас узнать, хватает ли кредиторам Германии получаемых от нее платежей на покрытие междусоюзных обязательств? Нижепомещаемая таблица поможет нам разобраться в этом важном вопросе.

Сводная сумма уплоченных или полученных в качестве репараций или военных долгов до 1 сентября 1928 г. ¹⁾ (в млн. долларов):

	Получено от репараций	Платежи САСШ	Платежи Великобритания	Остаток
Франция	+ 529,5	— 92,5	87,4	+ 349,6
Великобритания	+ 275,3	— 904,0	+ 135,9	— 492,8
Бельгия	+ 536,8	— 11,5	—	+ 525,3
Италия	+ 186,9	— 15,0	— 48,5	+ 123,4

Эта таблица не отражает действительного положения вещей, особенно в части, касающейся Франции. Если последняя, как мы видели из предыдущей таблицы, получила только по плану Дауза 667,2 млрд. долларов, никак непонятно, как могла доля ее уменьшиться при подведении общего итога десятилетнего выколачивания из Германии десятков миллиардов в виде золота и разных поставок. Здесь мы имеем дело с несомненно весьма странной «статистикой». Нас она интересует не с этой точки зрения. При всей своей пристрастности, особенно в отношении Франции, и данные, содержащиеся в этой таблице, подтверждают неопровержимый факт, что Франция, Италия и Бельгия по сей день получили больше от Германии, чем сами выплатили Америке и Англии.

Только Англия выплатила больше, чем сама получила, и принуждена была покрыть пассивное сальдо из бюджетных средств.

Поскольку из предыдущего видна связь и взаимозависимость репараций от междусоюзных долгов, очень важно еще знать, выплачивают ли союзники своим кредиторам всю сумму довоенных долгов, как они требуют от Германии, а если нет, то какую долю они выплачивают Америке. Это нам даст возможность установить те пределы уступок, на которые Германия может рассчитывать и которые она в праве будет добиваться. Нижеприводимые данные характеризуют состояние военной задолженности союзников Америке и ту долю общего долга, которую они обязались выплатить в тысячах долларов.

Государства	а) Консолидированный долг	б) Общая сумма платежей	в) Какую часть общего долга каждая страна выплачивает Америке	г) Максимальная сумма ежегодных взносов
Англия	4.600.000	11.105.965,0	82%	187.250
Румыния	44.590	122.506,3	79%	2.249
Бельгия	417.780	727.830,5	54%	12.862
Италия	2.042.000	2.407.677,5	26%	80.988
Франция	4.025.000	6.847.674,1	50%	125.000
Югославия	62.850	95.177,6	32%	2.406

Эти данные о задолженности союзников правительству Соединенных Штатов Америки относятся к концу 1926 г. ²⁾ С того времени и Греция урегулировала свой военный долг

Америке, который исчисляется в 16.127 тысяч долларов, а ежегодные взносы с 1936 г. и по 1990 г. достигнут 350 тысяч долларов.

¹⁾ L'Europe Nouvelle, 8 Decembre, 1928.

²⁾ Johannes Friedrich, Das Internationale Shuidenproblem, 1928.

* * *

Из условий урегулирования военных долгов Америке видно, что Бельгия, Франция, Италия и Югославия, получающие вместо 74 проц. всех репарационных платежей, сами выплачивают: Бельгия—54 проц., Франция—50 проц., Италия—26 проц. и Югославия—32 проц. своего общего долга.

Мы сознательно избегали касаться всевозможных проектов урегулирования репарационного вопроса, так как мы себе поставили иную цель. Настоящей статьёй мы не стремимся предсказать то или иное решение по репарационному вопросу. Ее цель состоит в раскрытии тех противоречивых интересов, которые сталкивают империалистов в данном вопросе и объяснении тех трудностей, которые стоят на пути его удовлетворительного разрешения. Всестороннее знакомство с вопросами, неразрывно связанными с репарациями, как вопросы междусоюзнических долгов, иностранных кредитов Германии, состояния ее платежного баланса, как и знакомство с предъявляемыми особыми требованиями каждой из стран-кредиторов Германии уже сами дают определенное представление о том, в каком направлении репарационная проблема может быть разрешена.

Для еще большей ясности надо еще учесть следующее важное обстоятельство. Когда 5 лет тому назад собралась комиссия Дауэса для составления плана временного урегулирования репарационного вопроса, хозяйственное и политическое положение Германии было крайне тяжелым. Страны Антанты не получали от Германии в течение почти двух лет ни гроша, германская рентная марка не была обеспечена, французская, бельгийская и итальянская валюты катастрофически падали, а французские и бельгийские войска находились в Руре. Все страны-кредиторы Германии были заинтересованы в получении от нее хотя чего-нибудь для уплаты процентов по своим долгам, что их заставляло идти на известные уступки. Англия и Америка в свою очередь оказывали давление на Францию и Бельгию, чтобы за-

ставить их уйти из Рура. При совершенно иной обстановке заседала Парижская конференция в 1929 г. Французская, бельгийская и итальянская валюты стабилизированы, и ничто не угрожает их устойчивости. Франция опять заняла видное место в финансовом мире. Ни одна международная финансовая сделка сейчас уже не совершается без участия парижской биржи. Все внутренние долги этих стран консолидированы, бюджеты приведены в равновесие, а внешние долги урегулированы. А самое важное — это то, что план Дауэса в течение четырех лет исправно функционирует, и все кредиторы получают по нему больше, чем они сами выплачивают Америке. Хозяйственное положение Германии не позволяет заключить, что могут наступить перебои в поступлении платежей по репарациям. А такое положение не обязывает кредиторов к уступкам Германии.

Возобновление англо-французского союза, уплата Францией процентов по военным долгам Англии и Америке, хотя она соглашения Мелона-Беранже не ратифицировала, исключает сейчас политическое давление этих стран на Францию в смысле уступок. Все страны-кредиторы, как мы видели из предыдущего, связаны общим интересом, который состоит в том, чтобы выколотить из Германии как можно больше денег. Это ухудшает положение Германии и ослабляет ее позицию и усиливает ее изолированность. Вместо того, чтобы согласиться на значительное уменьшение репарационных платежей, что за собой повлечет и эвакуацию Рейнских областей, — Франция и Бельгия предпочтут остаться при нынешнем положении вещей, оставив в своих руках до 1935 г. такой великолепный инструмент понуждения, как оккупационная армия на Рейне.

Но не надо также забывать и того, что преувеличенные требования кредиторов Германии натываются на серьезные объективные препятствия. Мы уже выше указывали, что большие репарационные платежи заставляют Германию форсировать свой экспорт и

расплачиваться со своими кредиторами товарами. Так, например, за 4 года платежей по плану Дауэса больше половины было выплачено товарами. Но доля товаров неизменно падает. С 70 проц. в 1924—25 г. она упала до 46 проц. в 1927—28 г. Стремления кредиторов Германии сводятся к тому, чтобы сократить до минимума выплаты товарами ¹⁾. В этом заколдованном кругу и принуждены будут биться делегаты конференции Юнга.

Из обильного статистического материала, представленного германской делегацией конференции экспертов, далее видно, что для того, чтобы Германия могла бесперебойно и впредь выплачивать 2.500 млн. марок ежегодно не за счет займов, а за счет дохода, ей необходимо увеличить экспорт на

8 млрд. марок. Эта сумма нужна для покрытия пассивного платежного баланса, который вместе с уплатой 1 млрд. марок процентов по частным иностранным займам достигает ежегодно в среднем 4—4½ млрд. марок. Для увеличения же экспорта на 8 млрд. потребуется увеличение импорта сырья на 4 млрд. марок.

К какому бы решению ни пришла конференция банкиров в Париже, оно не устранил противоречий империалистических хищников. Никакие решения банкиров их устранить не могут. Ремонтный узел не может быть удовлетворительно разрешен, его можно только разрубить. Эта необходимая операция будет произведена не банкирами и не в золоченых залах отеля Георга V.

¹⁾ Поставка Германией в счет репарационных платежей угля Франции и Италии и торговых судов всем остальным кредиторам

усиливает угольный кризис в Англии и вызвала кризис в судостроительной промышленности Англии и Италии.

Грибоедов-мастер¹⁾

Н. К. Пиксанов

I

Когда «Горе от ума» впервые стало доступно для чтения (сначала в рукописях, потом в первопечатном—неполном—тексте 1825 г.), высокие достоинства языка и стиха пленяли современников. А. А. Бестужев с восторгом отметил «ум и остроумие в речах, невиданную доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах». Его поддерживал Н. И. Греч: «Грибоедов именно тем, в отношении к слогу, и заслуживает внимание и хвалу, что умел переложить в непринужденные рифмы язык разговорный». Орест Сомов подчеркивал, что Грибоедов «соблюдал в стихах всю живость языка разговорного, самые рифмы у него нравятся своею новостью и в чтении заставляют забывать однозвучие ямбического метра и однообразие стихов рифмованных». В. Ф. Одоевский писал: «До Грибоедова слог наших комедий был слепком слога французских, натянутые, выглаженные фразы, заключенные в шестистопных стихах, приправленные именами Милонов и Милен, заставляли почитать даже оригинальные комедии переводными, непринужденность была согнана с комической сцены; у одного г-на Грибоедо-

ва мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский». В мае 1825 года Одоевский уже утверждал: «Мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из «Горя от ума». Таким образом, уже тогда осуществлялось предсказание Пушкина, сделанное в январе того же 1825 года: «О стихах я не говорю: половина должна войти в пословицу».

Однако, поклонники комедии не смогли тогда дать подробную характеристику стиля «Горя от ума». Они ограничились только ссылками на живость разговорной речи, смелые новые рифмы, народный «русский колорит», пословичность. И позднее ни Белинский, ни Гончаров, никто другой не дали стилистической характеристики пьесы.

По окончательному тексту в «Горе от ума» 2221 стих. Сюда уместилось, в круглой цифре, до 13.200 слов (без ремарок и описаний сцены). Одни и те же слова повторяются иногда много раз (напр., наречие как около 140 раз). За вычетом таких повторений получаем объем словаря в круглой цифре 3.300 слов. Слов иностранных, жарваризмов, насчитывается свыше 250. Таким образом, чисто русских слов в «Горе от ума» больше трех тысяч.

Таковы эти скромные цифры. Они обусловлены самим компактным типом произведения: комедия в стихах, две

¹⁾ Статья представляет описание главных приемов и особенностей художественного мастерства Грибоедова. Социология его комедии определяется в моей книге «Творческая история «Горя от ума» (М., 1929) и во вступительной статье к тексту «Горя от ума» в серии «Русские и мировые классики» (издание третье, М., 1929).

с небольшим тысячами коротеньких строчек. Любой роман, даже повесть, даст более обильный словарный материал. Тем замечательнее, с каким мастерством отобраны эти 3.300 слов из всего колоссального словаря русского языка.

Современников Грибоедова поражала прежде всего «живость языка разговорного», «совершенно такого, каким у нас говорят в обществах». Действительно, количество слов и оборотов разговорной речи огромно в «Горе от ума».

Среди них особую группу образуют так называемые идиотизмы, своеобразия, присущие только данному языку. Для переводчиков эта особенность слога комедии представляет огромные трудности, но она придает языку особую оригинальность и яркость: «с рук сойдет», «в полмя из огня», «сон в руку», «как пить дадут», «путем бы взяться», «прах его возьми», «ни дать, ни взять».

Характерны случаи своеобразной семантики: об'яви — Расскажи; схоронить — скрыть; тьму отличий, тьма кусников; дались им эти языки, дался им голос мой; зачем пожаловал — зачем явился; больно — очень; весть — анекдот; должник — кредитор. Близка сюда та группа слов и выражений, где сказался «колорит русский», народный: авось, вишь, ужли, испужал, вдругорядь, толкнуться.

Есть в языке комедии формально-грамматические неправильности, незаконные, однако, живой речи: Степаныч, Михалыч, Сергеич, фармазон. Есть специфические особенности старомосковской речи: князь-Григорию, князь-Петра, князя Пётра Ильича, с горнишной.

Все такие особенности дают языку «Горя от ума» яркие краски, своеобразие, характеристичность. Речь в «Горе от ума» так отличается от обесцвеченного литературного языка в современных Грибоедову драматических произведениях, что здесь явна преднамеренность Грибоедова в подборе слов и речений. Величайшую заслугу поэта перед русской литературой составляет это освобождение от книжных тради-

ций и обращение к источникам живой речи. Какое сопоставление пришлось ему при этом преодолевать, покажет маленькая справка. Когда в 1825 году в печати появились первый и третий акты «Горя от ума», тогдашние журнальные зоилы и аристархи находили, что в комедии будто бы «дерут уши» такие выражения, как: черномазенький, нету дела, слыли за дураков, опротивит,—т. е. именно те, которые придают языку комедии такую оригинальность и характеристичность.

Но достоинство языка «Горя от ума» возрастает еще от того, что его характеристичность индивидуализирована применительно к отдельным персонажам.

В этом отношении показательна речь Скалозуба. Она лапидарна и категорична, избегает сложных построений, складывается из коротеньких фраз, отрывочных слов. У Скалозуба все служба на уме, речь его пересыпана специально-военными словечками и фразами: «дистанции», «в шеренгу», «погоны, выпушки, петлички», «засели мы в траншею», «фальшивая тревога», «ирритация», «фельдфебеля в Вольтерры». Скалозуб решителен, груб: «жалкий же ездок», «как треснулся он, грудью или в бок», «учить по-нашему: раз, два!», «ученостью меня не обморочишь», «пикните, так мигом успокоит».

Совсем иная речь Молчалина. Он набегает грубых или простонародных выражений, он тоже немногословен, но совсем по другим причинам: не смеет своего суждения произнести; он уснащает речь почтительным словом **с**: «я-с», «с бумагами-с», «попрежнему-с», «нет-с», выбирает деликатные, жеманные выражения и обороты: «я вам советовать не смею», «я вас перепугал, простите ради бога», «не повредила бы нам откровенность эта», «простите; впрочем, тут не вижу преступленья», «да это, полно, та ли-с», «мне так довелось с приятностью прочесть».

Кратки речи Загорецкого, но тоже своеобразны по манере. Он говорит коротко, но не так веско, как Скалозуб, и не так почтительно, как Молчалин, говорит быстро, стремительно, «с жаром»:

«Оригинал! брюзглив, а без малейшей злобы», «который Чацкий тут?—Известная фамилья», «Вы слышали об нем?—Об ком?—Об Чацком», «так я вас поздравляю, он сумасшедший.—Что? — Да, он сошел с ума», — наконец, знаменитое: «Нет-с, бочками сороковыми».

Замечательно выдержан стиль речей Хлэстовой. Кажется, из всех персонажей комедии тетка Софьи Павловны говорит самым выдержанным, самым красочным языком. Здесь в с характерно, все глубоко правдиво, слово здесь является тончайшим покровом, отображающим все линии мысли и эмоции; ни формальные требования стиха, ни условности литературного стиля не властны над речью Хлэстовой. Ни разу здесь не прозвучит фальшь, не почувствуется искусственность, не появится напряженная борьба автора с трудностями языка, ритма, рифмы. Чтобы исчерпать характерности языка Хлэстовой, не нужно отбирать все удачное, следует просто выписать целиком ее роль. Стиль речей большой московской барыни, умной и бывалой, но примитивной по культуре, плохо, как в темном лесу, разбигающейся «в пансионах, школах, лицеях», может быть, даже полуграмотной, матери-командирши в богатых барских гостиных, но близкой по всем крепостным отношениям и к русской деревне,—этот стиль теперь сохранен в «Горе от ума» для истории как эпиграфические отрывки на античных мраморах. «Час битый ехала с Покровки, силы нет», «ночь—света преставление», «от ужина сопли подачку», «все кошечьи ухватки», «чорт сущий», «чай, в карты сплутовал», «я за уши его дирала», «чай, пил не по летам», «Москва, вишь, виновата», «Мсл-чалиц, вон чуланчик твой», «а ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось», «пропайте, батюшка, пора перебеситься». Речь ее бесцеремонна, грубовата, но метка, полна отголосков простонародности.

Перед этой строгой выдержанностью, рельефностью меркнет стиль речей Фамусова, близких по типу к речам Хлэстовой. И здесь много простонародных и старомосковских элементов (напр., «страмница»), слово и здесь не скры-

вает и не давит психологического содержания. Роль Фамусова обширнее роли Хлэстовой; Фамусов попадает в самые разнообразные сценические ситуации, и это позволяет поэту обогащать его речь разнообразными оттенками. Фамусов с Молчалиным, Лизой, дочерью бесцеремонен, не стесняется в выражениях, с Филькой он просто барски груб, в спорах с Чацким его речь полна стремительных, горячих фраз, отображающих живой темперамент, в беседе с Скалозубом она льстива, дипломатична, даже рассчитанно сентиментальна. Превосходен последний монолог Фамусова, где язык одинаково воссоздает все черты правдивой, подлинно живой речи и вместе с тем всю игру темперамента в максимальном напряжении. Но Фамусову поручены некоторые резонерские обязанности, и в таких случаях он начинает говорить чужим языком, — как Чацкий: «вечные французы, откуда моды к нам и авторы и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас творец», и т. д.

Здесь мы переходим к характеристике речи двух главных героев пьесы, Чацкого и Софьи. В этой речи тоже имеется своеобразие, только совсем иное. Вся грибоедовская Москва говорит бытовым стилем, характерным московским наречием, как оно сложилось к двадцатым годам XIX века. В одной бытовой стихии здесь сливаются люди разных положений, и порой бывает трудно отличить речь барыни от горничной. Эта речь изобилует реалиями, она элементарна, образна, как бы материальна, никнет к повседневности. Круг предметов, явлений, действий, чувств, мыслей, ею передаваемых, узок, и речь проста, ясна, по-своему точна и определительна. Поэт сам прекрасно владеет живой московской речью, он, как и Гончаров, духовно слышит, как говорит между собой его персонажи; они были четки, беспорны в его творческой фантазии, и бытовой стиль в «Горе от ума» оказался великолепным, почти безупречным.

Совсем другие проблемы должна была разрешать речь Чацкого и Софьи. Их речь далека от типа речей остальных действующих лиц. Речь Чацкого и

Софьи должны выразить сложную гамму чувств, испытываемых героями сценической борьбы и чуждых остальным: любовь, ревность, душевную боль, мстительность, иронию, сарказм и т. д. В монологах Чацкого велик элемент обличительных, общественных мотивов, в речах Софьи—больше личного, интимного.

Как обособляется словарь, синтаксис, вся фразеология их—в сравнении с остальными—легко проследить по речам Софьи: «прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным», «враг дерзости, всегда застенчиво, несмело», «из глубины души вздохнет», «не можете вы сделать мне упрека», «убийственные холодностью своею», «к несчастью ближнего вы так неравнодушны», «откуда скрытность почерпнуть», «выдержать притворства не сумею», «я живо в нем участие приняла», «упреков, жалоб, слез моих не смейте ожидать, не стоите вы их», «меньше дерзости, чем кривизны души». В языке Софьи, как видим, проступают всего явственнее элементы психологические, этические. От материального и конкретного речь ее постоянно поднимается к отвлеченному, обобщенному. В речах ее много афористического: «счастливые часов не наблюдают», «подумаешь, как счастье свое нравно», «судьба нас будто берегла», «а горе ждет из-за угла».

Того же типа и речь Чацкого: «вы расцвели прелестно, неподражаемо», «превращенья правлений, климатов и нравов и умов», «господствует смешенье языков», «не сломил безмолвия печати», «когда всё мягко таж и нежно и незрело», «вот полчаса холодности терплю! Лицо святейшей богомолки!», «прямой был век покорности и страха», «его не возмутим мы праха», «прошедшего житья подлейшие черты», «и честь и жизнь его не раз спасали», «ум, алчущий познаний», «жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным», «слабодушие, рассудка ницета», «та страсть? то чувство? пылкость та?», «чтоб сердца каждое биенье любовью ускорялось к вам?», «согреют, оживят, мне отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно», «с такими чув-

ствами, с такой душой любим», «огонь, румянец, смех, игра во всех чертах», «смели предпочесть оригиналы спискам», «нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражания», «от жадной тошноты по стороне чужой», «и нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду», «воскреснем ли когда от чужевластья мод?», «где прелесть эта встреч? участие в ком живое?», «что хуже в них — душа или язык?».

Итак, в стиле речей Софьи и Чацкого мы встречаем много отличий от языка остальных персонажей. Здесь свой особый словарь: участие, кривизна, колкости, гений - genie, чужевластье, пылкость воссылал, уничтоженье;—своей строй эпитетов: взыскательный, своенравный, прелестный, неподражаемый, подлейший, алчущий, творческий, рабский, величавый; свой синтаксис—с развитыми формами предложения простого и сложного, с тяготением к периодическому построению. Здесь несомненно стремление художника выделить героев не только в образности или идейности, но и по языку, совсем иному, чем бытовой язык других персонажей.

В этом стремлении Грибоедов достиг блестящих результатов. Богатый подбор эпитетов, обилие инверсий, систематическое применение градаций, мерный, торжественный строй речи, гармоничность архитектоники придадут музыкальную завершенность монологам Чацкого.

II

Когда мы вновь и вновь слышим или читаем стихи Грибоедова, мы бессознательно поддаемся их очарованию, но уже плохо учитываем, каких усилий стоило поэту достичь такого совершенства. Изучение творческой истории комедии раскрывает, однако, те борения, какими куплены достоинства стиха и языка пьесы.

Стих, знаменитый грибоедовский стих, давался поэту с большим трудом. Его ранние пьесы, лирические и драматические, написаны тяжелейшими стихами. В сравнении с ними перво-

начальный текст «Горя от ума» представляет уже огромное восхождение. Но и внутри разновременных редакций комедии мы наблюдаем неуклонную борьбу Грибоедова с несовершенствами.

Так, он боролся с неправильными ударениями. В раннем тексте стояло: «не встречал ли где вас в почтовѣй карете»; небольшая переработкой неправильность была устранена: «не повстречал ли где в почтовой вас карете». В раннем тексте про Чацкого говорилось, что он пил «ведрами, да-с, ведрами». Грибоедов устранил эту неудачную фразу, и появился знаменитый стих: «Нет-с, бочками сороковыми». Впрочем, кое-что ускользнуло от бдительности автора: «резѣда и жасмин», «судьѣ всему, вездѣ», «опрѣмьтѣю».

Путем разнообразных кропотливых переработок стих достигал, наконец, той точности, яркости, энергии, музыкальности, какие теперь неотделимы от него и какие так привычны для нас. Теперь стих так естественен, что порой просто не ощущается, между тем, как этим стихом изложены самые прозаические, реалистические, бытовые эпизоды.

Вот, напр., Лиза спускается ночью по лестнице в сени, чтобы позвать Молчалина к барышне:

Ах! мочи нет, робею:
В пустые сени! В ночь! боишься домовых,
Боишься и людей живых...
Мучительница-барышня, бог с нею.
И Чацкий как бельмо в глазу... и т. д.

Или вот разговор двух сплетников: «С ума сошел! Ей кажется, вот на! Не даром, стало быть... с чего б взяла она! Ты слышал?—Что?—Об Чацком?—Что такое?—С ума сошел!—Пустое.—Не я сказал, другие говорят.—А ты расславить это рад?—Пойду осведомлюсь, чай, кто-нибудь да знает».—Едва ли самый строгий реалист-прозаик мог бы изложить этот беглый диалог иначе: так он прост, непринужден, правдив в своем разговорном языке. Между тем, это ведь стихи, подчиненные принудительным требованиям ритма и рифмы.

Проследим чеканку этих стихов в смене трех последовательных редакций комедии.

В раннем тексте Софья жаловалась Лизе:

Предвижу я, достанется терпеть!
Мне не страшна людская слава,
Да как теперь успеть
Укрыть себя от батюшкина права?

Неудачное употребление слова «слава» в значении «молва», неловкое выражение «успеть укрыть себя от права» (т. е. гнева) и общая тяжеловесность этих четырех стихов заставили Грибоедова дать их переработку, и в позднейшем тексте появились два легких стиха:

Что мне молва? Кто хочет, так и судит,
Да батюшка задуматься принудит.

В раннем тексте Софья говорит Чацкому:

Как не смутиться мне? От вас нет оборон,
Вы обзираете меня со всех сторон.

Еще в посредствующем тексте эта невозможная фраза испытала некоторое улучшение: «Обозреваете меня со всех сторон». Но и этот вариант был неудовлетворителен. В окончательном тексте уже читаем:

Да хоть кого смутят
Вопросы быстрые и любопытный взгляд.

Так была достигнута и большая чистота и большая образность фразы.

Вместо вычурных слов Софьи в ранней редакции: «Когда пора была безвреднейшим забавам» в окончательном тексте стоит уже изящная фраза Чацкого: «Когда всё мягко так и нежно, и незрело». Любопытны настойчивые переделки одного стиха. В ранней редакции: «Ничтожность, пустоту, пороки, глупость их»; в посредствующем тексте: «Ничтожность, шалости, пороки, пустоту»; в окончательном: «Их слабодушие, рассудка нищету».

Таких двойных и тройных переработок отдельных стихов и их групп немало в истории текста комедии.

В монологе Чацкого о французике из Бордо описание фрка испытало несколько трансформаций. В ранней редакции оно изложено так:

Хвост сзади, спереди какой-то чудный
выем!
Короткополые наперекор стихиям,
Рассудку смех, и не краса лицу.

В посредствующем тексте—переработка:

Хвост сзади, спереди какой-то выем
чудный,

Лишь только в пору нам, чтоб кашель
дать простудный,

Движенья связаны, и не краса лицу.

В окончательном тексте длинная, неуклюжая фраза о простудном кашле заменена стихом, который стал пословичным: «Рассудку вопреки, наперекор стихиям».

Приведу еще несколько примеров сорбы Грибоедова с неправильностями языка, тяжеловесностью фразы.

В раннем тексте: «Дай грудь ей распущу вольнее»; неуклюжая фраза заменена другой, более правильной и образной: «Шнуровку отпусти вольнее»; Чацкий таким образом, как и естественно, передавал Лизе эту деликатную операцию.

В раннем тексте Чацкий говорит о том, чтобы господа

... воздержал нас крепкою вожжой
От слез и тошноты по стороне чужой.

Фальшивый образ «господь... вожжой» подлежал устранению, и в окончательном тексте стоят известные стихи:

Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражания.

В раннем тексте Чацкий говорит:

... Ужь коли горе пить,
Так лучше с одного присеста.

Выражение «с одного присеста» грубовато для такого патетического момента, и в окончательном тексте оно удачно заменено: «так лучше сразу».

Не всегда настойчивые переработки приводили к блестящему результату; иногда шероховатости оставались заметны и в окончательном тексте. В первоначальной редакции Чацкий говорил: «Попрежнему пушусь слоняться в свет»; «слоняться в свет» было нестерпимо, и в окончательной редакции Музейного автографа заменено: «попрежнему пушусь во все края глядеть»; синтаксический строй фразы остался таким же искусственным, но Грибоедов не сумел освободиться от навязчивого оборота, и в Жандровской рукописи читаем: «Пушусь подалее простыть, охолодеть».

В раннем тексте Чацкий восклицает:

Нет, нет, к горячке я, конечно, подготовлен.

Эта странная, искусственная фраза ранней редакции оставалась неисправленной и в посредствующем тексте. Только в Жандровской рукописи Грибоедов заменил ее другой, более естественной:

К необычайности я точно приготовлен.

Но и этот стих не свободен от искусственности. Зато в других случаях путем переработки бледные, отвлеченные фразы заменились образными, красочными. В раннем тексте было: «Пожалуй на меня вину еще всю сложит»; отвлеченное слово «вина» в Жандровской рукописи заменено: «всю суматоху», и новое образное слово живо воссоздает всю предыдущую сцену. В раннем тексте Фамусов жалуется: «И без того уж многим озабочен»; эта отвлеченная фраза позже заменена образной, характеристической: «Нет отдыху, мечусь как словно угорелый». В раннем тексте в реплике Чацкого имеется вялая, нескладная фраза: «Не в этом подлежит Молчалин укоризне»; уже в посредствующем тексте она заменена горячими, порывистыми, характерными для Чацкого словами: «Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый».

Если Грибоедов часто стремился заменять отвлеченные фразы образными, то бывали случаи, когда он мудро отказывался от обилия, излишества красок. Из позднейшего текста устранено, напр., ненужное для схемы сна Софьи перечисление цветов, имевшееся в раннем тексте: «в ирисах, в бархатцах, в левкоях и сирени».

Не всегда переработки текста вели к его улучшению. Вот несколько примеров, подтверждающих это положение. Знаменитый стих: «На всех московских есть особый отпечаток» в первоначальном тексте звучал гораздо выразительнее:

На москвичах особый отпечаток.

Но в том же Музейном автографе, по непонятным причинам, Грибоедов придал афоризму общеизвестную, растянутую форму.

В раннем тексте Фамусов говорит Скалозубу:

А я так дорожу родством,
Сыщу его на дне морском.

В посредствующем тексте: «Нет! я перед родней, где встретится, ползком», и этот неуклюжий, фальшивый образ ползающего перед родней Фамусова остался в окончательном тексте.

Однако, эти промахи с избытком покрываются тем большим приростом достоинств языка, стиха и слога, который получился в результате огромного количества переработок.

Устранялись неправильность и искусственность ритма и рифмы, отбрасывались неудачные слова и речения, отвлеченные и бледные фразы заменялись образными и красочными, изгонялись излишества и длинноты. Если охватить эти разнообразие и дробные переработки общей характеристикой, то следует сказать, что слог комедии эволюционировал от условностей книжной речи к живому, разговорному и народному языку и от неясности, недоговоренности—к точности, определенности. В процессе переработок слово все послушнее и ближе начинало выражать мысль, а вместе с тем обогащалась красочность и образность речи, стройность и содержательность текста.

III

Переработкам подвергались не только отдельные фразы или реплики, но и целые монологи, и диалоги, и сцены. Но недостатку места не могу привести примеров наиболее сложных переработок. Возьму только один случай: рассказ Софьи Скалозубу и Чацкому о падении с лошади. В первоначальном тексте Музейного автографа он изложен в такой редакции:

Вам странность об себе скажу,
По дням и по часам, по прихоти я словно,
То с страхом вижу всё, то слишком
хладнокровно.

Сама не берегусь верхом,
Окачу, лечу, мой конь с огнем,
Раз в сторону ударился с разбегу,
Долой я под гору, по снегу,

Не охнула, привсталала и опять
На нем отважилась скакать;
В другой же раз во мне души нет,
Кого-нибудь как лошадь скинет,
И не случится ничего,
Готова я бежать из дому.

Здесь энергично намечены несколько черт. Во-первых, «странность» в нервном характере Софьи: «то с страхом вижу всё, то слишком хладнокровно». Во-вторых, смелость в верховой езде: «сама не берегусь верхом, скачу, лечу, мой конь с огнем».

Затем падение с лошади под гору—бытовая картинка из тех времен, когда в Москве, при ужасном состоянии улиц весной и осенью, достаточные люди предпочитали ездить не в экипажах, а верхом, когда и у Молчалина в распоряжении была верховая лошадь, когда и на службу ездили верхом, как потом стали ездить на велосипедах. Наконец, рассчитанное и правдоподобное, хотя и замаскированное объяснение обморока: «В другой же раз во мне души нет... Готова я бежать из дому».

Следует признать, что этот этого монолога сделан удачно: он выразителен, красочен, психологически хорошо наполнен и стройно логизирован. Но стилистическая форма не удалась и вызвала неудовольствие поэта. Ощутимы значительные шероховатости: «по дням и по часам, по прихоти я словно», и т. д.; «сама не берегусь верхом», «души нет—скинет»,—вся конструкция тирады архаична. Затем, весь рассказ с грубоватыми подробностями падения («долой я под гору», «не охнула»), с оттенком ухарства и похвальбы—как-то мало подходил к выдержанному светскому тону Софьи.

Поэтому в той же рукописи Грибоедов произвел целый ряд переработок: кое-что зачеркнул, другое вставил, третье переделал. В результате получилась вторая редакция монолога:

Я просто вам скажу,
За самое себя не трушу, лошадь скинет,
Убьюсь ли: раз со мной и было, я опять
Потом отважилась скакать.
Но за других во мне души нет,
Из ничего,
И приключится что хоть вовсе мне чужому.

Здесь монолог сильно сокращен: вместо 13 прежних стихов в нем те-

перь всего семь. Исчезла общая психологическая черта — перебоев страха и хладнокровия. Картина падения с лошади: «с разбегу, долой под гору, по снегу» выцвела, и от нее осталось отвлеченное: «раз со мной и было». Хорошим приобретением новой редакции было замаскированное отречение от Молчалина: «И приключится что хоть в все мне чужом у».

Но ломающийся ритм тирады, общее несовершенство композиции, наконец, явная недостроенность последних трех стихов — возбуждали то же чувство неудовлетворенности.

Тогда возникла третья редакция. Ее предлагают нам варианты списка Завилейского:

Не трушу за себя: карета ли зацепит—
Подымут, — и опять
Готова сызнава скакать,
Но за других ребячий страх и трепет!

Сама в себе новая, третья редакция вполне закончена. Она сильно отличается от первых двух. Сохранилось, собственно, только настойчивое рифмование: опять — скакать. Во всем остальном — сильные переработки. Заменен центральный образ: вместо верховой лошади уже карета, которую «подымут» люди, если она «зацепит», и рассказываемый эпизод приобрел большую тонность. Намек на Молчалина снова смягчен, а стих выиграл в характерной для Грибоедова ямбической стремительности:

Но за других ребячий страх и трепет!

Вообще, новая редакция музыкальнее, стройнее предыдущей, хотя и беднее содержанием.

Все же и она не понравилась автору. Замечено было бытовое неправдоподобие: если карета зацепит, она останавливается, а не падает.

Отсюда возникла потребность в новой, четвертой переработке. Она предложена в посредствующей редакции:

Однако о себе скажу,
Что не труслива. Так бывает,
Карета свалится, подымут: и опять
Готова сызнава скакать.
Но всё малейшее в других меня пугает,
Хоть нет великого несчастья от того,
Хоть незнакомый мне, до этого нет дела.

Рифмованье: дрожу — скажу восстановлено. Карета уже не зацепит, а «свалится». Восстановлена черта нервности: «Но всё малейшее в других меня пугает», и т. д. Наконец, восстановлен и намек на Молчалина — в новой формулировке: «Хоть незнакомый мне, до этого нет дела».

На четвертой переработке Грибоедов успокоился.

Если последнюю редакцию сопоставить с первоначальной, то преимущества стилистической чеканки будут за последней. Но выразительность, красочность, энергия остаются за первой формулировкой.

Результатнее была переработка знаменитого последнего монолога Чацкого — в финале четвертого действия.

Этот монолог взял от автора, кажется, наибольшую долю усилий сравнительно с другими подобными частями комедийного текста. Он нам известен в трех последовательных редакциях. В музейной редакции в монологе 40 стихов; из них только 16 вошло в окончательный текст без изменений, остальные 24 были или изъятые или переработаны; в окончательном тексте уже 60 стихов, стало быть, 20 новых, не имевшихся в раннем тексте и созданных в процессе переработок трех дальнейших редакций; вместе с переработанными раньше 24-мя это дает цифру 44. «Посредствующая» редакция, заключающая в себе 52 стиха, содержит 13 стихов, отредактированных иначе, чем в Музейном автографе, и в окончательном тексте Жандровской рукописи имеется еще 6 новых переработок. Так что всего переработок насчитывается 63 — на шестьдесят стихов в окончательной редакции. Эта справка красноречиво говорит за то, сколько труда и увлечения вложил поэт в разработку финального монолога.

Двойными, тройными переработками испещрено большинство слагающих монолог стихов. Настойчиво изменялись слова, фразы, периоды, и речь приобретала все больший стилистический блеск и музыкальное достоинство. Но этим формальным совершенствованием не исчерпывается эволюция монолога. Анализ обнаруживает, что монолог пе-

перерабатывался и обогащался также и в своей образности, композиции, лиризме и идейности. Однако, ни один из таких элементов не получил исключительного развития, не обособился от остального текста, не вышел из подчинения общему заданию—эстетической гармонии, музыкального единства.

Чтобы закончить характеристику стилистических переработок, какими поэт-мастер приводил к совершенству текст комедии, дам несколько цифровых подсчетов.

В ранней редакции, Музейной, на 2.169 стихов дано 220 переработок. В посредствующей редакции их несравненно больше—520; поэт в этом среднем тексте произвел максимальные перестройки. На долю окончательной редакции осталось немного неисправностей, и число переработок резко упало: их всего 97. В общей же сумме число переработок на 2.221 стих окончательного текста приближается к огромной цифре—900.

Следует, впрочем, оговориться, что не все переработки относятся к стилю в узком смысле, т. е. к слогу, к языку и стиху. Кое-что, как это особенно заметно на обработке монологов, имело композиционное задание. Многие же переработки относятся к прояснению образов, персонажей комедии.

IV

Если прославился грибоедовский стих, то не менее знамениты грибоедовские образы-типы. Любимым героем многих поколений юношества (и в его составе—и юноши Добролюбова) был Чацкий. Наричательное значение получили имена Скалозуба, Молчалина, Фамусова. Все же в совокупности бытовые образы «Горя от ума» образовали яркую картину старо-московской барской жизни, которая навсегда определилась в наименовании «грибоедовской Москвы».

Как велик состав этих образов в «Горе от ума»? Сам Грибоедов насчитывал двадцать шесть действующих лиц (в письме к П. А. Катенину 1825 года: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека»).

Так оно и будет, если считать шесть княжон Тугоуховских и выкинуть трех слуг с короткими репликами. Но кроме этих, в узком, точном смысле «действующих» лиц, в «Горе от ума» есть еще вереница образов, воссоздаваемых в беседах и монологах; без них не закончена была бы картина грибоедовской Москвы, не полон был бы идейный смысл пьесы, даже сценический состав ее не был бы так прочно цементирован.

Таковы: мадам Розье, ментор-губернатор, танцмейстер Гильоме, дядюшка Софьи, отпрыгавший свой век, тетушка Софьи, у которой сбежал француз, тетушка Минерва, Максим Петрович и Кузьма Петрович, брат Скалозуба, московские «наши старички» и «наши дамы», «юноши—сынки и внуки», дочери-патриотки, богач-грабитель, Нестор негодяев знатных, крепостник-театрал (или даже два), «турок или грек», побродяги-учителя, трое из бульварных лиц, чахоточный «книгам-враг», княгиня Ласова, Праксавья Федоровна, вдова-докторша, Татьяна Юрьевна, ее муж, Фома Фомич, хилый старик-домосед (у которого Загорецкий отбивает билет в театр), химик-ботаник князь Федор, вечные французы с Кузнецкого моста, французик из Бордо, две княжны-сестрицы, убежденные, что лучше Франции нет в мире края, мосье Кок, князь Григорий, Воркулов Евдоким, Левон и Борянька, Удушьев Ипполит Маркелыч, Лохмотьев Алексей, «ночной разбойник», вернувшийся алеутом, барон Фон-Клоц, жена Фамусова, наконец, княгиня Марья Алексеевна, «Дрянские, Хворовы, Варляньские, Скачковы», «певец зимой погоды летней», арапка-девка — всего свыше сорока пяти лиц.

Для многих, вероятно, покажется неожиданным такой длинный перечень этих мимолетных образов, и в литературе о «Горе от ума» он никогда не устанавливался. Между тем, его следует принять к учету в общей сумме художественных впечатлений от пьесы. Яркий эффект живописной насыщенности создается не только образами крупными представителями грибо-

едовской Москвы, но и всей этой об-разной массой. Иные из этих образов разработаны великолепно и своею значительностью превышают некоторых из «действующих», напр., Максим Петрович, Татьяна Юрьевна, крепостник-театрал; значительна, как символ, и княгиня Марья Алексевна, хотя о ней автор обмолвился одним только стихом.

Следует особо отметить этот прием драматургического мастерства. Грибоедов не загромождает сценарий такими образами, они не бременят интригу пьесы. Мастерским приемом реплик и беглых упоминаний в диалогах драматург легко вычерчивает один за другим эти мимолетные образы и насыщает ими наше сознание.

В этом приеме русский комедиограф сближается с классическим французским, с Мольером. Так в «Мизантропе», в беседе гостей Селимены об отсутствующих знакомых, мелькают образы невоспитанного Клеонта, болтуна Дамона, секретничавшего Тиманта, чванного хвастуна Адраста, глупого гастронома Клеона, претенциозного остряка Дамиса. Следует только отметить, что у Грибоедова этот прием применен гораздо шире, проведен через всю пьесу и необычайно обогатил портретную галерею грибоедовской Москвы.

Замечательна зрелость и энергия, с какой были отобраны и изваяны образы грибоедовской Москвы. Подлинная, историческая барская Москва, конечно, доставляла наблюдению и отбору огромный материал. Поэт, естественно, мог колебаться, выбирать и отвергать и опять возвращаться к прежнему выбору. Но Грибоедов почти не знал колебаний. Его художнический взор быстро наметил натуру, а твердая рука уверенно изваяла пластически ощутимые образы-типы.

Из воспоминаний современника (Бегичева) мы узнаем, что первоначально Грибоедов задумывал вывести среди действующих лиц жену Фамусова, сентиментальную московскую модницу. Потом он отменил это намерение, и от него остался только тот рефлекс, что в финале пьесы, уплыв в темных се-

нях дочь Софью с Чацким, Фамусов восклицает:

Дочь, Софья Павловна! Страшница!
Бесстыдница! Где! С кем! Ни дать, ни
взять она,

Как мать ее, покойница жена.
Бывало я с дражайшей половиной
'Чуть врозь—уж где-нибудь с мужчиной!

В ранней редакции намечен был образ простоватого доктора-немца Фапиуса. Потом он тоже исчез.

Но эти два случая—исключительные. Все остальные образы, как были зарисованы впервые, так и остались неизменными в смене разных редакций текста,—до окончательного включительно. Правда, кое-какие переработки наблюдаем и здесь. Особенно трудно было Грибоедову с образом Софьи Павловны. Задуман он был смело и сложно: как сочетание наносной сентиментальности с глубокой натурой. Для комедии в стихах в первой четверти XIX века это была трудная, едва разрешимая задача. И Грибоедов ее разрешил не вполне; осталась некоторая недоговоренность и недоработанность. Но и здесь не было неясности в самом творческом сознании; образ оставался все время равен самому себе, и только «мысль не пошла в слова».

Иногда Грибоедов даже боролся с избытком художественных материалов, какие доставляла ему его богатая художественная фантазия. Среди мимолетных образов, зарисованных в беглых репликах действующих лиц, есть один очень типичный и характерный: образ Татьяны Юрьевны, большой московской барыни, напоминающей старуху Хлестову. Она охарактеризована в реплике Молчалина, пораженного тем, что Чацкий не только не ездит к ней за покровительством, но даже не знаком с нею:

Татьяна Юрьевна!!! Известная, при том
Чиновные и должностные
Все ей друзья и все родные.
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы с'ездить
вам.

В окончательной редакции она выступает одна. Между тем, в раннем тексте был дан семейный портрет Татьяны Юрьевны—вместе с мужем:

Да это полно та ли-с?
Татьяна Дмитриевна!!!—Ее известен дом,
Живет по старине и рождена в боярстве,
Муж занимает пост из первых в госу-
дарстве,

Любезен, лакомка до вкусных блюд и вин,
Притом отличный семьянин:
О женой в ладу, по службе его дышит,
Она прикажет, он подпишет.
К Татьяне Дмитриевне вы с'ездите.

Таким образом, пропал прекрасно очерченный образ крупного сановника-лакомки, который подписывает, что прикажет жена, и «по службе его дышит».

Трудно прямо сказать, почему исчез этот образ. Может быть, тут проявилось у Грибоедова приспособление к цензуре: конечно, было смело сказать о занимающем пост из первых в государстве сановнике, что он по службе в таком жалком подчинении у жены. Может быть, здесь сказалась та экономия художественных средств, которая проявлялась у Грибоедова много раз в сокращениях текста.

Именно этой экономией объясняется сокращение текста, посвященного Репетилову в четвертом акте.

При первом чтении «Горя от ума» Пушкина поразило обилие характеристических черт Репетилова, и он писал А. А. Бестужеву: «Что такое Репетилов? В нем 2, 3, 10 характеров». А Пушкин знал Репетилова только по окончательному тексту. В Музейном автографе он обрисован щедрее, с такими подробностями, которые делают его портрет еще сочнее. Так, в первоначальной редакции было 20 стихов, зачеркнутых потом Грибоедовым в автографе:

Репетилов.

Что? ночь одна не в щет.
За то спроси, где был? чем нынче занимаюсь?

Чацкий.

Неужь-ли книгами?

Репетилов.

Да, накупил сот шесть
Вчера еще, ты можешь их прочесть.
Я сам, что раз прочту, то повторяю
с жаром,
Сто раз везде и всем, поверь.
Минуты не теряю даром.
Вот отгадай, откуда я теперь?

Чацкий.

Из клуба, может статься.

Репетилов.

Из Английского? Да, а что я там творил?

Чацкий.

Играл, и ёл, и пил.

Репетилов.

Ты умный человек, а сроден ошибаться:
Играл, по маленькой играл,
Пил, жажду запивал,
Оел три куска чего-то,
Я знаю у тебя всё на щету я мота,
Обжоры, игрока, повесы... виноват,
О друзьями в воду рад,
За то грехи свои всем выскажу свободно,
Кому угодно.
Сюда, однако же, был должен опоздать,
Не от игры, мой друг, сейчас из заседанья...

Эта внезапная страсть к покупке книг и обжорство в клубе—черты характеристические, но не попавшие в окончательный текст. Хороша и формула покаянных настроений: «За то грехи свои всем выскажу свободно, кому угодно»,—она потом оправдывается дальнейшими откровенностями Репетилова. После стиха: «Э! брось! кто нынче спит?» в ранней редакции зачеркнуты еще два стиха:

Дай случай мне, хоть с маленьким умом,
Между умнейшими быть, так сказать,
узлом.

Ниже, в покаянном монологе Репетилова имелись и еще два комических стиха, потом зачеркнутых:

Негоден ни на что, безграмотный, сальной.
И вовсе притупел с детьми, братец,
с женой.

Наконец, диалог Репетилова с Хлестовой в окончательном тексте сурово сжат автором.

Этими сокращениями достигалась та стремительность действия, которая дает последнему акту драмы такую энергию. Но приобретено это ценою изъятия ярких черточек из образа Репетилова.

Ранняя и быстрая зрелость художественного мышления Грибоедова, обеспечивая пьесе величайшую пластичность, как бы осязательность образов, лишает, однако, нас, литературоведов, возможности подсмотреть, как зарождаются, зреют и завершаются образы в творчестве Грибоедова. В его таланте была одна особенность, не всегда приходящая поэтам: дар т и п и з а ц и и. Этот дар был свойствен Гоголю, создателю хлестаковщины и маниловщины. Гениальным типизатором был создатель обломовщины. Таким же был и творец фамусовщины, молчалинства, скалозубовщины. И вот, в сохранившихся разно-

временных рукописях «Горя от ума» не осталось следов того процесса, каким Грибоедов, изучив бытовые прототипы, отвлекал от них характерные черты и обобщал их в литературных типах. Его герои являются перед нами сразу зрелыми.

Только разве в одном случае можно видеть, как обобщается, типизируется, вернее даже, — символизируется образ у Грибоедова: в случае с Скалозубом. В раннем тексте Сергей Сергеевич добродушно говорил Репетилову в ответ на предложение побывать на «тайном собрании» у князя Григория:

Избавь, с ученостью вы много взяли
все-то,

Бог вам премудрость ниспошли,
Дают ли ордена за это?
Давай ученые нам, чтоб люди в ногу
шли.

Я школы Фридриха, в команде Гернадеры,
Фельдфебеля мой Вольтеры.

Этими стихами вновь подчеркивается обнаруживавшееся уже и раньше увлечение Скалозуба чинами и фрунтом. В посредствующей редакции реплика существенно переработана:

Избавь. Ученостью меня не обморочить,
Скликай других, а если хочешь,
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам,
Он в три шеренги вас построит,
А пьяните, так мигом успокоит.

В таком ответе уже нет добродушия армейского фрунтовика, наоборот, звучит жестокая арачьевская нота. Переработкой образ Скалозуба сразу осложняется и углубляется, и новая редакция его ответа Репетилову прекрасно согласуется с заявлением полковника еще в третьем действии:

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ,
гимназий,
Там будут лишь учить по-нашему: раз,
два!

А книги сохраняют так: для больших оказий.

Здесь мы наблюдаем градацию образа: от индивидуального бытового портрета фрунтовика-армейца к обобщенному политическому символу реакционера.

Но этот случай редкий в творческой истории «Горя от ума». Как общее правило, приходится установить, что творчество Грибоедова не знает колебаний,

долгих поисков, противоречивых перебоев.

Одним примером можно это оттенить. «Дядя Ваня» Чехова испытал большие колебания в составе образов. Из одиннадцати персонажей первой редакции («Леший», 1889) Чехов потом выбросил целых четыре. Только два образа (профессора и его тещи) остались неизменными в окончательной редакции («Дядя Ваня», 1899). Остальные все существенно переработаны. Кроме того, введена новая роль (няни Марины).

Таких коренных переработок у Грибоедова не встречаем.

V

Блестящий стилист, гениальный ваятель образов, Грибоедов был еще и мудрым строителем. В композиции «Горя от ума» также сказалось его замечательное мастерство.

Оно поражает своею зрелостью, смелой уверенностью.

Островский, сам большой и опытный мастер драмы, нередко сильно колебался в композиции пьесы: менял положение тех или других сцен в одном акте, переставлял даже и действия одно на место другого.

У Грибоедова этого нет. На протяжении всех творческих работ, от первой редакции до третьей, сценарий «Горя от ума» не испытал никаких перестроек. Ни одна сцена не была перемещена. И даже когда Грибоедову пришла на ум новая развязка (откровенный диалог Молчалина с Лизой в сенях в присутствии незамечаемой Софьи), — и эта вставка не нарушила распорядка явлений.

Это красноречиво говорит за то, что в сознании Грибоедова быстро и непоколебимо сложился стройный, целостный сценарий.

Сам Грибоедов указал основной мотив в развитии пьесы. Герой влюблен в девушку, «для которой единственно он явился в Москву», а «девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку». Это авторское показание Гончаров в «Мильоне терзаний» детально разработал. Вот его формула: «Всякий шаг Чацкого, почти всякое»

слово в пьесе тесно связано с игрою чувства его к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца»; «он и в Москву и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной Софье. До другого ему дела нет». Пушкин, в письме к А. А. Бестужеву 1825 г., еще добавил: «Между мастерскими чертами этой прелестной комедии—недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна! и как натурально!».

С интимной любовной драмой тесно переплетается драма общественная. Сам Грибоедов указал эту связь в характере героя и окружающего его общества: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше других». Этим основным положением объясняется опять длинный ряд явлений в сценическом движении: столкновения Чацкого с Фамусовым во втором действии, его поведение на балу, «голос общего недобротства», успех сплетни о сумасшествии и отзвуки ее в разезде гостей в четвертом акте.

Равноправно ли представлены в сценическом плане любовная и общественная драма? Можно твердо сказать: да. Общественная борьба начинается тотчас, как только завязывается узел любовной интриги,—с первого же акта; ее завяз дана уже в расспросах и суждениях Чацкого о московских знакомых. Правда, потом, в итоге третьего и четвертого действий, общественная драма своею значительностью начинала перевешивать любовную, но упомянутая счастливая вставка в посредствующем тексте обогатила драматизмом роль Софьи и Молчалина, и обе составные части пьесы вновь уравнились.

Не вдаваясь в подробный драматургический анализ, отмечу только главнейшее.

Стихотворная форма «Горя от ума» давала пьесе звуковую, музыкальную в тесном смысле слова ритмичность. Но следует признать, что одним из высо-

ких достоинств пьесы является ее общая ритмичность, ее своеобразный темп. Темп и ритмичность организованы в пьесе так мастерски, что дают нам право назвать «Горе от ума» музыкальной драмой.

Сразу явно, что этот темп—энергический, подчас—стремительный. Сам Грибоедов высоко ценил быстроту сценического движения. Сообщая другу, С. Н. Бегичеву, о новой развязке, он пишет: «живая, быстрая вещь». На замечание литератора Катенина, что в «Горе от ума» «сцены связаны произвольно», он ответил: «так же, как в природе всяких событий, мелких и важных: чем внезапнее, тем больше увлекают в любопытство». К. А. Полевой сохранил нам (издание 1839 года) еще одно характеристическое суждение Грибоедова: «Многие слишком долго приготавливаются, собираясь написать что-нибудь, и часто всё оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы вздумал и написал».

Правда, есть в пьесе случаи замедления, даже как бы приостановки сценического движения. Таковы: сцена заигрывания Фамусова с Лизой—во втором явлении первого действия, рассказ Лизы о тетушке Софьи, у которой сбежал француз,—в пятом явлении того же действия, диалоги Загорецкого с графиней-бабушкой и этой последней с князем Тугоуховским—в третьем действии, отъезд Хрюминых и Горичевых и интермедия Репетилова—в последнем акте. Такие сцены излишне замедляют движение, отводят его в сторону от магистрали, и если имеют известную цену, то только статически, как служебный, живописный или психологический материал. Такое же статическое значение имеет и великолепная картина московской жизни в третьем акте.

Но есть в «Горе от ума» замедления особого типа. Мы назовем их интервалами, или лучше—паузами, и они имеют большую ценность в композиции, придавая сценическому движению ритмичность. Такой паузой можно считать добродушную реплику Скалозуба в шестом явлении второго действия о гвардейцах и армейцах; она является ин-

тервалом между двумя напряжёнными сценическими моментами: спором Фамусова с Чацким и обмороком Софьи. Еще отчетливее пауза в четвертом явлении третьего действия: появление слуг, готовящих комнаты к балу, между объяснением Чацкого с Софьей и Молчалиным и съездом гостей. Особенно ценна, прямо музыкальна, пауза в четвертом акте, когда уезжает Репетилов и последняя лампа гаснет,—замирание сценического движения накануне катастрофы.

Есть в сценическом движении пьесы явные повороты, когда течение борьбы круто изменяется под воздействием того или другого эпизода или нового фактора. Таковы обморок Софьи, сплетня о сумасшествии Чацкого. Особенно заметны ускорение темпа в четвертом действии. Если сопоставить количество стихов в четырех актах и обозначить это графически, то увидим, что число стихов возрастает с каждым актом—до третьего, самого обширного, включительно. Затем кривая круто понижается: четвертое действие самое короткое. Этому внешнему виду соответствует и внутреннее развитие драмы. Материалы и элементы для сценической катастрофы все накапливаются в течение трех первых действий, в третьем, как указано, их массовое движение даже замедлено, зато в четвертом оно сразу ускоряется, становясь стремительным к финалу. Особенно заметно это на сценической ситуации Чацкого. Едва он успел отделаться от Репетилова, как узнает, что пущена сплетня о его сумасшествии; еще не оправившись от этого известия, он становится свидетелем ночного свидания Софьи с Молчалиным, разбивающего остатки его надежд; затем бурное вторжение Фамусова наносит ему еще одно оскорбление: автором сплетни оказывается та же Софья. Наконец, со всей отчетливостью перед ним раскрывается, как пропасть, враждебность московского общества. Катастрофически стремительны и переживания Софьи. Только что на балу свершилась счастливо месть Чацкому в защиту Молчалина, грешаго за возлюбленного улеглась, и Софья спешит к новым

радостям сентиментального свидания. Короткая сцена объяснения Молчалина с Лизой в сенях разбивает все иллюзии, и Софья в минуту прозревает и перерождается.

В литературной критике не отмечался параллелизм этих двух душевных катастроф: Чацкого и Софьи. Но он необычайно обогащает динамику четвертого акта.

Следует воспринять и учесть вообще, что наш комедиограф настойчиво применяет этот прием параллельных построений.

Не задерживаясь на подробностях, укажу, что на параллелизме построены диалоги Фамусова и Чацкого во втором действии. Эта словесная дуэль построена симметрически, как быстрый обмен обвинениями и возражениями.

Но особенную ценность и изящество драматургического построения на параллелизмах и мультипликации имеют бытовые зарисовки барской Москвы. Фамусовская Москва, будущий враг и победитель Чацкого, впервые начинает вырисовываться в первом акте, в первом же диалоге Чацкого и Софьи. Уже здесь мелькают силуэты москвичей и параллельно намечается враждебность к ним Чацкого. Во втором действии, в обмене знаменитыми монологами между Фамусовым и Чацким, галерея московских портретов сильно обогащается меткими характеристиками Максима Петровича, Нестора негодяев знатных, крепостника-балетомана, московских больших барынь-командирш, и т. д. И, наконец, в третьем действии появляются, на смену мимолетным словесным характеристикам, живые «действующие лица». Это нарастание, эта градация в бытописи Москвы тоже принадлежит к числу высоких образцов грибоедовского мастерства.

Драматургическое мастерство сказалося и на одном, как-будто техническом, приеме, который, однако, Грибоедовым использован художнически. Я разумею так называемые авторские ремарки. В «Горе от ума» их довольно много, несравненно больше, чем во французской классической драме, и среди них много превосходных. Так, на упреки отца Софья

отвечает (в первом действии) сквозь слезы; вся в слезах отвечает она на упреки Чацкого в четвертом действии. Фразу «вот так-то обо мне заговорят» Софья произносит с огорчением. При первом своем появлении Чацкий с жаром целует руку Софьи. Раздраженная колкостью Чацкого по адресу Молчалина, Софья отвечает ему принужденно. А Чацкий, задетый упреком Софьи, отвечает после минутного молчания. На расспросы Фамусова Чацкий отвечает рассеянно, а потом — встает послешно. После обморока, стараясь замять эпизод, Софья свою реплику: «Ах! очень вижу: из пустова» произносит, не глядя ни на кого. Выслушав рассуждения Молчалина о том, что «не должно сметь свое суждение иметь», что «на-добно зависеть от других» и пр., Чацкий почти громко говорит: «С такими чувствами, с такой душой любим...». Встретившись с Тугоуховским, Наталья Дмитриевна тоненьким голоском восклицает: «Князь Петр Ильич, княгиня, боже мой, княжна Зизи, Мими» и далее: громкие лобызания, потом усаживаются и осматривают одна другую с головы до ног. Здесь ремарка, при всей сжатости, создает целую картину. На приставаья жены: «Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей» Платон Михайлович отвечает хладнокровно: «Сейчас», а дальше при словах: «Ах, матушка» — глаза к небу; хладнокровно он философствует перед тем, как садиться в карету: «Бал вещь хорошая, неволя-то горька». Свою знаменитую реплику: «Нет-с, бочками сороковыми» Загорецкий произносит с жаром. Целую пантомиму создает ремарка к движениям кн. Тугоуховского: «вьется около Чацкого и покашливает».

Следует признать, что Грибоедов мастерски владеет технической и психологической ремаркой, создавая ею иногда целые картины или маленькие интермедии.

Знарок мировой драматургии, Грибоедов пренебрежительно относился к хитрым затеям искусственной комедий-

ной интриги. Катенину он писал: «Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем скорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? *Nugae difficiles*. Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

Зато в пределах реальной, бытовой правды Грибоедов был смел и находчив.

Стоит только немного подумать, представить себе всю чинность и условность тогдашних драматических пьес, где действие протекает непременно в парадных комнатах, и затем вспомнить, что в «Горе от ума» четвертое действие разворачивается в сенях, среди меховых шуб и заспанных лакеев, — чтобы оценить эту свободу и смелость, эту находчивость, это величайшее чутье художественной правды.

VI.

В беглом очерке мы обозрели главнейшие, ценнейшие приемы грибоедовского мастерства — в чеканке слога и стиха, в ваянии образов, в композиционном зодчестве.

Заканчивая обзор, можно было бы еще сказать о том, что придает композиции «Горя от ума» высшее единство, что крепит, согревает и освещает все произведение. Разумею авторский лиризм.

«Горе от ума», конечно, бытовая, реалистическая комедия. Картины грибоедовской Москвы навсегда останутся не только поэтическим, но и подлинно историческим документом, по которому можно и должно изучать бытовую барскую московскую жизнь первой четверти XIX века.

«Горе от ума», конечно, изящная психологическая любовная драма, пре восходная сценически и гениальная по глубине, чуткости и тонкости психологического анализа. Стоит только перечесть сцену объяснения между Чацким и Софьей в начале третьего акта — одну из лучших сцен во всей пьесе.

Но «Горе от ума» является вместе с тем и сатирической комедией, где автор дает простор своему гневу и сарказму. По сатирическому заданию по-

строены и многие образы, как Скалозуб, Молчалин, Загорецкий и другие, этому заданию подчинены и сценические эпизоды, как спор Фамусова и Чацкого во втором акте, как вся монументальная картина фамусовской Москвы в третьем акте. В русском репертуаре нет другой пьесы такого высокого сатирического напряжения.

Однако, гневом не исчерпывается лиризм «Горя от ума». Не только свой гнев, но и свою любовь влил Грибоедов в свое славное творение. Герои пьесы, Софья и Чацкий, ограждены от сатиры. А в речи Чацкого Грибоедов вложил все лучшее, что сам думал и что сам чувствовал.

«Горе от ума» — пьеса особого типа. Это — лирическая драма. В классической русской литературе я знаю только одно аналогичное произведение, правда — такое же гениальное: лириче-

ский роман Пушкина «Евгений Онегин».

Высокий лиризм, каким напитано «Горе от ума», придает ему величайшее, истинно музыкальное единство, сообщает драматическому движению стремительность и все возрастающий подъем, необычайно поднимает эстетическое достоинство произведения.

Но трудно отнести этот лиризм к приемам мастерства. Ведь прием — это то, чем владеет мастер, что он мудро и расчетливо применяет. А лиризм сам владеет мастером. Это та стихия, которая охватывает творчество поэта. И мастерство Грибоедова сказалось разве в том, чтобы не быть смятым, овладеть лирической стихией и сберечь в ее порывах ясность творческой мысли и стройность форм. Величайшая проблема, какую разрешают счастливо только гении.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Заметки журналиста. — 2. Л. ТИМОФЕЕВ. Современная украинская литература. — 3. АРК. ГЛАГОЛЕВ. «Атаманщина» Мих. Алексеева. — 4. Б. ПЕСИС. Жан Жироду. — 5. А. СТАРЧАКОВ. Поход на Москву. — 6. Е. ВИХРЕВ. Палех. — 7. И. ИЛЬИНСКИЙ. Заметки о высшей школе. — 8. Л. НИТОБУРГ. Новая губерния. 9. Б. КУШНЕР. Коммунистический маяк. — 10. Л. ГАМИЛЬТОН. Письма из Японии. — 11. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

1. ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА

1. О подделках. 2. О „социальном заказе“. 3. О мещанине и мещанской беллетристике. 4. Листки из блокнота.

Вяч. Полонский

1. О подделках

Искусство — это такая область, в которой даже искуснейшая подделка, в конце концов, обнаружит себя. Как бы художник ни научился прикидываться, приспособляться, — ложь проявится в самом качестве художественной ткани.

Приведу один из бесчисленных примеров.

В февральской книге «Красной Нови» напечатано стихотворение С. Городецкого — «Памяти Чернышевского». Стихотворение сделано к юбилею. Перед нами, следовательно, произведение, демонстрирующее влияние социального заказа, — как его понимает Городецкий. Оно заканчивается такими строками:

Глаза лазурные замурив,
Он (Чернышевский) там мечтал издалека
О вас, творцы Октябрьской бури,
О вас, советские века!

Как видим, заключительный аккорд «выдержан» вполне. Можно было бы, впрочем, и здесь заметить, что Чернышевский, если мечтал, то не о «творцах» бури, а о самой буре. Он не мог также мечтать о «советских веках», потому что советский период есть пе-

редходный период от капитализма к коммунизму, который не может длиться веками, — он будет короче. С точки зрения строго идеологической, заключительные строки — чепушисты. Но не будем придирчивы: наш поэт написал поэтическое произведение. А в поэзии допускаются «вольности». Но ведь и поэтические вольности надо поставить в какие-то границы. Рассмотрим стихотворение Городецкого с этой стороны.

Ползла навстречу декабристам
Сибири ледяная мгла,
Когда в Саратове зернистом
Бунтарка - Волга родила.

При поверхностном чтении здесь нет «ничего особенного». Но если читатель поинтересуется, почему Саратов — «зернистый», почему Волга — «бунтарка», и не слишком ли это общее — «бунтарка-Волга родила» (родила, очевидно, Чернышевского), — он почувствует некоторое недоумение. Правда, «зернистый» рифмуется с «декабристами» (плохо, кстати, рифмуется); «родила» рифмуется с «мгла»: но ведь стихотворение, где рифмы подгоняются одна к другой вопреки гладкости смысла — это стихотворение обна-

руживает низкое качество поэтической работы.

Дальше мы читаем, что «волны с Волги бились в дали». Читатель и здесь вправе недоумевать. Волга — река. Волны реки не могут биться в «дали», даже если «дали» рифмуются с «мечтали»... Нельзя затем «вонзить гневный мозг» — даже если «мозг» рифмуется с «розг». Мозг нельзя вонзить никак. Не меньше недоумение испытывает читатель, когда читает:

Орел двуглавый крылья штопал,
Спасая шкуру от крестьян.

Во-первых, крылья нельзя штопать даже тогда, когда «штопал» рифмуется с «Севастополь». Кроме того, орел, даже двуглавый, не может спасать «шкуру», ибо у орла, даже двуглавого, шкуры не бывает. Никакая поэтическая вольность не может оправдать такого насилия над материалом.

Столь же плохо:

И голос тихий громче грома
Носился в мертвой тишине,
В деревне вспыхнула солома.
В умах набат идей звенел.

Здесь все перепутано, спутано и запутано. Если голос «тихий», — он не может быть «громче грома».

Это напоминает шуточные строки:

Шел высокий человек,
Низенького роста,
Весь кудрявый, без волос.

Здесь одно определение противоречит другому, его уничтожает. Такой грием допустим в пародии, но Сергей Городецкий писал «всерьез».

Не лучше:

Почувяв правду, разночинец,
Как озверевший в клетке лев,
В народовольческой кручине
На подвиг вышел, осмелев.

Это — набор пустых слов. Нельзя говорить, что лев — озверел. Ему и звереть не надо — на то он и лев. Если же оставим в стороне «озверевшего льва» — картина получится такая: разночинец в народовольческой кручине, осмелев, вышел на подвиг. «Разночинец» и «кручина» рифмуются, разумеется. Но это обстоятельство не мотивирует появления «народовольческой кручины». Звону много, смысла нет.

Нельзя также писать: «глашатай брошен в пасть суду». Это плохо, потому что «суд» не влечет за собой представления о «пасти». Надо было сначала вместо слова «суд» употребить какой-нибудь образ, наличиесть которого мотивировала бы появление «пасти». Но образа нет — и «пасть» остается немотивированной. И здесь слово притянута «за волосы».

Ясней, чем плесень в каземате,
Чем близость каторжной судьбы,
Чем туз бубновый на халате, —
Законы классовой борьбы.

Переставьте последнюю строку на место первой, — вы прочтете тогда следующее: «законы классовой борьбы ясней, чем плесень»... и т. д. Эти сравнения обнаруживают у поэта отсутствие понимания классовой борьбы. Именно по этой причине он не находит подходящих, соответствующих сравнений. Ведь природа сравнения зависит от природы явления, которое сравнивают. Почему законы классовой борьбы ясней, чем плесень в каземате? Правда: каземат и каторга, и туз бубновый — все это взято из судьбы Чернышевского, но «законы классовой борьбы» приклепаны механически.

А доктор Маркс, насупив брови,
Впивал в усатые уста
Цельной России говор вдовий,
Чтоб Чернышевского читать.

Это, пожалуй, шедевр. Маркс «в усатые уста» впивал «вдовий говор». Почему уста доктора Маркса усатые? Почему он этими «усатыми устами» «впивал» «говор» и именно «вдовий» — это тайна за семью печатями. Все это напоминает капитана Лебядкина, который тоже писал стихи. Но у капитана Лебядкина они получались глаже:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан
Полный мухоедства..

Капитан Лебядкин чувствовал здесь некоторую неслаженность. Он поэтому объяснял, что мухоедство — это «когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство». Но Сергей Городецкий никакой неслаженности в своем

стихотворении не чувствует и никаких объяснений, естественно, не дает.

Я вспоминаю другое стихотворение того же Лебядкина:

Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната,
И вновь заплакал с горькой мукой
По Севастополю безрукий.

И это стихотворение вызывает меньше недоумений со стороны поэтической техники, чем приведенные вирши Городецкого. Но стихи Лебядкина—пародия. Достоевский издевался над стихомелей, насилующим слова и смысл. И однако, капитан Лебядкин, оказывается, умел писать стихи не хуже, чем наш прославленный поэт.

Но ведь Городецкий, книгу которого когда-то ценил Хлебников, Городецкий, некогда гремевший как автор «Яри» и «Перуна», Городецкий был в самом деле настоящим поэтом. Для примера напомним его знаменитое стихотворение «Сретенье царя».

Как безукоризненно, с технической точки зрения, оно было сделано! Какой в нем был пафос, какая плавность стиха, какая точность эпитета! Я не говорю об «идеологии» этого стихотворения—монархической и реакционной: с точки зрения теории «социального заказа» в этом нет ничего зазорного: таков ведь был «социальный заказ» той эпохи. Изменилась эпоха—изменился заказ Городецкий из монархиста сделался попутчиком — очень хорошо! Пожмем руку Городецкому! Он вместе с нами идет к коммунизму — что ж! — тем лучше для Городецкого! И упрекать его в том, что, как поэт, он когда-то выполнял «заказ» царя,—я не буду. Но я хочу сказать, что если из поэта монархии Городецкий сделался поэтом революции, он должен каждой строкой своей показывать, что этот переворот не поверхностен, что «социальный заказ» выполняется им не за страх, а за совесть, что смена точки зрения у него произошла не механически, а органически. А это можно доказать только качеством поэтической работы, ее органическим перерождением.

Сравнивая же «Сретенье царя» со стихотворением «Памяти Чернышевского», мы видим, что «заказ» царя Го-

родецкий выполнял хорошо, а заказ «пролетариата» выполняет из рук вон плохо. Ведь ничего подобного «усатым устам», вдовьему говору», «бешеной мечте», «заштопаным крыльям», «громко-тихому голосу», «озверевшим львам», «пастям суда», «вонзающимся мозгам» и тому подобной калтыры—ничего подобного не было в прежних стихах Городецкого. Он как-будто разучился писать. Потерял поэтическую форму. Но мы форму не отделяем от содержания. Мы ставим эту форму в теснейшую связь с содержанием. И если поэт Городецкий, умевший находить и эпитет, и рифму, и образ, и соответственный размер для стихотворения, когда выражал монархические чувства, потерял это умение, лишь только ему пришлось выражать чувства революционные,—мы говорим: революционное содержание чуждо его сознанию, оно не находит в его сознании поэтических выражений, он неискренен и, каковы бы ни были идеологические мотивы его стихов, и сколь бы словословий они ни содержали по адресу «творцов» октябрьской бури, «советских веков» и т. д.—перед нами не литература, а макулатура.

Чему она может научить молодого советского читателя? Ничему. Принесет она ему пользу? Никакой. Напротив, принесет вред: если такого рода поэзия в больших порциях станет проникать на страницы наших журналов — она засорит их всевозможными фальшивками, станет разлагать вкус, который мы должны подымать, будет работать не на повышение качества, какого требует наше время, а на снижение его. Дело не в том, что Городецкий когда-то был не с нами. Суть в том, что сейчас его поэзия — не наша, не революционная, лживая, натянутая, ходульная.

Но искусство,—когда оно подлинное,—мстит всякому, пытающемуся прикрыть душу. Именно такое фиаско терпит Городецкий, когда выступает в качестве идеологически выдержанного поэта.

Это еще раз убеждает нас в том, что суть не в «ярлыках». Суть в «существовании». Меньше ярлыков — больше подлинного усвоения идеологии нашего времени. Одними словами здесь ничего не поделаешь. Надо переходить не словесно, не внешне, а всем сознанием своим на точку зрения нового класса. Только тогда поэт получает право и фактическую возможность говорить от его имени, его голосом.

2. О социальном заказе

Здесь уместно будет коснуться предельного «социального заказа».

Не то, разумеется, плохо, что некоторая часть писательства, чуждого пролетариату психологически, пожелала теорией социального заказа засыпать пропасть между ним и собою. Напротив, это очень хорошо, поскольку делается искренне и честно. Можно даже сказать, что в социальном смысле эта попытка (мы не говорим здесь об ее теоретической никчемности) — этап на пути деклассированной интеллигенции от буржуазии к пролетариату.

Плохо лишь то, что эта в корне ошибочная «теория» оказалась, да и не могла не оказаться, на потребу всем тем, кто, не скрывая своей чуждости пролетариату и его делу, получил возможность формально прикрыться этой теорией. Она «идеологически» обосновала право на халтуру, на литературное подхалимство, на фабрикацию подделок под флагом «социального заказа». Теория эта возникла и получила обоснование, когда пролетариат оказался у власти. Вот если бы нашлись мелкобуржуазные писатели, которые, отрываясь от буржуазии, стали бы выполнять «социальный заказ» пролетариата, когда он находился под царским и капиталистическим гнетом, — другое дело. Но в то время около него было несколько своих людей, отказывающихся ныне работать под флагом «социального заказа». А большая часть из тех, кто теперь «социальным заказом» (как в феврале семнадцатого года красным бантом) обнаруживает

свою революционность, в то время либо эпатировала буржуазию (и это было очень хорошо), либо слагала славословия царю (что хуже). С пролетариатом же не шли ни те, ни другие. Но когда пролетариат оказался победителем: в смертной схватке, взял власть, сделался господином положения, тогда-то вот и обнаружилось, что есть масса желающих выполнять именно его, пролетариата, «заказ», работать на него, как на поильца и кормильца.

В теории этой следует различить два варианта. Первый, теоретический, пытается обосновать наличие некоего социального «давления», «веле-ния», приказа эпохи.

Второй вариант представляет толкование заказа не в смысле «социальном», но в смысле «реальном». Практически в литературном быту торжествует именно последний вариант. Вчерашние буржуазные поэты, эстеты, кривляки и просто бездарные мазилки потрафляют новому «социальному заказчику», строчат оды, приветствия, «выдержанные» (в 60 листах) романы, героические повести, идеологические рассказы, льстят, славословят, превозносят, халтурят.

П. С. Коган, новейший теоретик «социального заказа», приглашает следовать примеру Мольера, выполнявшего заказы его величества короля Франции¹).

Но ведь тот же П. С. Коган говорит, что Мольер выполнял «заказ» короли потому, что «не чувствовал себя оторванным от того класса, которому служил, напротив того, был его органической частью, и именно поэтому так прекрасно выполнял его заказы». Но если дело с Мольером обстояло именно так, то суть была не в «заказе», а именно в органической связи, и уж если призывать наших поэтов — то именно к органической связи с властителем жизни, к переходу на его точку зрения, к слиянию с ним, а не к формальному выполнению его «заказа».

¹) См. «Печать и Революция», кн. первая, 1929 г. «Спор о социальном заказе».

Сделайтесь пролетарскими революционером, усвойте его психологию и идеологию, овладейте пролетарской точкой зрения, тогда вы станете пролетарскими писателями и художниками. Вот с каким призывом надо обратиться к молодым поэтам. Не в заказе дело, а в точке зрения! Теория же «социального заказа» упирает именно на заказ, хотя должны же его теоретики понять, что этим именно они и создают для всякого рода ловкачей идеологическое обоснование вратъ во славу пролетариата, лезть к нему с подделками, требовать от него типографий и денег, ибо он «заказчик», ибо они работают «на него», на «господствующий класс». Это совсем не та установка, которой требует пролетариат.

Не хочу быть понятым неправильно. Я не против того, чтобы писатели и художники «служили» пролетариату и выполняли его «задание». Но я за то, чтобы служба эта была за «совесть», а не за «страх». Чтобы эта работа не была обусловлена одним тем фактом, что в руках пролетариата типографии и деньги. Это обстоятельство, разумеется, имеет огромное значение для художников и писателей. Но мы считали бы гибельным для пролетарской культуры, если бы этот мотив играл главную роль в обращении нашего искусства на службу пролетариата. Мы хотим, чтобы переход к пролетариату и революции произошел не в силу одного этого обстоятельства, ибо это означало бы простое «приспособление» писателей и художников, но не искренний переход на сторону пролетариата. А именно такого искреннего, честного перехода, не прикрывающегося «социальным заказом», требует пролетариат.

Разумеется, типография и деньги, вообще мощь государственной власти оказывает огромное влияние на развитие искусства. Этот пресс усиливает приток художников и писателей к пролетариату. Но вот здесь-то и заложена опасность: практически она грозит тем, что советское искусство может быть наводнено подделками, написанными в буквальном смысле «по зака-

зу». Недостатка в таких подделках, действительно, нет. Мы эту волну называем халтурой.

Нельзя отрицать влияния политического и экономического господства на искусство. Но в теоретическом плане необходимо понимать, что влияние нового класса на развитие искусства идет не этим путем, или, вернее, не здесь находится главный рычаг влияния нового класса. Не в том сила, что художники и писатели делаются материально зависимыми от пролетариата. Это облегчает переход, но не обуславливает его. Вся сила в том, что, захватив власть, перестраивая общественные отношения, новый класс является выразителем смены производственных отношений. Реорганизуя общество, он создает новые формы бытия. С приходом нового класса — рушится старый быт, старые общественные отношения, возникают новый быт и новые его формы. Вот именно появление этих новых бытовых отношений, новых форм, новых учреждений, новых порядков, новых потребителей, новых общественных, политических и других факторов и создает новую картину, меняет психику общественного человека, его вкус, точку зрения, пристрастия. Вот тут-то, в смене этих общественных отношений, в недрах новой общественной психологии и совершается переход художников и писателей на новую точку зрения. Здесь-то и рушатся старые эстетические каноны и возникают новые. Из изменившихся общественных отношений возникает новое искусство не в силу того, что появился новый «заказчик», не потому, что появились теоретики, призывающие «на службу» — на выполнение «заказа» нового класса, — но в силу того, что развитие искусства с изменением общественных отношений, в результате глубочайших молекулярных процессов выдвигает художников с новым взглядом на мир, с новой психологией, с новыми

ми точками зрения. Так что говорить здесь о замене заказа «скрытого» заказом «открытым» — это значит вульгаризовать смысл событий, и вместе с тем дать «теоретическое» обоснование как раз той части писательства, которая, повинувшись внешним импульсам, литературы не обогатит, ничего нового не создаст, никакой пользы новому классу не принесет, а лишь создаст смуту, погоню за гонорами, борьбу за «типографии и деньги» и, в конце концов, — поток макулатуры, которая вряд ли сумеет даже послужить перегноем для будущего.

3. О мещанине и мещанской беллетристике

I

Надо научиться отличать подделки от настоящих вещей. Это становится жизненной необходимостью. Книг мы выпускаем множество: но какой процент негодных, ненужных, никчемных! Особо следует говорить о книгах, враждебность которых скрыта маскировкой. Именно под «идеологическим» гримом чаще всего пролезает в советскую литературу мещанская беллетристика. Она ползет тихой сапой, усвоив защитную окраску, не боясь тех наивных критиков, которые эту окраску принимают за подлинную стопроцентную идеологическую выдержанность. Об этом стоит поговорить: мещанство уже стоит в порядке дня¹⁾.

Оно становится одной из центральных тем. Заметен рост мещанских настроений в культурной работе, в литературе, искусстве. Больше того, мещанство пытается выступать как производитель так называемых «эстетических» ценностей. Из факта бытового, не деятельного, мещанство превращается в фактор активный, организующий. Это делает его опасным, ибо мещанин, по самой природе своей — оплот реакции.

¹⁾ Нижеследующие заметки, касающиеся «Огненной лапы», были в сокращенном виде опубликованы в «Комсомольской Правде». Здесь воспроизводятся полностью.

II

Что есть мещанин? Об этом, вероятно, придется спорить. Двойственность делает неустойчивым это понятие. С одной стороны, мещанин — понятие словное. С другой — некий социально-психологический тип, выходящий из рамок сословия. Вообще — это мелкий собственник. Именно в борьбе за мелкую собственность и вырастают психические черты, которые определяются словом мещанство. Но они перерастают круг, их создавший.

Мелкая борьба за маленькую цель делает узким кругозор мещанина. Свой мирок противопоставляет он большому окружающему миру. Отсюда индивидуализм мещанина и враждебность его к «большим кругам» — классу, государству, обществу. «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Мир мещанина — его дом, семья, вещи. Владеть вещами, извлекать из вещей радость — цель его жизни. Мещанин желает делать свое маленькое дело, обстраивать «гнездо», выводить цыплят, умножать (о, чуть-чуть!) собственность. Символы веры мещанина именно таковы: мой стакан мал, но я пью из моего маленького стакана и... уберите вы все к черту!

От ограниченности мещанского мира — ограниченность его вкусов, интересов, стремлений. Мещанин хочет покоя. Он не любит борьбы — она разрушает уют. Он против войн и революций. Он за тишину, за всеобщий мир, за братство, но чтобы никто не лез в его личные дела. Он вообще — за мирную эволюцию. Отсюда — в широком масштабе — так называемый пацифизм, маниловщина, приспособленчество, соглашательство. Не лучше ли без споров, потихоньку да полегоньку, аккуратно, без крайностей. Не лучше ли вместо драк сытно поесть, сладко поспать. Это для мещанина — альфа и омега, смысл жизни. Если отнять у него теплую постель, котлеты, пиджаки (да еще любовниц), он взвост, и мир станет ему постылым.

Мещанин — эпикуреец, гедонист. Он любит наслаждение — в умеренных дозах, чтобы не расстроить здоровье.

Он непрочь пощекотать нервы — но не сильно; сладко взволноваться — но в меру; поиграть в любовь — но без вредных последствий. Он сластолюбив и ревнив, поэтому в четырех стенах своего уютка держит женщину в рабстве. Мещанин — раб и вместе рабовладелец. Женщина в его глазах — самка, вещь, машина для наслаждения. Но она — мать, а семья — священна. Поэтому, во славу семьи, он пользуется институтом проституции. Он распутничает, но трусливо (что скажет Марья Алексевна!). Его распутство поэтому уходит нередко в воображение: оно грязно. Именно мещанин создает спрос на порнографические открытки и эротическую беллетристику. Из всех жанров ему ближе других — скабресный анекдот.

III.

Таков, примерно, мещанин как психологический тип. Он имеет много вариантов. В зависимости от условий, места и времени меняются его конкретные черты. Но основа, приблизительно, одинакова, ибо постоянен базис, на котором вырастает этот ароматный цветок.

В частности мещанин наших дней кое-чему научился. Революция внесла новые черты в его портрет. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он знает, почем фунт «лиха». Он помнит девятнадцатый год, теплушку и заградотряды, побывал в концентрационном лагере и понял, в конце концов, что политика — штука серьезная и от нее в четырех стенах не отсидишься. Он овладел поэтому искусством принимать защитный цвет. Терминология его радикальна, он ловит политический ветер и старается, чтобы всегда дуло ему в спину. Мещанина поймать не легко — он увертлив и хитер, защищается всеми средствами и превыше всего ставит меньше пострадать. Но, пострафляя, он все же свою линию помаленьку гнет. Тихонько, осторожно, чтобы в глаза не бросалось, но неуклонно. Он ласкает, поддакивает, обволакивает, соглашается, разлагает, долбит, как вода — камень, и нередко преуспевает.

Он окопался на новых позициях — и, поскольку может, тянет назад, тормозит, задерживает, мешает. Он кричит при этом «вперед, вперед!». Шумит больше других — для отвода глаз. Напр., борясь с бюрократизмом на словах, мещанин на деле остается бюрократом до мозга костей. И так везде. И так — всегда. Слово мещанина расходится с его делом. По этой линии легче всего разоблачить мещанина. Красноречив и забияка на словах, — он трус и подхалим на деле. Он обожает начальство — пока оно в силе. При первой опасности мещанин покидает его первым: своя рубашка ближе к телу.

Эти свойства мещанин проявляет в литературе и искусстве. У него страсть к идиллии, к буколке, к романсу. Он обожает гитару, и цыганские песни предпочитает Вагнеру. У него такой взгляд: искусство — украшение жизни! Он хочет, чтобы картина ласкала глаз. Он за музыку: она возбуждает аппетит, и, говорят, улучшает пищеварение. Он любит на досуге почитать книжку, — опять-таки ласкающую, убаюкивающую, волнующую воображение, навевающую приятные «грезы», уносящую от житейских волнений. «Грезы» — любимейшее словечко мещанина. Если вы встретите его в разных сочетаниях, в прозе или поэзии, будьте уверены: вы имеете дело с мещанином.

Отсюда ненависть его ко всему новому, необычному. Враг переворотов вообще, он против революций литературных и эстетических. Мещанин — пассивист. Он живет на вчерашнем дне, как жук на навозе. Он за старые, привычные, традиционные формы. В руках мещанина традиция превращается в штамп.

Штампованные образы, протоптанные пути, захватанные словечки, робость мысли, сентиментальность — вместо сильного чувства, громкие фразы — вместо больших дел, лошадиная эротика под флагом разрешения половых проблем, наимоднейшие лозунги, популярнейшие темы, сенсационные сюжеты — последний крик моды! — но все в пределах умеренности и аккуратности, без оригинальности, по транспа-

рантам чужих образов, с оглядкой: а похвалят ли?

Сказанное выше — лишь опыт построения облика мещанина. Вряд ли такой опыт несвоевременен. Юркий человек, мещанин шумит в быту, проникает в политику, растет где-то под боком, спереди, сзади, в щелях, переулках, закоулках. Его можно встретить на улице, в очередях, в трамвае, в учреждениях, в театре. Сейчас тихой сапой он проползает в литературу и искусство, осаждает издательства и журналы, завоевывает писательскую среду, — и ведь не я первый заговорил о мещанской опасности, она налицо, нащупана, с:ределена, — под ее флагом ползком ползет в литературу правая опасность, тем более опасная, что прикрывается защитным цветом.

IV

Тема о мещанстве широка и велика. Но не в широком, а в узком смысле нас она сейчас занимает. Сказанное нами о мещанине — лишь предлог, чтобы поднять вопрос о мещанской беллетристике, о приемах мещанской живописи, о мещанском вкусе. Для примера мы привлекаем образец почти классический. Мы говорим о недавно появившемся романе Хаджи Мурат Мугуева «Огненная лапа». В этом произведении выпукло, с лабораторной почти отчетливостью, как в препарате, отразились характернейшие черты мещанского романа.

Прежде всего — материал. «Огненная лапа» — роман колониальный. Созданный в Европе на потребу мещанина метрополии, пресытившегося пресной тематикой мещанской литературы континента, — колониальный роман дает старые сюжетные схемы в новой экзотической обстановке. Основные компоненты колониального романа: «он» — герой, оторвавшийся от метрополии, «она» — соблазнительная красавица из туземок, либо европейка, а то обе сразу, затем туземцы и, наконец, природа: пустыня, пальмы, джунгли, ветры пустыни и так далее и тому подобное.

Читатель-мещанин особенно пристрастен к экзотике. В литературе он ищет «забвения чувств», необычайных положений, риска, тревог. Он обожает героев по контрасту, ибо он — трус. Он боится приключений, оттого он за приключенческую литературу. Он не ездил (да и не хочет) дальше Дунькина переулка, — поэтому у него страсть к Африке и вообще далеким странам. Ему приедается пресная окружающая среда, — он хочет в романах видеть блистательных графов, сиятельных княгинь, виконтов, маркизов, аристократов. Ах, как они едят! Как одеваются! Как любят!! Как страдают!! Великосветский роман и колониальный роман — популярнейшие жанры именно в мещанской среде. Мещанин со страстью следит за приключениями отважных мореплавателей, колонизаторов, культуртрегеров. Появление тигров вызывает сладкий ужас в его боязливом сердце, и он глубже забирается под одеяло. Когда дует самум — гибельный ветер пустыни, — мещанин плотно задвигает штору. «Герой» с «презрением и ненавистью» бросает в лицо соперника гордые слова, — мещанин дрожит от восторга. Он переживает то, чего бесповоротно лишена его жалкая жизненка. Человеку с теплой кровью и скопческим воображением, мещанину приятно читать о сильных чувствах, об огненных страстях, о бурях, проносящихся в душе человека.

Я не пишу исследования о мещанском романе. Я поэтому не стремлюсь дать исчерпывающую его характеристику. Заметки мои мимолетны. Я указываю на существеннейшие черты. Они сделались штампом. Это — канон. В плену мещанского канона автор «Огненной лапы».

V

Нашему эпигону Пьера Бенуа надоели, разумеется, «Цементы», «Разгромы», «Преступления Мартынов», «России, кровью умытые», «Города и годы», «Севастополи», «Виринеи», «Кон-армии», «Барсуки». Он переносит действие на границу Индии, «в самый во-

сточный уголок Месопотамии». Расейского Архипа сменяет Бен-Кадыр; «Красные Выселки» заменяются Сади-Кянтон; как музыка, звучат Энги-Имам, Ирак, Луристан и Курдистан, Али-Мардохан, Кут-Эль-Амара, Тигр и Ефрат, Синдар, Хуммар, Абад и Хурам. Слова непонятны, но восхитительны! Мещанину надоел расейский наш пейзаж, поля и равнины, борьба за урожай, смычка и трехпюлка, кулаки и подкулачники, середняки и бедняки. Он страшно доволен поэтому, когда Мугуев показывает ему пустыню, пески, караваны, самум. Пустыня лежит сразу же на берегу Тигра, и волны Тигра бьются о пустыню, но зато тут же камыши, джунгли, тигры, змеи, роскошные пальмы, тропические запахи, темные силуэты кактусов, воют шакалы, ночь окутывает пустыню, а сверху это знойное великолепие освещает полная луна, — она светит во все лопатки, — потому что как же без луны? Для разнообразия луна скрывается на некоторое время, и тогда темное небо «опрокинутым куполом» (конечно, «куполом» и обязательно «опрокинутым») нависает над пустыней, и на нем вспыхивают «яркие звезды». Вот образцовый пейзаж:

«Луна всходила сильнее. Сбъ берега красавца Тигра молчали, подавленные красотой и безмолвием ночи».

«...Я слушал пустыню и был подавлен ее безмолвным величием».

На фоне этой феерической обстановки действуют замечательные люди. Лорд Паркер, лейтенант Гильдебрант, французский консул Вильбуа, Слепцов, русский белогвардеец, продавшийся англичанам, княгиня Воронцова, маленькая туземка Мадине и, наконец, «он», «герой» нашего романа, Борис Петрович. Он очарователен. Он храбр. Он смел. Он непреклонен. Женщины влюбляются в него с первого взгляда. Когда ему становится скучно, он садится на кобылу Касатку и едет в пустыню. Пустыня с ним за панибрата. Она приветливо встречает его своим «великим безмолвием».

«Хотите в пустыню?» — предлагает он княгине.

«С вами хоть в Сахару» — с готовностью отвечает она.

Роман ведется от имени этого офицера. Он не красный. Но и не белый. Он, так сказать, полубелый. Но он герой, и бурные чувства кипят в его груди. Они давно стали штампом, эти чувства, — но наш автор то и дело бросает: «острым буравом засверлила в моем мозгу страсть». «Все мое существо было возмущено этой подлой и низкой мезью». Иначе он выражаться не может: «гнусная и низкая мезь», «жгучая радость» или «бурная радость», «мой мозг горел напряженной думой, все клеточки моего тела были заряжены огромной жаждой жизни». Наш автор не знает нештампованных слов.

«Молчать, — яростно прохрипел лейтенант...».

«В два прыжка я очутился перед лейтенантом...».

«Вы изверг, я вас ненавижу, — прошептала княгиня, вся бледная от волнения».

«Ноздри ее широко раздувались...».

«О, с каким наслаждением я раздавил бы этого гнусного человека».

«Мерзавец! — крикнул я...».

Все это можно купить за полфранка на любом французском бульваре. Вербицкая рядом с Мугуевым — оригинальна. До Лаппо-Даниловской ему, как до звезды небесной, далеко. Пьер Бенуа рядом с ним — бог. Атос, Портос и Арамис, вместе взятые, не стоят мизинца Бориса Петровича.

Мисс Эвелин в смертельной опасности. Ее готова укусить змея. О, вы не видали таких змей! Это — «самая гнусная ядовитая змея Ирака». Она внушает ужас не только людям: дикие кабаны бегут от этой змеи. Караваны обходят место, откуда слышен страшный свист, — вот какая змея! Она напружинилась, вот-вот укусит бедную мисс Эвелин! Бледная мисс онемела от ужаса. Но Борис Петрович «швыряет» фотографический аппарат в змею. Змея убита. Мисс Эвелин без чувств падает ему на руки.

Что змея! Он застрелил из пулемета акулу, живую акулу, залпывшую в речку. Около катера уже блеснули «че-

тыре ряда острых гвоздеобразных зубов в широкой раскрывшейся пасти. Все оцепенели. Но Борис Петрович «в ту же секунду» выпустил 4 ленты из Кольта. Страшная акула перевернулась кверху брюхом.

Да что акула! Он в упор застрелил живого бенгальского тигра! Тигр сшиб с ног его соперника, лейтенанта Гильдебранта. Гильдебрант лежит на животе. Над ним стоит громадный тигр и бьет лейтенанта лапой по затылку. Конечно, — кровь. Все «в ужасе» бросились в кусты. Тигр в двух шагах от Бориса Петровича. Вы думаете — Борис Петрович струсил? Ничего подобного:

. Он «стал медленно поднимать свой шведский карабин...».

...Да стреляйте же! — услышал он отчаянный крик княгини, стоявшей возле него. Ведь Гильдебрант — ее любовник.

Борис Петрович «тихо засмеялся и покачал головой». Но он великодушен. Он стреляет в тигра. Тигр поворачивается кверху брюхом.

Читатель рыдает от восторга и с восхищением прижимает к груди «Красную Новь», где напечатан этот великолепный роман.

Какой герой! Какая княгиня! Какие джунгли! Какая пустыня! Какие банианы! Какой тигр! Какой Ефрат!

VI

Но это пустяки — все эти подвиги. В центре романа — любовь! Как умеют любить княгини! Настя из пьесы Максима Горького «На дне» — и та не мечтала о такой любви. Вот что рассказывает о княгине ее любовник консул Вильбуа:

«Княгиня эксцентрична, как настоящая аристократка. Об ее увлеченных и любовных экспериментах ходят легенды. Ни один мужчина, которым хотела владеть эта женщина, не ушел от ее чар. Она оставляет их так же быстро и легко, как берет».

Княгиня, разумеется, красавица. Ее муж, князь Строганов, стар. Лейтенант Гильдебрант ходит около нее, как собачка. Но наш герой «холодно» смотрит на соблазнительницу. При первой же

встрече между ними происходит такой разговор:

«— Да, княгиня, даже вас я бы не полюбил.

— Хорошо. Я люблю вызов. Хотите пари? Только боюсь, милый сержант, что не пройдет и недели после отплытия монитора в Багдад, как вы или пустите пулю в вашу милую, красивую голову или...

— Или?

— ...или дезертируете за мной в Бомбей.

— Что бы со мной ни произошло, княгиня, любить, искать и страдать из-за вас я не буду.

— Пари.

— Пари, — ответил я».

Княгиня, конечно, выиграла. Тогда-то и засверлила страсть острым буровым в мозг нашего героя:

«... нежность острым буровым засверлила мне сознание, и в сердце разлилась бесконечная теплая волна, в которой растворились и мозг и воля...»

...Безмолвие пустыни стало еще полнее...

...я впился поцелуем в губы княгини.

Взглянувшая луна осветила ее обнаженную грудь...

...— Милый, милый, милый!...— без конца

повторяла княгиня, обнимая мою голову и целуя мои глаза.— Злой и милый, любимый и недруг, нет, нет, друг, милый друг. Ну, что же вы молчите, рыцарь, говорите. Ваша дама ждет ответа.

Я молча поцеловал ее руку. Высоко над нами стояла луна».

Страсть «бурлит» «безудержно и беспредельно»: княгиня превращается в «знойную вакханку»; часы текут «медленно, как вечность»; весь мир отражается во «влажных губах и бесстыдно-голодных глазах этой ненасытной жрицы любви»... Тело ее «роскошно». «Чары» ее «обольстительны», — «сирена», а не женщина. Герой то и дело падает в «бездонную чувственную пропасть».

Нашему автору этого недостаточно. Что княгиня! Княгиня — авантюристка, княгиня — Мессалина. В романе есть девочка Мадине — туземка, она еще не созрела для любви, — возраст (да и Главлит) не позволяет ее сделать любовницей нашего героя. Но уж если любить, чорт возьми, так чтобы «буровым засверлило в мозг». Поэтому наш автор рисует параллельный роман своего героя с маленькой Мадине. Борис Петрович, кроме того, что храбрец, еще развратитель малолетних.

Он, «как очарованный», смотрит на «чуждую девочку». Он называет ее «маленькой, робкой козочкой», этот пошляк, затесавшийся на страницы журнала, который по сие время сохранил еще репутацию руководителя художественного нашего вкуса.

Роман не только примитивно-лубочен, сексуально-элементарен, до крайности пошел. Он еще подобострастен по отношению к господам англичанам, представляющим здесь истинную цивилизацию. Мы думали, что восхищенное описание великосветских ужинов осталось уделом европейского мещанского романиста. Мы ошиблись.

«Дамы в нарядных вечерних туалетах, мужчины в легких элегантных костюмах. У стены и у входа стояли слуги.

... Слуги вносили блюда и подливали в бокалы вина. Богатая сервировка, освещение, элегантные костюмы дам, обилие слуг и самый ужин заставляли забыть о том, что мы находимся вдали от города и цивилизации. Я давным давно не сидел за тонко сервированным столом в обществе прелестных леди и корректных джентльменов и, отвыкнув от вина, цветов и благоуханной атмосферы женского общества и уюта, был несказанно рад случаю, хоть на миг вернувшему меня в лоно цивилизации, оставленной мною со дня прибытия в Сади-Кьянт».

VII

Мы прошли бы, разумеется, мимо этого классического образца мещанской бульварной беллетристики. Но на романе покоится рекомендация «Красной Нови». Я не сомневаюсь, что, имея эту рекомендацию, роман будет издан каким-нибудь издательством для юношества, в роде «Зи-фа» или «Прибоя». Его будут читать. Низкопробная подделка, образец дурного вкуса окажется рассадником пошлости, будет производить отрицательную работу, снижать уровень литературы, мешать нашей борьбе за качество. Романы, подобные «Огненной лапе», с их дешевыми эффектами, с внешней занимательностью, могут увлечь неискушенного читателя в сторону, обратную той, куда лежит наш путь. Можно говорить поэтому о реакционной роли, какую играет мещанская беллетристика. Она пытается вы-

теснить литературу, вырастающую из современных проблем и отвечающую насущнейшим требованиям нашего времени.

Но мне думается, что Хаджи-Мугуев «обошел» Раскольникова. Он оказался не таким простым — автор «Огненной лапы», — чтобы соваться в советский журнал без «идеологии». Он не хуже Городецкого умеет ловить «социальный заказ» эпохи. Он подковался и по-летнему и на шипы.

Роман его «идеологичен». И лорд Паркер, и лейтенант Гильдебрант, и аристократическая Мессалина, и демонический полубелый офицер, и консул Вильбуа — все они оказываются агентами либо английского, либо французского империализма. В свободное от любви время они ведут борьбу за нефть, притесняют туземцев, строят козни.

И хотя эта «идеология» пришта к роману белыми нитками и показана на десятом плане, чтобы обмануть доверчивую редакцию, ее оказалось достаточно, чтобы стопроцентный налитпостовец Раскольников пошел на «удочку» и под цветом хаки не разглядел мещанского штампа.

Пошлость вещи бьет в глаза с каждой почти строки. Язык автора, претенциозно-напыщенный, банален до предела. Он говорит: «пара коротких спичей», и «пара ярких глаз», и «пара дней». Он вспоминает о «гимназических грезах». «Он обожает ее с мутной звериной страстью». «Дом спал мертвым сном». «Шашлык будет вкусней, чем поцелуй богини». «Эта женщина — как нектар». «Валькирия» — восхищенно обзывает он обольстительную княгиню, которая одновременно, как мы знаем, оказывается и вакханкой, и сиреной, и жрицей любви. «Беспощадный огненный пожар» — расплывается он в одном месте. Иногда автор хочет показать свою образованность. Тогда его герой всю ночь напролет читает Гафиза. Стихи Омара Хейяма он просто носит «в кармане».

Штамп, банальщина, пошлость. Появление «Огненной лапы» в передовом

журнале знаменует опасное падение вкуса.

В литературу идет молодняк. Это превосходно! Но вместе с талантливыми и хорошими ребятами идут ловкачи, готовые наизнанку вывернуться, чтобы добиться успеха. Хотите роман с идеологией? Могу! Колониальный? Пожалуйста. С приключениями? Сколько хотите! Экзотический? На берегах Тигра и Ефрата? С обольстительной жрицей любви, вакханкой и валькирией в одно время? Да это—раз плюнуть. Чтобы борьба за нефть и восстановление туземных племен против кровожадных империалистов? В момент!

Мещанский «работяга Словотеков», засучив рукава, «энергично фуцкирует», противодействия не встречает, проникает на форпосты советского искусства — вот он я! — и грозит помешать всходам подлинной советской литературы.

4. Листки из блокнота

I

В недавнем докладе своем в Комакадемии т. Фриче заметил:

«Критик в наши дни не ученый, а боец».

Мы будем защищать другую формулу:

«Критик в наши дни — ученый боец».

Одна из бед нашей критики — именно ее «неученость». Критика — вообще борьба. Критик — всегда боец. Где нет борьбы, там нет критики. Но когда в наше время мы хотим дать определение роли критики, недостаточно подчеркнуть ее «боевой» дух. С помощью одного «боевого духа» критика далеко не уедет.

Это было отмечено и в знаменитой резолюции Политбюро ЦК. Лозунг «учиться» — был не последним, на который указывала резолюция.

Когда же мы обращаемся к «продукции» некоторых наших «критиков», — не знаешь, чего в ней больше: малограмотности, претенциозности или самодовольства. Все это отлично уживается с «боевым» духом.

II

В № 22 «На Литературном Посту» напечатана статья известного нам П. Замойского под названием:

«П. Замойский отвечает Г. Сандомирскому»:

Послушаем, как разговаривает «критик» Замойский.

«В злобном гоголе, хриплом лае и барском окрике этого гражданина только и можно разобрать...».

«...что-то подспудное обязывает этого человека лаять на меня...».

«Блатно ругается Сандомирский».

«Мог бы и я совершенно публично обозвать Сандомирского «Недотепой Сидорычем», да не хочу...».

«Что опровергли вы, Г. Сандомирский, своим брехом?».

Дальше он называет Г. Сандомирского «помещиком» и «человеком с портфелем». Последний персонаж, выведенный в пьесе Файко, был, как известно, уголовным типом.

Можно ли утверждать, что П. Замойский лишен «боевого» духа? Нельзя, конечно. Но можно ли на одном этом основании считать Замойского «критиком»? Тоже нельзя. Ему не хватает тех именно свойств, которые уличного крикуна превращают в литератора; недостаточно дать человеку в руки «винтовку», чтобы получить «бойца». Надо его обучить владеть винтовкой. Именно обращаться со своим инструментом Замойский не научился. В этом беда и заключается. Нельзя поэтому игнорировать директиву: «учиться и давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде».

Напомним:

«Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое и д е й н о е превосходство».

Но «идейное» превосходство обратно пропорционально количеству бранных слов, употребляемых «критиком».

Таково эмпирическое наблюдение, на котором я буду настаивать.

Здесь и заключена причина, почему ругань, злоба, затрешины, инсинуации были характерны для «желтой» буль-

варной прессы. Но бульварная пресса никогда и не претендовала на «идейное» превосходство.

III

Раз речь зашла о «желтой» прессе, нельзя миновать и этой опасности. Она цветет на ряду с давлением мелкобуржуазных, мещанских, кулацких и иных настроений.

Газета «Чип» в одном из последних своих номеров (48) обратила на это внимание — по адресу «Вечерней Москвы», которая пером некоего псевдонима грязно коснулась лица этой газеты. Вот что жирным шрифтом писал «Чип»:

«Надо ударить по рукам молодчиков, воскрешающих худшие приемы желтой прессы времен пропперовской биржевки!».

Несколькими строками ранее «Чип» говорил «о каком-то развязном человеке», скрывшемся под псевдонимом, который сравнивает советскую литературную газету с скверным анекдотом.

Я не был ни усердным читателем, ни почитателем «Чипа». Но справедливость требует заметить: что правда, то правда! В своем «благородном» негодовании «Чип» был прав.

IV

С той поры прошло несколько месяцев,—а «Васька слушает, да ест». По-прежнему подвизаются на страницах этой газеты анонимы и псевдонимы, которые, пользуясь тем, что лицо их прикрыто передником (никто не узнает!), проявляют резвость рук и ног.

Вспомнилось негодование «Чипа», когда я читал статью Сергея Рыльского. Имя это встречается впервые на страницах «Вечерней Москвы». Приемы, с какими сделан его последний фельетон «Сильнее натиск», мало чем отличаются от приемов того «развязного молодчика», которого предлагал ударить по рукам т. Розенталь, тогдашний редактор «Чипа».

А «боевого» духа и у Сергея Рыльского сколько угодно. Но грамотно-

сти не больше, чем у Замойского. Не Замойский ли, в самом деле, прикрылся именем Сергея Рыльского?

У него свалены в кучу кто попало: Иван Новиков, Пильняк и Николай Клюев, и автор этих строк. Безответственно, под сенсационными заголовками, он бросает обвинение автору этих строк в том, что он «стирает грани» между «попутчиками» и сдает принципиальные позиции в борьбе за гегемонию пролетарской идеологии, «смазывает четкую классовую линию» и так далее, и так далее. Смысл статьи, на которую он ссылается, им извращен. Но он уверен, что читатель «Вечерней Москвы» не станет его проверять, поверит на слово. Чего церемониться!

Он упрекает при этом неизвестного Сергея Городецкого в том, что последний осмелился протестовать против «диктатуры редакторов-коммунистов».

Но ведь Сергей Рыльский делает то же самое, что и Сергей Городецкий. Только последний выступал в закрытом собрании «Красной Нови», а он, Рыльский, клеветает на редактора-коммуниста в широчайшей аудитории «Вечерней Москвы». Сергей Рыльский доводит до сведения «вечорочного» читателя, что Полонский, редактор «Н. Мира», обозначает «прорыв» в «наших собственных рядах»

Пишу это не потому, что протестую против «критики». Напротив: критикую я и требую. Но ведь никакой критики у Рыльских нет. Претенциозное и самодовольное чванство, набор словечек, списанных у Керженцева, у Фриче, одобренных водичкой развязности, снабженных сенсационными заголовками («Борис Пильняк болен! Против редакторов-коммунистов! Прорыв в наших рядах!», и т. д.).

V

Я вообще затрудняюсь определить жанр, к какому отнести статью Рыльского. В ней имеется такое место:

«Я не знаю, можно ли говорить о личном, и н т и м ном, что связано с большим и коллективным, но, следя за Пильняком на двух-трех совместных

встречах украинских и русских писателей, я видел, я чувствовал, я знал, что Пильняк — чужой среди нас».

Можно ли считать критическими приемами те «интимности», которые выносит Сергей Рыльский в аудиторию «Вечорки»? Он мог «следить» за Пильняком, он десять тысяч раз мог «видеть, чувствовать, знать», что Пильняк — чужой среди нас, и так далее, и тому подобное, но почему об этом своем «личном, интимном» он должен говорить в газете? Какое до этих «интимностей» дело читателю? Кого эти «личные, интимные» вещи убедят? Да и можно ли с их помощью убеждать? Нет разве других, более подходящих способов? Ведь если Рыльский пойдет таким путем, он докатится до розановщины. Именно В. В. Розанов стал вводить в литературу «личное, интимное». Зато он и относился к литературе по своему, по-розановски. И не было революционера, который не относился бы к розановщине отрицательно. Но возникает откуда-то из тьмы небытия никому неведомый Сергей Рыльский и начинают щебетать розановские песенки, и пытаются ввести в обиход вечерней газеты этакое интимничанье с читателем. Этого еще недоставало!

VI

В статье имеются перлы, не уступающие алмантам, обнаруженным нами в статье П. Замойского (см. книгу вторую «Нового Мира»). Вот что пишет Рыльский.

«Если мы перейдем от вопросов творчества к вопросам писательской общественности, то здесь следует отметить ряд совещаний, которые прошли в литературных объединениях (собрание в Доме Герцена, в МК партии, в «Красной Нови», в «Кузнице»). Совещания выявили ряд фактов, свидетельствующих о несомненном наличии мелкобуржуазных, а подчас и кулацких настроений в писательской среде».

Во-первых: МК партии — не литературное объединение». Рыльский пишет не думая.

Во-вторых: что ж удивительного в том, что в мелкобуржуазной

писательской среде имеется наличие мелкобуржуазных настроений! Вот если бы эти настроения Рыльский обнаружил в Вапле, в «Кузнице», — другое дело. Не полагает ли он, подобно Замойскому, что мелкобуржуазный писатель не должен иметь идеологии, отличной от марксистской? Но тогда чем он отличается от Замойского?

Вот это претенциозное чванство Рыльских, не разбирающихся в том, что они пишут, и является одной из опасностей, вносящих «путаницу» в наше литературное движение. Не то опасно, что в мелкобуржуазной писательской среде наблюдается наличие мелкобуржуазных настроений. Плохо то, что мелкобуржуазные писатели отходят от революции, поворачиваются к революции спиной, поддаются настроениям мешанским, правым и т. п. Есть ведь мелкобуржуазность революционная (попутчики) и реакционная. А Сергею Рыльскому на это — наплевать. Обнаружив наличие мелкобуржуазных настроений вообще, он бьет тревогу.

При этом он ведет тонкую «политику!» В статье, где больше, чем это необходимо, он «напирает» на «Новый Мир» (прихватив для комплекта «Известия» и «Красную Ниву»), — он ни словом не обмолвился о «Красной Нови». Все почти наши журналы единодушно отмечают настоящий «прорыв» фронта именно на страницах этого журнала, — а Рыльский изо всех сил старается этот именно прорыв скрыть, затушевать, замазать, обойти молчанием. Не потому ли он и напирает на «Новый Мир», чтобы отвести глаза? А вась не заметят! А вась пройдет!

Вот яркий образец того, как литературная политика, открытая и честная, подменяется политикамством, мелким и недостойным.

VII

Отметим мимоходом мелочь, по которой, однако, следует ударить.

Вот что писал В. М. Фриче про рассказ «Павлин» в № 3 журнала «Книга и Революция».

«Этот ликующий, упивающийся своим триумфом филин, — лающий и воющий, — это на эзоповском языке правого писателя — большевизм, пожравший пре-красное буржуазное прошлое».

А вот что читаем мы в статье Сергея Рыльского:

«Этот ликующий, упивающийся своим триумфом павлин, — лающий и воющий, — это на прозрачно символическом языке буржуазного писателя — большевизм, пожравший былую изысканную жизнь».

Если бы Рыльский не изменил несколько слов, мы сказали бы: это «цитата», лишь по рассеянности не сопровождаемая «кавычками» и указанием источника. Такие случаи встречаются даже у людей, именуемых се-

бя «учеными». Но Рыльский хочет, очевидно, один воспользоваться славой этого фантастического домысла. Он поэтому выписывает умозаключение Фриче, изменяет в нем несколько слов — и гордо подписывает свое имя. Означенная выписка, переставая быть цитатой, превращается в плагиат.

Если филин «сожрал» павлина, — то Сергей Рыльский обобрал В. М. Фриче.

Нехорошо!

Вводя такие нравы в «марксистскую критику», — чей «социальный заказ» выполняет Сергей Рыльский?

Он имеет при этом дерзость писать: «мы не добились еще «макулатуры и отсебятину в своих собственных рядах!»

Правильно, Сергей Рыльский!

2. СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Л. Тимофеев

I

Украинская литература до сих пор еще почти неизвестна русскому читателю. Мы не только не имеем представления о самом развитии ее, об основных ее направлениях, организациях, спорах и т. д., — мы даже не всегда знакомы и с главнейшими ее представителями¹⁾. Только в самое последнее время наши издательства приступили к более или менее систематическому выпуску украинской переводной литературы (Тычина, Головка, Панч, Слисаренко и др.), специальные серии «Украинские писатели в русских переводах» выпускают харьковские издательства «Пролетарий» и «Украинский рабочий», — но все же сделано в этой области пока еще очень немного. В своем недавнем обращении к писателям Украины федерация советских писателей справедливо отмечала:

«Русский читатель и писатель довольно хорошо осведомлен о литературе Западной Европы и Америки, он

имеет «удовольствие» читать произведения десятистепенных по своему удельному литературному весу французских, немецких, английских, американских писателей. Он снабжается зачастую самым низкопробным переводным чтивом, но о литературе народов, бок-о-бок с ним живущих, строящих одно здание социалистического общества, включенных в одну с русскими трудящимися экономическую и социальную цепь, он почти ничего не знает».

И до сих пор, как справедливо называют украинские критики, русские читатели и даже критики не могут еще «отрешиться от почти анекдотического подхода к ней, как к литературе «областной», которая повторяет с запозданием на полчаса все зады российской столичной литературы» (А. Лейтес). Между тем, если и раньше можно было говорить о несомненном самостоятельном развитии украинской литературы, — стоит хотя бы указать на то, что символизм появляется на Украине раньше, чем в России, в лице, например, «батька украинского модернизму» М. Вороного и Ольги Кобылянской, то теперь, после Октября-

¹⁾ В связи с этим настоящая статья ставит себе чисто информационные задачи и не предполагает давать сколько-нибудь углубленного анализа процессов, протекающих сейчас в украинской литературе.

ской революции, украинская литература, несомненно, находится в начале несомненного и большого расцвета¹⁾.

После полного застоя во время войны 1914 года украинская литература за годы революции, опираясь на классы, вышедшие теперь на историческую арену, дает образец быстрого и бурного роста. Если до Октября украинская лирика находилась в эмбриональном состоянии, то теперь она, по мнению М. Степняка, дала более ценную продукцию, чем русская (творчество П. Тычины и В. Сосюры). «В то время как для русской литературы еще не кончилось идеологическое бездорожье, и там сейчас больше литературных споров, чем литературного дела, больше деклараций, чем достижений, а проблема «попутчиков» ширится и растет, — писал А. Лейтес в 1925 г., — в это время на Украине проблема литературных попутчиков становится пустой проблемой, так как, с одной стороны, все, что есть ценного в современной украинской литературе, стало на широкий путь революционного октябрьского творчества, и, с другой стороны, пролетарские писатели на Украине идут дорогой художественного мастерства и технических достижений. В этом направлении украинская поэзия переняла русскую, и знакомство с сегодняшней украинской литературой становится существенным не только теоретически, но и практически для русского писателя. Особенно пролетарским писателям России не мешало бы ориентироваться на практические достижения украинской художественной литературы после октябрьского времени и расцвета». («Ренессанс укр. літ.», ДВУ. 1925).

Если, однако, и не увлекаться вопросом «кто кого», то все же следует подчеркнуть несомненные успехи, достигнутые украинской литературой за последние годы. В своем развитии она идет, хотя и по чрезвычайно близким

и родственным нашей литературе, но все же самостоятельным путем; она обладает своим материалом, своими способами его разработки, — у ней свои исторические задачи. Естественно, что специфические особенности украинской литературы отчасти вызваны ее молодостью. Отсутствие большой литературной традиции, необходимость напряженной работы в области разработки литературного языка после того, как он в течение долгого времени находился под тяжеловесным прессом руссификации, вопрос об отношении к литературам более зрелым и — в первую голову — к литературе русской и т. п. — все это придает ей своеобразный характер, несколько напоминающий — внешне — тот период, который пережила русская литература в XVIII веке. Отсутствие до последнего времени общепринятых правил правописания, всевозможные искажения (в особенности руссизмы), заполняющие литературный украинский язык до сих пор, точно так же, как и споры вокруг этих искажений (им в свое время была посвящена специальная работа проф. Сулиммы, зачитанная в виде доклада на съезде пролетарских писателей Украины в 1927 г.), — все это невольно заставляет вспомнить почти аналогичные споры у нас («бывало ли от начала мира в каком-нибудь народе такое в писании скредство, какого мы ныне дожили!» — восклицал в свое время Сумароков).

Но, конечно, одним из основных вопросов, всколыхнувших не так давно всю литературную и даже не только литературную Украину, явился спор на тему «Европа чи Росія», спор о том, у кого учиться литературному мастерству украинским писателям — у западной литературы или у русской. Возникшая в связи с этим дискуссия¹⁾, начавшаяся в 1925 г. и дотянувшаяся до 1928 г., имела очень большое значение для украинской литературы. В связи с этим на ней — хотя бы и бегло — приходится несколько задержаться. Сама

¹⁾ Об этом говорят и чисто внешние данные; достаточно указать, что в 1928 г. на Украине (при наличии бумажного кризиса) было выпущено книг: 246 названий классиков, 169 переводных и 449 новых названий новых украинских авторов.

¹⁾ См. о ней интересную книгу Андр. Хвыли: «Ясною дорогою» И. В. Коваленко: «В боротьбі за пролет. літературу». ВУСП. 1928. ДВУ. 1927.

по себе дискуссия эта развернулась очень широко и охватила большой круг вопросов¹⁾, так что детальное ее рассмотрение потребовало бы слишком много времени и места, но основное в ней следует подчеркнуть. Возникшая бурная полемика выявила очень серьезный национально-шовинистический уклон у многих весьма крупных украинских писателей (М. Хвылевой, напр.), выразившийся, с одной стороны, в резких нападках на русскую литературу и на Россию вообще («Москва — центр всесоюзного мешанства»), а с другой — в проповеди своеобразного украинского «мессианизма»:

«Как раз из юго-восточной республики коммун, как раз из советской Украины и пойдет то новое искусство, которого так ждет Европа... Это искусство первого периода азиатского ренессанса; с Украины оно должно перекинуться во все части света» (Хвылевой). Это любопытное украинофильство (которое А. Хвыля в «Яся дор.» справедливо сближал со славянофильством), вскрывшееся благодаря дискуссии, вызвало очень большие и острые споры (вплоть до вмешательства ЦК КП(б)У) и закончилось тем, что главные его представители вынуждены были признать свои ошибки²⁾. В то же время дискуссия, имевшая и положительную сторону, заключавшуюся в том, что она выделила значение работы над художественной формой, значение литературного мастерства и необходимость учиться этому мастерству, — несколько изменила ту радужную картину, которая рисовалась украинским критикам (см. цитированного выше А. Лейтеса), считавшим, что «проблема топучиков на Украине становится пустой проблемой», — и показала, что и там имеются определенные социальные условия, создаю-

щие основу для выступлений как теоретических, так и практических³⁾.

«Именно благодаря дискуссии отчетливо наметилась и та, может быть, основная, предпосылка, которая стоит перед современной украинской литературой и которую с большой четкостью выделяет, напр., А. Хвыля: «Положение новой революционной украинской литературы, — говорит он, — значительно труднее, чем русской... Она не имеет под собой широкой базы национального пролетариата, который пользуется украинским языком, как культурным орудием, и в этом отношении перспективы для создания украинской пролетарской литературы значительно хуже».

Тем не менее, современная продукция украинских писателей позволяет сказать, что и эта трудность постепенно ими преодолевается.

II

В первый раз за всю историю Украины перед ее литературой открываются почти неограниченные возможности; она действительно растет не по дням, а по часам, несмотря на исключительно тяжелые условия своего существования в первые годы революции. Украинская советская литература в первое же десятилетие своей жизни и по широте и разнообразию своего содержания, и по степени овладения техникой художественного слова несомненно превысила достижения дореволюционной литературы. Опираясь на исключительно мощную социальную базу, дающую ей все более и более широкое и глубокое содержание, украинская литература выходит на большую дорогу. Несомненно, что областью, в которой она сделала наибольшие успехи, является лирика. Именно в отношении к ней с наибольшим основанием можно говорить о рас-

¹⁾ Достаточно указать хотя бы на то, что выпущенная недавно институтом Т. Шевченко далеко не полная хрестоматия статей и вообще всякого рода выступлений, посвященных этой дискуссии, насчитывает 378 страниц — «Шляхи розвитку української пролетарської літератури. Літературна дискусія (1925—1928)». Вид. «Укр. Работн.» 1928.

²⁾ См. письмо М. Хвылевого в «Червоний Шлях», 1928, № 4.

³⁾ Ср., напр., «Третью революцию» В. Подмогильного, в которой украинские критики не без оснований увидели «романтику махновщины», не говоря о прекратившей уже свое существование «Вольной Академии Пролетарской литературы» — «Валпите», — явившейся цитаделью правого крыла украинских писателей.

цвете, именно здесь выдвинулись поэты очень крупного масштаба. Украинская поэзия создавалась под знаком гражданской войны, в которой украинские поэты принимали непосредственное участие. Писатели первой генерации пролетарской литературы — Чумак, В. Эллан (Блаkitный), Михайличенко, Зальвчий — в такой же мере являлись писателями, как и политическими деятелями. Если представитель дореволюционной украинской литературы — видный поэт-модернист Гр. Чупрынка был расстрелян за участие в контрреволюционном восстании, то первые пролетарские писатели — Гнат Михайличенко, В. Чумак, А. Зальвчий — погибли в борьбе с Деникиным и гетманцами. Гражданская война стала одной из основных тем новой украинской поэзии. Именно она развернулась в творчестве одного из украинских современных поэтов — бывшего донецкого шахтера и червоноармейца — В. Сосюры (род. 1898). Его лирика, как справедливо говорит о нем проф. Белецкий, дает наиболее типический образец революционной украинской поэзии. В его творчестве с особой силой выражена массовая психология первых лет революции, и в этом его непреходящее значение. Чрезвычайная искренность его поэзии, импрессионистичной, ярко образной (в этом отношении его сближают с имажинистами), и в то же время очень простой (достаточно указать, что он особенно охотно культивирует такой, казалось бы, устаревший размер, как шестистопный ямб, — см., напр., его поэму «Червона зима» и др.), несомненное поэтическое мастерство и большая социальная значимость его основных мотивов — все это делает его одной из наиболее ярких фигур современной украинской поэзии. Однако, необходимо отметить, что его последние стихи вызвали опасение украинских критиков, которые отмечали некоторый кризис в его поэтическом творчестве¹⁾. Революция уже «отзвонила давно», переключения же на новое содержание у Сосюры еще не произошло; отсюда

мотивы упадочного характера, которые появились у него в последний период:

І нікому тепер не молюся я,
Й запеклася на серці печаль...

В его поэзии появляется нездоровый «уклон» к эротике, экзотике, выдвигаются даже мотивы самоубийства... Тем не менее, та «зарядка», которая чувствовалась в первом периоде его творчества, служит порукой, что кризис этот временный, а помещенная в журнале «Гарт» (1928, №№ 6, 7, 8, 9) поэма «ГПУ», несмотря на ее романтический и местами даже мелодраматический характер, показывает, что здоровые элементы его поэзии возобладали. В творчестве В. Сосюры в особенности следует отметить поэмы «Червона зима», «Осінні зорі», «Оксана» и др., написанные в своеобразном «лиро-эпическом» стиле и дающие образец блестящего и романтического октябрьского фронтового эпоса:

Україну з краю в край проходили з боями...
Червоно танув сніг в пожежах барикад...

І громом молодим котилося над нами,
Лунало по лавах: «Вперед за Владу Радь»...

Особенностью В. Сосюры является чрезвычайная непосредственность его творчества («у Сосюри стихийный лиричный талант; великий и розхристанний» — пишет Лейтес).

В этом отношении резко противостоит ему «премьер» украинской лирики (известный уже и русскому читателю, в большинстве по скверным переводам, выпущенным недавно под редакцией А. Гатова) П. Тычина (род. 1891), поэзия которого характеризуется исключительно высокой внешней организованностью и большой внутренней сложностью. «Украинская критика отвела ему первое место на современном украинском Парнасе, и его собратья по перу признают, что великие предшественники поэта — Шевченко, Франко, Леся Украинка — в техническом отношении не могут с ним равняться» (Белецкий). Но дело здесь не только в технике — дело в том, что П. Тычина, как это подчеркивает Юриец, является «наиболее идейным творцом эпохи».

«Это не Тычина говорит, а весь сложный, трагический, многоцветный, противоречивый, полный мук, катастроф, страданий, побед изумительный про-

¹⁾ См., например, его сборник: «Коли задвигать акації», — с ярко выраженным влиянием Есенина.

цесс, который называется революционным освобождением украинского народа. Анализ Тычины — это анализ того, что мы есть, откуда вышли и куда идем. Такой трактовки требует и сам Тычина, который осознал свою значительную роль в словах:

За всіх скажу, за всіх переболію
Я кожен час на звіг іду, на суд.
Глибинами не встану, не змілію,
Верхівлями розкритолено росту...

Он охватывает такие грандиозные циклы проблем, которые редко кому снились в нашей литературе. Начиная с пифагорейской музыки СФСР, через солнечную жизнь органического мира, примитивные первичные тревоги чело- века и его интимный мир на высоких ступенях развития и кончая мощными аккордами исторического процесса — вот тот широкий дантовский мир, через который прошел Тычина, то с м у к а м и б о л и, ожидания, то с меланхолически-теплой грустью воспоминаний, то с безумными воплями отчаяния, гневными тучами негодования, радостным триумфом победы» (Юринец).

Эта несколько затянувшаяся цитата очень показательна для характеристики отношения украинских критиков к Тычине — этой «гордости и надежде украинской литературы» (В. Коряк). И нужно сказать, что основания для такого отношения безусловно имеются. Значение Тычины, несомненно, выходит из чисто украинских рамок: ряд переводов его стихов и статей о нем появился за последние годы не только в русской, но и в иностранной литературе; этот интерес к нему вполне заслужен, — и глубокое содержание и высокое мастерство его иногда исключительно музыкального стиха¹⁾ делают его действительно чрезвычайно интересным поэтом современной Украины.

«Когда читаешь Тычину, начинаешь понимать, как глубоко ошибаются те, кто рассматривает украинский язык как язык неуклюжий и тяжелый. Чудесные тайны этого языка, гибкость и благозвучность, которые мы начали забывать после Т. Шевченко, снова

раскрываются в стихах Тычины» — пишет А. Лейтес.

Творческий путь П. Тычины очень сложен, его поэтическая деятельность, начавшаяся еще в 1910 г., протекала первоначально под знаком символизма и отчасти футуризма, и в этой плоскости он, по существу, являлся по-этом чисто индивидуалистическим. Только Октябрьская революция насыщает его творчество общественными мотивами, и только после нее оно развертывается и расцветает. Первоначально его отношение к революции не выходит за пределы несколько стороннего ее восприятия, как стихийного бедствия, вызывающего сострадание и скорбь:

Всіх їх розстріляли,
Всіх пороздягали,
В вічі їм сміяли,
Били їм чолом.
Випала ж зима.
Всім тепер вам воля,
Врізали ж вам поля,
В головах тополя,
А голів нема...

Таков же цикл его стихов «Скорбна мати»:

Проходила по полю —
Зелене зеленіе...
Навустріч учні Сина:
Возрадуйся, Маріє!

Возрадуйся, Маріє!
Шукаємо Ісуса.
Скажи, як нам простіше
Пройти до Емауса?

Звела Марія руки,
Безкровні, як лілеї:
Не до Юдеї шлях вам,
Вертайте й з Галілеї.

Христос воскрес? — Не чула,
Не відаю, не знаю.
Не будь ніколи раю
У цім кривавім краю...

И дальше:

Ідіте на Україну,
Заходьте в кожну хату —
Ачей вам там покажуть
Хоч тинь його расп'яту.

Это отношение к революции мало-помалу заменяется у Тычины все более глубоким ее восприятием, — достаточно назвать такие вещи, как: «В космичному оркестрі», «Харків», «Фуга», «Псалом Залізу! (железу)», «Вітер з України»:

Нікого так я не люблю,
Як вітра вітровиння.

¹⁾ Ср., напр., Ф. Майфет «Матеріали для характеристики творчості П. Тычины», ДВУ. 1926.

Чортів вітер! Проклятий вітер!
 ...Регоче вітер з України!
 Вітер з України!
 Кріз шкельця Захід, мов з-за ґрат:
 То похід звіря, звіря чи людини?
 Регоче вітер з України!
 Вітер з України!
 Чортів вітер! Проклятий вітер!
 Він корчувату голову з Дніпра:
 Не ждїть, пань, добра
 Даремна гра!
 Ах!
 Нікого так я не люблю,
 Як вітра вітровиня,
 Його шляхи, його боління,
 І землю,
 Землю свою.

Уже из этих примеров (трудно отказать себе в удовольствии цитировать Тычину), даже при незнании украинского языка, легко заметить, с какой сильной поэтической индивидуальностью имеем мы дело в лице Тычины. Именно поэтому его так трудно переводить, так как сохранить в переводе всю музыкальность его стиха почти невозможно, а между тем, именно она является одним из существеннейших элементов его творчества. В то же время совершенно очевидно, что именно благодаря Октябрьской революции, благодаря тому глубокому содержанию, которое вложено ею в творчество Тычины, получило оно тот размах и ту глубину, которые так или иначе должны констатировать всякий исследователь и критик.

Как Сосюра, так и Тычина имеют очень большое влияние на поэтическую молодежь Украины, среди которой существует весьма большое количество т. н. «тычинят» и «сосюрят». Третьим — точно также послеоктябрьского, революционного периода — поэтом, сложившимся уже в определенную величину, является В. Полищук (род. 1897), представляющий, несомненно, очень своеобразную фигуру украинской литературы. Его можно сближать с русскими конструктивистами: и его тематика, стремящаяся отражать «динамику эпохи», и его культ «индустриальной поэзии», и его формальное новаторство — «верлибризм» — все это до некоторой степени роднит его с указанной поэтической группой. Это родство, — как легко мог бы показать соответствующий анализ, — объясняется

тем, что творчество В. Полищука опирается на ту же социальную базу, которая выдвинула и русский конструктивизм. Чрезвычайно яркой особенностью Полищука является его образность, которая позволяет некоторым критикам вообще относить его к имажинистам, что, конечно, имеет только чисто внешние основания, поскольку основное устремление творчества Полищука — чрезвычайно жизнерадостное, современное и имеющее глубокие социальные корни — в основном никоим образом не может быть сближено с этой упадочнической школой.

Большой темперамент, широта поэтических интересов, исключительная плодovitость и, к сожалению, слабо развитая «самокритика», связанная с несколько ослабленным чувством поэтического такта и вкуса, наконец, формальное своеобразие (свободный стих, иногда, впрочем, сбивающийся на простой вольный ямб) — основные особенности Полищука. Как писатель, он чрезвычайно разносторонен и разнообразен, что, естественно, определяет некоторую расплывчатость его поэтического облика: «Хотя полное собрание его сочинений составило бы несколько томов, хотя в этом году (1928) исполнилось уже десятилетие литературной деятельности Полищука, хотя его поэму («Ленин») учат в школах, литературное лицо поэта до сих пор еще не вполне четко. Он брался решительно за все жанры и темы. Писал и научные стихи, и философские, и революционные, и производственные, и сверхлирические, и даже эротические, близкие к порнографии; писал рассказы и юморески, всюду показывая литературные способности, но ни в одном жанре не добился совершенства: на одиннадцатом году своей деятельности он все еще остается, как и раньше, потенциально-талантливым, многообещающим, но все еще начинающим поэтом. Причина этого — не отсутствие подлинного таланта: чрезвычайно мягкое отношение к себе, больше того, любование каждым своим шагом — вот что тормозит нормальный темп развития творчества Полищука. Всякий поэт любит свои произведения, — свой лирический днев-

ник, — как человек, но, как художник. Он обязан ненавидеть свое произведение, уже написанное, чтобы стремиться к лучшему. Этого чувства Полищук не знает; у него целиком отсутствует самокритика» (Степняк).

Недостаток места не позволяет остановиться на творчестве и других современных поэтов Украины. Не говоря уже о таком крупном поэте, как М. Рыльский (1895), высокое формальное мастерство которого не насыщено, к сожалению, современным содержанием (он принадлежит к числу «неоклассиков», образующих правое крыло украинской литературы) и который все же относится к числу поэтов, которые формировались еще до революции, не говоря о Д. Загале¹⁾ (одном из виднейших украинских символистов), точно так же относящемся к дореволюционному поэтическому поколению, и других уже законченных поэтах, — сейчас на Украине выдвинулся ряд очень обещающих молодых поэтов (Бажан, Терещенко, Нат. Забила, М. Доленго и др.), являющихся несомненными литературными величинами. Довольно солидно представлен на Украине и футуризм («панфутуризм») во главе с М. Семенко, о котором ниже. Таким образом, в лице отдельных своих выдающихся представителей и в лице растущей своей молодежи украинская поэзия достигла очень многого. Но она находится на пути к еще большим достижениям. Трудно наметить сейчас те или иные социальные «водоразделы» для украинской лирики — слишком многое там еще не оформилось и не дифференцировалось, многое из того, что у нас уже стало попутническим, на Украине не так давно считалось еще пролетарским, но тот факт, что основное содержание украинской поэзии определено революцией, что основная масса ее авторов примыкает именно к революционным литературным группировкам («Гарт», теперь «ВУСПП»), — говорит за то, что результаты этой дифференцировки мо-

гут быть только благоприятны для новой украинской литературы. Несомненно, конечно, что поэзия Украины и — в первую голову — ее лирика стоят на самом высоком уровне достижений украинской советской послереволюционной литературы, что вполне понятно, поскольку лирика, как малая литературная форма, скорее всего поддается овладению со стороны только еще формирующегося стиля. У Фохта (сб. «Литературоведение», ст. «Демон» Лермонтова, как явление стиля», стр. 125) есть очень интересное указание на то, что «в переломные моменты всякая общественная группа сказывается в художестве очень часто лирическими жанрами: новое бытие лишь начинает кристаллизоваться в сложных формах сознания, в процессе взаимодействия субъект заслоняет объект». В применении к украинской лирике это замечание звучит очень убедительно. Так или иначе, но украинская проза в значительно меньшей степени, чем лирика, может «похвастаться» своими достижениями, хотя и она, в особенности в последние годы, добилась крупных успехов. И если, как говорилось, социальный характер лирики Украины имеет еще несколько туманные черты, то в ее прозе уже с гораздо большей отчетливостью выступают те линии, по которым развертывается сейчас классовая борьба на Украине.

III

Украина по общепринятым представлениям является страной крестьянской; с другой стороны, не следует упускать из виду исключительного по своему темпу и размерам ее промышленного роста, наконец, несомненный рост украинской буржуазии. Все эти противоположные тенденции и определяют в основном характер украинской прозы. «В молекулярных процессах нашего общества, — пишет А. Хвьяля («Критика», 1928, № 1), — мы наблюдаем нарастание противоречий. На двух полюсах образуются враждебные силы — пролетариата и буржуазии. И националистическая украинская буржуазия протягивает свои когти

¹⁾ Д. Загал выступает также как историк литературы, теоретик (см. его «Поэтику», К. 1923), критик и прекрасный переводчик (перевод «Фауста», недавно вышедший «Вибір німецьких баллад» и др.).

во всех направлениях. Украинская буржуазия хочет использовать трибуну украинской литературы для борьбы против пролетариата... Наша молодая украинская литература может сбиться в сторону разными путями. Один — это спрятаться от сегодняшних бурь под тогу неоклассицизма, который по сути своих социальных позиций враждебен пролетариату справа. Другой — подчиниться настроениям упадочничества, порнографии, выявлению лишь темных явлений нашего времени с немарксистскими, неверными обобщениями. Третий — удовлетвориться достижениями, перестать искать и топтаться на одном месте. И четвертый — кинуться в объятия националистической романтики». Эти опасности серьезны, — об этом говорит и тот несомненный удельный вес, который еще имеет отталкивающаяся от современности группа «неоклассиков» во главе с М. Рыльским (Зеров, Филиппович, В. Кобылянский), и в особенности рост так называемой «ефремовщины», культивирующей националистические настроения и с этой точки зрения подходящей к литературе (Копыленко¹), Сенченко и др.), наличие «крестьянствующей» литературы (Подмогильный — «Третья революция») и всякого рода уклоны, напр., роман «Вальдшнепы» Хвылевого, от которого он сам (в указанном письме в «Черв. шлях») отказался («Конец своего романа «Вальдшнепы» я уничтожил и, уничтожив, думаю только о том, чтобы хоть отчасти смыть с себя пятно, которое загрязнило мое партийное и литературное имя»). «В литературе, — пишет А. Хвыля, — с особенной ясностью обозначились два лагеря, две линии. Одна — это линия национализма, буржуазного упадочничества во всех его формах, другая — это чисто советская пролетарская линия современности». И основным для украинской прозы нужно считать как раз возрастающее значение именно этой второй линии. Это сказывается в двух особенно отчетливых проявлениях — в тематическом и формальном. С одной

стороны, все большее место в творчестве украинских писателей занимают произведения на темы индустриального порядка (Л. Первомайский, Л. Скрыпник, В. Кузьмич и др.), посвященные изображению рабочего быта (Панч, Микитенко, И. Ле и др.) и т. п., в то время как в первые годы тематика украинских писателей носила в подавляющем большинстве крестьянский характер; с другой стороны, украинские писатели переходят к крупному повествовательному жанру взамен господствовавших в первые годы мелких жанров — от новеллы к роману. За последнее время появился ряд крупных произведений украинских авторов (Головко — «Бурьян», «Три брата», Досвитный — «Американцы», Смолич, Лисовой, Подмогильный и др.), отчасти уже известных русскому читателю. Здесь как раз отчетливее всего видно, что украинская проза в основной своей линии определенно идет вверх, неизменно усиливаясь и совершенствуясь как в области углубления своего социального содержания, так и в области художественных достижений.

Если говорить об отдельных авторах, то центральной фигурой украинской прозы следует признать М. Хвылевого (род. 1893). О нем можно было бы говорить и как о поэте: свою литературную деятельность он начинал как пролетарский поэт:

Я из жовтоблакиття перший
На фабричний димар злиз —

не без основания говорит он о себе в одном из ранних своих стихотворений. Несмотря, однако, на несомненную ценность его стихов («Досвітні симфонії», «В електричний вік», «Поема моєї сестри»), основное его значение в прозе, к которой он перешел еще в 1922 г. («Сині етюди»).

«Хвылевый в своей прозе представляется подлинным реформатором, может быть, даже революционером, который смело врет... традиции и шаблоны украинской литературы» (Дорошкевич).

На ряду с очень глубоким психологизмом, с анализом настроений «пролетария-коммуниста в условиях

¹ См. о нем ст. Якубовского — «Критика» 1928, № 9.

украинского напа, в условиях войны с поднимающим голову физическим и духовным мещанством» (Лейтес) и с очень большой дозой революционной романтики, Хвильевой интересен еще совсем новой для украинской литературы манерой письма, которая — не смотря на несомненную близость к манере А. Белого и Пильняка — является очень интересной и своеобразной. Как уже говорилось, последний период творчества Хвильевого характеризовался очень серьезным правым уклоном и большим влиянием на него «неоклассиков», в связи с участием в работе «Валлите», что в плоскости теоретической довело его до проповеди украинского мессианизма, а в практической — до романа «Вальдшнепы», где изображается эволюция коммунистической романтики к романтике националистической и где, по замечанию А. Хвильи, выявились некоторые элементы украинского фашизма. Упомянувшееся уже письмо Хвильевого говорит о резком переломе в его взглядах и позволяет думать, что дальнейшая его литературная работа пойдет по более правильной дороге. Последние годы выдвинули ряд несомненно крупных авторов, отчасти уже знакомых русскому читателю; среди попутнической литературы особенно интересным является творчество В. Подмогильного («Третья революция», сб. «Проблема хлеба» и др.), у которого замечается тенденция противопоставления деревни городу, крестьянства — рабочему классу. Очень интересными авторами являются Головки, тематика которого имеет крестьянский характер («Бурьян», напр.), Досвитный, Слисаренко¹⁾, Панч²⁾, «Голубые эшелоны» которого недавно переведены на русский язык, Гр. Эпик и ряд других; к сожалению, место не позволяет остановиться на них подробно. Для русского читателя, между прочим, в украинской литературе очень интересным является еще и новый ее материал, который

украинские писатели черпают в тех своеобразных условиях гражданской войны, которыми особенно характерна Украина (Подмогильный, Панч и др.).

Оживление украинской литературной жизни сказывается и в области организационной — в образовании ряда литературных группировок. Не говоря об основной литературной организации пролетарских писателей (ВУСПП), на Украине широко развертывает свою работу группа крестьянских писателей «Плуг» и ряд других группировок — «Молодняк», «Западная Украина», «Марс», «Укрліф» — организация украинских футуристов (Семенко, Юкуруный и др.). Украинские футуристы («Панфутуристы»), группирующиеся вокруг журнала «Новая генерация», представляют собою очень сплоченную и активную группу. Как и русские футуристы, они до революции являлись типичной организацией литературной богемы. Вождь украинских футуристов М. Семенко (1892) начинал свою деятельность как подражатель символистов («Prélude»), а позднее пытался «украинизировать» словотворческие опыты Крученых (сборники «Кверофутуризм», «Дерзания»), где давал такие, напр., образцы новой поэзии:

в и с т і к
п і к к
н у п
л ь о л і л ь о п

и выбрасывал Т. Шевченко «за борт парохода современности» («Бремя превратило титана в ничемного лилипута... как я могу почтительно относиться к Шевченко, если я вижу, что он у меня под ногами»).

Как и русские футуристы, украинские футуристы чрезвычайно тесно связались с революцией, стали «комфутами» и перешли к писанию «ревфутпоэм», «поэзофильм» и «каблпоэм», насыщенных всякого рода «бензинодымом». В качестве основного принципа «Аспанфут» (Ассоциация панфутуристов) выдвинул, как и Леф, принцип производственного искусства: «Аспанфут признает творчество лишь специального назначения для надобностей или научных или агитационно-пропагандистских...», «искусство есть

¹⁾ См. «Життя и Революція», 1927, № 9, Е. Кирилюк «Ол. Слисаренко».

²⁾ См. Черв. Шлях № 4, А. Музичка «Письменник радянських буднів і радянських свят» и «Критика» 1928, № 1, Т. Степовый «Творчість П. Панча».

средство, которое мы должны использовать для одной цели—для создания коммунистической культуры». Любопытной особенностью украинских футуристов является их стремление создать новую прозу, которая, по их мнению, должна вытеснить поэзию, как «тесно связанную своей фактурой с религиозным культом, благодаря чему она является реакционным фактором»... Несмотря на всякого рода «оригинальничания» плохого тона (см., напр., А. Чужий: «Ведмідь полює за сонцем», «Нова ген.» № 7, 1928, или его же «Мачх» № 4, и т. п.) и на непомерные претензии, вокруг «Новой генерации» объединены все же несомненно талантливые авторы (напр., Гео Шкурупій) и значение ее на Украине, несмотря на многие и серьезные недостатки, все же должно найти положительную оценку.

IV

В то время как украинские органы печати очень тщательно отражают нашу литературную жизнь, отводя большое место в своих библиографических отделах русской литературе, внимательно следя за нашими литературоведческими спорами и т. д. и т. д., в нашей печати мы чрезвычайно редко встретим отзыв о каком-нибудь украинском авторе и уж никогда не увидим систематического обзора украинской периодики и украинской критической и литературоведческой литературы. Литература же других национальных республик совсем не появляется на страницах нашей печати. В этом отношении украинская периодика значительно опередила нашу: она внимательно следит за союзной и иностранной литературой, не только давая статьи, посвященные отдельным западным авторам (Д. Конраду, Панаиту Истрати, Томасу Гарди и др.), и обзоры литератур (польской—«Критика», 1928, № 1, чешской—«Черв. Шлях», 1928, № 8, американской—«Черв. Шл.», 1928, № 9—10 и т. д.), но даже и обзоры иностранных журналов (см., напр., «Критика», 1928, № 8). Последние годы отмечены также буй-

ным ростом украинской журнальной продукции: «Гарт», «Молодняк», «Валіте», «Плужанин», «Нова генерація», «Зоря», «Західня Україна», «Червоний Шлях», «Критика», «Життя й Революція», отчасти «Україна» и «Етнографічний Вісник». Все эти журналы у нас совершенно неизвестны, а между тем, именно в них и сосредоточена литературная современность Украины. В них—вся продукция ее писателей, в них—ее критическая оценка, точно так же как и оценка текущей русской литературы, в них—полемика и споры по вопросам, интересующим и нас, наконец, в них и те основные литературоведческие проблемы, которые ставятся сейчас и у нас. Все это проходит мимо нас и совершенно нами не учитывается.

Аналогичным образом мы проходим мимо создающейся на наших глазах украинской науки о литературе, что влечет к двойным потерям: мы упускаем из виду тот новый материал, который дают украинские ученые, и, с другой стороны, они не получают со стороны русских литературоведов той оценки, которая могла бы облегчить их дальнейшую работу.

Между тем, в области изучения литературы сделано на Украине за эти годы очень много. В библиографическом обзоре украинской литературы и критики, сделанном на основе картотеки украинского отдела Центральной Научной Библиотеки в Одессе, помещенном в журнале «Україна», 1928, № 3, К. Копержинский указывает свыше 500 работ по литературоведению и критике, опубликованных на Украине за 1927 г. в журналах и отдельных изданиями (см. также его же обзор за 1926 г., 1927. «Укр.» № 3, и обзор ак. Крымского—«Записки історично-філологічного відділу У. А. Н.» кн. XVI, 1928). Уже одно количество этих работ (не все они, конечно, равны друг другу по качеству) говорит о чрезвычайно большой работе, которая проделана в этой области. Естественно, что основная ценность этих работ лежит в плоскости историко-литературной,—но и в области теории литературы украинские авторы дали ряд ра-

бот и по теоретической поэтике (напр., «Наука віршування» — Якубовского, «Теория поезії» — Гаевского, «Поэтика» — Загула и др.), по марксистской методологии литературы (П. Петренко — «Марксистский метод в литературоведении», Якубовский — «Социологический метод в литературе», Ковалевский — «Вопросы экономико-социального метода в литературе»); не все в этих работах приемлемо, не со всем в них можно согласиться, но вся беда в том, что у нас до сих пор вообще не было речи о том, соглашаться с ними или нет — по той простой причине, что они не входили в поле нашего зрения.

На этом и можно закончить беглый обзор современной украинской литературы. Как мы видели, бок-о-бок с нами существует и развивается с необычайной энергией чрезвычайно близкая по своему духу и по своим устремлениям, но все же своеобразная и идущая по самостоятельным путям литература.

Широкий размах этой литературы (как в отношении ее социальной насыщенности и значимости, так и в отношении индивидуальной одаренности наиболее ярких ее представителей), опирающейся на хорошо поставленную журналистику и на развивающуюся критику и науку о литературе, — и стремилась показать настоящая статья. С другой стороны, ее задачей являлось всячески подчеркнуть то недопустимое положение, в котором до сих пор находилось дело ознакомления русского читателя с украинской литературой. В этом отношении чрезвычайно большую роль сыграло недавнее посещение украинскими писателями Москвы, нарушившее тот непредумышленный «заговор молчания», который до сих пор господствовал у нас по отношению к украинской литературе. Остается только пожелать, чтобы результаты этого сдвига были реализованы как можно скорее и как можно энергичнее. Последствия этой реализации будут благотворными для обеих литератур.

3. „АТАМАНЩИНА“ МИХ. АЛЕКСЕЕВА ¹⁾

Арк. Глаголев

Первая крупная вещь Михаила Алексея, повесть-хроника «Большевики», вышедшая отдельным изданием еще в 1925 году, сделала имя ее автора известным довольно широким читательским массам. Повесть, посвященная гражданской войне, давала свежий и социально весьма ценный материал. Это были искренние и правдивые записи героической борьбы рабочих большевиков с белогвардейщиной, записи, сделанные непосредственным участием описываемых событий. «Большевики» нельзя было назвать чисто художественным произведением, это был скорее только своеобразный социальный документ. С художественной стороны эта вещь была далеко не лишена ряда недостатков, наблюдались стилистические штампы, некоторые образы

были бледны, местами ощущалась сильная художественная необработанность материала и т. п. Но это была еще только первая большая вещь молодого писателя, и художественные недостатки ее, естественно, Мих. Алексею легко прощались, тем более, что читатель, повторяем, воспринимал «Большевиков», главным образом, как общественный документ ¹⁾.

После «Большевиков» М. Алексеев выпустил еще ряд больших вещей: романы «Девятьсот семнадцатый», «Зеле-

¹⁾ Так расценивала «Большевиков» и критика, напр., Дм. Фурманов (см. его отзыв в № 2 «Печати и Революции» за 1926 г., стр. 219 — 220). Подчеркивая социальную значимость «Большевиков», Фурманов вместе с тем говорит, что «книжку Алексея нельзя назвать без оговорок художественным произведением — это не повесть, не роман, это революционная хроника». Фурманов отмечал ряд художественных недостатков вещи («язык местами сух и графаретен», «вет скучной от снов и любовных размышлений Фени», и т. д.

¹⁾ Мих. Алексеев. Атаманщина. Роман-хроника в 3-х частях. Изд. «Московский Рабочий». М. — Л. 1928. Стр. 488. Тир. 8.000 экз. Ц. 3 р. 50 к.

ная радуга» и недавно вышедший — «Атаманщина». Все они также посвящены гражданской войне. М. Алексеев, таким образом, задался целью дать широкое и подробное литературное изображение гражданской войны. Его вещи, собранные вместе, должны явиться как бы одной большой художественной эпопеей, своеобразной художественной энциклопедией, весьма разнообразно отображающей вооруженную борьбу рабочих большевиков за революцию.

Все это было бы очень хорошо, если бы только надлежащему осуществлению этих замыслов Мих. Алексеева не помешало одно обстоятельство весьма отрицательного свойства. Если «Большевики» еще не совсем отчетливо показывали, хочет ли их автор быть, главным образом, только простым, беспретенциозным «хроникером» или же он претендует и на «звание» художника слова, беллетриста, то вещи, следующие за «Большевиками», уже совершенно определенно показывают, что Мих. Алексеев желает, чтобы его рассматривали как беллетриста, как художника слова (характерны в этом отношении и подзаголовки этих произведений — роман). Но именно как художественное произведение, романы Мих. Алексеева оказываются весьма слабыми вещами. Качественный рост М. Алексеева, как художника, очень и очень отстает от количественного роста его литературной продукции (четыре вышеназванные вещи Алексеева заключают в себе почти полторы тысячи страниц). Быть может, М. Алексееву было бы гораздо лучше рассказать о всех тех событиях, участником которых он был лично, не в форме чисто беллетристических вещей, романов, а в виде обычных мемуаров, не претендующих на права словесного искусства. После «Большевиков» Алексееву следовало бы идти в своих произведениях не в сторону «беллетристики», а держать курс на мемуарный жанр. Пожалуй, во многом это было бы для Мих. Алексеева, как писателя, гораздо целесообразнее, ибо та художественно-слабая форма, в которую сейчас облечен богатый социальный мате-

риал, имевшийся в распоряжении Алексеева, не только не придает этому материалу большую выразительность (как это было бы при сколько-нибудь значительном художественном мастерстве писателя), но, наоборот, сильно понижает таковую. Плохая «беллетристика» совершенно «смазывает», заслоняет социально-общественное богатство используемого автором жизненного материала. «Беллетристика» Алексеева совершенно убивает его хронику. Так погибла, напр., «Зеленая радуга», от этого же литературно гибнет и «Атаманщина». Художественная беспомощность литературного мастерства Мих. Алексеева помешала ему создать художественную эпопею, посвященную гражданской войне.

В «Атаманщине» М. Алексеев хочет показать один из довольно значительных этапов гражданской войны в Сибири и Средней Азии в 1918 году, — борьбу с белой атаманщиной, с одним из наиболее характерным представителем последней — Анненковым. В распоряжении нашего автора находится богатый социальный материал. Рабочие большевики, революционные партизаны, крестьянство, казачество, киргизы, белый стан — таков предмет повествования Мих. Алексеева в «Атаманщине».

Роман изобилует множеством отдельных картин, сцен, эпизодов, в нем выведено не малое количество действующих лиц. Фигурируют в «Атаманщине» и исторически-реальные личности, как, например, Анненков, приводятся и различные, повидимому, подлинные, документы, присутствуют здесь и вымышленные персонажи, имеется в обильной дозе и лирика. Но все это в целом художественно обработано и оформленно весьма плохо, хотя некоторые из отдельных картин и сцен, сами по себе, и не лишены известной художественной выразительности¹⁾. В целом все эти отдельные картины, эпизоды и образы сцепляются не какой-либо внутренней художественной органикой, внутренней художественной «идеей»,

¹⁾ Напр., картина переправы вагонов через реку в гл. 2 ч. I. Но, к сожалению, этих художественно выразительных мест в романе крайне мало.

Единым целостным оригинальным творческим замыслом, — как это должно быть в истинном произведении словесного искусства, — а чисто внешними средствами, внешним описательством, внешним сюжетом, всевозможными шаблонами и штампами. Последние целиком заменяют собой внутреннюю характеристику и диалектику образов — этих главнейших элементов каждого подлинного произведения словесного искусства. Банальнейшие и тривиальнейшие штампы совершенно лишают большинство образов романа всякой художественной выразительности. Приведем некоторые примеры.

Вот образ одного из центральных действующих лиц «Атаманщины», продюссара Кулыгина, принужденного сменить продовольственные сметы и ведомости на винтовку и встать во главе красных партизанов, борющихся против анненковских банд. Автор хочет сделать облик Кулыгина психологически углубленным, хочет избежать художественного схематизма, но в распоряжении писателя нет надлежащих изобразительных средств, и он чисто внешним порядком использует здесь старые, банальные, до-нельзя «затрепаннине» стилистические штампы, которые, по существу, совершенно не вяжутся с намечающимся у читателя общим обликом этого персонажа. Автор, например, заставляет Кулыгина испытать и какое-то «почти мистическое настроение» (295) и почувствовать в себе какую-то возможность превращения в «лихого сказочника», готового «молоть всякий вздор про разных чудо-богатырей» (349), на странице 305 заставляет своего героя впасть в «эстетический столбняк», и т. п. Гомерических размеров применение штампованной банальщины достигает в изображении «сердечных переживаний» Кулыгина. Трафареты тривиальнейшей, переходящей в антихудожественную пошлость любовной стилистики щедро используются Алексеевым для обрисовки взаимоотношений Кулыгина с другими персонажами романа — Зиной и Лебекуром — для композиционного скрепления этих трех центральных фигур повествования. Любовный шаблон, коим

автор стремится заполнить внутреннюю пустошь романа, превращает образы Кулыгина, Зины и отчасти Лебекура в каких-то банальных героев мещанской беллетристики.

«И снова Зина, как живая, обнаженная, манящая, лежит перед ним: тянется к нему западными своих объятий... гремит по жилам кровь» (373).

«Но разве он создан для любви? Нет, нет, таким людям нельзя любить» — мысленно вскрикнул Кулыгин, представляя рядом с большеголовым Лебекуром ее, светловолосую, с глазами, как две черешни в сливках, задорную и женственную...» (374).

«...Светлокудрая манящая головка то здесь, среди сияющих звездных россыпей, то там, у черных холмов, на миг появлялась, чтобы укором взглянуть в глаза его, и снова таяла в ночной синеве, будто утренний туман над рекой...

Глаза черные... Зинины глаза. У нее рука, как жаркий цветок...

...Зина стала вдруг дорога ему и желанна, и трепетное опасение за будущее ее охватило его прочными объятиями» (217).

Облик этой самой Зины, чуть не послужившей причиной серьезного конфликта между Кулыгиным и Лебекуром, выступающий столь банальным в мечтах и речах этих последних, дополняется автором еще «от себя» рядом не менее банальных штрихов: «...Сердце ее благоухало пышной ликующей розой, потому что железная рука любимого, будто поддерживая, уже прижалась к ее руке» (323). «...В девичьей душе расцвели необыкновенно сияющие цветы, и защебетали ликующие малиновки» (322). Общественно-актуальные черты в облике Зины — спутницы красных партизанов — совершенно заслонены всеми этими шаблонами третьеразрядной любовной стилистики.

Нисколько не способствуют художественной выразительности образов и другие приемы характеристики, применяемые М. Алексеевым. К их числу, например, нужно отнести прием характеристики обликов персонажей романа при помощи описания их глаз — прием, которым наш автор безмерно злоупотребляет.

«Друзья! — выкрикнул Кулыгин, сверкнув глазами» (56). «Заходи, заходи,—глухо сказал Вишнев и тут же не вытерпел, сверкнул синими глазами... и рванулся быстрым ходом на вокзал» (68). «...Угрожающе сверкнул глазами сын...» (80). «Его жемчужные граненые глаза сверкали острой радостью» (166). «Холодно, как из ружья, — согласился с ним сосед, лукаво сверкая лучистыми глазами...» (266).

Можно привести еще целый ряд подобных же примеров художественной бедности и беспомощности писателя в этой «глазной» «области». «Глаза женщины метнули черные молнии» (461). «Глаза метнули вспышки гнева» (377). Совершенно однообразны, например, следующие сопоставления «двух пар глаз»: «В толпе скрестились две пары глаз: серых, как бы граненых, и синих, точно сделанных из осколков небесного свода» (160).

Как результат подмены внутреннего движения внешним, внутренней динамики образов внешним описательством, является массовое изображение чисто внешних сторон борьбы красных и белых, изображение, в художественном отношении опять-таки сводящееся к безмерному употреблению графаретной батальной стилистики. Но эти батальные шаблоны так же мало способствуют выразительности повествования, как и любовные и прочие штампы. В какой степени выявляют специфику революционной борьбы такие, например, батальные шаблоны, как:

«Гах-гах, — неистовыми взрывами гудит степь, пыльно-серая, как лицо мертвеца. Душно. Пороховой смрад, вонь мясной гнили и невыносимый грохот ураганной пальбы взбудоражили воздух... Гра-ха-ха! — режут десятки тяжелых орудий: пороховой дым и пыль от взрывов скачут (между прочим, как это «дым» и «пыль» могут «скакать»? — Арк. Г.) по стене. Внизу, под бугром, проходят части атаманской армии, идут и едут партизаны, одетые в пестрые мундиры. Едут атаманские полки на разномастных лошадях», и т. д.

«Грохот пушек», «свист стали», «горячка боя», «напряженнейшая стрель-

ба», «кавалерийская лава», «красные солдаты», бесчисленное количество «сабель», «патронов и револьверов разных калибров и систем», бесконечное количество раз позирующий под Наполеона Анненков — обильно уснащают страницы «Атаманщины».

Повсюду показ внутренней героики заменяется этой батальной живописью. Немногочисленные же попытки Алексеева дать более углубленное изображение внутреннего героизма (напр., в изображении смерти Лебекура) губит необычайная претенциозность, плохая «возвышенность» стиля.

В романе уделяется много места изображению Востока, киргизов. Однако, сколько-нибудь глубокого проникновения в «азиатскую стихию», в подлинный быт и нравы киргизов в «Атаманщине» не наблюдается, хотя один из центральных героев романа (Лебекур) и «внимательно приглядывается к полному неожиданного интереса укладу жизни, физическому и духовному облику киргизов» (208). «Областничество» Мих. Алексеева в отличие, напр., от Вс. Иванова, Фадеева и др., — чисто внешнего, отнюдь не самобытного характера. «Этнография» Мих. Алексеева — либо страницы из учебника, материал для публицистической статьи, голые этногеографические факты (таковы речи Байсемизова на стр. 210—214, Таранбаева на стр. 257—264), либо, когда Мих. Алексеев пытается перейти уже к собственному творчеству, к непосредственному воссозданию общего колорита жизни киргизов и природы их страны, опять-таки нечто художественно совершенно несамостоятельное, взятое напрокат из старой, шаблонной «экзотической», «восточной» беллетристики. Облики киргизов подаются как экзотические восточные типы. «...Загорелое лицо с длинной, окладистой бородой, закрученной в трубчатые кольца, как у древних ассирийских вельмож» — таков облик Кабитова, — «человека, похожего на преисполненного сознанием собственного достоинства древнего родоначальника» (296—297). «...Типичный ассирийский вельможа...» (304). Чрезвычайно монотонны и шаблонны и степные «этно-

графические» пейзажи Мих. Алексеева. «Степь в первые дни весны, когда жгучее солнце еще не мачеха, а добрая кормилица, представляет собой чарующее зрелище. Безмерное количество закатов всевозможных цветов до-нельзя загружают и без того растянутый роман М. Алексеева.

Разумеется, мы бы не стали столь подробно анализировать стилистику «Атаманщины», если бы имели дело не с Мих. Алексеевым, а с каким-нибудь обычным халтурщиком, поставщиком «легкого чтива». Для вещей последнего банальность и шаблонность стиля явление обычное. Совершенно другое дело, когда встречаешь подобный стилистический графарет у писателя революционного, пролетарского. Тут никак нельзя мириться с подобным фактом. Тут критику необходимо «кричать» во весь голос, ибо налицо чрезвычайно грозный симптом полного разрыва формы и содержания в художественном произведении. У поставщиков мешанского чтива банальная стилистика облекает и банальное же содержание, у писателей типа М. Алексеева тривиальные стилистические шаблоны — худо-

жественный материал. Тут очень и очень есть о чем пожалеть.

«Атаманщина» М. Алексеева далеко не единичное явление. За последнее время перед читателем прошел ряд романов, где социально значительный материал из эпохи гражданской войны был загублен своей штампованной стилистикой, безмерной слабостью своего художественного оформления.

Все это заставляет еще и еще раз подчеркнуть чрезвычайную актуальность проблемы художественного стиля для нашей молодой пролетарской литературы, заставляет читателя еще раз обратиться к писателям — да и к редакторам художественных отделов наших издательств — с самой горячей просьбой не спешить с выпуском пяти-сотстраничных «романов» и не забывать о плехановском учении о необходимости органического единства формы и содержания для каждого художественного произведения. И в первую очередь следует обратиться с этой просьбой к Михаилу Алексееву, которому совершенно необходимо несколько поработать в области стиля, иначе его ценные по своему материалу романы будут проходить мимо читателя.

4. ЖАН ЖИРОДУ

Б. Песис

От тех французских авторов, которые всем своим писательским существованием обязаны послевоенной эпохе, Жироду отличается известная консервативность, оседлость, исконно-французский дух, роднящий его с традиционной не только буржуазной, но и аристократической Францией. Почвенность Жироду прямо сказывается в его любви к Лимузену, к родной провинции, «стране, самой сказочной после страны Гулливера». Лимузен у Жироду — лучшая часть Франции, лучшая часть его самого, половина почти всех его книг. Зигфрид (т. е. Германия) и Лимузен («Зигфрид и Лимузен»), Тихий океан и Лимузен («Сюзанна и Тихий океан»), даже древняя Греция и Лимузен — в романе «Эльпенор», в котором сирены

манят Одиссея соблазнительнейшей из песен, песню о прелестях еще только предвидимого Лимузена. Провинциализм Жироду носит вотчинный, аристократический характер. Лимузен сблизил его в противоположность Шарлю Луи Филиппу не с демократией, не с «народом», но с какими-то «девятью значнейшими фамилиями этой провинции», вместе с которыми он дышит «воздухом предков» («Зигфрид и Лимузен»). Это стремление дышать одним воздухом с аристократией характерно для Жана Жироду. Единственный его демократический герой — Бернар, сын обойщика, всю жизнь «пытался освободиться от... семейного давления», «убеждал себя, что он сын изгнанного принца», что его только «укрыли от гнева»

его подданных» у «простых» людей. Социальная мысль самого Жироду также обращена к аристократии родовой и «духовной». Общение с ней придает соответствующий характер биографии Жироду, лицейскому ее периоду, его пребыванию в качестве воспитателя у принца Саксен-Мейнингенского, наконец, его положению важного чиновника в министерстве иностранных дел. Жироду принадлежит к высокопоставленной интеллигенции, которая своим ближайшим социальным «соседом» ощущает не только и не столько буржуазию, сколько аристократию. Эту диспозицию, при которой социальному положению самой интеллигенции дается аристократическое толкование, намекает большинство произведений Жироду и в первую очередь «Белла».

В «Белле» наша критика рассмотрела только две «силы» — Ребандаров¹⁾ и Дюбардо — и сделала вывод о противопоставлении здесь либеральной интеллигенции (Дюбардо) и реакционной бюрократии (Ребандар).

Не была принята во внимание «третья сила» — аристократы Фонтранжи, в такой же мере как и Дюбардо представляющие собою социально-положительных героев, торжествующих над Ребандаром. Правильнее всего было бы говорить о группе Дюбардо-Фонтранжей, с одной стороны, и, с другой, — о группе Ребандаров — чиновной черни, одинаково враждебной родовому аристократизму Фонтранжей и интеллектуальной «породистости» Дюбардо. Замысел сказывается, прежде всего, в облике Дюбардо. Дюбардо — потомственная интеллигенция, от века составлявшая Франции «отцов отечества», государственных деятелей, художников, ученых, словом, великих людей. У них «не было иного фамильного кладбища, кроме Пантеона». Филипп (сын Дюбардо) вырос не во дворце, как князь Долгорукий из «Ночи в Шатору»²⁾, но зато на его «детские «почему» неизменно и точно отвечали неперменные секретари Академии наук», отец и дяди «все — члены Института». Друзьями Филиппа

были «маленькие Гюго, маленькие Гобино». Ребандар правильно называет своих соперников «феодалами современности»¹⁾. Это интеллигентское дворянство, почти каста, живущая, по слову Жироду, «в верхнем этаже человечества». «Ни одной ссылки на слова Пастера, Мередита, Ницше, которых бы они (Дюбардо старшие.—Б. П.), не слышали от этих людей при встрече с ними». Трагедия Дюбардо — это трагедия великих людей и черни. «Ребандар — человек, созданный для мщения великим людям». «Чернь, — говорит Филипп, — с трудом прощает ту когорту, которая с такой силой нападает на войну, и на золото». В соответствующем месте будет рассмотрено, в самом ли деле Дюбардо «с такой силой» наносят удары «войне и золоту». Здесь важно отметить, что они изображены именно как аристократическая когорта. Когда Ребандар накладывает опалу на Дюбардо, они остаются одиночками. «Ни парламент, ни общество не протестовали. Все те мужчины Франции, которые сохранили еще независимость духа, были в Контраксевилле, все преданные женщины — в Люкसेле²⁾. Одиночество Дюбардо, «господствовавших» над отрекшимся от них Парижем, поистине блестящее. «Был только один звонок по телефону от мадам Кюри и длинное письмо от Анатоля Франса... Итак, мы были приговорены оставаться в высшем этаже человечества, в обществе Томаса Гарди, Эйнштейна, генерала Фоша». В эти героические для Дюбардо дни раскрывается близость «феодалов современности» к феодалам прошлого, Фонтранжам. Фонтранж — единственный человек, посетивший опальных Дюбардо. Именно его решил привести Филипп. «Я выбрал, конечно, существо, мыло которого было наилучшего качества», существо, отмеченное той «благородной небрежностью, которой отличались уже доспехи одного из Фонтранжей во время столетней войны... существо нежное, доброе и невежественное». Дюбардо, вообще презирающие невежество, прощают его

¹⁾ В лице Ребандара, как известно, выведен Пуанкаре.

¹⁾ В книге «Adorable Cléo».

¹⁾ «Клан Дюбардо» — пишет о них Люк Дюртен.

²⁾ Фешенебельные курорты.

Фонтранжу: «Его монокль на черной шелковой тесьме казался единственным рычагом его мысли, но его ногти были отделаны, его волосы надушены и сухи». Монокль, физическое благородство, благородство крови делает Фонтранжа достойным союзником Дюбардо перед лицом «черни». «Вся буржуазия Марли... с почтением смотрела на этого заложника мира (Фонтранжа.— Б. П.), которого вывела на прогулку семья Дюбардо».

Если Дюбардо соединены с Фонтранжами, то к Ребандару Жироду приковывает чернь, чиновничество, общество в кавычках, прессу. Ребандар — тон. «Изнанка» его — мешанская. Она выражается в отсутствии артистизма («особенно поражало... в этой семье... отсутствие в ней артистов») и в том, что жен Ребандарам «готовили фабриканты и виноделы», и в том, что их семью «символизировали герань, цинии и бегонии — самый пошлый запах из всех запахов Шампани», в том, что они «никогда не задумывались над тем, чтобы пайти для целомудрия и славы другую эмблему, кроме флер-д'оранжа и лавра», равно как и в том, что барышни Ребандар тайком читали «Нана». Политические лавры Ребандара для Жироду имеют то же одиозное значение, что и его пошлый домашний лавр и флер-д'оранж. Кроме Ребандаров честных, существовали в провинциальной глуши Ребандары подлецы и развратники. Ребандар, в сущности, изображен как выскочка, для которого характерен грязный «хвост» неудачных и бесчестных родственников, «темных дел», в атмосфере коих, — говорит Жироду, — по-адвокатски возвышались Ребандары. Дюбардо же связаны только с «высшим этажем человечества», Фонтранжи — с Гогенцоллернами. В моральном отношении обе эти семьи незапятнаны, отборны, как отборен породистый Жак Фонтранж, у которого не было «ни одного белого пятнышка на ноге... ни одной мозоли». Фонтранж и Дюбардо дополняют друг друга, создавая тот образ аристократии духа и крови, перед которым должен быть унижен образ Ребандара — черни. Эту связанность отражает фа-

була прежде всего в любви Филиппа и Беллы, дочери Фонтранжа. Белла, бывшая невеста Ребандара, тоже презирающая его, в силу естественного отбора переходит на сторону Дюбардо, воссоединяется с ними. Настоящий удар Ребандару наносит Белла, кровь Фонтранжей, сжегши документы, которые, по мысли Ребандара, должны были скомпрометировать Рене Дюбардо. Книга, написанная о Белле Фонтранж, кончается апологией Фонтранжа и Дюбардо.

Такое же, как в «Белле», толкование интеллигенции дается в романе «Жюльетта в стране мужчин».

В аллегорической главе «Молитва на Эйфелевой башне» Жироду использует картину бастующего Парижа, чтобы показать, как на фоне бездействующей массы явственно выступает «высший этаж человечества» — интеллигенция. Из пейзажа убрано все, кроме Эйфелевой башни, кроме возвышенного. Это — образ общества, в котором существуют одни «совершенные работники». Интеллигенция здесь господствует над обществом, как Дюбардо над Парижем.

«Молитву» из «Жюльетты» можно рассматривать как социальную утопию Жироду. Элементы социальной идиллии есть в «Сюзанне». Если считать (подобно некоторым критикам), что «Сюзанна» в известной своей части представляет пародию на «Робинзона Крузо», то эту пародию несомненно следует признать аристократической. Француженка Сюзанна, потерпевшая кораблекрушение, «брошена» на остров-будуар, в котором все создано по образу фонтранжевского совершенства. «Легкий ветерок нес с собою все ароматы острова. Я так отчетливо различала «Роз д'Орсэй», «Амбр антик»... Там была вся роскошь, весь комфорт: маленький горячий родник в скале из агата рядом с холодным источником... Изображения из золотистого кварца, напоминавшие большой камин Людовика XV... Но наибольший комфорт острова, доступный лишь в хорошем погребке, составляли розовые крабы... Было 11 сортов рисовой пудры... Я имела сотни громадных жемчу-

жин», и т. д. В «Сюзанне», благодаря тому, что здесь совершенна сама среда, образ «совершенных работников» заменен еще более «высоким» образом совершенного девического безделья. Сюзанна обращается с внешним миром, полным роскошных и безвредных экзотических игрушек (рыб нужно было закотать, чтобы они уплывали от Сюзанны), как с мебелью пансионатского дортугара. На этом острове, «изнывавшем от благополучия», не вызывавшем ни на какую борьбу, ни на какие жизненные усилия, Сюзанне, по ее словам, становится непонятен Робинзон, все что-то строгавший, пиливший, сооружавший. Сюзанна, так сказать, делает «большие глаза» по адресу того демократического пафоса борьбы и труда, который есть в «Робинзоне».

Таковы социальные тенденции в произведениях Жироду. Анализ его тем и образов покажет нам общий идеологический облик этого писателя, изображающего «верхний этаж» общества, идей, чувств, даже природы, изображающего «возвышенное» и «патетическое».

Г е р о и

Необходимо остановиться прежде всего на круге героев, в которых воплощена одна из важнейших тем Жироду — тема «возвышенности» и «равнодушия». Исходными книгами в этом смысле являются «Симон-Патетик»¹⁾ с новеллой «Школа возвышенности» и книга новелл «Школа равнодушия». Первая рассказывает о детстве и юности героя, интимно-близкого самому писателю, обнаруживающего явно автобиографические черты. В «Симоне» описывается духовная эволюция этого героя, изображаемая здесь как прохождение героем «школы возвышенности», в то время как герои второй книги, по своему смыслу тесно прилегающей к «Симону», проходят «школу равнодушия».

Первой школой возвышенности для Симона был классический лицей. Ему он «обязан жизнью широкой, безграничной душой... тем, что при виде гор-

буна думал о Терсите, при виде морщинистой старухи — о Гекубе». «Я знал слишком много героев, чтобы для меня могла существовать иная красота, иное уродство, кроме героического... Я обязан был им (лицейским профессорам. — Б. П.) своей верой в чувства, которые испытываешь в глубине священного леса, в собрании королей. Я верил, я верю в арфы, пальмы, ивы... Так же, как в географии, изучая какую-нибудь Севенну, какую-нибудь возвышенность, мы всегда рисовали рядом разрез Гималаев, так же мерили мы — по высшему масштабу — каждого человека, каждое чувство: по Прометею — храбрость, по Байяру — честь».

Так герой Жироду вступает в жизнь с меркой особого лицейского идеализма, с высокими образцами, перед которыми должна побледнеть действительность¹⁾. «Настоящая война» кажется низменной Павлу Долгорукому из «Ночи в Шатору»²⁾. «Мы можем, — пишет он в лазарете своему другу Жану, — сколько угодно играть в воспоминания о нашем белом мюнхенском ангеле (т. е. лицее. — Б. П.) — видел ты их (людей на войне. — Б. П.), а? Видел ты, из чего они сделаны?». Дальше следует высокомерный отзыв о военной прозе. Когда является необходимость прославить империалистическую войну, Жироду изображает ее в духе какого-то древнего патриотизма, как будто он не на поле битвы 1916 г., а «в собрании королей». Он воспевает Францию с риторичностью, занесенной в эту книгу военных рассказов из лицейских чтений, в торжественных звательных падежах, в напыщенных «о», «которыми древние перекидывались в своих речах, как золотыми шарами». Если к «эпическим» явлениям жизни (война) прилагается масштаб Гомера, то рядом с лирикой, с любовными эмоциями ставится шкала Катуллы. Симон, чтобы сделать свои чувства к Анне достойными высоких образцов, хочет

¹⁾ «Искусство Жироду, — пишет Бенжамен Кремье, — рождено и объясняется резким столкновением лицеиста-идеалиста, воспитанного на возвышенном, с современным миром». В. Cremieux. XX siècle. I série.

²⁾ «Nuit à Châteauroux» в книге «Aimable Clio».

¹⁾ «Simon le Pathétique».

любить в ней не Анну, но Лесбию¹⁾, так же, как в горбуне он не любит Терсита. «Закрыв глаза, так же, как я это делал, когда твердил греческую фразу, чтобы силой перенестись в Афины... я повторял письмо Анны, то, которое я люблю больше всего, — о воробье²⁾). Я возвращался одновременно к ней (Анне.—Б. П.) и к Лесбии... Римская нежность охватывала меня... Быть женихом Анны, когда Катулл оправляет на себе тогу, атакуемую бурей, когда Тибулл тщетно пытается начертать последний стих на папирусе, свиваемом вихрем...». Между Симоном и Анной не бывало «ни одного диалога, в который, если бы открыть двери, не могли бы войти Телемак, Архимед, Аспазия». Симон в своей любви так же остается в «верхнем этаже» чувств, в обществе любовников Гомера и Катулла, как Дюбардо пребывают в «верхнем этаже» социального, в обществе Кюри и Франса. Однако, испытывая «римскую нежность» к Анне-Лесбии, Симон полон высокомерного равнодушия к Анне живой, «бедной дерзкой француженке», о которой он говорит: «Ты самая прекрасная, но ты все же не Камилла, не Корнелия». Симон хочет ощущать не Анну, но возвышенную «тень Анны». Его патетическая любовь отгораживает его от жизни. О словах «я люблю вас» Симон говорит: «Мы размахивали вокруг себя этими большими словами, как косами, и это охраняло нас от связи с миром». Таким образом, существенной чертой возвышенного героя Жироду является отсутствие в нем каких-либо чувств, кроме тех патетических, которые испытываешь в «священном лесу» или в обществе римских поэтов. «Труднее всего, — признается Симон-Патетик, — мне было бы доказать, что мой ум — действительно ум, моя добродетель — добродетель. Нет для меня ничего пылающего, ничего, что проникало бы в мою мысль». В другом месте: «Какое чувство отклонило меня от всего, что есть страсть, от всего, что есть любовь?». Анна не переносит в Симоне его «вечной удо-

ветворенности, которая разлагает все, к чему прикасается, более, чем разлагает горечь», она ненавидит его «манию помешать всякую свою самую маленькую мысль под большую», так сказать, горбуна «под» Терсита. Она болезненно ощущает его холодную «римскую» нежность, она хочет любить, страдать, «но не без страсти, но без желаний». «Вы не умеете, — упрекает она Симона, — взять мою руку, поцеловать ее... Иногда мне кажется, что ничто до вас не доходит».

Такие же упреки делает Долли Жаку в «Школе равнодушных». «Вы, вы — эгоист... Вы из тех, которые испытывают большую нежность при виде фотографии своих друзей, нежели при виде их самих», и т. д.

В «Школе равнодушных» разложен на три почти аллегорические фигуры — эгоизма (Жак — эгоист), лени (Дон-Мануэль — лептяй) и слабости (Бернар — слабый) — облик равнодушного, близко связанный с обликом Симона. Возвышенный Симон ничем, в сущности, не отличается от равнодушных Жака, Дон-Мануэля и Бернара. Симон считает «торжеством патетического» свой уход от Анны. Так же думает и Бернар, уходящий от любви в сторону возвышенного, в «страну Вергилия и Ронсара». «Школа возвышенности» становится «школой равнодушия».

Законченные образы патетического, т. е. возвышенного равнодушия — это Филипп и Белла. Белла — женский идеал патетического. В ней Филипп находит ту «возвышенную тень», ту «статую», о которой мечтали Дон-Мануэль и Симон. «У нее (Беллы. — Б. П.) всегда была поза вещи, существа без ушей... Вся она, ее тело, казалось, всегда спали, я слышал только такие слова, такие вздохи, такое полупение, которое человек может издавать во сне...». К этому идеалу приближаются Рене («Первое исчезновение Бардини»¹⁾), мисс Спотисвуд, мисс Грегор («Школа равнодушных»). У Рене «самыми разнузданными выражениями страсти были полужакрытые губы, полудрожание век, четверть

¹⁾ Героиня Катулла.

²⁾ Намек на известные стихи Катулла о смерти воробья.

¹⁾ «Première disparition de Jérôme Bardini».

улыбки». «Внимание и взгляды мисс Грегор доходят до вас сквозь равнодушные жесты и равнодушные глаза» («Школа равнодушных»). Именно к таким существам Жироду питает ту «нежность и снисходительность, которую внушают аллегории». Оживленные и растолкованные аллегории эти оказываются крайние аристократичными по своему смыслу. «Только тот, кто богаче всех на свете... достоин жить для мисс Грегор». Для существования Эглантины необходима была «по меньшей мере близость миллиардера или последнего потомка крестоносцев» («Эглантина»), и т. д. Образ совершенства у Жироду — это, в сущности, образ аристократической безукоризненности. Безукоризненна мисс Спотсвуд, которая «может быть безнаказанно забрызгана грязью, раздавлена» и от того не станет «смешной»; Жак, ставший «устранить всякую банальность из своего костюма». Симон так оценивает свое совершенство: «Я был не совсем несовершенным. Так же, как небрежность портила меня больше, чем кого-либо, и я должен был быть всегда свежо выбритым, свежо причесанным, — так же один единственный недостаток, я это чувствовал, все во мне скомпрометировал бы». «Вы любите меня, — говорит он Анне, — потому, что я обладаю своей особой юностью, настоящей юностью, проведенной в деревне за книгами.. потому что я всегда на своем месте... никогда не бываю надоедливым, нескромным». Единственное, что соединяло Павла и Жана — это «юность — совершенная и выхолонная» («Ночь в Шатору»).

В героях этой породистой юности Жироду воспевают физическое благополучие, физическое совершенство. Большинство из них — спортсмены, чаще всего купальщики. Образ купанья, реки, как образ совершенной свежести, постоянно появляется на страницах его книг, далеко выходя по своему смыслу за пределы пейзажа. Река — «линия жизни» страны. Река олицетворяет в «Зигфриде и Лимузене» Францию, «страну ясных... идей». Жюльетта по-настоящему постигает облик Жерара после того, как ей при-

ходится видеть его на купаньи обнаженным, лицом к лицу с «голой» природой. Внимание к своему гордому колленому телу, как к наследственной драгоценности, характерно и для старого аристократа Фонтранжа.

Однако, образ совершенной юности у Жироду существенно, принципиально отличается от того образа старости, который дается у этого писателя.

Мы имеем в виду необходимость различать в той тесной семье, которую составляют герои Жироду, два поколения, две группы: молодых, о которых речь шла выше, и группу стариков. К такому разделению вынуждает оценка героев Жироду с точки зрения их социальной и просто человеческой ценности. Если юные патетики страдают высокой болезнью равнодушия и жизненной пустоты, то своих стариков — Дюбардо, Моиза, Фонтранжа, Ребандара даже — Жироду наделяет духовным жаром, даром деятельности, своеобразной социальной возвышенностью, наконец, настоящей молодостью чувств. Социальная активность в произведениях Жироду лежит на плечах именно этого старшего поколения. Стоит сравнить Дюбардо — Филиппа и Рене (отца). В распре Дюбардо — Ребандары Филипп не играет никакой роли. Его главная роль — роль патетического любовника Беллы. Сверх того, Филипп узнает политические новости от Моиза и — когда Дюбардо получает основания думать, что Ребандар его арестует, — «собирает» отца в тюрьму, укладывает чемоданы и т. д. Не случайным кажется нейтральное положение Филиппа в этой книге, положение рассказчика, все суждения и мысли которого обезличены, принадлежит автору. Умственное, эмоциональное превосходство социально-возвышенного Рене Дюбардо над лирически-возвышенным сыном — несомненно. Ничем не отличается от Филиппа и Белла, «равнодушная к занятиям людей». Единственный поступок Беллы — это театральный жест — сожжение бумаг, компрометирующих Дюбардо. Патетически-холодные Филипп и Белла кажутся в известном смысле выродженцами рядом с полноценными, «гармоническими» стариками — Рене

Дюбардо, Ребандаром, Фонтранжем¹⁾. Социально-активные персонажи Жироду: Рене Дюбардо, Моиз—энергичный грюндер, один из самых богатых людей в Европе, вершащий судьбы Франции,—Ребандар. Из молодых один Цельтен является «политическим деятелем» («Зигфрид и Лимузен»). Жироду делает его «вождем» баварского восстания. Однако, должно быть, против своей воли, Жироду осмелел в «Зигфриде» не столько баварскую революцию, сколько роль в ней своего патетического персонажа. Бернар-слабый, Дон-Мануэль-лентяй, Жак-агонист были бы столь же смешны на этом посту, на всяком общественном посту, как и Цельтен²⁾. Герои Жироду, старые и молодые, берут свое идейное начало в довоенной эпохе, но—«отцы» сохранились, они встретили войну, приняв на себя ее тяжесть, отстаивая старую Францию в Версале (Дюбардо), после одного (Ребандар) спасая ее финансы (Моиз). «Дети» же бросились в войну, «как в каникулы» (Филипп). После войны «каникулы» чувства, идей, поступков для них продолжают, отражая уже разложение послевоенного поколения буржуазной Франции.

Таким образом, в лицейском идеализме, возвышенном юноше, росшем в глухие предвоенные годы, мы узнаём характер излюбленного героя послевоенной французской литературы — безыдейного, непрестанно стилизующего свой человеческий облик, живущего монтированной жизнью, во время которой иногда собираются, но большею частью разбираются, распадаются мысли, чувства, идеи. В этом

¹⁾ У Жироду есть книга, специально посвященная теме торжества старости. Это роман «Эглантина», в котором изображена любовь молодой девушки (Эглантины) и двух стариков (Моиза и Фонтранкса). После «Веллы», где зрелость торжествует над молодостью в социальной жизни, в «Эглантине» изображена победа старости в самой трудной для нее сфере—в жизни чувства.

²⁾ Именно к молодежи Жироду следует отнести слова критика Мориса Бурда: «Герой у него (т. е. Жироду.—Б. П.) встречается редко, и во всяком случае, никогда не виден в действии... Социальная жизнь не оказывает на него влияния». M. Bourdet. Jean Giraudoux. L'homme et l'oeuvre.

смысле буржуазная литература современной Франции оплодотворила творчество Жироду, творчество не только фактически, но и идеологически «зачатое» в довоенную эпоху.

Художественный строй произведений

Жироду говорит о себе: «Я—поэт, который больше всего похож на живописца. Я могу находить рифмы только при виде схожих предметов, уловить ускользающее слово только если делает движение человек, если склоняется дерево. Я пишу с женщин, как с моделей; ни одного слова о них, которое было бы написано мною на расстоянии более пяти метров от них...». Жироду, главным образом, видит. И все же правильнее было бы сказать о нем: романист, больше всего похожий на поэта. Между схожими предметами и созвучными словами, между «движением» ускользающего слова и движением ветвей — связь не простая, а метафорическая. Между моделями Жироду и его персонажами стоит поэтический образ. Особенность Жироду в том, что он мыслит образами, метафорами, поэтическими параллелями, аллегориями в гораздо большей мере, чем это обычно встречается в условиях прозы. Но, поскольку Жироду все же прозаик, сочинитель новелл и романов, поэтический принцип превращается у него в «холодную» систему мысли, в поэтизацию композиции, поэтизацию психологии, бытописания, своего рода поэтическую «философию». Жироду сам ощущает свою «поэтичность», как свою особенность, как особую художественную идеологию, связанную с тем видением, о котором говорилось выше. В «Жюльетте» он прямо противопоставляет психологического писателя поэту. В «Школе равнодушных» Жироду говорит о себе: «Я нахожу достаточно глубины и на поверхности мира. Для меня каждое существо находит больше опоры в своей окраске, чем в своем скелете... Великие подобию распекают мир и проливают то здесь, то там свой свет... Поэт? Я должен им быть: одни метафоры поражают меня». Метафоры, «подобию», поэзия вообще

играют огромную роль в произведениях Жироду, в самой жизни его героев. Для патетиков метафора означает своеобразную систему чувств. Патетики, — говорит Симон, — перед лицом чувств («когда перед ними разрывается сердце») «должны ли убивать себя, если одна метафора, одно благородное слово может разрубить узел, который вдруг образуется в их душе, если они обязаны уподоблять женщину—сфинксу... мгновение — маятнику или, проще... свое сердце — кораблю, свою любовь — морю». У них метафора всегда возвышающая, она-то и помогает им в горбуне видеть Терсита, в старой женщине — Гекубу, как того требует лицевой идеализм. В «Жюльетте» автор вспоминает о лице: «Весь класс проводил время в том, что соединял одни слова с другими... электрическими токами» образов. «И самый прозаический из нас вечером, когда раздевался, вручал себя... метафорам ночи». Симон признается, что после лица у него создалась «склонность говорить метафорами, параболлами, в духе грамматики пророков».

В уста банкира Моиза Жироду вкладывает, мотивируя это восточным «пророческим» происхождением Моиза, рассуждение о поэтической параллели как о системе мысли. «Параллель — это стилистическое упрямство... которое особенно обостряло мою мысль и облегчало всякую работу... Напишите параллель — это соответствует вашему (речь обращена к Филиппу. — Б. П.) возрасту — между блондинкой и брюнеткой, и вы увидите, что это поможет вам определить, какое употребление сделать из вашего дня и даже из вашей жизни». Рассуждение, конечно, парадоксальное, поскольку высказать его дано «неподходящему», прозаическому персонажу, говорящему на своем языке, но самая мысль прямо связана с художественными убеждениями Жироду.

Принцип поэтической параллели играет в организации его произведений ту самую универсальную роль, о которой говорит Моиз. «Великие подобию рассекают» романы

Жироду и «проливают свой свет» на их художественный облик ¹⁾.

«Сюзанна и Тихий океан» построена на двух образах — Франции и экзотического острова. По ходу действия все сводится к уподоблению этих образов Сюзанной. Отсюда насыщенность романа чисто поэтическими элементами: метафорами, сравнениями и т. д.

Так же построен «Зигфрид и Лимузен» на двух образах — Франции и Германии. Эти образы управляют романом. От них Жироду идет к поэтическим сравнениям, аллегориям. Цельтен — «олицетворение Германии». Выбирая между французенкой Женевьевой и германкой Евой, Клейст «выбирал не женщину, а страну». Фигура Зигфрида Клейста построена так же, как фигура Сюзанны. В нем совмещается образ Франции и образ Германии, как в Сюзанне живут одновременно остров и Лимузен ²⁾. Игра этими образами Франции и не-Франции, составляющая смысл жизни Сюзанны, здесь ведется извне — Жаном, наблюдающим в Зигфриде живое сопоставление французской и немецкой «сущности» ³⁾.

Жироду иногда упрекают в композиционной небрежности, в повторениях, перепевах, однообразии. Не отрицая таких его свойств, мы считаем, что правильнее было бы говорить в данном случае не о композиционном несовершенстве, а о композиционных вольностях, которые носят у этого писателя характер поэтических вольностей. Построение произведений Жироду определяется не столько развертыванием сюжетных

¹⁾ «Нужно сказать, прежде всего, что он (Жироду. — Б. П.) — поэт и что мир является в его глазах серией неожиданных аналогий. Он видит всякую вещь не изолированной, а дублированной». Р. Humbourg. Jean Giraudoux.

²⁾ Зигфрид Клейст-Форесте — француз, потерявший вследствие ранения память и — во время пребывания в Германии — «духовно» онемеченный.

³⁾ В «Эглантине» — два образа: Фонтранж символизирует Францию, Моиз — Восток. В «Белле» — Дюбардо и Ребандары. Во всех этих произведениях есть, кроме основных, второстепенные пары образов, напр., в «Эглантине»: Сарра — иудейская женщина и Эглантина — французенка, и т. д.

элементов, сколько развертыванием поэтического образа или образов. Поэтому и весь ход вещей сводится в его романах к параллелям, сопоставлению, уподоблению. В «Жюльетте» фабула всех основных глав, рассказывающих о путешествии Жюльетты «в страну мужчин», развивается до странно-сти симметрично. Жюльетта является к такому-то (к профессору в IV главе, к писателю в V главе, к поэту в VI, к маниаку в VII и т. д., и т. д.), такой-то принимает ее за другую, к концу главы является «настоящая» (другая) и Жюльетта уходит, убедившись, что и ее идеал в другом, а не в этом герое. В этом однообразии и проявляется поэтическая воля Жироду, цель которого в «Жюльетте» дать ряд образов мужчин, которые Жюльетта сопоставляет с образом своего жениха Жерара. Этой задаче фабула, упрощенная до крайности, подчинена с поэтической беззаботностью. Симметрия особенно видна в маленьких вещах Жироду, где образы не отдалены друг от друга массой повествовательного материала. Так, в рассказе «Смерть Сего. Смерть Дрижара»¹⁾ мы имеем (как отчасти видно из заглавия) идеально параллельное построение. Два образа — Франции и Германии. Две фигуры солдат: Сего и Дрижар. Речи этих героев, их мысли, переживания, поступки развиваются в pendant друг к другу, чередуясь во времени. Говорит Сего, потом говорит Дрижар; думает Сего — думает Дрижар... Описание военного отряда в походе изложено (на 11 страницах) в 12 строфически-стройных абзацах, абсолютно симметричных по своей структуре²⁾.

¹⁾ «Adorable Cléo».

²⁾ «Иногда в отряде все было преданностью, согласием... (следует развитие этого образа. — Б. П.). Вдруг все превращалось в гнев, в горечь... (детализация. — Б. П.). Иногда все выражалось в мысли, в болтовне... (детализация. — Б. П.). Вдруг мы переставали мыслить, говорить... (то же. — Б. П.). Иногда все нам казалось легким... (то же. — Б. П.). Вдруг все было тягостным... (то же. — Б. П.). Иногда все казалось справедливо... (то же. — Б. П.). Вдруг все становилось несправедливым... Иногда — вдруг...» и т. д.

Так эти абзацы приобретают характер тирад, соответствующих риторическому тону всего рассказа.

В риторике Жироду сказывается влияние поэзии этого писателя на его стиль. Жироду не скрывает, что в этом отношении лицей, классические чтения были для него не только «школой возвышенности» но и литературной школой. Признаваясь в своей склонности строить фразы риторически, в торжественных звательных падежах, Жироду отмечает, что его «о!» (О Франция!.. О молодость!.. О заря!.. О Шатору!.. и т. д.) те самые, которыми «древние перекидывались в своих речах, как золотыми шарами». «Вы знаете, — обращается он к читателю, — что во мне волнуется тот з в а т е л ь н ы й, который передали мне мои учителя греческого языка и который пребывает во мне, как астма». Тирады у Жироду с особой настойчивостью появляются, когда речь заходит о Франции. «Симон»: «О Бельвилль... О Гренелль, с молочными небесами... О меланхолия Эйфелевой башни...». «Сюзанна»: «И вот, о Франция, я прихожу к тебе!.. Я узнаю тебя, Франция, по величине твоих ос!». Интересно сравнить выражения, в которых воспевается Франция в «Обожаемой Клио» и древняя Греция в «Эльпеноре».

«Э л ь п е н о р»:

«О заря... позволь мне смешать, как кости, которые больше не будут служить в игре, Элладу, ее маленькие хижины: о Итака... столица Афины; о Лесбос... столица Сидон!...».

«О б о ж а е м а я К л и о»:

«О Франция, позволь мне смешать тебя, как кости, в которые больше не будет игры... О Беарн, столица Орлеан!... О Ночь, столица Пуатье».

Другими элементами поэтического оформления вещей служат у Жироду его лирические отступления, в которых большей частью воспевается природа. Такова тирада: «Мне ли передать очарованье вечера», к которой Жиро-

ду отступает несколько раз на протяжении целой главы «Зигфрида»; восклициание «какое солнце», перепеваемое в «Прогулке с Габриелью»¹⁾, образ зари, бесчисленное количество раз повторяющийся в «Смерти Сего», и т. д.

Усиливает впечатление перепевности, параллельности манера Жироду реализовать образ или метафору, «опустошать» их до дна, проводить их по рядам описания или ситуаций. «Жюльетта... была совсем несуразной... Когда она бывала голодна, у нее сверкали глаза. У нее слюнки текли, когда покупали духи... Вид животного всегда вызывал у ней крик другого животного... ее левая рука была всегда холодна, а правая—всегда горяча» и т. д. Или: «Прикосновение к ветвям создавало то впечатление, которое получаешь, когда неожиданно трогаешь стрелки часов, оказывающихся без стекла». На этом Жироду не останавливается. Он продолжает, исходя из данного им образа: «сладостно было Жюльетте ставить вперед ветки верб, ставить назад ветки тополей, ставить на верное время ветки ольхи».

Художественным строем произведений Жироду определяется особое положение его героев. Мы не случайно упоминали о том, что Цельтен — «олицетворяет Германию», Фонтранж — «символизирует» аристократию и т. д. Персонажи Жироду являются поэтическими воплощениями, почти аллегориями, оживляемыми иногда в обход всякой психологической правды. Соблюдается только правда поэтическая — верность образу. Вне поэтического понимания облик героев Жироду теряет свою художественную убедительность и обязательность²⁾.

Обратимся для пояснения к характеристике Эглантины. «Жизнь Эглантины прошла почти целиком», как жизнь «забравшейся высоко кошки». «Ее видели только на верхах экипажей, на крышах, на тополях. Автомобили зам-

ка (где жила Эглантина.—Б. П.) не уступали в высоте sulku. Кровати стояли на возвышениях... Эглантина не любила ложиться на ковер. Иногда она забавлялась тем, что по вечерам засыпала, стоя у дерева. Когда она сидела, то скрещивала ноги, как акробаты, повисшие в воздухе или сидящие на трапедии. Усталость у Эглантины никогда не начиналась с ног, с коленей, но— с плечей, с затылка».

Никакого психологического или бытового облика Жироду на основании таких условностей получить не хочет³⁾. Настоящий свой смысл — поэтический — характеристика Эглантины приобретает тогда, когда мы увенчаем ее аллегорией, когда мы узнаем, что Эглантина — олицетворение аристократической высоты Фонтранжей. Этот аллегорический знак Жироду «подает» одинаково в «высокости» кровати и автомобилей Фонтранжа, в «высоких» бытовых привычках Эглантины, в ее физиологической «высокости» и т. д. Единственная поэтическая целесообразность облика Эглантины становится особенно ясной при сопоставлении с обликом любовника Эглантины, «плебея» Моиза.

«Во время своей юности Моиз, на Востоке и в Центральной Европе, знал только подруг, распростертых на коврах или сидевших на корточках...». Поэтому «любовь состояла для него в том, чтобы наклоняться; жить близко к земле...». В доме Моиза «клетки птиц стояли прямо на полу». Он обедал, сидя низко, так что «слугам его приходилось сгибаться пополам». Появление Эглантины в жизни Моиза было для него «встречей не в горизонтальном... но в гораздо более редком, вертикальном плане», встречей с «существом другой высоты». К этому сопоставлению аристократической высоты, негибкости, вертикальности Эглантины и восточной «низменности», горизонтальности Моиза и ведет Жироду, давая в цитированных выше характеристиках образы «высокого» и «низкого». На этом «угле», составленном из

¹⁾ «Simon le Pathétique».

²⁾ Бурде говорит, что Жироду «не изучает души ради души». По мнению этого критика, у Жироду нет логики в его психологическом анализе.

³⁾ Может быть, потому Кремье кажется, что «в персонажах Жироду ничего нельзя оценить» («rien évaluer»).

горизонталы и вертикалы, и должен построиться поэтический образ.

От звания психолога—бытописателя чувств Жироду отказывается. Жироду не изображает внутренней жизни своих персонажей: сами они «являются» внешней жизнью того образа, который воплощен в них, его проявлением¹⁾.

Благодаря такому построению произведений, Жироду имеет возможность обходиться небольшим числом героев. В сущности, их всего три вида: молодой человек, девушка, с одной стороны, с другой стороны, — старики. Первые представляют собой как бы «маски». «Молодой человек», не изменяя своих психологических признаков, воплощает изгнанного принца Мануэля, бедняка Бернара, пламенного германца Цельтена, французского патриота Жана и, наконец, одновременно француза и германца в лице Клейста-Форестье. «Молодая девушка» появляется в образе Беллы, лирической Эглатины, германки Евы, французенки Женевьевы и—в случае с Сюзанной—одновременно в образе островитянки и лимузенки. Старики Жироду—не «маски», поскольку внешний облик их не меняется. Фонтранж—всегда Фонтранж, как и Монз, и такими они переходят из книги в книгу. Однако, и старики, как было показано выше, всегда «воплощают».

Если от героев Жироду перейти к его образам, то последних окажется довольно много. Все они—классические, «вечные»: молодость, старость, любовь, дружба, ненависть, родина, и т. д., и т. д.²⁾ Однако, один из этих образов является центральным для Жироду, определяющим, более важным, чем образ поколения, разделяющий героев Жироду на молодых и стариков, более важным, чем образ дружды, соединяющий Дюбардо и Фонтранжа, или образ

любви, соединяющий Филиппа и Беллу. Это образ Франции или точнее — Франции и не-Франции.

Франция и не-Франция

В ы в о д ы

Жан в «Зигфриде» олицетворяет Францию, как и Женевьева; Клейст-Форестье — француз, отвоєванный у Германии; Сюзанна—французенка, отвоєванная у Тихого океана, Фонтранж — воплощение французского аристократизма. Дюбардо — французского благородства, Ребардар — французской высокопоставленной «черни» и, как увидим ниже, не только черни. Так, за большинством героев Жироду стоит помимо всего образ Франции. Герой Жироду — прежде всего француз. Его характер — ясный и равнодушный — национальный характер, его образ мыслей — возвышенный и ограниченный — французский образ мыслей в том смысле, в каком понимает французское Жироду. «Лицо француза — это маска, предохраняющая его от грозных дыханий». «Французы, должно быть, большие эгоисты» — говорит мисс Споттисвуд и дополняет эту характеристику такой характеристикой Франции: «Все, что происходит во Франции — просто и осмысленно... Жизнь у вас ограничена и совершенна». А Жан заключает *pro domo sua*: «Наши границы остаются таинственные». Франция — «единственно великая страна... единственно законченная». Франция — «страна ясных и точных идей» («Зигфрид»). Совершенна и потому ограничена. Первый француз, встречаемый Сюзанной при возвращении ее на родину, — контролер мер и весов. В нем для Сюзанны воплощены все французские качества: устойчивость, точность, ясность, ограниченность. В первое воскресенье после заключения мира Жироду, подводя итоги войны, спрашивает: «Что я такое?» и отвечает: «Я емь победитель, в воскресенье, в полдень». Это полное, «останавливающее границы таинственного», ослепительное сознание себя—победитель, в данный день — воскресенье, в данный час — полдень, — это весь Жироду, вся его Франция. Жироду любит изо-

¹⁾ По выражению самого Жироду, роман остается для него «эпической повестью». Персонажи его должны быть «великими или фантастическими». Интервью с Лефевром.

²⁾ «Кажется, что больше всего его занимают общие проблемы, как-то... рождение личности... трагикомедия юношеской любви» и т. д. М. Bourdet, 1. с.

бражать свою родину в зените, в блеске, в воскресенье и в полдень. Праздничная Франция, высоко стоящая под высоко стоящим солнцем. Он смотрит на Францию, «прижав пальцами веки», — чтобы все видимое было «в золотых ободках».

Истинный смысл этого «золотого» образа Франции, истинный смысл тех «ясных и точных идей», которые его питают, выступает особенно ярко тогда, когда Франция встречается у Жироду с не-Францией, французское с нефранцузским. Это происходит в двух, его книгах: в «Обожаемой Клио» и в «Зигфриде и Лимузене».

«Обожаемая Клио», пожалуй, самая холодная из всех французских книг о войне. Судя по духу, она написана тем возвышенным и равнодушным «патетиком», образ которого был рассмотрен выше. Война подана здесь «sous la lumière froide», сквозь дымку воспоминаний. Не пылкому Марсу посвящает свои патриотические чувства Жироду, а божественно-холодной Клио. Книга открывается пространным и риторичнейшим гимном заре. Этому пышному образу негреющего утреннего света у Жироду уподоблен тот «огонь» войны, который по-иному несколько воспел Барбюс. «Нежно я призываю тебя, любовь к битвам, тебя, отряхивающую свои крылья, полные росы». Война, — по воспоминаниям, которые у Жироду делают все не просто «милым», но величественным, — была «просто зарей». «Как прошла война? — В пробуждениях, в непрестанных пробуждениях». Нет, война — это «меньше», чем зоря, и нежнее: война «причинила нам как раз такое беспокойство, какое причинила бы птица, если бы нам пришлось нести ее пять лет в левой руке... Смерть — или три миллиона воробьев внезапно отлетели от нас?..».

«Обожаемая Клио» кончается торжественной и светлой картиной победы. «Сегодня воскресенье. Полдень. Воздух полон ароматов. Все, к чему обращена лицом Франция, французы — сверкает... Вино розовеет в графинах, скатерти белы под серебром и вишнями... Что я делаю? Что я ем? Я ем победитель, в воскресенье, в полдень».

Так, под сенью великолепных аллегорий, у Жироду расцветает самая пошлая шовинистическая проза. По какому поводу радость в полдень, в воскресенье? По поводу того, что: «Сегодня немцы сдают нам кабел, предоставляют нам контроль над своими аэропланами... Сегодня.. в трамваях... каждый пруссак жалуется кондуктору, что у него отбирают Того», и т. д., и т. д.

Лучше, чем мы, Жироду определяет себя сам. «Я — победитель» — это уже не просто образец французской ясной мысли, это та ясность и простота, с которой солдат отвечает на вопрос — кто враг внешний и кто внутренний? В «Смерти Сего» Жироду, грустящий о том, что «француз бьет французскую собаку», с грубостью и наслаждением описывает, как французский солдат «угробил» немца. Никакое поэтическое оперение образа войны не может скрыть этой обывательской ненависти к Германии.

Если «Обожаемая Клио» — книга победителя, беспощадно, «по-римски» упивающегося торжеством над врагами, то «Зигфрид и Лимузен» сочинен победителем, почившим на лаврах, прощающим побежденному при условии, чтобы последний помнил всегда о своем поражении. Французская критика утверждает, что «Зигфрид» писался с мыслью о франко-германском сближении. Нельзя себе представить более неуверительной выдумки. Пуанкаре не напрасно простил Жироду его сатиру в «Белле» за истый патриотизм «Зигфрида»¹⁾. Книга эта имеет целью изобразить «духовную» победу французов над германцами, наличие которой представилось необходимым доказать после победы «материальной». Прежде всего, сюжет никак несовместим с идеей «сближения». Француз едет в Германию «отвоевывать» другого француза, который по несчастной случайности (ранение, потеря памяти) сделался немцем и духовно «оскотинился». Однако, вместе с Клейстом-Форестье Жан отвоевывает у Германии, аннексирует всю ее культуру, всех великих людей. Для примера приве-

¹⁾ См. беседу Пуанкаре с Фр. Дефевром.

дем хотя бы только описание празднования юбилея Гете в Германии. Торжество началось, но «Гете не появлялся». «Он парил над этим собранием на... недосыгаемой высоте... Да и уместно ли было этому... потерявшему всякие устои народу, чествовать... того, кто был образцом гармонии и счастья». Только Франция достойна Гете. «Единственный мудрец, порожденный Германией, почти одинок здесь... тогда как во Франции... луч, ласкавший Гете» и теперь еще «освещает лица» рядовых французов. «Мысленно» Жан «сравнивает юбилей Гете с великолепным мольтеровским юбилеем», при чем все преимущества оказываются, конечно, на стороне последнего. Все великое Жан отбирает у Германии («судьба» Германии «отдавать своих гениев миру»), все же, что он оставляет ей, опорочивается, осмеивается: немецкое искусство, немецкий пейзаж, немецкие города. С одной стороны, страна Мольера, страна «ясных и точных идей», с другой — страна, недостойная своих гениев, страна бездарной романтики, бессмысленной мистики, смешной вдохновенности. Зигфрид — француз, ставший немцем, — изображен в виде духовного великана, которого изуродовали в стране пигмеев. Жироду подобрал здесь все, что может сохранить «в горячем виде» ненависть к Германии, не исключая и обывательски-раздутых сказок о свирепой клятве германских девушек — отомстить Франции, не исключая легенд о еврейском засилье в Германии. «Ясный» французский дух оказался духом расовой ненависти и империалистической мании величия.

Этих качеств Жироду не сумел скрыть и в «Белле», книге, специально посвященной изображению французского благородства. Дюбардо — «политический свет» Франции, «единственный... министр в Версале, работавший над восстановлением Европы с истинным великодушием», тот, который в Версале «завлаивал исправлением тысячелетних несправедливостей: возвращал чешской общине то, что было отнято у нее каким-нибудь государем в 1300 году», этот Дюбардо исключает из круга своих либеральных «забот» — Гер-

манию. Мало того. Среди политических игр Дюбардо были далеко не невинные: так, он «подбирал Сирию, выпавшую из корзины, и присоединял ее к приданому Франции», а позднее старался «получить копи в Сарре и Каме-руне». Никаких глубоких политических разногласий между Дюбардо и Пуанкаре-Ребандаром нет. «Белла» — личная сатира, осмеивающая не столько Пуанкаре-политика, сколько Пуанкаре-человека. Жироду отвращает не Пуанкаре-война, но Пуанкаре-пошлость, Пуанкаре-мещанство, тот, который всегда стремился «помешать слиянию политиков с философами», тот, который «не страдал от того, что «все прекрасные... ремесла погибли во время войны» и «было покончено со специальной резьбой на столах... с графинами в одном экземпляре». Пуанкаре-политик не отделен непроходимой пропастью от Дюбардо. Недаром Белла пытается помирить Дюбардо и Ребандара «соединить эти две части, два мужества, два великодушия французского характера». Пуанкаре-политику, Пуанкаре-французу Жироду, вынимая из него все сатирические стрелы, выпущенные на протяжении 170 страниц, на 171-й — не отказывает в мужестве и великодушии!

В самом авторе «Беллы» представлены «две части французского характера». Аристократизм Жироду, ненавистника мещанства, в действительности опирается, не может не опираться в наши дни, на все традиционное, все патриархальное, все исконно-французское, в том числе, конечно, и на французского буржуа и на французского обывателя. Торжественные, благодарные ноты появляются в его голосе, когда он описывает истинно-французский дух буржуазии и чиновничества. Утро во Франции. «Невероятный шелест шелка и бархата — это буржуазия облачается в овой мундир. Префекты вскрывают утреннюю почту... Ах, при одном только слове «префект» хранитель ипотек, все, что было во мне французского, вновь вернулось ко мне» («Сюзанна»). «Слава и радость государства, восемьсот ты-

сяч чиновников спали...». Во Франции «все четыре миллиона чиновников, от самого мелкого служащего до самого крупного сановника, воспитываются в школе умеренности и свободы». Жироду сознает, что без этих чиновников, без этой «школы» не могла бы существовать его аристократическая «школа возвышенности».

В Жане Жироду столько же от Дюбардо, сколько и от Ребандаров. Он ничего не забыл из либерального катехизиса первых, той старой французской интеллигенции, которая живет еще довоенными представлениями о мировом значении французского «духа», и все ему научился у вторых: империалистической мании величия, духу «реванша» и т. д. Поэтому на творчестве его, особенно на злободневных книгах, лежит тяжелый гнет консерватизма, идейных и сословных предрассудков буржуазно-аристократического мира.

Наоборот, традиционность Жироду в области художественной, признаваемая им самим связь с классиками, спасает творчество Жироду от той скверной легкости, поверхностности, беглости восприятия и изображения, которая отличает большинство послевоенных французских авторов¹). Жироду — крупный писатель именно тогда, когда он не весь злободневен, не весь заражен реакционной атмосферой ребандаровской Франции, измельчающей литературу. При совершенно современной сложности, в известной мере даже неповторимости художе-

ственных приемов, творчество Жироду свидетельствует о наличии примитивного, острого и ясного жизненного инстинкта, жизненного пафоса. Недаром он говорит о себе: «Дело в том, что я живу еще в том промежутке времени, который отделял начало мира от грехопадения. Я один могу подметить какое-нибудь насекомое, какое-нибудь золотное пятно, которое в своей категории имело мою счастливую судьбу и избегло проклятья». Когда Жироду путешествует, то «начинает подавать признаки сознания», как только приближается «к... первобытной земле». Лимузену, тому, что он вырос «на природе», Жироду в этом отношении обязан многим. Жироду видит лес, поле, деревья, восходы, закаты, то, что недоступно уже переутомленному глазу многих буржуазных французских писателей, то, чего не видит Моран из окна своего дипломатического вагона, на что не смотрит Мак-Орлан из окна космополитического кафе. В самом деле, любопытно сравнить Жироду, певца «простейшего» полевого пейзажа, с Мак-Орланом, который «не признает» деревьев, потому, что деревья, как он говорит, существовали вечно, изображать же нужно только то, что «искусственно», современно: кафе, радио, электрический свет и пр.¹).

Поэзия Жироду, его жизнелюбие, ясность тона, пленэризм делают этого писателя, во всяком случае, явлением, выдающимся в омраченной скепсисом буржуазной литературе Франции.

5. ПОХОД НА МОСКВУ

А. Старчаков

Сейчас А. И. Деникин в Брюсселе. Если бы не революция, — командовал корпусом где-нибудь на юго-западной границе, ездил по праздникам в гости

¹) «Стиль Жироду, — говорит П. Эмбур, — обладает всеми достоинствами наших классиков». Но Жироду не пассажист: «Он — самый революционный (в художественном отношении. — В. П.) из писателей, оставаясь в то же время самым традиционным».

к польским магнатам, а в часы досуга удил карпов, — в «мемориях» другого, правда, менее примечательного, государственного мужа, Сухомлинова, уже нию карпов уделено немало места.

Но судьба решила иначе. Судьба бросила его — скромного армейского генерала, не слишком талантливого и не

¹) См. П. Мак-Орлан «Огни Парижа».

слишком умного—в горнило грандиозной классовой битвы. И вместо воспоминаний о событиях армейской жизни, генерал в своих записках пытается дать не только историю, но и философию гражданской войны.

А. И. Деникин многоречив: воспоминания разрослись уже в пятитомный труд «Очерки русской смуты»—так на архаический летописный манер озаглавил А. И. Деникин свои воспоминания. Кажется, раскроешь «мемории» и наткнешься на запись в стиле древнего историка: «Опальный воевода Телятевский поднял Чернигов, встали холопы и вышли из лесов шиши». Но время неумолимо. И за ветхой тканью генеральских записок, быть может, и помимо роли повествователя, сквозит пламя иной эпохи.

— Прочтешь пять томов «Очерков»—дело утомительное и неблагоприятное. Наш читатель избавлен от этой необходимости. Он может познакомиться с концентрированным содержанием двух последних томов ¹⁾. Если в первых дано бурное «аллегро» белого движения,—побег генералов из Выховской тюрьмы, ледяной поход, бои под Краснодаром, собиранье сил, то здесь—стремительное «скерцо», разрешающееся в финале в траурный марш,—поход до Орла и разгром осенью и зимой 1919 и 1920 годов. Именно эта часть «Очерков» является наиболее действенной. В ней черты белой эпопеи получили свое завершенное воплощение.

Юг России стал одним из плацдармов, на котором накапливались силы для похода на Москву. В этом не было ничего случайного. События, несмотря на свой бурный темп, были подчинены неумолимой социальной логике. Побег главарей дворянской Вандеи на Дон был закономерен. Здесь, на юге России, среди крепкого казачества Дона и Северного Кавказа, среди крупных земельных собственников, боявшихся потерять свои привилегии и в отношении крестьян и в отношении горцев, можно было найти опору для грядущего наступления.

Но главари белого движения, несмотря на узость политического кругозора, понимали, однако, что победит тот, на чьей стороне будет крестьянство. Потому наступление от первых своих дней мыслилось как «всемирный крестовый поход против красных супостатов». Уже впоследствии, пытаясь отдать себе отчет в причинах поражения, Деникин писал:

«Всемирного ополчения не вышло. Армия в самом зародыше своем хранила глубочайший органический недостаток... Печать классового отбора легла на армию прочно».

Умудренный опытом гражданской войны, донской атаман Краснов, променявший в изгнании атаманский пернач на перо романиста, резонерствовал:

«Как только война против Советов перестала быть национальной, она стала классовой и как таковая не могла иметь успеха».

Белые генералы не отказались от попытки привлечь на свою сторону крестьянство. Памятником этой затеи, памятником бессмертным, в своем роде, остается аграрная программа «особого совещания», которую приводит наш мемуарист. Просматривая этот документ, не знаешь чему удивляться: политической ли ограниченности господствовавших классов или их необузданной жадности, боязни потерять навсегда свое добро.

Если политическая программа не нужна была «вандейцам» в дни сражений под Екатеринодаром,—тогда программу с успехом заменял «знаменитый матрос» Баткин, эсер, шествовавший в обозе на предмет связи с масса-ми,—то в предвидении белых стен Кремля нужно было, наконец, оформить свои отношения, хотя бы к крестьянству.

Рабочий класс просто сбрасывался завоевателями со счетов. «Рабочий вопрос,—в простоте рассказывает А. И. Деникин,—проходил несравненно легче, не вызывая ни такого разномыслия, ни такой страстности, как аграрный». Он разрешался простым «предписанием», первый параграф которого утверждал без обиняков «восстановление за-

¹⁾ А. И. Деникин. «Поход на Москву». Изд. «Федерация».

конных прав владельцев фабричных и заводских предприятий».

Но несравненно сложнее для белых генералов складывалась разработка программы в части аграрной. Здесь у нашего мемуариста слышатся иные ноты. «С большими трудностями,—пишет он,—проходил другой важный вопрос—аграрный».

После долгих споров, взаимных уступок «особое совещание», работавшее под председательством А. И. Деникина, подошло, наконец, к «основным положениям». Но когда после мучительных споров «основные положения» в области аграрной политики были, наконец, приняты, на совещании разыгралась сцена в жанре гоголевского Подколесина. Возник спор о том, в какой форме довести о принятом решении до всеобщего сведения. Значительная часть совещания, испуганная демократизмом «положения», потребовала... не опубликовывать его вовсе. И наш мемуарист неожиданно для себя оказался в роли радикала.

«Я выразил свое удивление и заявил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут опубликованы в ближайший день» — читаем мы в записках.

Что же сулила крестьянству земельная программа «особого совещания», вызвавшая столько бешеных споров и требований, как далеко простиралось политическое предвидение класса, претендовавшего на господство в стране? Об этом говорят итоги работы аграрной комиссии, заседавшей под председательством Колокольцева.

Комиссия закончила свои работы в начале июля 1919 г. Земельное положение, составленное ею, в общих чертах сводилось к следующему. Устанавливалась норма не подлежащих отчуждению частно-владельческих земель в размере от 300 до 500 гектаров, в зависимости от местности. Свыше этой нормы помещичья земля переходила к крестьянам, «отчуждалась» на основе выкупа. «Демократизм» реформы ограничивался целым рядом изъятий. Оставались неприкосновенными земли городов и земств, земли монастырские и

церковные и, наконец, угодья духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. Отчуждение не распространялось на заводские культурные хозяйства. «По мере занятий отдельных местностей, — повествует наш мемуарист, — должны были немедленно вступать в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, монастыри, частные собственники».

Но «реформаторы» этим не ограничились. Законодатели из колокольцевской комиссии ввели в положение пункт, упразднявший всякую мысль о пересмотре земельных отношений. Положение предусматривало, что земельные органы приступают к отчуждению... только по истечении трех лет «со дня восстановления гражданского мира во всей России». Таким образом, попытка «особого совещания» заняться аграрным вопросом вылилась в самую откровенную реставрацию старых земельных отношений.

Нужно отметить, что наш мемуарист лучше других видел невозможность привлечь сердца крестьян мероприятиями в духе колокольцевской программы.

«Проект этот был мною отвергнут, — печально резюмирует Деникин. — Колокольцев оставил свой пост».

Проект был передан на рассмотрение новой комиссии под председательством начальника управления юстиции Челищева. Но уже телеграмма Колчака от 28 августа 1919 г. положила конец потугам в области аграрного законодательства. Адмирал Колчак, верховный правитель, уведомил нашего мемуариста, что общее руководство земельной политикой принадлежит российскому правительству.

«С тех пор, — читаем мы, — работа земельной комиссии получила чисто академическое значение».

Болтовня вокруг вопроса о земле, поднятая в марте, была оборвана в августе. Не нужно забывать, что август принес решительные победы белому оружию. Нужно ли было в дни побед прикрывать классовые аппетиты фиговым листком аграрного законодательства? На миг вчерашним хозяевам

России забрезжили иные горизонты, иные возможности.

День 20 июня 1919 года был ознаменован приказом, который вошел в историю гражданской войны под именем «московской директивы».

Приказ начинался по-наполеоновски: «Имея конечной целью захватить сердце России — Москву, — приказываю...». Дальше устанавливались маршруты, по которым должны были двигаться на Москву белые генералы. Наступление развивалось по радиусам к центру. Врангель шел на Пензу, Нижний и Владимир, Май-Маевский — на Курск, Сидорин — на Камыш и Балашов. Цель казалась настолько близка, что работа «законодательных органов» откладывалась со дня на день, — участникам хотелось начать ее только в Москве. Когда К. Н. Соколов, один из ближайших советников Деникина, указал, что до приезда в Москву органам придется иметь всего лишь несколько заседаний, начальник штаба Романовский ответил: «Так оно и будет. Месяц у нас уйдет на переговоры с казаками, месяц на формирование, а там вскоре мы и преподнесем вам Москву».

Стоило ли гадать о будущем, когда в Октябре белые армии уже вышли на линию Воронеж—Орел, когда в руках белых была территория в 912 тыс. кв. км. с населением в 42 миллиона, и каких-нибудь два перехода отделяли дроздовцев и марковцев от Москвы.

Уже шел спор между генералами из-за близкой добычи: деникинская клика боялась, что Колчак, правитель омский, первым войдет в Москву и первым сорвет цветы победы. Деникину пришлось выслушать не мало попреков за преждевременное признание правителя. Интриган Врангель рассылал по штабам памфлеты, направленные против нашего мемуариста, компрометиовавшие его и путавшие карты.

Передовые части белых продвигались уже от Орла к Туле. Тульские рабочие и крестьяне отбивались от наседавших кавалеристов Шкуро. Но здесь белый прибор выдохся и от первого же решительного удара покатылся назад.

Удар под Воронежом вывел Красную армию в тыл добровольческому корпусу. Разгром белых под Воронежом заставил врага бросить Орел и Ливны. К концу ноября были очищены Полтава и Харьков. В белом тылу бушевали крестьянские восстания, — смысл колокольцевской программы усваивался крестьянством практически. Но здесь предоставим слово автору:

«За войсками следовали владельцы имений, не раз насильно восстанавливающие, иногда при поддержке воинских команд, свои имущественные права, сводя личные счеты и мстя... В местностях, где уже наступило некоторое успокоение, землевладельцы возвращали свои поместья и вносили элементы брожения непомерным вздутием арендной платы».

Руководимые большевистским подпольем, поднимались донецкие шахтеры, пролетарии Харьковщины и Екатеринославщины, брались за оружие беднейшее казачество, «малые национальности» Кавказа, вкусившие прелесть «единой и неделимой». Колебалась казачья демократия Дона, Кубани и Терека. Поляки хранили лукавый нейтралитет, — военный задор и шовинизм белых генералов не обещал им ничего доброго.

В дни неудач снова воскресла, — на этот раз по инициативе кадетов, — болтовня о реформах. Посыпались записки о необходимости «установить связь с крестьянством, связанным с землей, и со всеми элементами, занятыми производительным трудом». Но фронт неудержимо катился к морю, и на смену кадетской болтовне шла неразборчивая диктатура полевых судов и контрразведки.

«Мои убеждения, — пишет А. И. Деникин, — не были тайной и всецело соответствовали либеральному направлению».

Но что же делать, если проявлениям генеральского либерализма решительно мешал враг, стучавшийся у ворот Ростова!

Истинные причины молниеносного разгрома были поняты автором значительно позже.

В те дни он был склонен об'яснять разгром соображениями идеалистического порядка. Он видел в крушении прежде всего «действие низменных сил, таящихся в глубине человеческой души». Он не может понять, что разложение белой армии наступало закономерно и никакими силами его нельзя было остановить. Когда мемуарист жалуется на повальный грабеж населения, практиковавшийся белыми, как на одну из случайностей, обусловивших поражение, он забывает, что грабеж был составной частью бедой программы. Пародируя Иннокентия Анненского, можно было сказать о белой армии задолго до ее выступления в поход:

Еще не грабишь ты, но верь,
Уже не грабить ты не можешь.

Белая армия, оружием своим возвращавшая капиталистам и помещикам их достояние, не могла не требовать своей доли в общей добыче. Армия, служившая целям грабежа международных и отечественных биржевиков, могла ли устоять перед соблазном? И наш автор не столько огорчен практиковавшимися грабежами и насилиями, сколько тем, что юридические нормы, определявшие понятие «военная добыча», приняли слишком скользкие очертания.

«Военная добыча стала для некоторых «снизу» одним из двигателей, для других «сверху» одним из демагогических способов привести в движение иногда инертную колеблющуюся массу» — сокрушенно признается А. И. Деникин.

Генерал и в грабеже пытается сохранить оттенок благородства, выгораживая «верхи». Но тут же он себя опровергает. Генерал Мамонтов, возвращаясь с победного рейда, телеграфировал: «Посылаю привет, везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 60 млн. рублей, на украшение церковей дорогие иконы и церковную утварь». Недаром А. И. Деникин назвал этот «победный клич», отдающий днями половецких набегов, «похоронным звоном». Обоз генерала Мамонтова растянулся на 65 км. Врангель вместе с кубанцами разграбил Цари-

цын. Май-Маевский, страдавший жестоким запоем, подарил добровольческому полку, ворвавшемуся первым в город, поезд, груженный углем. Об одном из действовавших корпусов Деникин огорченно повествует:

«Обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества корпус не мог уже развивать энергичную боеспособность».

«В донские станции тянулись многоверстные обозы с трофеями. Тылы были забиты составами поездов, груженных всяким скарбом до предметов комфорта включительно... Эшелоны останавливались на попутных станциях и занимались отправкой на родину лошадей и всякого барахла» — читаем мы в записках.

«Грабежи пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по всему российскому театру гражданской войны, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий...».

«В городах шел разгул, пьянство и кутежи, в которые очертя голову бросалось офицерство, приезжавшее с фронта... Шел пир во время чумы, возбуждая злобу и отвращение».

Что можно прибавить к этой характеристике, принадлежащей вождю нашей Вандеи?

Остервенелое офицерство искало виновников поражения. Подготовлялось убийство и Деникина и начальника его штаба Романовского. Вчерашних вождей охраняли английские моряки. «Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня все эти предосторожности были излишни» — пишет А. И. Деникин. Последний удар нанесли «вчерашние хозяева». В дни неудач они торопились порвать связь с недешево стоявшими наемниками. Лондон решил ускорить «ликвидацию», — читаем мы в записках. За Лондоном торопился Париж и Рим.

Добровольцы искали спасения на английских транспортах в Новороссийске. Оставшиеся пробивались в горы. Бредов, отбитый румынскими пулеметами от Днестра, сдался полякам. Часть Северо-Кавказской армии ушла в Грузию. Астраханский отряд

«драпанул» в Энзели. На Крымском полуострове окопались осколки «вооруженных сил юга России».

Сдав команду генералу Врангелю, Деникин ушел в Константинополь. Здесь поход на Москву, начатый наполеоновской директивой, окончился кровавым фарсом. В Константинополе был убит начальник штаба Деникина — Гомановский. Шеф белой армии укрылся от расправы на английском дредноуте «Мальборо».

Бегством из Константинополя заканчивается пятый и последний том за-

писок. Не будем требовать от них сколько-нибудь объективного освещения событий. В значительной мере, подобно всем чиновным мемуарам, они продиктованы стремлением обелить себя, показать свою дальновидность, эгоизм и бесталанность других. Но за всем тем, записки Деникина—один из значительных памятников гражданской войны, памятник, еще раз свидетельствующий, что исход поединка между революционным пролетариатом и крестьянством, с одной стороны, и Вандеей—с другой стороны, был предре- шен всем ходом истории.

6. П А Л Е Х

Очерки

Ефим Вихрев

1. Берег Палешки

Уже за Афанасьевскими холмами утонул златогранный шпиль шуйской соборной колокольни. Мы проезжаем Пустошь—грязное село овчинников-староверов. В восемнадцатом году овчинники напали тут на двух наших агитаторов из укома: одного—граблями, вилами и кольями растерзали на месте, а другому—испитому текстильщику—удалось бежать на велосипеде. За Пустошью будут сначала Большие, потом Малые Дорки. За Дорками—село Красное, а за ним и Палех.

Оттуда, из Палеха, по всему миру расходятся неправдоподобные в своей изысканности миниатюры: шкатулочки, пудреницы, очешники, броши, портсигары, пеналы и целые письменные приборы.

Но возница мой, понукающий хромую лошадь, тоже палешанин и тоже, может быть, бывший иконописец. От него пахнет водкой, он без всякого повода ругается матерными словами, кашляет и рыгает. У него болезненное лицо. Он рассказывает мне какие-то грубые и невероятные истории.

— Вот вы спрашиваете, — говорит он, — почему я пью? Вином я лечусь. У меня желудок после войны расти начал. Сами знаете: то голод, то

обжорство. До самого пупка желудок дорос. Докторица мне сначала сылянку микстуры прописала. «Принимайте,— говорит,— так-то и так-то». А я при ней весь пузырек и выдул. «Вы,— говорю,— дайте мне ведро микстуры-то, вот тогда, может, проймет». Потом пошел к палехскому доктору. «Пей,— говорит доктор,— каждый день не меньше половинки. Иначе,— говорит,— ничем, окромя операции, твой желудок не вылечишь».

Я слушаю этот нелепый рассказ, а васильки, кивающие нам изо ржи, напоминают мне о краске голубце: рожь напоминает о тончайших сусальнo-золотых линиях палехского орнамента, а вся окружность—о миниатюрах, кипящих нежными красками. Думать о рассказе возницы мне не хочется, но рассказ его, как рыхлый ком земли, ложится на воображаемые лаки.

Желудок до пупка, ведро микстуры и—солнечные блики на папье-маше,— как это не вяжется!—думаю я. Но.. но, может быть, в этом есть какая-то скрытая связь?

«Пусть ваши корни проникнут до самого сердца родной земли. Вы станете могучими и полными соков». Эти слова говорил Рубенсу—в пору его ранней юности—один из учителей его—Бальтен Особенный.

Почему эти слова вспомнились мне после рассказа возницы? Да, может быть, Рубенс не был бы великим мастером, если бы он не познал грубую сущность фламандского мясника. И может быть, только на этой проспиртованной почве могли вырасти сочные палехские цветы.

Народ здесь не живет без водки, —
Имеет лавку — Спиртотрест.

Так сказал и палехский поэт-самоучка, Александр Егорович Балденков, когда-то один из лучших мастеров-иконников, а потом спившийся большевик.

Рожью, васильками, перелесками, пеньем жаворонков, словами возницы, мечтаниями и думами тянется дорога к Палеху. Вот уж мы переехали речку Люлех. Схожесть названий — Люлех, Палех — последняя память о легендарных финнах, живших в этом крае. Вспомнив это, я уж начал было думать о средоточии в Палехе трех культур: финской, византийской и фряжской (итальянского ренессанса). Но в это время, как и полагается к концу пути, шуйская туча догнала нас и грянула пятиминутным ливнем. — Стой, — говорю я вознице, — дальше я пойду пешком.

И вот вскоре я уже шел по наклонным улицам крестообразного села. Радуги растаяли в акварельных синезеленых пространствах, а краснеющее солнце клонилось к Красному.

Я на Горе (так называется верхняя, западная часть Палеха). Отсюда мне видно почти все село: большой пятиглавый храм, под ним базарная площадь, дальше — за речкой Палешкой — Слобода, влево — Ковшовская Слободка, вправо — Ильинская улица с кладбищем.

То там, то тут из бревенчато-избных рядов возвышаются двухэтажные каменные дома. Здесь на каждый десяток деревянных изб приходится один каменный дом, — пропорция, которой позавидует любой уездный год.

Как знакомы мне эти здания! Стены их для меня прозрачны, и я вижу людей в каждом здании.

Вот, например, колокольня... Она связана в моем представлении с именем трагического поэта Балденкова. Поэт был ночным пожарным наблюдателем и уже незадолго до смерти ползком поднимался по гнилым лестницам к колоколам, просиживал там до рассвета, мечтал, плакал о загубленной жизни, писал стихи. Про это свое колокольное убежище он и сказал как-то в своих «мемуарах»:

Поэт — художник — самоучка
Сидит в собачьей конуре

Там, под колоколами, услышав однажды собачий лай, он написал жуткие строки:

Лай собаки, вдруг слышу, раздался,
И бессонный петух прокричал.
В е д н ы й г е н и й в мозгах застучался, —
Сочинять я куплеты начал.

Ниже и правее колокольни — белое здание волостного исполкома. Внутри оно пропахло махрой, замызгано и заплевано. Днем туда приходят мужики с хлопотами о своих лесных и земельных делах. Женорганизатора, Марью Ивановну, осаждают бабы. В ячѣйках — партийной и комсомольской — готовятся к какой-нибудь очередной кампании. А раньше (без этого «а раньше» никак не обойдешься) этот дом принадлежал иконному королю — Михаилу Сафонову, имевшему свои дома и конторы в Москве, в Питере, в Нижнем и в других городах.

Из своего палехского дома Сафонов управлял сотнями мастеров и десятками приказчиков. Он рассылал своих людей на работы по всей стране — в монастыри, в палаты и в храм. Десятилетие за десятилетием, год за годом умножалась «православных церковей лепота». И чем ярче золотели иконостасы, тем славнее и богаче становился Сафонов, тем больше дорогого убранства было в его палехском доме.

Вправо от волостного исполкома тянется прогон: с одной стороны гумна, спускающиеся к Палешке, с другой — бывшие сафоновские конюшни и склады, в которых теперь ветеринарный пункт. А в конце прогона —



Иван Голиков.

Пахарь (холст).

напротив кладбища—нардом,—бывшая сафоновская мастерская.

Палеху посчастливилось: не всякое село имеет такой просторный, такой светлый и оборудованный нардом. Пятьюдесятью высокими окнами нардом обращен на все стороны света. Сюда, в высокий и вместительный зрительный зал, каждый вечер собираются палешане: послушать радиопередачу. Почтовик Иван Никитич приходит раньше всех. Он старательно копается в «Рекорде», ища по эфиру нужные волны, а по окончании передачи бережно прячет свое детище в приделанный к стене сосновый ящик.

Библиотекой-читальней при нардоме заведует мечтатель и поклонник Фета — Сергей Митрич Корин, бывший иконописец, трудолюбивый вдовец, сам доящий корову и занимающийся стряпней. А за всеми комнатами присматривает добродушный комендант Федя, который, выпивши, имеет привычку заикаться.

В распахнутые окна нардом влетает предостерегающий шорох кладбищенских берез. Кладбище—это единственное издание стихов Бедного Гения: на крестах можно встретить его эпитафии. Вот могилка мальчика, умершего оттого, что проглоченная горошинка попала ему в дыхательные пути. В длинной, пронумерованной по строфам, эпитафии сказано по этому случаю:

«Горошинкой смерть подкатилась». В другой эпитафии загадочно говорится про кого-то: «Ты тайны смертной стал евнух». А вот поэт скорбит о смерти школьной работницы, которая «детей крестьян учила, тянула к свету их из тьмы», и за все получила в награду «удел могильной глубины». Эта эпитафия кончается просветленно-грустными стихами:

Так спи же, труженица, с миром,
Ты здесь в могильной тишине!
Здесь шум берез, подобно лирам,
Петь будет гимн о вечном сне.

Тут и свежая могилка самого поэта— без креста и без эпитафии. Только истлевают венки из ладника. Балденков завещал похоронить его, как коммунара, потому что,—говорил он в своем завещании,—

Мне сверхъестественное чуждо,
А идолов я сам писал.

В думах о маленькой судьбе великого человека я совсем не заметил, как очутился на берегу Палешки. Мне хорошо знакома бодрящая прохлада ее красноватой ольховой воды. Палешка прихотливо извивается по селу и по-за селом, образуя спокойные уемистые сочажки — места для купанья.

Не Палешку ли я видел на папье-маше? Конечно, Палешку. Художники, сами того не замечая, переносят очер-

танья этих берегов в свои рисунки. Если старик раскидывает сети у синего-синего моря, если Стенька Разин бросает в Волгу персидскую княжну, то и море и Волга, как бы ни волновались они, — в сущности, та же Палешка, преображенная только охранными холмиками по берегам, да фантастическими злачеными деревьями.

К ольховой Палешке подступают березы и сосны. Заводы—так называется этот лес. Трудно сказать, откуда произошло это название: оттого ли, что там когда-то были кирпичные заводы, или оттого, что лес стоит за речкой, за водой, за водами. Может быть, когда-то говорили: итти за воды, как теперь говорят: итти в Заводы.

Это обыкновенный лес, каких много в нашей стране. Но в Палехе все обычное украшается необычным. Если посмотреть с палехского холма, можно увидеть тесную группу крон, одиноко поднявшуюся над ровной линией леса. Это — сосны-великанши, пять могучих красавиц, прихоть природы выросшие рядом. Их стволы, покрытые правильной, как паркет, чешуей, безукоризненными колоннами пробиваются ввысь сквозь верхушки соседних деревьев. Ни единый сучок не смеет нарушить точеную округлость колонн. Только кроны, как диковинные антаблемнты, подпирают движущийся облачный купол.

Веснами приходят к соснам-великаншам возлюбленные, вырезают на их коре свои имена и уходят — неразлучимые на всю жизнь.

2. Человек в нанковых портках

Некогда Палех возвышался над окрестными селами и деревнями подобно тому, как сосны-великанши в Заводах возвышаются над уровнем среднего леса. Здесь рождались лесковские Севастьяны, горьковские Салаутины, — люди безмерной работы и безмерного пьянства, люди, хлебнувшие яда искусства, могучие тела, созданные для чего угодно, только не для легкой иконописной кисти, могучие умы, зажатые в тиски церковности: церковь только приоткрыла им вход в мир искусства, не распахнув всех дверей. Икона и

водка, не побеждая друг друга, шли по их жизням. Палех насквозь пропах олифой и спиртом, Палех был весь пронизан святым и дьявольским.

— Народ теперь измельчал. Вот мы онемечились: бороды бреем, в пинжаках ходим, — говорит старейший из мастеров-миниатюристов Иван Михайлович Баканов (о нем будет особая речь впереди). — А бывалошние-то мастера в нанковых портках ходили, босиком, в длинных рубахах, и волосы носили длинные, обвязанные веревочкой.

Много рассказов слышал я о людях в нанковых портках, о чудаках, в жизни которых трагическое было больше, чем смешного. Из тьмы прошлого хочется мне вытащить обрывки их жизней в нашу действительность. Пусть эти люди только в нанковых портках и в рубахах до колен, но сейчас — далекие и невозвратимые — они облакаются в романтическую одежду.

Палешанам памятна фигура пастуха Ивана Кухаркина, по прозвищу Балхона. Это был человек больших масштабов. Ему было чуждо все маленькое или среднее: саженный рост, дремучая черная борода до пояса, вместо пастушьего рожка — труба, обладавшая громовым голосом, и ко всему этому — огромная семья, которая вечно жила в огромной нужде.

Однажды какая-то баба спросила Ивана Кухаркина: «Дядя Иван, дома, что ли, Дарья-то?» (так звали его жену). Кухаркин мотнул бородой в сторону своего крыльца: «Вон она на балхоне белье стирает». С тех пор прозвали Кухаркина Балхоном, и это прозвище как-то больше соответствовало его фигуре, его бороде, его трубе.

Палехские затейники, в роде Александра Егоровича Балденкова, часто подтрунивали над большими качествами этого большого человека, над его семьей, которая утром распозалась по улице, словно стая гусениц... Про него даже песенку сложили:

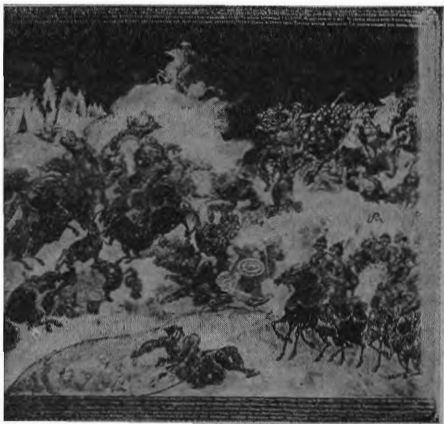
Балхон баню продает,
Балхониха не дает,
Балхонята верещат —
Баню под гору тащат.

Утренними зорями одиноко выходил Балхон на середину села и подносил ко рту свою саженную трубу. На одно мгновение тихий спящий Палех, казалось, сжимался в напряженном внимании. И вдруг Балхон надувал щеки. Медные звуковые колеса торжественно прокатывались по палехским крышам, ударялись в окна, летели гумнами и полями, гулко отскакивали от перелесков. И уже через минуту коровий рев вплутывался в растревоженные голоса баб,—словно в сказке пробуждалось село и показывалось солнце.

Приехал в Палех новый земский начальник и снял квартиру в доме кулака, против базарной площади, откуда обычно Иван Балхон сзывал стадо. И вот в первое же утро проснулся земский начальник от грома балхоновой трубы, выбежал из дому в нижнем белье и начал срамить Балхона, что, мол, начальству спать не дает. Иван притворился, будто и не слышит земского начальника, а сам все трубит и трубит.

Так продолжалось несколько дней. Земский начальник грозил арестом, а потом и в самом деле посадил Балхона в кутузку. Из окна кутузки Балхон угрюмо высунул свою дремучую бороду. Труба его умолкла, и земский первую ночь спал спокойно.

Но на другой день бабья демонстрация подступила к квартире земского начальника. Бабы впереводь загалдели:



Иван Голиков. Курган.

— Ослободи Балхона, а коли не нравится—сымай другую квартиру!

— Кто же нас будить будет? Ты, что ли?

— На подпасков-то тоже пронадеешься—без скотины останешься...

Бабы победили: земский переехал куда-то на край села, а труба Балхона вновь загремела над Палехом.

Иконописец Ксенофонт Баранов жил еще в то время, когда не было железных дорог. Но память о нем сохранилась и по сей час. Мастером он был неторопливым, но старательным, и при этом очень уважал свое время. Один поступок его до сих пор вызывает улыбку на лицах палешан.

По дороге из Питера в Казань Ксенофонт зашел в Палех и постучал в окно своей избы. Когда обрадованная старушка-жена распахнула окно, Баранов протянул ей небольшой узелок и спокойно сказал:

— На-ка вот, старуха, постирай белье. Из Казани я зайду за ним.

И тем же неторопливым шагом, шагом делового человека, уверенного в своих силах, двинулся на долгие месяцы в далекую Казань.

От Палеха до Москвы три сотни верст, а каменная плита для терки красок весит два пуда.

Один иконописец, работавший в Москве, прописал своей жене, что краску ему тереть не на чем и что нужно ему



Иван Голиков. Пудреница.

поскорее доставить как-нибудь плиту из Палеха. Гавра Петровна — жена его — подумала-подумала, да и взвалила плиту на плечи. Сколько времени шла она с плитой до Москвы — неизвестно. Только муж потом всю жизнь гордился своей женой.

Осенью иконописцы уезжали на всю зиму в отъездки. Дома оставались только женщины. В далеких чужих городах мастера тосковали о своих родных палехских избах. Должно быть, эту тоску они и заливали вином.

Иконописец, имя которого уничтожило время, работая в Москве, ранними утрами, прежде, чем взять в руки кисть, — выходил во двор и все прислушивался к чьему-то.

— Чего ты уши наострил? — спрашивали его товарищи.

А он отвечал им с грустной улыбкой на лице:

— Слушаю, как петух мой в Палехе поет... Вон он, сердешный, как заливается. Обо мне, видно, соскучился.

Иконописец Иван Кувшинов — седобородый силач и мятежник, задыхавшийся в этом мире олифы и святости, — жил в Горе, почти на самом краю села.

Начиналось так. Утром сельчане слышат свирепый басовый вой, доносившийся откуда-то со стороны села Красного. И весь Палех знал уже, что Кувшинов сегодня пьет. Чугунные звуки неминуемой бедой надвигались на Палех, и вдруг на холме — из-за церкви — выростала, как призрак, исполинская фигура самого Кувшинова, грозно поднявшего руки. Если тут встречался ему священник, он обращал священника в бегство. Вдогонку он кричал ему:

— Косматый чорт! Сторонись! Я иду!

Так, пророчески потрясая кулаками, Кувшинов победно входил в село. Против иконописной мастерской он оставался и заевал, сначала негромко и как бы мирно:

За Дунаем, за рекой...

Но тут же голос его выросал в бурю и уже гремел в самые окна:

Воры, воры в мастерской!

А к вечеру бесстрашный обличитель сидел в кутузке — усмирленный и задумчивый. Ему приносили туда краски, кисти и иконные доски. Через два-три дня он выходил из кутузки с новенькими иконами, и хозяин, пораженный великим мастерством его работы, прощал ему все обиды и платил деньги.

Досужими людьми подсчитано, что треть года Кувшинов был на свободе, а остальные две трети жил и работал в кутузке, где, между прочим, им была написана и минея (житие святых).

— Вы знаете, как иконописцы березку справляли, семик? — говорит мне один из моих палехских друзей. — Работу кончали в два. Хозяин присылал денег — так было заведено. Покупали много вина и много икры. Срезали хорошую березку и увешивали ее дрянкой, на которой рисовали всякие неприличные вещи. Сделав эти приготовления, шли в Заводы. Старик Федор Паликин, — как сейчас помню, — с раздвоенной белой бородой, шел впереди, неся березку. В Заводах на лужайке начиналось великое пьянство. Тот же Федор Паликин так, бывало, напьется, — лежит, как труп, а все-таки пальцем указывает на рот: влейте, дескать, еще стакачик.

И еще много забавных преданий рассказывают палешане.

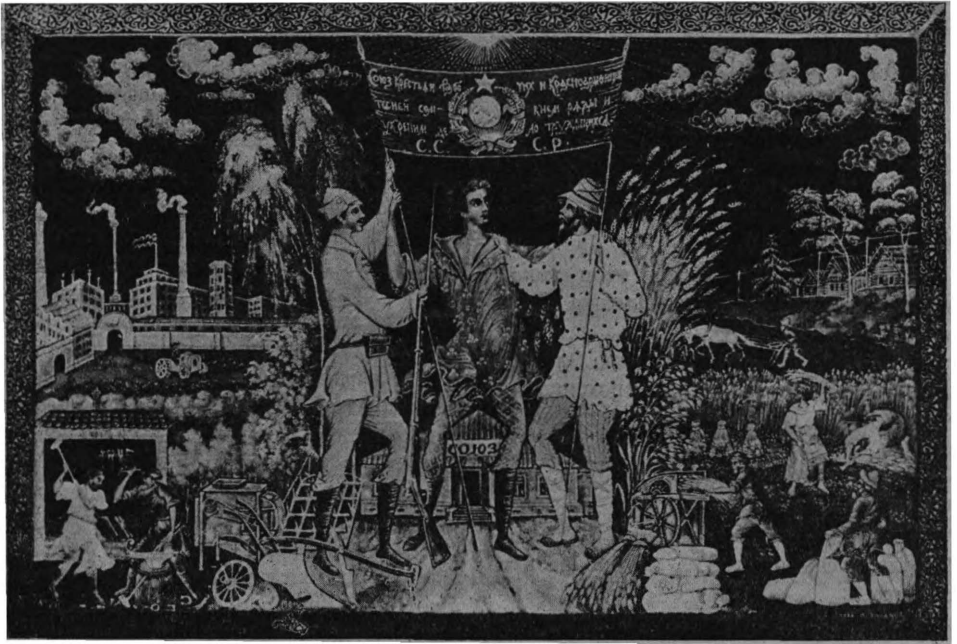
Люди в отъездках противяют с собой все и работают в церквях завернутые в одеяла.

Люди в отъездках разбиваются на две партии, одна из которых пьет, другая работает, и наоборот.

Мастер приезжает расписывать стены храма с десятью помощниками, и пока он пьет, — неделю, другую, — помощники отдыхают, не теряя заработка, потому что хозяин ценит мастера.

Иконописец возвращается с деревенского праздника и по дороге — в пьяной веселости — разбрасывает весь огород от деревни до Палеха, а потом сыновья его целую неделю починяют этот огород.

Отец Бедного Геня умирает с бутылкой в руке у казенки.



Иван Баканов.

Смычка.

После всех этих рассказов мне хотелось вочию увидеть человека в нанковых портках, потому что всегда есть радость: вытащить из груди истлевшего и уже совсем ненужного старья какую-нибудь диковинную вещь и повернуть ее с разных сторон,

Случай натолкнул меня на одного старика, но—увы—вот какова была эта встреча.

В июльский день мы сидели с библиотекарем Сергеем Дмитриевичем на травке возле нардома. Гумном по направлению к нам шел, опираясь на клюку, седобородый и подслеповатый старик.

— Вот у него Максим-то Горький в учениках был, — сказал мне библиотекарь. И тут же обратился к старику:

— Присядь, дедушка. Чай, куда не торопишься.

Старик развалился вместе с нами на травке. Он по-детски улыбался и с удивлением поглядывал то на меня, то на библиотекаря.

— Вот что, дедушка, слышал ты—есть такой человек, Максим Горький?—спросил его библиотекарь.

— Ну, как, чай, не слышать?—Кто, чай, не слышал про него?—вопросительно ответил старик.

— А помнишь ли ты, как он у тебя учеником был, когда ты в Нижнем работал?

— Ну, как, чай не помнить? Конечно, чай, был. Мало ли их тогда было в учениках-то?

— Так ты вот, дедушка, расскажи нам чего-нибудь о нем.

— Это о ком же?—недоуменно спросил старик.



Иван Баканов. Изда-читальня.

— Ну вот об этом самом Максиме Горьком.

— Ах, о Максиме,—пробормотал старый иконописец и тупо опустил глаза.

Наступило, как пишут в романах, неловкое молчание. Библиотекарь вспомнил, что ведь Горький—это только псевдоним, и обратился к старику с новым вопросом:

— Помнишь ты, был у тебя такой ученик Алексей Пешков, Олешка Пешков?

— Ну вон видишь: ты уж про Олешку завед, а я все Максима вспоминаю,—укоризненно взглянул на библиотекаря старец.

— Ну да, про Олешку. Помнишь, чай, как ты его за водкой гонял?

— Ну, как, чай, не гонять? Всех их, бывало, гоняли тогда, а не только что Олешку.

— Так ты вот расскажи-ка этому товарищу,—указал на меня библиотекарь,—он запишет и в книжке напечатает.

— А кто он будет, этот товарищ-то?

— Писатель...

— Как ты сказал?

— Ну, рабкор.

— Ах, рабкор,—оживленно проговорил дед, и, минутку помолчав, повернулся ко мне:

— Да, паря, мы, бывало-то, и пивали, и учеников бивали...

Больше мы так ничего и не добились от старика.

Этот человек в нанковых портках разочаровал меня: он был только дряхл, беспомощен и совсем не романтичен. Значит,—думал я,—это племя могучих людей исчезло навсегда с лица земли. Куда же девалась их буйная сила? Неужели и она, закованная в кандалы святости, умерла вместе с ними? Мысль эта не давала мне покоя. И только на похоронах Бедного Гения я неожиданно понял, что крупицы этой силы еще остались. Сила эта приняла только другое лицо и предстала передо мной не в нанковых портках, а в сером костюме вполне современного образца.

На похороны неудачливого поэта-пропойцы явился вдруг хорошо известный губернии иваново-вознесенский большевик Никитич, большелобый, коренастый человек, рано начавший лысеть.

Никитич—тоже палешанин и тоже в детстве учился на иконописца, но могучая бунтарская натура увлекла его с молодых лет в подполье, на баррикады, в тюрьмы, в ссылку. О, ему хорошо знакома эта палехская каталажка! Всякий раз, когда он приезжал в Палех, он оказывался за ее решеткой. Зато в семнадцатом году Никитич—старый текстильщик—приехал в Палех вооруженный с головы до ног и произнес речь, которая звучала проклятием прошлому.

Я помню девятнадцатый год, эшелон ивановских коммунистов, напутственную речь Ленина в Москве в Голубом зале, южный фронт и большевика Никитича. Я помню его выступление на какой-то захолустной станции по случаю второй годовщины Октября. И я помню его как военкома одной из дивизий нашей Девятой Кубанской.

Теперь он, конечно, хозяйственник. Летами приезжает он в Палех: отдыхать, ловить раков и удить рыбу. Поэта Балденкова он знал как большевика в самые трудные для республики годы, и вот сейчас громит над его могилой все, чему отдавал иконописец самое драгоценное в жизни—свой труд.

— Хороня этого честного и красивого, но безвольного человека,—обращается Никитич к толпе,—мне хочется напомнить вам о вашем попе-охраннике Чихачеве, которого угрызения совести привели к петле. И еще мне хочется напомнить вам о другом вашем попе—Рождественском, расстрелянном волею советской власти...

В словах Никитича раскрывается пропасть, в которую упал Бедный Гений, смело зачеркнувший всю свою жизнь, но не успевший стать подлинным ивановским большевиком. Он ямбическими строками вбил осиновый кол в могилу Рождественского в тот самый день, когда Палех панихидсгво-вал об этом укрывателе церковных

ценностей, но сам он, первый председатель комбеда,—сгорел в вине и в стихах, презираемый всеми, всю жизнь носивший позорную аличку Сашки Балды.

3. Два Палеха

Иконописец в нанковых портках и большевик Никитич,—их уничтожающая противоположность символична для Палеха.

Палех—приемный сын Иваново-Вознесенска. Революция, возвысив этот

слов. Что роднит их? Что общего между нами?

До революции была в Палехе кустарная ткацкая фабричка с сотней деревянных станков, но революция, удивившись, вывезла куда-то эту фабричку, подчеркнув тем самым разнородность фабричного городка и художественного села.

Только одинаковое угловатое окаanye в выговоре наводит на мысль о каком-то отдаленном родстве. Но это обстоятельство ничуть не мешает ивановским



Александр Котухин.

Заседание волисполкома.

мускулистый город, отдала ему бывшую властительницу его—світлошпильную исправничью Шую вместе с ее селами и деревнями. Адресное выражение: «Палех, Иваново-Вознесенской губернии»—это улыбка революции, потому что революция, как бы захотев совершить нечто курьезное, административными узами соединила эти несоразмерные и в количестве и в качестве географические особи.

Город ситца, город Никитичей город бешеного строительства и великих хозяйственных замыслов и—тихое волостное село, правда, электрифицированное и кооперированное, село чудесных художественных замы-

большевикам все еще искоса поглядывать на Палех, «недоверчиво бормоча: «богомазы... у них и Ленин-то похож на Николая-угодника».

Очутившись в семье текстильщиков, Палех начал двоиться: на этом холмистом участке земли, по извилистым берегам Палешки, как бы в результате сложного химического анализа, получилось два Палеха, так же непохожих друг на друга, как непохож иконописец в нанковых портках на большевика Никитича. Первый Палех—это простое волостное село, а второй—прославленный Палех—это полтора десятка мастеров, объединенных в крохотную артель.

В своем отечестве пророков не бывает, и слава художественного Палеха растет прямо пропорционально квадрату расстояния.

В самом селе, носящем название Палех, почти не знают о Палехе. Палех-село, позабыв о своем прошлом, пашет землю, доит коров, горланит комсомольскими глотками, танцует кадрили на вечеринках и в общем нормальное выстраивается на четвертой ступени административно-хозяйственно-плановой лестницы, если первой ступенью считать столицу. Этому Палеху совсем нет дела, да и некогда думать о художественном Палехе. Иначе, чем бы можно было объяснить такой, например, удручающий факт.

Исполкомцы захотели причесать Палех текстильным гребнем. Они с пеной у рта стали доказывать на разных заседаниях: Палех, мол, несет свое название от каких-то князей Палициких, а мы-де хотим дать ему революционное имя, соответствующее, так сказать, характеру нашей губернии. И вот мы-де предлагаем перекрестить его в село... Ногино. Тогдашнему председателю вол-исполкома удалось даже провести свое остроумное намерение в каких-то инстанциях.

Этот факт говорит о величайшем равнодушии одного Палеха к другому.

В уезде известен больше Палех-село. Только немногие шуяне знают о художественном Палехе, и то по уездной выставке, на которой палешане получили дипломы.

В губернии больше известен Палех художественный. Тут в ивановском музее можно увидеть миниатюру И. М. Баканова: «Большая Иваново-Вознесенская Мануфактура». Тут в губархиве хранятся ценные исторические документы о Палехе. Тут же можно найти и знатоков и поклонников Палеха.

В столице Палех знают и ценят больше, чем вся губерния, которая держит у себя за пазухой это странное детище.

Зато совсем хорошо знакомы с Палехом парижские светские модницы, американские коллекционеры, иностранные художники.

Так вот и живет в Палехе этот маленький художественный Палех: договора заключает с нижегородским госторгом, принадлежит Иваново-Вознесенску, сносится с Москвой, рассыпается по заграницам и остается самим собой.

4. «Уголь превращается в алмаз»

В Москве, в Кустарном музее, палехскую витрину возглавляет таблетка из папье-маше, величиной с половину писчего листа. В центре рисунка—пятиглавый палехский храм, слева—крестьянин, пахущий землю, справа—тот же крестьянин, сидящий за столом с кисточкой в руке перед миниатюрой. Вверху, над храмом—в облаках и звездах—советский герб, заменяющий солнце, и крупные золотые слова, написанные рукой малограмотного Голикова:

Association d'artisans de peinture antique de Palekh.

Восторженному созерцателю и в голову не придет, какой ценой досталась Палеху эта таблетка.

В самом деле: почему какие-то десять-пятнадцать художников стали вдруг известны больше, чем сотни и тысячи прежних мастеров, о которых только брезгливо говорили: «богомазы»? Тут невольно вспоминается закон, согласно которому «уголь превращается в алмаз».

Когда-то иконописец был цельным художником — индивидуальным творцом художественного произведения, которое называется иконой. Ему, как всякому художнику, эта работа доставляла и радости и мученья. Нередко бывали такие случаи. Хозяин приходит к мастеру за готовой иконой. Мастер сидит перед ней, погруженный в размышления. Хозяин видит, что икона совсем готова. Он вынимает деньги. Но иконописец ему говорит: «нет, я еще над ней поработаю; вот еще тут, да тут нужно подправить».

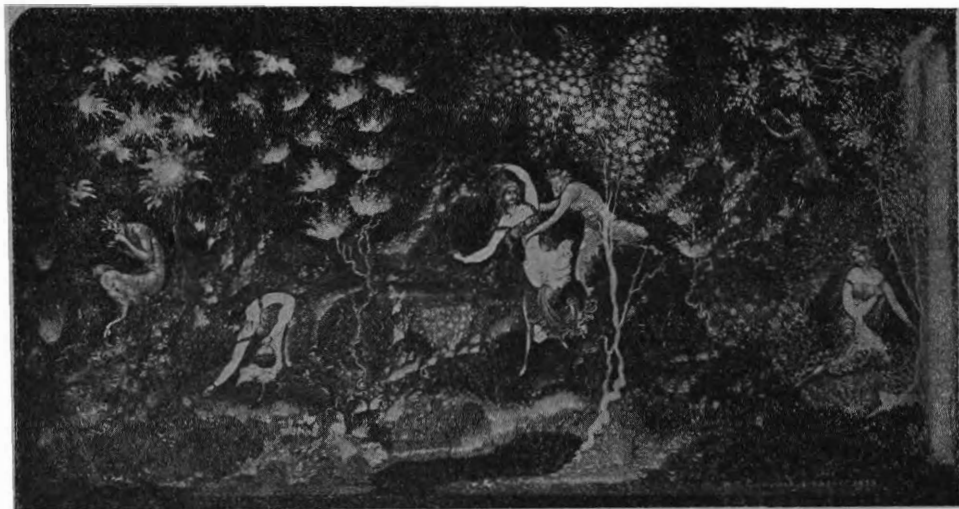
Прошло много десятилетий, и церковь, для которой важно было не искусство, а предмет искусства, убила в мастере эту ревностную любовь к

своему произведению. Церковь, породившая цельного художника, сама же раздробила его на части. Иконописные мастерские превратились в фабрики с цеховым делением. На смену творцу-художнику появились личники, платичники (до-личники), позолотчики и грунтовщики. Иконопись для мастера стала безрадостным ремеслом.

Наступила революция. Она одним днем зачеркнула столетия: она в корне подорвала это позорное глумление над личностью художника, хотя цель ее заключалась в несколько ином — в

ная специальность, дававшаяся долгой учебой, в которой принимала участие плеть, а самое главное — житейское благополучие, — все пошло прахом. Этот удар был так неожиданен и увесист, что он перевернул Палех наизнанку. Палехский матриархат восстал.

— Жены наши раньше только варенье варили, — рассказывает один из бывших иконописцев. — А как наступила революция, они стали нас поедом есть, издевались над нами и над нашим ремеслом, грызли за то, что мы остались в пиковом интересе.



И. П. Вакуров.

Леший.

освобождении масс от религиозного дурмана.

И вот на Палехе лучше, чем на чем угодно, можно понять глубинную мудрость революции: в плане искусства и в плане быта революция произвела различные по качеству, но одинаковые по сокрушительной силе встряски; ремесло она подняла до искусства, а своеобразный палехский быт снизила, так сказать, до уровня деревенского быта.

Палех угрюмо безмолвствовал в октябрьские дни семнадцатого года. Люди оторвались от незаконченных ликов, посмотрели друг на друга и вдруг поняли до смешного простую и жуткую истину: иконы больше не нужны. Многовековая преемственность, труд-

И, конечно, вполне понятными были желания некоторых палешан, над которыми смеялся Балденков, открыто ставший на сторону революции:

Все мечтают, как бы снова
К ним вернулась власть царя.
Вновь начнем писать святого —
Вот иллюзии уж заря.

Но самое трагическое было не в пустых мечтах о возврате царской власти. Трагедия заключалась в том, что иконописцы — в своем большинстве — не были по натуре своей ни особенно религиозными, ни реакционными. Напротив, Палех больше чем другие села знал в свое время и подпольные кружки и нелегальную литературу.

Миниатюрист А. В. Котухин вспоминает, как в пятом году палешане раз-

носили нелегальную литературу по окрестным селам и деревням, охватив район радиусом в пятнадцать верст.

На своих иконописных путях они нередко сталкивались и с революционерами и шли вместе с ними на баррикады. Вот, например, что рассказывает в своей биографии тот же Александр Егорович Балденков, правдивость и честность которого известна всем палешанам:

«Пришлось мне ехать в отъездку — в село Коринское Александровского уезда, где я и взял все головы в своей церкви на отряд... В одной версте от села была фабрика купца Баранова. На этой фабрике в 1904 году вспыхнула забастовка, которая продолжалась три дня. Прислали, конечно, солдат и казаков. В Коринском было много рабочих с барановской фабрики. Я познакомился с несколькими молодыми рабочими, от которых в дальнейшем получал различные брошюры и нелегальные книжечки. Тут я в первый раз хватил революционного духа.

Наступил пятый год. Артель наша иконописная стала революционным очагом. В ней нередко у нас собирались конспиративные собрания. Во время осады университета — на вечернем конспиративном собрании — было постановлено: дать немедленную материальную помощь осажденным студентам, что и было сделано через одного нашего товарища-палешанина М. Маркичева, который в то время учился в школе живописи, ваяния и зодчества.

Многие из товарищей, и я в частности, по ночам бегали на баррикады — то на Тверскую, то на Долгоруковскую. На похороны убитого Н. Е. Баумана ходила вся наша артель.

Начались революционные действия и у нас в Рогожской — на заводах Гужон и Перенуд. Я участвовал в заграждении пролетов яузских мостов, в валке товарных вагонов с насыпи и опутывании проволокой.

К вечеру явился отряд драгунов. Доехав до заграждений, драгуны дали залп вверх. На этот залп с нашей стороны последовали револьверные от-

веты и революционные песни. Драгуны и казаки уехали ни с чем.

Два раза я был под ночным обыском и один раз в сыском, и даже был общий обыск на квартире, но ничего не нашли. В виду религиозной профессии, подозрений сильных на меня не было.

Вернулась семья — она жила во Владимире. Я уж стал в полном смысле революционером, хотя ни в какой партии не функционировал. Крест был с шеи сброшен, и образа только по просьбе жены были оставлены на местах. В церковь также перестал ходить. Одним словом, религия по боку. Портреты хорошей литографии царя и царицы были мной уничтожены. На почве этой между мной и женой начался разлад.

В 1907 году я уехал пьяный на редиону».

Рассказ поэта продолжить не трудно: уехав на родину, конечно, он стал вновь писать иконы и писал их до октября семнадцатого года. Революция революцией, а ведь жить-то чем-нибудь нужно. Как же делатели богов должны были чувствовать себя в Октябре, если боги, кормившие их, парализовали их силу и волю?

Под напором событий Палех беднеет, как осеннее дерево, теряющее свои листья.

— Сколько хороших людей пропало без вести, сколько спилось, — вспоминают палешане.

В годы гражданской войны одни из них едут со своими семьями в разные хлебородные губернии, гибнут в путях, навсегда оседают в чужом краю.

Другие учатся запрягать лошадь и становятся крестьянами.

Будущий Голизов ездит по театрам и рисует декорации. Кстати, его декорациями до сих пор гордится кинешемский театр имени Островского.

Будущий И. П. Вакуров устраивается чертежником-копистом на железной дороге.

Будущий Буторин ходит по окрестным деревням и рисует за картошку портреты мужиков.

Балденков, повоевав на старости лет с Деникиным, мобилизуется вэзньков-

ским укомгоссоором в качестве маляра и, проработав там год, получает удостоверение, в котором говорится, что он, будучи маляром, «честно исполнял обязанности, возложенные на него революцией». Потом он так же, как и Буторин, ходит по деревням и рисует портреты. Его это больше веселит, чем удручает. Он влюбляется в своих натурщиц и пишет им восторженные послания:

Богомаа была мне клетка —
 Это всем ведь не секрет:
 Ваше миленькое личико
 Перевел я на портрет.

Или так:

Ваш портрет писан с любовью,
 Облик в нем красы немой.
 Он весь дышит нежной кровью,
 Доброй лаской, неземной.
 Нету в нем красы фиктивной.
 Здесь лишь русский милый тип
 Русской барышни активной —
 Красоты родной антик.

Платичник Н. Махов становится па-стухом, но, не справившись с этой трудной работой, поступает в милицию, взяв, по выражению Балденкова, «вместо дудки револьвер».

Иконописец С. Д. Корин становится пожарным при огнескладе, потом завхозом при детдоме и, наконец, оседает, найдя свое место, — библиотекарем палехского нардома.

Будущий А. В. Котухин подвергается трудмобилизации. В мобилизационной комиссии спрашивают его:

— Что вы умеете делать?



Иван Маркичев. Пудренница.



Дмитрий Буторин. Игра в карты (миниатюра).

— Писать иконы, — отвечает он.
 — Иконы нам не нужны, — говорят ему, — а печником можете быть?
 — Могу научиться...
 — А лапти плести умеете?
 — Мудрость не велика, — отвечает Котухин.

И его записывают в лапотники. Теперь, сидя над миниатюрами, он порой вспоминает со смехом:

— В одну зиму триста двадцать человек обул...

Так вот Палех и мыкался от дела к делу, потеряв самого себя. Когда, наконец, все поуспокоилось, когда, перепробовав сотни дел, каждый приткнулся к чему-нибудь, — тогда и наступило возрождение — рождение второго Палеха.

По извечным законам естественного отбора сильные выживают, преобразуя свое лицо. Истинный художник всегда остается самим собой: в творческих колебаниях социального кли-

мата он только лучше закаляет свой лирический организм. И в Палехе нашла маленькая группа художников, которые не могли — в силу своей одаренности — приткнуться ни к милицейскому «револьверту», ни к лаптам.

Самый момент всякого возрождения всегда неуловим, как неуловимо раскрытие цветка из бутона. И совсем не важно, в конце концов, кто именно и кого именно надоумил расписывать сначала деревянные игрушки, кто были первыми учредителями артели древней живописи и как датирован первый протокол артели. Все это имеет только внешний, узкокраеведческий интерес. Важно то, что гибелью (в художественном смысле) многих сотен остался десяток самых лучших и закаленных.

Игрушки принесли им первое дунение славы. Потом — после игрушек — безыменные рисунки на папье-маше, уже далеко ушедшие от лубка, но еще не знавшие лаку, поездка к лукутинцам для изучения способов заготовки сырья и победа над лукутинцами, которые никогда не были художниками.

И вот — первые дипломы, ярмарки в Нижнем, парижская «grand prix», Лион, Венеция, Милан, музеи, столбцы газет и журналов.

Уголь превратился в алмаз.

5. Соцветие Иванов

Иваново-Вознесенск — имя труднопроизносимое, не укладывающееся в обычную метрическую строку. Поэты избегают употреблять его в своих стихах, а иваново-вознесенцы — в разговоре — отбрасывают вторую, церковную половину слова и именуют город просто Ивановым. В этом имени нет ни кричащей о себе красоты, ни исторической загадки. Иваново звучит предельно просто, что очень соответствует характеру самих ивановцев. Но под этой простой и бедной одеждой скрывается внутреннее богатство, счастливая несхожесть и самобытная красота.

Революция, породившая Палех и отдавшая его Иванову, захотела как бы подчеркнуть это свое веление удивительным именным совпадением: возро-

жденный Палех — это не что иное, как маленькая кучка Иванов и Ивановичей: Иван Михайлович Баканов, Иван Васильевич Маркичев, Иван Петрович Важуров, Иван Иванович Голиков, Иван Иванович Зубков, Алексей Иванович Ватагин. Разбежавшись по этой ивановской дорожке, хочется присоединить к числу Иванов и прочих художников: Александра Котухина, Дмитрия Буторина, Николая Зичовьева, Аристарха Дыдыкина...

Биографии Иванов схожи, как имена. У всех, за немногими исключениями, — трехнедельная художественная преемственность и пьяницы отцы, у всех — сельская школа в детстве и шестилетняя учеба у Сафонова или Белоусова. Каждый из них оставил крупицы своей работы где-нибудь в Ново-Девичьем монастыре, в Грановитой палате, в московских и питерских храмах. Все они встречались на своих иконописных путях с В. М. Васнецовым или Нестеровым. Не обладая большой грамотностью, все они, словно поговору, прочитали на своем веку «Историю Искусств» Гнедича или Бенуа. И все побывали в окопах.

Но схожесть житейских путей и схожесть имен только ярче оттеняют различность Иванов. По одинаковым дорогам каждый из них пронес свою особую жизнь, свою линию, свой цвет.

Иван Баканов... Вопреки цвету его фамилии (бакан — багряный цвет), образ его связывается в моем представлении с цветами: охряно-палевым и облачным.

Он живет в Горе, на мощеной улице, которую палешане шутя называют Невским проспектом. Тут мало древесной зелени, зато широки горизонты, и отсюда хорошо смотреть на облака, проплывающие над Палехом.

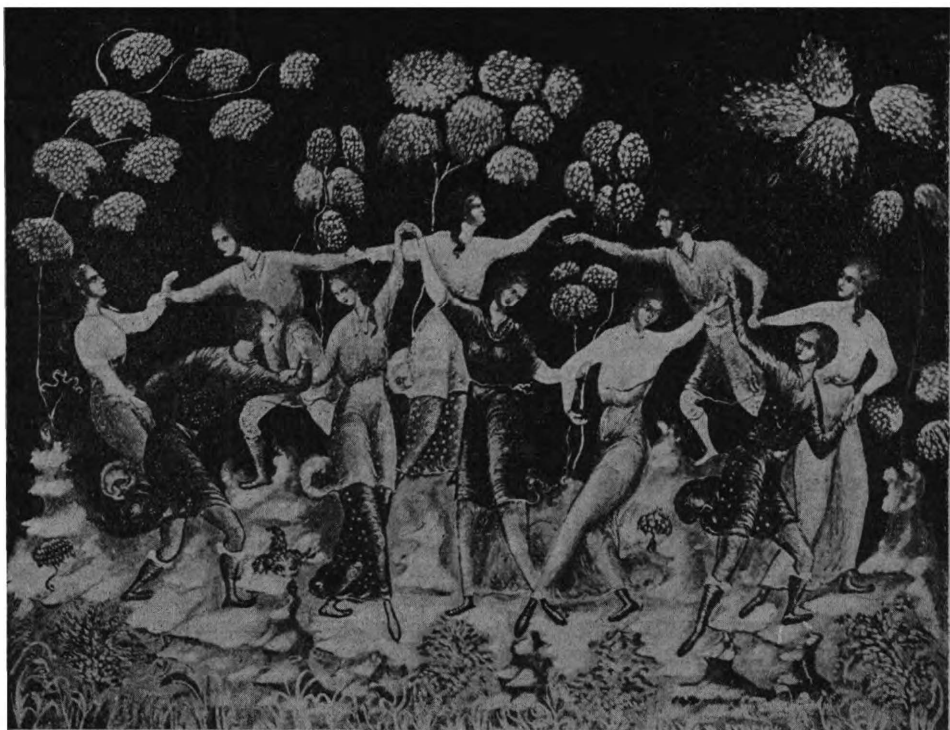
В домашней мастерской Ивана Михайловича — старинные книги, иконы редкой работы и строгая тишина одиночества.

Старый мастер дружен с пелём и гуммом: у него так естественно увидеть в седых волосах запутавшуюся соломинку или колосик. В глазах его

таится мудрое спокойствие человека, чуждого разгулу и не разбрасывающего попусту свои силы. А во всем облике — прилежная неторопливость, свойственная человеку, который много жил и много знает.

На столе перед ним — ящичек с красками: сухие краски аккуратно расставлены в баночках из-под перца, а растворенные — в деревянных ложках

А его облака... Легкие, белесовато-голубоватые, кругло-очерченные серебреном, заходящие одно за другое, неожиданно посаженные на черный фон, — они мудро правят картиной. Единственный мастер облака (неба вообще не принято рисовать на миниатюрах), Иван Баканов умеет как-то умиротворять воздушное серебро их с вечной краской земли. Он, может быть, лучше



Н. Буторин.

Хоровод (холст).

с отломанными ручками. Эту, обычную палехскую палитру неизменно дополняет скорлупка яйца с желтком.

Рядом с красочницей — две-три очередных вещицы. Нужно взглянуть в их краски, вспомнить десятки других вещей, безвозвратно ушедших за границу, постараться забыть содержание их, закрыть на минутку глаза, — и тогда уловишь цвет художника.

Телесные, палевые, оранжевые тона, будто взятые от раскаленных пустынь Палестины, переливаются по бакановским миниатюрам.

других знает, где начинается и где кончается искусство: каждая вещь его безукоризненно-завершена и спокойно мудра, как ее творец. А когда поднимешь голову от миниатюры, увидишь серебряную бородку и добрые глаза. И услышишь голос, крепкий и ровный:

— Посмотрите вот на мои ежескизы, — скажет он и протянет папку с карандашными рисунками.

Тут только контуры, только линии, но сколько грациозной человеческой юности заключено в линиях старого художника. Юность близка Ивану Баканову, юность умеет дружить с ним.

Вот он держит в руках фарфоровую тарелку, на которой написана нежная идиллия юности: «Первый поцелуй». Ручеек, деревца, охряные холмики, стадо баранов и те же неподражаемые облака окружают целующихся — пастуха и пастушку.

Пастух — это не какой-нибудь Пантюха, нет, это — Сильвандр, Колен, Тирсис, — красочное воплощение русских бергеретов, аркадский образ, освобожденный от бытовых аксессуаров, символ безмятежного и нереального счастья, созданный для любви, а не для пастбы скота.

Пастушка — это не Аксинья и не Дарья, это — Филис, Елизабет, Нанетта, девушка, лукаво и безобидно играющая с амуром, причесанная на лирически-романтический лад.

В руках у Сильвандра — высокий тонкий посох, который, казалось бы, должен быть отброшен в такую минуту. Но Иван Вакуров, сощурив глаза и ставя перед собой тарелку, улыбочиво объясняет:

— Вот видите, это для плепорций...

И верно: не будь этого посоха, композиция была бы нарушена и поцелуй не состоялся бы.

Тенистая Ильинская улица, горбясь, уходит от нардома в поле. Это — самый зеленый угол Палеха. Тут и кладбище — зеленая грусть, и столетние березы, зеленеющие у домиков, и поза домами зеленые гумна, и зелено-олевая Палешка — граница зеленых Заводов.

Скрипучий журавель посередине улицы вежливо кланяется домикам. Баба опрокидывает бадью, и влага в ведре любовно принимает солнечный луч.

Напротив журавля — домик Ивана Петровича Вакурова, художника сырой и грустной зелени. Если его не окажется дома, значит он где-нибудь во дворе — загоняет коз или удит рыбу в безмятежной незабудковой Палешке.

Он окружен этим зеленым миром — Иван Вакуров — молчаливый и грустный, измученный работой, невзгодами и туберкулезом, много счастья растревавший в жизни, но сохранивший од-

но счастье — обманчивое счастье художника.

«Прочитал «Фому Гордеева» два раза под ряд, — писал он мне в своем письме. — Хорошо. Смеялся и плакал. Вот сейчас и думаю, как мужик пел с актрисой на плоту, и Фома слушал, плакал и восхищался. «Эх, мужик, как ты поешь!». А мужик отвечает: «Э-э, барин! Жизнь научит. и бык соловьем запоет!».

Иван Вакуров и сам так же мог бы ответить всякому, кто посмотрит на его миниатюры.

Когда я впервые увидел этого тихого и задумчивого человека в его мастерской, мне показалось, будто я где-то уже видел его. Где-то недалеко от Палеха, только не в зеленом мире, а в пыльных улицах большого города. Но где, в каком именно городе встречался он мне? Я начал было мысленно перечислять города: Шуя, Иваново-Вознесенск... Ну, конечно, в Иваново-Вознесенске! Только как-будто не с кистью, а с пером в руке... И тут произошла мгновенная метаморфоза: я увидел перед собой Дмитрия Семеновского, который влажной кистью кладет прозрачную зеленоватую плавь на папье-маше, а Иван Вакуров — картиной пронеслось в уме — поник над стихами там, в Иваново-Вознесенске, в тихой комнатке мечтательного поэта. И в самом деле: как похожи они друг на друга! К каждому из них как нельзя лучше подходит блоковские строки:

Простим угрюмство. Разве его
Скрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество.

Не знающие друг друга, они воспевают — один красками, другой словами — одинаковые чувства, одну природу. Их роднит осветленная грусть, любовь ко всему, что лучится, теплится и зеленеет.

Житель Иваново-Вознесенска Дмитрий Семеновский пишет стихи о голубом мосте, перекинувшемся от неба до земли, о тоненькой жимолости, о грустном покое повечерья; ольха у него пляшет, бредня зелеными бубенцами, а весна зелеными рукавами ма-

шет; ему видится, как «за ночными речными туманами скачет удаль на вихре-коне».

Житель зеленого мира Иван Вакуров рисует зеленые лесные сказки, в которых девушку застигают злые волшебные силы, он рисует древо познания, жар-птицу, он, как и поэт, знает, что «ест мудрость в растеньи простом»: все древесное, зеленое, хлорофилловое, светло грустно, живет в его миниатюрах.

Они никогда не видели друг друга, но мечты их встретились на маленькой коробочке из папье-маше: художник причудливо облек в краски стихотворение поэта «Леший».

Неискушенный созерцатель, посмотрев на эту миниатюру, скажет: «Позвольте, ведь у Семеновского только один леший, который застигает только одну девку; а тут три девки и три леших, — какая же это иллюстрация?». Но разгадка проста: если поэт употребляет слово леший в поэме несколько раз, почему же художник не может употребить лешего в одной и той же картине тоже несколько раз? Это отличительный прием налехских миниатюристов. Нужно читать эту цветопись слева направо, как рукопись.

Вот первая часть картины:

Леший присел на пенек.
Леший играет на дудке,

а «красная дэвка» собирает «синь-гонобобель» по болотным кочкам. Во второй части — тот же самый леший ... облапил, губами обжег

ту же самую девку. И третья часть картины: девка гибнет над трясиной, а вдалеке «ломится, ухает леший в дубове, хмурит косматые брови».

Волей художника три различных картины связаны в один целостный, стройный и замкнутый триптих.

Тут зеленые тона преобладают над прочими: кочки, деревца, леший — все дремуче-зелено, и только дэвка одета в ярко-красный сарафан. Дружные металлы — золото и серебро, — превращенные в невесомые волоски, в штрипки, в точки, в пыль, — нежно властвуют над деревцами, над мхами, над складками сарафана. Кажется,

будто драгоценные металлы для того так богато рассыпаны тут, чтобы навсегда остановить эти неоскудевающие в своей прелести мгновенья.

На миниатюре две подписи: первая — «Леший», стихотворение Дм. Семеновского», вторая — «И. П. Вакуров, 1928 г.». Далекие и близкие, они дружно благовествуют о вечной юности и красоте земли. И второй из них — крестьянин-художник — всеми красками своими, всем существом своим как бы хочет сказать вслед за поэтом:

Вот иду дорогой трудной,
Прелесть мира полюбив.
И какой грустью чудной,
Светлой грустью я счастлив.

Артельная мастерская... Если гумна еще не сжогены, ветер приносит в мастерскую цветочные ароматы, но кажется, будто ароматы эти исходят из стеклянного шкафа, в котором русские народные сказки, прибаутки и песенки, одевшись пестро и нарядно, тоскуют о заморских странах. В солнечных амбразурах окон висят на бечевках бутылки с лаком: лаку нужны солнечные ванны, чтобы стать прозрачным.

В летний полдень пусто и тихо в этой маленькой комнатке. Артельный завхоз Иван Васильевич неторопливо протирает пемзой готовые изделия, да безвыходно сидит над своими «предметами» Иван Иваныч Голиков — мастер коня, тройки и битвы, — Иван — неугомонный властитель всех цветов и оттенков, впрочем, более всего сродный цвету красному.

Перед ним висит на стене дешевый железный поднос с богатым рисунком. Это одна из бесчисленных голиковских троек. Он — испытующий труженник, слишком беспокойный и подвижный, чтобы ограничиваться узкими рамками папье-маше, — первый пробует фарфор, железо, карельскую березу, плотно и мечтает о стенописи. Чтобы испытать прочность своих красок, он с краями наполнил этот железный поднос русской сорокаградусной и так продержал три дня. Краски остались невредимыми, и вот теперь яркая тройка, выдержавшая все испытания, алым вихрем мчится, рассекая снега,

поблескивая золотой упряжкой. Много троек написано художниками, а ведь вот ни на одну не похожа голиковская.

Рядом висит небольшой холст, на котором нарисован крестьянин, пахущий землю. Сколько чересполосной бедности заключено в эту картину и какой символический, парадоксальный прием: замученная лошаденка, вкопец износившаяся упряжь, жалкая соха, рубище пахаря — все општриховано сусальным золотом и серебром, все — нищее и рваное — светится богато и драгоценно.

Когда Иван Иванович закончил этого «Пахаря», он сказал:

— Сколько этих пахарей написал я! Пахут, пахут, а ты сиди без хлеба.

И через минутку раздумчиво добавил:

— Только знаете, чем больше голову, тем больше таланту...

Тут, на стенах, висят рядом с другими и дипломы Голикова, в которых его высокопарно именуют: Golikoff. Дипломы исполнены, конечно, лучшим гравером Франции, отпечатаны на лучшей ватманской и снабжены подлинной подписью министра промышленности и торговли. Что это — откровенное признание таланта или насмешка?

Golikoff сидит ссутулившись, маленький и невзрачный, в одной руке держа козью ножку, в другой кисточку. Черная блуза его продрана в локтях, брюки, засаленные до блеска, заправлены в большие неуклюжие сапоги. Он, погруженный в работу, не сразу заметит посетителя.

— Здравствуйте, Иван Иванович!

Тут он встанет и улыбнется, и при улыбке можно будет заметить, что в верхней челюсти у него только один единственный зуб. Липо захудалого мастерового — подумаете вы, — усы, жиденькая бороденка, взлохмаченные волосы... Знал ли французский министр, кому подписывал он диплом?

Но глаза. Они смотрят пронзительно-остро. Порой в них только лукавство, порой ясная сосредоточенность, а порой они зашевеливаются вдохновенным озарением. Посмотришь пристально на этого среднего человека и вдруг в какую-нибудь одну секунду поймешь,

что перед тобой стоит средневековый мастер — человек большой работы и большой души.

Но это только мгновениями и только когда никого больше нет в комнате. Среди людей же он кажется еще более обычным и бедным. Я помню его на празднике в селе Красном. Накануне праздника он показал мне пудреницу, на которой была написана единственная фигура: полногрудая красавица с задорной улыбкой на лице, в ослепительно-красном сарафане. По окружности миниатюры лепилось золото слов замечательной народной прибаутки:

Перед мальчиками
Ходит пальчиками,
Перед зрелыми людьми
Ходит белыми грудьми.

— Эта работа музейного характера, — сказал Иван Иванович, — завтра в Красном будет много таких-то. Хороший материал — и пляска будет и драка будет.

На другой день палешане гуляли в Красном. Тут была и вся артель.

Вдоль села с наивной важностью расхаживали девки, все в белом — поплиновом и батистовом. Незаменимые гармошки «ахроматически» гремели над селом и затевалась, как всегда, драка.

Среди прилично одетых мастеров, среди ослепляющего девчатника, в громе ливенок, в криках подвыпивших парней, — Голиков, в своем бедном костюме, имел вид опешившего, испуганного чем-то человека. Он стоял посередине гульбища, — такой буднич-ный и обычный, держа за руки двух своих сыновей, и не знал, что ему делать.

Видно было, что он тут весь находится в оборотительной власти беснорядочных праздничных красок. Фериический водопад одеяний и лиц нахлынул на него, закружил, смял. И сам он едва ли догадывался, что в какой-нибудь тусклый осенний день, послушное магической воле художника, это сельское празднество вспыхнет вновь, но уже неумирающим гармоническим празднеством красок...

Совсем сгнивший домик Голикова стоит недалеко от артельной мастерской — нужно только перебежать гумно. Ни дорогих образов, ни портретов нет в этом домике. Только ухваты, горшки, да грязь и —нищета из каждой щели. Здесь ютится его семья, в которой он сам — восьмой.

— Сплю я на полатах, — говорит Иван Иванович, — вместе с ребятишками. Утром просыпаюсь весь мокрый — обмочат они меня всего. Притянуться некуда и бегу скорее в мастерскую. И знаете, у меня есть привычка: прежде, чем приступить к работе, — посмотреть на восходящее солнце... как оно поднимается над Палехом...

Вот это и есть славный Голиков — Иван Иванович — автор «Кургана».

Радуга имеет семь цветов, из которых образуется множество красок. Палехская артель древней живописи состоит из полутора десятков художников, и каждый из них имеет свою особую краску, потому что одинаковых людей не бывает. Но краска вечно тоскует о линии, без которой она хаотична и некрасочна. Поэтому каждый художник из палехского соцветия имеет также и свою особую линию, в которой душевные радости и боли нашли свои особые изгибы.

В краске и в линии, замыкающей краску, теплятся славные судьбы Иванов. Краске и линии они отдают все самое лучшее свое. Трудовая неделя, как смена спектральных сияний, призрачно и неправдоподобно проходит перед ними. А сельская жизнь проста и обычна. Она течет медлительными буднями — крестьянской работой, очередями у кооператива, заседаниями в вике, еженедельными базарами. И нужно быть не только художником, но и простым жителем села. Нужно обе жизни — действительную и призрачную — связать воедино. И вот Ивановы, живущие раз'единенно, раз в неделю — по вторникам — собираются все до одного в маленькую душную мастерскую.

Завтра, в среду, будет базар. (Известно, что и триста лет назад базарным днем в Палехе считалась среда.) На базаре нужно сделать самые про-

заические покупки. Поэтому накануне художники получают заработанные рубли, а заодно читают корреспонденцию, просматривают газеты, ожидают работы учеников.

Неторопливо и негромко это еженедельное сборище художников. Здесь не спорят с пеной у рта, не выносят громовых резолюций. Здесь только беседуют и молчаливо раздумывают о своем артельном деле. Картина собрания напоминает чем-то миниатюру А. В. Котухина: «Заседание волжесполькома». А эта последняя — «Тайную Вечерю».

Посередине комнаты за маленьким столом сидит председатель Иван Васильевич Маркичев, тормоша свои рыжеватые охотничьи усы; дымная кисть его папироски выписывает в воздухе прозрачные синеватые слои. Александр Иванович Зубков раскрывает свои папки, вынимает письма, протоколирует. Остальные окружают председателя и секретаря неровным кольцом.

Вот Дмитрий Буторин с лицом скорее военкома, а не художника, автор «Данко» (по Максиму Горькому) — миниатюры, которую никогда не забудешь: горящее сердце, проза и — люди, идущие сквозь серебряные дожди к золотому солнцу.

Иван Иванович Зубков — большелобый философ с бородой Христа. Он живет в деревне Дерягино, где у него старинный дом, полный старинных портретов и образов. Это — редкий знаток литературы и крестьянин-средняк, которому знаком голос «наития»: где-нибудь во дворе копаясь в навозе, неожиданно бросить вилы и убежать наверх — в свой рабочий мезонин, к краскам и кисти.

Александр Васильевич Котухин: его седеющие волосы красиво обрамляют лицо, а его могучая осанистая фигура напоминает фигуру какого-то мастера возрожденной Фландрии.

Иван Голиков и на собраниях сидит с кистью в руке, спиной к артеликам.

Иван Вакуров всегда поодаль и молчит больше всех.

Иван Баканов улыбочиво посматривает поперх очков.

Вечером художники разойдутся по домам, и каждый унесет с собой не только заработанные рубли, но и спокойную уверенность в правде своего дела. Утром будут они гулять по базару, запросто разговаривать с мужиками, интересоваться ценой на селедку. И снова — на всю неделю уйдут в невероятный, в сказочный мир цветов и линий.

6. От образцов к образам

Цвета и линии—это то же, что слова и ритмы: в их гармоническом содружестве рождается искусство. Но не всякое гармоническое сочетание цветов и линий есть искусство. Как бы ни было совершенно в формальном смысле то или иное художественное произведение, но если оно находится вне эпохи, если оно не выражает настроений и чувств широких масс,—оно становится мертвым предметом, скрипкой без струн и не может «эмоционально заражать» те же массы.

Дореволюционный Палех¹⁾ был до конца утилитарным, и в силу своей умеренной идеологической утилитарности он погиб, погиб сам собой, еще задолго до революции. Икона давно перестала быть произведением искусства (об этом я говорил в пятом очерке), а сделалась лишь орудием в руках церкви. Икона была хорошо известна широким массам, но она, как произведение искусства, не выражала и сотой доли их чувств. Если же темные массы молились на икону, боялись ее, любовались ею,—то искусство, как таковое, было тут совершенно не при чем.

Возрожденный Палех прямо противоположен дореволюционному.

Сюжеты палехских миниатюр можно разбить на три основные группы.

Первая и самая обильная черпает творческую энергию из народных частушек, песен, поговорок, пословиц, которые, кажется, уж давно ждали воплощения в краске и вот, наконец, нашли своего художника. И, глядя на эти

бесконечные вариации «Стеньки Разина», на «Девушек, бросающих в воду венки», понимаешь, что только Палех — и никто другой — мог одеть народную поэзию в такую красочную одежду.

Вторая группа сюжетов—произведения художественной литературы: «У лукоморья», «Леший», «Данко», «Располным полна коробушка» и многие другие.

Третья — собственные сюжеты художников: «Праздник в селе», «Крестьянский труд», «Бой красных с белыми», «Заседание волисполкома» и т. д.

Революция, освободив Палех от шаблона, открыла ему огромные сюжетные просторы. А сюжетные просторы и неиссякаемая возможность композиционных вариаций открывают еще большие просторы для краски и линии.

Возрожденный Палех—живой организм: в нем непрерывно происходит незаметный обмен веществ, который изменяет и совершенствует его формы. И как всякий живой организм, Палех подвержен оздоровляющим внешним влияниям, каких почти не знал дореволюционный Палех, замкнутый в скорлупу церковности. Возрожденный Палех не может застыть на одном месте, потому что революция сообщила ему поступательное движение. Им уже пройден большой путь от доски и олифы до палье-маше и лака. На этом пути краска и линия не один раз перерождались и совершенствовались.

7. Советские Уффици

Рождение—это крик о будущем. Возрождение—это мост от прошедшего к будущему, перекинутый через бурные потоки событий...

Я стою на патке крыльце одного из палехских домиков. Отсюда я увидел твоё прошлое, Палех. Здесь мне засветилось твоё настоящее.

Если бы Вольфганг Гете, который так интересовался суздальской иконописью (то-есть Палехом, Мстерой и Холуем), жил в нашем веке, он нашёл бы новое подтверждение тому, что цветы

¹⁾ Под словом Палех я в данном случае имею в виду не село, а искусство иконописи.

есть видоизмененные листья. Сто лет назад любопытство немецкого гения натолкнулось на непробиваемую стену тупой российской казенщины. Теперь поэт самолично приехал бы в Палех, как приезжают сюда завистливые иностранцы, советские журналисты и деятели искусств. Его любопытство было бы удовлетворено вполне. И, осмотрев сапожниковские фрески в храме, фамильные портреты и иконы в палехских избах, приобретя коллекцию миниатюр, он, уезжая, записал бы свои впечатления в артельной книге для посетителей...

Странная эта книга. Одни посетители в своих впечатлениях называют художников «пионерами этого дела», другие, наоборот, ветеранами. Завезший врач советует обратить внимание на антисанитарное состояние артельного помещения, иностранцы благодарят восторженно за оказанный прием.

В книге этой примиренно встречаются люди разных национальностей, характеров и убеждений. В ней стоят рядышком подлинси: лос-анжелосского профессора Джона Каррузера, начальника шуйской уездной милиции, немецкой преподавательницы Гертруды Байер, советского обществоведа, американской кино-сценаристки Люситы Сквайр, Альберта Риса Вильямса.

Альберт Рис Вильямс... Сейчас он где-то в Калифорнии и, может быть, тоже пишет о Палехе. А давно ли сидел он вот на этом самом крыльце—высокий американец с седеющими волосами и с нежным взглядом Есенина, влюбленный во все российское и кустарное. Бесконечные путешествия по советской стране сообщили его стройной фигуре, движениям и жестам какую-то российскую медвежатность.

Я вспоминаю приезд в Палех и никак не могу решить: кто на кого больше смотрел — он на Палех или Палех на него?

Не выпуская из рук записной книжки, Вильямс целую неделю ходил по Палеху, всматривался в старинную олифу икон, разговаривал с мужиками, посетил детские ясли, электростанцию...

Однажды художники привели Вильямса в домик одного из артельщиков.

В комнату набилось много народа. Видно было, что у каждого чешется язык, хочется хоть что-нибудь сказать редкому гостю. Ильяный ветеринарный фельдшер не удержался, он выступил из толпы и деликатно представился Вильямсу:

— Хотя Америка, — сказал он, — обогнала нас на сто процентов, а мы, в свою очередь, отстали от Америки тоже на сто процентов, разрешите познакомиться с вами, — я здешний цирюльник.

— Что это значит—цирюльник? — спросил Вильямс.

— Это по-американски значит, что я лечу от пятидесяти болезней.

За ветеринаром вышел из толпы крижистый мужик с красным лицом и полуседеыми волосами. Он сделал руки по швам, подтянул свое грузное тело и, рубя слова, как отбивные котлеты, отрапортовал:

— Я — здешний мясник. Зовут меня (имя-рек). Пришел познакомиться с вами, чтобы в Америке вы вспомнили обо мне.

И замер, как бронзовая статуя.

— Вы, верно, в солдатах были? — спросил Вильямс.

— Так точно. Служил в таком-то полку... роты... взвод...

Ходил Вильямс и на праздник в село Красное, купался с художниками в Люлехе, выпил с ними и даже сплясал. Эта прогулка в Красное увековечена Иваном Бакановым на палье-маше: вдали под бакановскими облаками изображена палехская колокольня, а на переднем плане—группа людей, предводительствуемых гармонистом. Если всмотреться, можно узнать и лица—артельщиков и Вильямса.

Друг Джона Рида расстался с художниками так, как расстался давно близкие, крепко сдружившиеся люди. А спустя несколько месяцев в газетах появилось сообщение, что на выставке в Нью-Йорке Вильямс, читавший лекцию, собрал большую аудиторию...

Вскоре после отъезда Вильямса Иван Михайлович Баканов сказал мне:

— Вот видите. Форснуть-то нами хотят, а помогать-то не больно помога-

ют. Взять хоть вон Голикова: совсем измотался человек. Иностранцам-то нас показывают с похвальбой, а чуть-что, говорят — богомазы. Терпеть не могу этого слова.

«Самое хорошее, что нам могли бы сделать, — писал мне Иван Петрович Вакуров,—своими бы полечить или отдохнуть. Но об этом говорить нельзя, как будто напрашиваешься. Врам мне непременно советует на курорт. Но как будешь об этом говорить? И что я за счастливец? Голиков тоже устал, работавши. Еще Николай Зиновьев не совсем здоров. Вот уж нас трое. Денег на троих надо много и думаю, едва ли что выйдет».

Но не только личная судьба заботит их. Нет, — их больше волнует судьба того искусства, которое кратко именуется Палехом. В том же письме автор «Лешего» говорит:

«В наше искусство нужно вот что, чтоб его поднять на высоту: дать мастерам материал, экскурсии по историческим памятникам. Старые мастера еще что-то видели, живши по городам. А молодым, если этого не дадут, то они не будут как старые мастера».

С дипломами, с красочными репродукциями в иностранных журналах Палех оставался все еще в тени, все еще как бы непризнанным. Некогда было думать о каких-то буржуазных миниатюрах, когда страна напрягает все свои силы на великую социалистическую стройку.

Но вот — выставка к десятилетию Октября, тысячерублевая премия и новые гости в Палехе, — уже свои гости — большевики, руководящие хозяйственной жизнью страны. Тут Палех вспрыгнул, взялся за учебу молодежи, купил новый каменный дом для артели и стал увереннее смотреть в свое будущее. Трогательной благодарностью звучат слова одного из артельщиков:

«Я. С. прислал нам еще 10 тысяч рублей на ремонт купленного здания, цементу и масла... Вот ему спасибо. Мало говорит, а много делает. Таких людей мы отмечаем в сердце».

Перечитав эти строки, я вспомнил: Москва, Китай-город, наркомат, тихий несветлый кабинет и лицо, склоненное над бумагами...

Десять тысяч рублей! Этот подарок советской страны возрожденному Палеху дороже всей мировой славы, всех зарубежных дипломов. Десять тысяч рублей сделают свое дело. Они не дадут повода иностранцам удрученно покачивать головой, удивляясь беспризорности Палеха. Может быть, благодаря этим десяти тысячам слава Палеха проникнет теперь не только в Америку, но и в Палех, и в Шую, и в Иваново-Вознесенск!

Это меня наполняет радостью и гордостью. И отсюда, с крыльца, глядя, как опускается оранжево-бакановое солнце, я уж мечтаю о твоём будущем, Палех. Ты имеешь право на будущее, потому что ты выстрадал эту красоту.

Скоро текстильный город свяжет тебя с уездом сквозным и ровным шоссе, которому будут любя касанья тугих автобусных шин. Об этом уж говорил как-то Никитич, гордясь своей пилеткой.

Нам будет жалко всех твоих сегодняшних произведений, которые проданы в чужие холеные руки. И сожаление это заставит нас — в миллионах красочных репродукций — до продажи показать каждую твою вещь своей стране.

На смену твоим десяти художникам придут сотни их учеников.

Артельная мастерская будет не в этой конуре, а в огромном доме невиданной архитектуры. Стены этого дома будут расписаны твоими собственными мастерами, которые постараются в каждом мазке кисти выразить хотение трех столетий.

Рядом будет школа живописи, где палехские юноши будут жадно внимать многодумным профессорам и где глаза и руки юношей будут весело постигать неистощимую философию красок.

Люди поймут, что религия больше не нужна, и тогда палехский храм превратится в музей, который не уступит флорентийским Уффициям. В нем бу-

дет собрано все, что пощадила и что воскресила революция.

Каждый камень Палеха будет драгоценным воспоминанием.

На могиле Бедного Гения будет стоять прекрасный памятник...

Пусть тогда приезжают сотни иностранных туристов! Заморские гости поймут, как мудро умеет революция связывать прошлое с настоящим.

В свете твоих немеркнущих красок еще ярче, еще красочнее покажутся нам наши трудовые будни. Краски будут заражать каждого человека горячим желанием работы... И люди научатся понимать красоту...

«Очень нужны мне Афины и Рим! Дайте мне невод, и я поймаю на берегу моря столько Венер, Данай и Лед, сколько может вместить наше воображение». Так сказал Рубенсу Адам Ван-Дер-Ноорт, беспредельно влюбленный в краску.

Но Ван-Дер-Ноорт не любил чужого искусства, а мы его любим не меньше, чем свое. Нам нужны и Афины и Рим, и мы знаем, что они будут принадлежать нам—всему человечеству. Палех будет дружить с ними, как меньший брат. Нужно только постараться выкормить его нашими советскими хлебами...

Я раз мечтался. Вечер уже растялает по полям и гумнам половики туманов. Передо мной все тот же бедный и богатый Палех: соломенные крыши сараев, прясла и палешане, идущие в народ. И мне думается: мастера умрут, а вместе с ними умрет и Палех.

Зато останется жить и процветать вот этот Палех, который я вижу перед собой. И у него будет свое большое, только уж совсем другое будущее...

Мудрее время сделает так, как ему заблагорассудится.

А пока я вижу, как комендант Федя зажигает лампы в нардоме. Из нардома доносится голос Москвы. Там, в Москве, на Никольской, в просторной студии, устланной пыльными коврами, задрапированной мягкими сукнами, поет народный артист республики. Ему аккомпанирует дама в бархате. Грозы и аппарат делают голос певца хриплым и скучным.

Но вдруг где-то на другом конце села, может быть, в Слободе, взвизгнула гармошка и зачертила в темной тишине прихотливые линии звуков. А голос из Москвы как раз в это время умолк. Там бледнеет иногда произведение ученого художника перед картиной малограмотного мужика.

Гармошка не жалеет красок, чтобы покорить эту ночь: звуки ее прозрачными слоями радужной плавии растекаются в темноте, подобной черному грунту папье-маше. Плавь покрывается новыми слоями—густыми и резкими. Гармошка выбивается из сил. Невет уж она разбрасывает последние звуковые слои—сусальное золото и серебро.

Нехватает только орнамента.

Впрочем, я слышу и орнамент: равнономерное стрекотанье кузнечиков любовно удерживает неугомное море звуков в своих нерушимых золотых берегах.

Москва, октябрь—ноябрь, 1928 г.

7. ЗАМЕТКИ О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

И. Ильинский

1

До революции студенты бунтовали. Каждая стачка или демонстрация, с ее неизбежными последствиями — арестами, высылками, исключениями из университета — волей-неволей привлекала внимание общества ко всей сово-

купности вопросов, связанных с жизнью высшей школы. Почему они не учатся? Чего им нехватает? Можно ли совместить науку и политику? На эти вопросы разные общественные классы давали разные ответы, но волновались ими все, и редкий месяц проходил без того, чтобы в газетах, в еже-

недельниках, в толстых журналах не развертывались во всю ширь споры о тех или иных вопросах высшей школы. Теперь времена переменялись. Студенты не бунтуют. Они учатся. Конечно, политикой современное студенчество интересуется и занимается во сто раз больше, чем его дореволюционные предшественники. Но сейчас наука и политика идут рядом. Цели у них общие. Тот, кто занимается политикой, в ряду величайших ее задач считает создание таких условий, которые благоприятствовали бы расцвету науки и внедрению научных знаний в широкие массы. Тот, кто движет науку, ни на минуту не забывает ее значения, как одного из величайших рычагов политики, созидающей благосостояние тех же масс. Но человек устроен так, что внимание его елечет в первую очередь нелады и неустройства. Где все гладко и хорошо, там любопытство и позыв к действию находят себе мало пищи. В высшей школе у нас не все гладко и не все хорошо. Но те острые «принципиальные» вопросы, вокруг которых кипела ожесточенная борьба встарь, так или иначе разрешены. Неустройства и неполадки идут от бедности, от некультурности, и борьба с ними включает по существу лишь ряд технических вопросов: как обеспечить студентов жильем? какой метод преподавания положить в основу—лекционный или семинарский? и т. п. Каждый из этих технических вопросов время от времени—особенно в начале учебного года—становится предметом живого общественного интереса. Но школе в целом общество уделяет мало внимания. Если не считать таких органов печати, как «Комсомольская Правда», «Научный работник», «Красное студенчество», то придется сказать, что и печать высшей школой занимается мало и при том от случая к случаю. Особенно жаль, что повышенный интерес к высшей школе обнаруживается лишь в связи с такими случаями, как дело Кореньковых, процесс Альтшуллера, и т. п.

Прежде мечтательно говорили: молодежь—наше будущее. Теперь ее с военной выразительностью и крат-

костью называют просто сменой. Часть этой смены, и при том отборная ее часть, учится в высшей школе. Сюда рабочий класс и крестьянство выделяют лучшую свою молодежь, ту, которой в будущем предстоит занять командные посты в управлении, промышленности, торговле, науке. До времени приходится давать на эти посты людей прямо от станка. Но в будущем люди, взятые от станка, получают сначала то вооружение, которым может снабдить их наука, а затем уже с большей уверенностью обратятся к руководящей работе. Такую подготовку кадров ведет высшая школа. Пространно обяснять ее значение излишне, но собирать материалы, сюда относящиеся, необходимо. Настоящие заметки притязают исключительно на роль сырых материалов. Читатель не найдет в них ни систем, ни теорий, а только факты и наблюдения, кое-где подчеркнутые выводами.

2

Круг наблюдения определяется точкой, на которой находится наблюдатель. То, что расположено неподалеку, он видит целиком и может обозреть со всех сторон. Более отдаленные предметы повернуты к нему какой-нибудь одной стороной. Пишущий эти строки преподает и преподавал право в некоторых московских вузах и за шесть лет преподавания в советской высшей школе накопил некоторый запас наблюдений, который используется в настоящих заметках. Понятно, что профессору я мог наблюдать ближе и всестороннее, чем учащимся, встречаться с которыми приходилось почти исключительно на почве учебных отношений (занятий, экзаменов и т. п.). Но зато студентов мне случалось наблюдать с разных факультетов: юристы, экономисты, электрики, технологи, медики, педагоги. Дело в том, что некоторые отрасли права (советская конституция, хозяйственное право), преподаются не только на общественно-научных, но и на инженерных факультетах. С профессорами же этих факультетов встречаться приходилось мало. Вот, примерно, объем наблюдений, которые были

мне доступны. Он не слишком широк, но, кажется, ничего исключительного не представляет: те люди и явления, которые типичны для него, типичны, вероятно, и для всей высшей школы.

О социальном составе студенчества писалось много, и он достаточно известен. Те люди, которые попадают на младшие курсы,—а я веду занятия преимущественно на младших курсах,—в подавляющем большинстве рабочая молодежь с некоторой примесью крестьян. Большой процент—не менее 60, а часто больше—партийцев и комсомольцев. Классовое происхождение наложило резкий отпечаток на их наружность, манеру держаться, способ мышления. Оно сказывается в целом ряде мелочей, начиная с простой рабочей кепки, которая теперь, как когда-то синяя фуражка, носится с особым интимом, и кончая тушением папирос о грубую, мозолистую ладонь—способ, недоступный прежнему студенту, в большинстве случаев выходящему из буржуазной или мелкобуржуазной среды. То же происхождение сказывается всеобщим употреблением «ты», а не «вы» в товарищеских отношениях. И в отношении между разными полами «ты» явно преобладает. Совместное обучение мужчин и женщин стерло некоторые черты различия в психике: обоих полов,—впрочем, главным образом, за счет женщин, которые стали чуть грубоватее, резче и проще, поддаваясь влиянию и усваивая привычки мужского большинства, в том числе и дурные привычки, как курение. Когда впервые, в начале учебного года, видишь этот шумный и сырой молодежь, буйным разливом наводняющий коридоры, аудитории и кабинеты, он весь кажется на одно лицо. И лишь в процессе ознакомления с ним на работе начинаешь выделять одних по развитию, других по своеобразию мысли и ее выражения, третьих по каким-либо резко определившимся наклонностям, и т. д.

О недостаточности подготовки, которую дает учащимся школа второй ступени, писалось у нас много. Рабочие факультеты имеют некоторые, но не решающие преимущества. Мне при-

ходило на занятиях и на экзаменах узнавать бывших рабфаковцев по той уверенности, которую они проявляли, когда дело касалось политической экономики, теории империализма и т. п. Довольно твердо усвоена ими история ВКП(б), Октябрьской революции и ближайшим образом предшествовавших ей исторических событий. Но общеисторические и литературные сведения до обидного скудны.

То, чего не дала средняя школа, не восполняется и в высшей по причинам, о которых я скажу в дальнейшем. Целый мир образов, переживаний, представлений, способных обогатить мысль и чувство, для молодежи остается неведомым. А естественная жажда художественного слова удовлетворяется из второстепенных, а иногда и просто мутных источников современного книжного рынка. Клода Фаррера зачитывают до дыр, а имя Эдгара По звучит, как нечто совершенно неизвестное. Читаются путанные и вязкие любовные повести Ромашовых, но никто не заглядывает в Стендаля. Старая литературная критика—Белинский, Добролюбов, Писарев, публицистика Герцена и Михайловского редко доходит до студента ближе, чем в беглом, суммарном перечне вводной главы какого-нибудь учебника по истории революционного движения.

То же следует сказать и об общеисторических сведениях. Для молодежи мировой история начинается с Октября 1917 года. Что было раньше,—это либо исторические репетиции Октября (Парижская Коммуна, крестьянские войны, восстания рабов в древнем Риме), либо беспросветные эпохи диктатуры имущих классов, ни в каком отношении не интересные. Острое чувство современности само по себе хорошо, но преувеличения его вредны: нельзя понять современности, не зная ее исторических корней и не имея минимума чисто фактических знаний по истории. Студентка-экономистка сдавала семинар по истории политических учений. Я попросил ее изложить учение Платона о государстве. Это было выполнено без запинки и довольной бойко. Я хотел уже поста-

вить ей зачет и только походя спросил: в котором веке жил Платон? Экзаменуемая замялась. Я не придавал тому значения и, желая ободрить ее, пояснил: ну, приблизительно, не будет особой беды, если и ошибетесь на 100 лет. Ответ последовал такой: в XVIII веке. — В какой стране? — Кажется, во Франции. — В зачетной книжке девушки уже стояло много зачетов, и она серьезно обиделась, когда я предложил ей притти еще раз. Мое указание на исключительную грубость ошибки не возымело действия. Девушка настаивала на том, что она «не считала особенно важным знать года», и ушла, составив обо мне твердое мнение, как об экзаменаторе, склонном придирается к пустякам.

Это случай исключительный. Но весьма показательных примеров есть сколько угодно и помимо него. Разговор идет о хартиях вольностей. На просьбу дать исторический очерк их развития студент начинает рассказывать о чартистском движении. В памяти у него смутно брезжит, что первая хартия вольностей дана была в Англии, но в Англии же происходило движение чартистов, выставивших требование народной хартии. Разница в 600 с лишним лет между этими двумя событиями незаметно выпадает из памяти. — Как возникла абсолютная монархия? — спросил я другого студента. Он не испытал никакого видимого затруднения перед тем, как ответить: «Ее создали феодалы в борьбе с промышленным капиталом».

3

В стенах высшей школы наверстать ранее упущенное очень трудно. И не потому, чтобы студенчество не стремилось к утолению умственного своего голода. Из жалкой 25-рублевой стипендии нередко выдирает студент два или три рубля, чтобы купить полюбившуюся книжку и найти в ней ответ на волнующие его вопросы. Но бедность, перегрузка занятиями и общественной работой жестоко урезывает бюджет времени и сил. В сутках только двадцать четыре часа. За это время нужно

прослушать две-три лекции и провести один или несколько часов в лаборатории. Надо подчитать литературу к завтрашнему семинарию. В промежутках собрание профсекции или очередь на какую-нибудь из многочисленных перерегистраций. В десять часов вечера политкружок или занятия в школе по ликвидации неграмотности. Обед—когда придется, а когда и нет. До Шекспиров ли тут?

Мы плохо бережем свое молодое поколение. Забота о его сбережении берет меньше энергии и внимания, чем забота о сборе железного лома или об экономии, которая получится при введении нового строгального станка в цехе. Об этой экономии с похвалой или с укоризной пишут рабкоры. Ей посвящаются в газетах целые подвалы со статьями ученийших профессоров и инженеров. Молодежь мы любим восторгаться и любим, глядя на нее, элегически вспоминать, какими мы были когда-то. Но вопросы о реальном улучшении ее быта продолжают «освещаться» в тысячах комиссий. Каждый год осенью в мою аудиторию приходят новые кадры молодежи. Никакие бедствия и волнения приемных испытаний не могли стереть с их лиц загар и жизнерадостность, привезенные из какого-нибудь Армавира или Орска. Но через два-три года вы не узнаете тех же людей. Переутомление и начинающаяся неврастения подернули их лица сероватым налетом. Глаза потускнели, движения утратили живость. А когда случалось вписывать в книжку последний зачет, заканчивающий учебные обязательства студента и дающий ему право на немедленный выход в жизнь, я неоднократно ловил себя на мысли, долго ли выдержит этот человек ту тяжелую рабочую нагрузку, которая ждет его и ему подобных в должности инженера, учителя, агронома, участкового прокурора. Воспоминания о молодости окрашивают многое в радостные тона, но ведь может случиться, что краски потребуются слишком много. И, перебирая в памяти грязные багровые и синие времена и сил. В сутках только двадцать четыре часа. За это время нужно

присохшими к стене окурками, крысами, шмыгающими по ночам, и мрачным комендантом, которому нечем расчитаться с печником, вспоминая путешествия в грязь и слякоть с пустыми желудками по бесконечному кольцу «Б», концерты, уловленные на простуженный радиоприемник, диспуты, память о которых воскрешают лишь завлекательные афиши с тезисами докладчиков, книги, которые можно было созерцать в витринах или перелистывать заочеченными пальцами на прилавках,—не спросит ли себя человек, заведующий совхозом на Кубани или выпускающий паровозы из Оренбургских железнодорожных мастерских,—где был праздник жизни?

Конечно, не может быть вовсе безрадостного бытия в эпоху строительства, когда жизнь наполнена стремлением достигнуть вершин, никогда еще и никем не достигавшихся. Но подъем у подавляющего большинства — это дни, недели и месяцы, а будни, рабочие повседневье с его успехами, неудачами, дрязгами, досадами, болезнями и удовольствиями — это годы и десятки лет. Недаром же «мелочи рабочего быта» занимают такое видное место в работе профсоюзов, писаниях рабкоров и политике партийных организаций. Каждый год седьмого ноября подводится итог, добытый великой работой и мелкими делами в общем строительстве нашей эпохи. Но от седьмого и до седьмого ноября проходит триста шестьдесят четыре дня, которые и называются годом жизни. Студент, бывший рабфаковец из соромовских котельщиков, с угловатыми челюстями и туго натянутой на лбу кожей, хребтом осилаивает науку и с жесточайшим упорством поглощает один за другим тома Маркса, Ленина и Бухарина. В вопросах политической экономии, текущей политики, истории классово-борьбы он у себя дома. Формулы сопротивления материалов и расчеты мостовых ферм он усваивает с напряжением, продираясь, словно сквозь лесную чащу, сквозь длинные ряды математических знаков. Такой и в жизни всякую работу станет обламывать, покуда не постигнет и не одолеет ее в конце. Но вот он пришел сдавать

экзамен ко мне на дом и на книжных полках увидел «Этику» Аристотеля, «Историю английского народа» Грина и «Государя» Макиавелли. Минуту борется в нем желание попросить что-нибудь из них для прочтения с неумолимым требованием расчета времени для подготовки к очередному зачету. Решение следует быстро: на очереди зачет по деталям машин, и рабфаковец уходит, стараясь забыть кубовый с золотым тиснением переплет, в котором заключены глубокие и лукавые мысли Макиавелли. Может быть, я еще встречу его когда-нибудь производителем работ на каких-нибудь водостроительных сооружениях в Муганской степи; в брезентовой палатке, при свете фонаря, он будет в глубокой ночи просматривать требовательные ведомости, рапортчики десятников, едкие запросы охраны труда, протоколы производственных комиссий и накладывать на них резолюции огрызком карандаша. Макиавелли, история греческой философии, стихотворения Гейне и записки Панаевой-Головачевой не будут прочитаны уже никогда.

4

Профессор прибыл на практические занятия прямо к заседания какой-то комиссии при Госплане. Там сталкивались интересы разных ведомств и разных областей Союза. Рассматривался вопрос об ассигновании 6 или 7 миллионов рублей на постройку нового грандиозного завода сельскохозяйственных орудий. Заседание в табачном дыму, за столом с недопитыми стаканами чая и миндальным печеньем на блюдечке продолжалось 3 или 4 часа. Поэтому профессор не успел подготовиться. Прения шли вразброд; кроме докладчика и официальных оппонентов, никто не проявлял живого интереса к предмету спора. Если бы руководитель семинара приехал отдохнув и подготовившись, он смог бы втянуть в обсуждение многих из 30 человек, сидевших в кабинете, но сейчас он ограничивается лишь несколькими вялыми замечаниями, повторяя то, что когда-то писал в учебнике и что отлично знают уже студенты. То же повторяется еще

несколько раз на лекциях и практических занятиях. Мало-помалу профессор начинает чувствовать, что интерес к его предмету убывает и что он сам отстает от науки, но поправить дело трудно, так как, кроме профессуры, он несет обязанности консультанта в двух или трех учреждениях, читает лекции по нарядам Цекубу, заседает в многочисленных комиссиях, и т. п. Бросить все это и отдаться всецело тому призванию, о котором он мечтал со студенческой скамьи, профессор не может. На один академический заработок не проживешь; кроме того, есть еще ряд общественных и иных соображений, побуждающих его не ограничиваться только наукой. Трудности, связанные с этим, — излюбленный предмет разговоров между коллегами в профессорской, пока не прозвонит звонок на лекцию, но дело обычно одними разговорами и ограничивается. Так оно, впрочем, и должно быть, ибо корпоративная жизнь среди профессуры чрезвычайно слаба.

Революция резко расслоила профессорскую среду, бывшую некогда почти однородной. Конечно, и в те времена существовала правая и левая профессура, но споры между ними (если только дело не касалось размещения кафедры) имели больше теоретический характер. И, во всяком случае, подавляющее большинство сходились на убеждении, что наука превыше всего, и что люди, занимающиеся наукой, являются подлинной солью земли. Академическая среда превратилась в касту, и касту довольно затхлую. Студент, оставленный для подготовки к ученому званию, недавно еще свежий и непосредственный юнец, живо приобретал подобающую ученому солидность и проникался бессознательным презрением ко всему, что толпится за священными порогами лекторий на шумном базаре жизни. Строгая иерархия знаний и должностей не препятствовала единству целого, и все, начиная с заслуженного профессора, доктора многих университетов, и кончая начинающим ассистентом при каком-нибудь третьестепенном кабинете, чувствовали себя единым организмом.

Теперь в аудитории университета ворвался резкий ветер с улицы. «Чистая наука» берется в иронические выкладки. От науки требуется прежде всего, чтобы она служила жизни. Новые люди, проводящие это требование, распоряжаются в ректорских кабинетах и в залах правлений. Профессура наполнилась пришельцами из той среды, которая, глядя по надобности, вооружает своих членов винтовкой, рейсфедером или книжной премудростью. Достигнуть полного единения между ними и людьми, которые десятилетиями вырабатывали и укрепляли в себе известные навыки и взгляды, за малыми исключениями, невозможно. Никакие благочестивые резолюции и с'езды с обычными в таких случаях речами не помогают делу. Старый профессор, поседевший на сложнейших вопросах биохимии или гидрометаллургии и всегда считавший, что его дело лишь устанавливать факты и группировать их в законы, не в состоянии понять, какая от него требуется еще «активность в социалистическом строительстве» и почему он должен «итти в ногу с пролетариатом», классом, о котором кабинетный работник имеет лишь весьма отвлеченное представление. Даже самое искреннее желание войти в новую жизнь не всегда дает результаты, и иногда оборачивается лишь курьезами и беспомощностью. Студент проявил на экзамене чрезвычайно слабые знания. Недоумение профессора заставляет его об'ясниться:—Общественная нагрузка очень велика, профессор. Я— парторг у себя на факультете. — Парторг? А это что значит? — Следует краткое раз'яснение устройства партийных чечек в вузах и роли парторгов. — А, ну хорошо. Это правда, работа у вас неимоверная. — И в книжку вписывается: «Весьма удовлетворительно». Думает ли экзаменатор, что «парторг» вообще никогда инженером не будет или что инженер - коммунист будет только «управлять, а не заниматься делом», — понять трудно. Скорее всего, он просто не хочет ломать себе голову над этими вопросами, а верит на слово ответственному студенту: «Если партийный организатор считает возможным получить зачет при таких

знаниях, значит, так оно и нужно. Им лучше знать».

Я наблюдал, как вел себя в сходных условиях один профессор помоложе и, видимо, жестковатый нравом. Он с вежливым терпением, иногда чуть-чуть приподнятая брови, слушал студента, который нес какую-то беспросветную чушь по вопросу об устройстве союзных наркоматов. Затем, установив полное отсутствие знаний, порекомендовал ему притти в следующий срок. Экзаменующийся, темпераментный кавказец, сильно волнуясь, стал говорить о том, как он загружен работой по должности председателя исполбюро профсекций. — Вы партийный? — спросил профессор, отрываясь на минуту от экзаменационного листа, в котором он уже готовился провести черту. — Партийный, — с выражением надежды и почти уверенности ответил спрашиваемый. — Ну, в таком случае в вам следовало бы особенно хорошо знать советскую конституцию. В следующий раз, пожалуйста.

5

Особое положение занимает партийная профессура. Это в подавляющем большинстве ученые молодые как по возрасту, так и по стажу научной деятельности. Среди них есть много деятельных и талантливых людей. Завоевание профессорами - партийцами научного авторитета есть отнюдь не простое дело. Легче с общественно - научными кафедрами. Здесь и классовый состав студенчества и политика государственной власти обеспечивают почти полностью идеологическую монополию марксизма. Однако, требования высшей школы давно переросли те марксистские азы, которые излагаются в учебниках политграмоты. От академического работника, коммуниста и марксиста требуется исследовательская работа. Он должен доказать свое умение проникнуть в области, еще не затронутые марксистской наукой, применить испытанные методы на новом материале, укреплять новыми данными старые, оправдавшие себя воззрения и вносить поправки в те из них, которые расшатаны прогрессом науки и исто-

рическим опытом. Наконец, не последней по трудности задачей марксиста - обществоведа является борьба с чуждыми идеологиями, при том борьба серьезная, заключающаяся в тщательном разборе доказательств противной стороны, а не в щедром разбрасывании иронических словечек и невысокого качества острот, которые давно уже перестали удовлетворять заметно выросшую аудиторию наших вузов.

Мы имеем уже ряд выдающихся марксистских исследований, стоящих на высоте научной техники Запада. Но все-таки дело идет медленнее, чем мы бы желали и, главное, чем мы имеем возможность. Где марксистские курсы по истории права, по языковедческим наукам, по биосоциологии? Где монографии по частным вопросам, которые восполняли бы объемную узость материала глубиной его изучения? Где методологические исследования, которые пролагали бы путь молодому ученому, рискующему заблудиться в дебрях разноречий и разнотолкований, в хаосе фактов, из года в год нагромождаемых трудолюбивыми собирателями сырых материалов? Стоит лишь поставить эти вопросы, чтобы убедиться, что мы находимся только в начале извилистого и длинного пути. Конечно, бедность, обрекающая наши издательства на подчинение коммерческому расчету, стесняющая факультеты в издании ученых записок, толкающих молодых (и даже немолодых) ученых на писание популярных брошюр, вместо производства специальных научных изысканий по первоисточникам, — бедность играет здесь не последнюю роль. Но выбиться из бедности при помощи нищенских расчетов и скаредной экономии удастся лишь в нравоучительных книжках для детей. Иногда надо пустить в оборот последний рубль, чтобы он вернулся с добрым приростом.

При том не в одной бедности дело. Перегрузка, о которой я говорил выше по поводу студентов и старых профессоров, еще губительнее сказывается на научном росте партийной академической молодежи. Редкий из коммунистов-профессоров или доцентов не занимает вместе с тем 4 — 5 администра-

тивных или консультационных должностей по Наркомпросу, по профсоюзам или по другим органам идеологического руководства. Сколько бы ни боролась печать и центральные учреждения партии против переизбытка администрирования, здесь он дает свои ядовитые плоды полностью. Спросите себя, кто будет авторитетнее для руководимых, — тот ли, чей авторитет будет основан на десятке званий и должностей, или тот, с чьим именем связано крупное научное исследование либо выдающееся открытие? Ответ не возбуждает как-будто сомнений. Но это теория. А на практике административная и ей подобная нагрузка приводит к тому, что мы имеем ряд профессоров-коммунистов, не издавших еще ни одной исследовательской работы, и даже таких, которые ничего, кроме журнальных статей, не печатали.

Правда, с года на год многое улучшается. Увеличились студенческие стипендии, возросло жалование преподавателей, сильно поднялась квалификация партийной части профессуры. Учебные программы и планы освобождены от многих загромождавших их без нужды предметов. Облегчена общественная нагрузка студентов. Отпущены средства на пополнение библиотек и кабинетов новейшей литературы и иностранными пособиями. Ремонтируются старые общежития и кое-где строятся новые. Улучшение, таким образом, наблюдается, но темп его далеко недостаточен. Качество выпускников оставляет желать лучшего по подготовке и, что не менее важно, здоровью этой смены не внушает достаточного доверия. Не так давно газеты приводили печальные цифры о состоянии здоровья второстепенцев. Бугор-

чатка, малокровие, разные нервные заболевания получили угрожающее распространение, в особенности среди наиболее активной части школьников, у пионеров. Наркомздрав Н. А. Семашко выступил с решительным осуждением тех «методов вовлечения в общественность», которые угрожают здоровью детей. Но так или иначе, 2-3 выпуска школы второй ступени принесут в высшую школу слегка подпорченное здоровье. Они могут вовсе надломиться, если не будет взят твердый и решительный курс на бережное обращение с тем драгоценным людским капиталом республики, который представляет учащаяся молодежь. Пора понять, что общественное назначение врача лежит прежде всего в том, чтобы быть хорошим врачом, и что инженер, который не жалеет времени на заседания и подкомиссии по улучшению рабочего быта, но не может быстро и хорошо спроектировать и выстроить жилье для тех же рабочих, плохо оправдает свое назначение. Общественная работа вовсе не обязательно работа во внеслужебное время. Учитель несет общественную работу не только тогда, когда организует избу-читальню или собирает подписку на заем индустриализации, но и тогда, когда просто учит детей грамоте. Высшая школа должна выпускать прежде всего хорошо подготовленных, здоровых телом и духом специалистов. При этом участие в социалистическом строительстве и общественной жизни не должно быть для них каким-то добавлением к основной работе. Установка работы специалиста сама по себе делает из него общественника, если она отвечает генеральному плану социалистического строительства страны.

8. НОВАЯ ГУБЕРНИЯ

Л. Нитобург

На дореволюционных картах такой нет. Есть Владимирская, есть Костромская, уездные города Кинешма, Шуя. А Иваново-Вознесенск означен лишь мельчайшим кружком.

Это раньше было. Теперь — всамделишная губерния, одна из самых важных в республике.

И удивительно пестрая: Иваново (семиэтажные склады, громадные фа-

брики, индустриализация бешеным темпом) и Макарьевский уезд (леса, дичь, семнадцатый век, пильняковщина), Волга (теплоходы, моторки, гидросамолеты) и непролазность поселков.

Если составить карту хозяйственных укладов, — многоцветная получится карта, как лоскутное одеяло.

И каждый год лоскуты меняют цвета—целая гамма цветов, переходных от натурального хозяйства к социализму. И все вместе образует сложный, подвижный узор.

Первый лоскут — фабричный городок Тейково

...Поезд мешкает на скреплениях путей, неуклюже погромыхивает, толкается и запинаятся, как пьяный деревенский паренек.

Утренний поезд: потрепанные вагоны, заспанный кондуктор, сермяга, дешевые ситцы пассажиров.

Жиденькая веселость северного утра. Солнце—как люстра, от пыли затянута марлей облаков. Размытый суглинок дорог, светленькая, редкая трава. Станция, побуревшая, неприветная, убогий буфет с водкой и запахи двадцатого года—махорки, смазных сапог, прели портянок, селедки.

Какие извозчики?

(Извозчики характеризуют города, как брючный карман—хозяина брюк. Города вытряхивают на вокзалы извозчиков и в них—человечью мелочь. Новая человечья мелочь на извозчиках попадает в города и там утряхивается. Я тоже должен утрястись в Тейкове).

Извозчики вот какие: всесоюзно-привычные клячи и таратайки—плетеные из прутьев круглые корзинки. В таких, — немного поменьше, — продают яйца.

Копыта клячи неспешно печатают пыль, равнодушно, как почтовый чиновник, не глядя прикладывающий штемпель к чужим скучным письмам.

Пыль, рядом грязь, пустыри, бревенчатые новые дома, стружки, строительный хлам—фабричные общежития.

Низкие домишки, крыши—будто грибы на болоте. Болотом потягивает ветер—недалеко торфяные разработки.

У ворот кое-где коровы. Одна рогом тербит ручки звонка,—верно, очень умная. Поросята в луже похожи на хлопковые очесы, и большой шерстяной клок—свинья.

Телеги с хлопком тянутся к фабрике. Фабрика всюду напоминает о себе. Большая—тысяч семь рабочих. Фабрика родила Тейково и питает его, содержит городок на иждивении.

Чтобы втянуться в незнакомую жизнь, надо в ней отыскать дело.

В укомол пришел мальчишка, слабосильный, бледный,—сниматься с учета.

Его уволили с фабрики за отказ от непосильной работы. Собирается уезжать в Ярославль.

Дело нашлось. У инспектора охраны труда разговор—краткий и деловитый.

— Жалоб не поступало. Впрочем, проверим. А вы сами зайдите к директору.

На площади церковь. Очень чистая, свежеремонтированная. У нее — пристройка, новая с большими, совсем не церковными окнами. И вывеска:

ТЕАТР

Обширный, теплый и совсем хороший. В пристройке—сцена. В зале—750 мест.

На базаре—телеги, кобылы с жеребятками, солома в телегах, солому жуют жеребята, солома—волосы на головах мужиков. За деревенской соломой базара — фабрика.

Между ними карусель. Стекляшки—зеленые, розовые, желтые, как в посудном магазине. Отдыхающие деревянные кони на железных подвесах. Зеленые скамьи, пустые до вечера.

Фабричные корпуса — розовые, веселые, как веселый мебельный розовый кретон с геометрическим рисунком белых оконных наличников и карнизов.

Фабрика шумит, как большой водопад и как десяток разводящих пары паровозов. Вот-вот даст свисток, тронется и помчится чудовищной машиной корпусов.

Железная лестница дрожит и гудит под ногами. Площадка трепещет, как капитанский мостик.

Фабрика старая. Ее понемногу переоборудуют. Такие фабрики описыва-

лись много раз. А вот с уволенным комсомольцем дело не так просто. Вызвали мастера и члена фабкома. Уволенный парень, оказывается, бузотерил, дрался, разбил цилиндр. Спокойно и решительно директор говорит:

— Не примем. Баста.

Глупо в нем подозревать бюрократизм и всякие «извращения линии». Я верю, как верит ему старая работница.—«Свой».

Вечером в клубе — литературный кружок. Клуб новенький, очень просторный, очень светлый, с застекленными дверями комнат кружков, с масляной краской коридоров.

Своя газета «Бытовик», свои поэты, писатели. Очень неумелые поэты и писатели. Лирика у них плохая, скучная. Но некоторые пишут стихи и рассказы о здешних, тейковских фактах, и это интересно. Факты и «люди с адресами» рождают свой язык, более самобытный, менее штампованный.

Молодой парень, бывший сельский учитель, жалуется, что о жизни сельской интеллигенции, учителя, агронома, врача нет хороших романов и повестей.

На стенах—вырезки из «Читатель и писатель», списки рекомендованных книг, портреты комсомольских поэтов.

Кружок собирается ежедневно.

Шов между лоскутами—Кинешма

Что осталось от старой Кинешмы?—Церкви допетровской стройки, холмы и овражки, перелески. Еще, пожалуй,—предприимчивость, оборотистость кинешемцев.

Гомонит спуск к базару, гульливая воскресная толпа течет, волнуется, и кажется, будто самый булыжник крутится у карусели. Солнце горячит мостовую, налетает ветер, мчит пыль, окурки, кульки из-под фруктов, подсолнечную шелуху.

На площади босая команда играет в орлянку.

Кричат люди:

— Сапоги чищу, сапоги!

— Измеряйте свою силу, ганьванический аппарат.

— Горшки продам, кому продам горшки.

— Пироги, с пылу, с жару, двадцать пять пара.

— Войдите в мое горестное состояние. Смилитесь над моим бедственным положением...

— Самое точное взвешивание, всего пять копеек.

— Сапоги чищу, сапоги.

В портовых городах всегда много чистильщиков. Кинешма—портовый город, полнокровный, хотя и небольшой. Волга вливает в него бакинскую нефть, астраханскую рыбу, хлеб, унженский и керженецкий лес.

Но Кинешма и промышленный город: более десятка фабрик — «Томна», «Красная ветка», химические заводы, фибровая фабрика. Кинешма переполнена рабочим людом: пряжами, ткачами, химиками, писарями,—сотни специальностей, — и строителями-сезонниками, и матросами, грузчиками, водниками.

Зеленая река. Рыже-красный неопикуемый закат. Пароход сахарно-белый. Затейная беседка. Вычурное кресло.

Кресло — всамделишное. Остальное—декорация, «фон» уличного фотографа. В кресле, головой заслоняя три четверти парохода, сидит кудрявый парень. Фуражка сальной лепешкой сползла ему на затылок. Лицо деревянное, потное от старания сохранить недвижимую чинность.

— Спокойно. Снимаю.

В ларьках, в тележках, на стойках—мороженое.

В тонкие решетчатые кружки вафель вливается сладковатая каша и обтекает губы наслаждающихся покупателей.

В «Рядах»—керосин, помидоры, мыло, подсолнухи, мясо, кальсоны, яйца, пудра, рубахи, малина, кожи, зеркала, сапоги и даже... рога, оправленные проволокой.

И взвешивают карманы прохожих липкие глаза торговцев.

Вдруг, неожиданно, с холма над площадью—Волга. Такая просторная, светлая, успокоенная...

Второй лоскут—кооперативный

В тихой улице Кинешмы между скверной гостиницей и очень дорогим ресторан-садом—двухэтажный дом:

НОВЛЯНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.

Воскресенье. Парадная дверь заперта. В кухне, животами налегая на доски лежанок, спят женщины. Ноги их перепутались во сне, желтые, как доски, и такие же крепкие.

— Куда же запропастился шофер Вася?

Тот самый Вася, который исправил никудышнейший бот, купленный за гроши у ротозеев с фабрики «Красная ветка».

До покупки артели Трофим Бубнов, председатель артели, хаживал из родного своего Мельничца в Кинешму пешечком: «чемодашку на палку», на плечи и айда. 25 верст на своих на двоих,—чтобы сэкономить пятерку, а то и целый «червяк» кооперативных денес.

Теперь товарищество имеет «моторку». Шофер Вася оглаживает четыре цилиндра мотора, любовно, как рачительный конюх оглаживает молодых жеребят. Из мотора, словно рог, торчит рычаг. Вася берет мотор за рога, нажимает. Мотор ожил, залопотал. Нос бота взрезывает ложе реки, и ключья водяного пуха летят нам в лицо.

Вертляво отвертывается от пристани пароходик и пританцовывает, прибранный, как уездная модница, танцующая только от печки.

Сонной разомлевшей купчихой покачивается баржа,—от нее веет духмяным теплым паром взопревшего леса.

На берегу прикурнул странным чудисцем лесопильный завод и выпустил к воде два щупальца. По ним всползает какие-то муравьи.

Ближе щупальцы оказываются двумя серыми лентами, муравьи—большие бревна. Сами ползут. Ленты, бесконечные, как ленты гусеничного танка,—но во много раз больше,—ползут в пасть завода и увлекают с пристани лес. Механизированная подача.

На другом берегу—белая, с башенкой, фабрика, напоминающая замок. Фабрика раньше была текстильной,

теперь переоборудована для выделки фибры. Это она выпускает крепкие и легкие чемоданы.

Проплывает огромная «Красная ветка», поворачивает перед нами высокие свои стены, графленые клетками окон. За ней,—такие же многоэтажные,—две текстильные фабрики «имени Демьяна Бедного». Так и зовут их—«Два Демьяна».

Пристань Семигорье. Здесь со встречного парохода выходит Трофим Бубнов, председатель Новлянского товарищества.

Вместо его биографии—недлинная справка: лет шестнадцать назад была в деревне Новлянской потребиловка. Рядом—в Георгиевском—еще одна. В Новлянском работали эсдеки, большевики, в Георгиевском—эсары. Годами шла между ними борьба.

Но главное детище Бубнова—строителеских работников,—Крулев, Бубнов, Балякин хорошо известны ивановцам.

В 1917 году новлянские большевики понадобились для более срочных дел, чем работа в деревенской кооперации. Октябрь вытребовал их из деревни. Временно победили георгиевцы. Но не надолго.

Уже в 1922 году Бубнов организовал Новлянское сельскохозяйственное товарищество. Вскоре было создано и кредитное товарищество.

Но главное детище Бубнова—строительное товарищество. В 1923 году оборот этого крохотного дела был около 70 тысяч рублей. Бубнов поставлял на постройки волжский песок. В 1925—26 году оборот возрос до 600 тысяч рублей. В 1926—27 году оборот достиг 1.270 тысяч рублей. И, наконец, за 9 месяцев 1927—28 года оборот наметился в 2.300 тысяч руб.

Оборот рос естественно, его не раздували. Наоборот, товариществу приходилось преодолевать недоверие учреджений, конкурировать с местными государственными строительными организациями. В 1927 году товарищество выстроило колоссальный семиэтажный базисный склад в Иванове. В этом году—прекрасное здание Ивсельбанка. Новлянцы обстраивают Кинешму, имеют отделения в уездах.

В товариществе более тысячи членов, это настоящий жизнеспособный росток социализма.

А вот мелочи: еще в прошлом году Новлянское не имело своей пристани. Просил-просил Бубнов пароходство, потом сам построил пристань и взялся содержать обслуживающего работника. Теперь пароходство включило пристань в свою сеть—оказалось выгодным.

Известно, что строительная отчетность—очень сложная и запутанная. Новлянский бухгалтер решил поделиться своим опытом, написал книжку. Новлянцы книжку, издали на свой счет: 2.000 штук—«Руководство по учету и контролю строительных материалов». Все две тысячи штук разошлись за два с половиной месяца.

Вот этаких «мелочей»—тысяча. Из них создается благополучие товарищества.

Третий лоскут — «смычка»

Тридцать десятин плохой земли. Косогор, солнцепек, совхоз Спиридово.

Агроном достает свои записи.

Коров шестнадцать. Каждая стоит двух крестьянских, есть среди них премированные. Два хлева. Один темный с неописуемым вонючим месивом вместо пола, затхлый, как недалекое прошлое Новлянского. Другой — «новый», датского типа, чистый, просторный, здоровый, как недалекое будущее Новлянского.

Гордость совхоза — племенные выставочные производители. Для крестьянских хозяйств, выполняющих договоры о поставке молока на окрестные фабрики, случка бесплатна.

11 голов молодняка, среди них семь «конкурсных», безупречных по всем статьям. 4 лошади, из них две «барбансона», кровных, записанных в особые государственные книги, как раньше столбовые дворяне.

За пять лет совхоз вырос так, что теперь достигает естественного предела роста.

С тридцатью десятинами дальше разворачиваться будет некуда.

Несколько тайн местного полеводства:

В совхозе семипольная система. Рядом на крестьянских землях еще преобладает четырехполье. За последний год семиполье привлекает все более сторонников.

В этом году впервые совхоз выписал суперфосфаты.

Высокая трудоемкость льна не окупается. В Ивановской и соседней Костромской губерниях урожайность льна в среднем, примерно, 18 пудов с десятины. При существовавших в этом году ценах, десятина может дать валовой доход в 120—160 р.

Десятина клевера, при гораздо меньшей затрате труда, может дать 200—250 рублей. Выводы очевидны.

Крестьянская экономика цепко приспособляется к конъюнктуре. С 8—10 проц. (до войны) доля льна к 1925—26 году упала до 3,02 проц. и к 1926—27 г. до 1,79 проц.

Лимитные цены оказывались невыгодными (в последнее время они повышены).

...Становится душно от сладкого запаха скашиваемого сена. Через двор идем к хозяйственным постройкам.

У совхоза есть подсобное предприятие—сыроваренный завод. Сепараторы, аппараты неизвестного мне назначения, помещения для сыра. Сыр, оказывается, штука очень капризная, капризнее балованного ребенка. Ему нужна определенная температура и определенная влажность, чтобы он вызревал. С ним нужно нянчиться, переносить его из помещения в помещение, чтобы образовалась корка, и т. п.

В низеньких и сырых комнатах скользкий и довольно едкий запах, неприятно войти. Сыр лежит на полках лоснящимися желтоватыми кругляками.

Главный кредитор совхоза—Новлянское товарищество. Недавно совхоз переведен на хозрасчет. Он окупает себя, и остаются еще средства на расширение и улучшение дела.

Средний заработок работника совхоза 30—40 рублей в месяц при прозодежде и помещении. Трудно категорически утверждать, что это хорошие условия, но, во всяком случае, они значительно лучше условий жизни рядового батрака, работающего по найму.

На работе совхоза «Спиридово» я остановился столь подробно потому, что он дает исчерпывающий ответ на самый острый теперь вопрос: жизнеспособны ли наши совхозы, т. е. создали ли мы в деревне социалистический сектор хозяйства, прочны ли эти наши начинания?

— Да, — отвечает совхоз «Спиридово», — при неослабном внимании, заботливости и кредите даже находящийся в не очень благоприятных почвенных и прочих условиях совхоз может дать блестящие результаты.

...Кожевенный завод. Очень маленький заводик, не имеющий никаких претензий на районное или уездное значение. Но для крестьян Новлянского, Мельничца и других окрестных деревень — очень необходимый завод.

Своя мельница и электростанция, дающая попутно и освещение деревне.

Нардом выстроен средствами того же Новлянского товарищества. Есть ламповый радиоприемник с громкоговорителем, есть свой проекционный фонограф, есть даже своя кинопередвижка. О культурной работе в Новлянском можно было бы немало сказать, но это особая тема.

Школа — очередная гордость тов. Бубнова.

Мне приходится по мосткам влезать на леса, балансировать по перекрытиям. Бубнов — настойчивый человек, — я должен смотреть все, решительно все, каждый класс, школьный зал, учительские, места для резервуара водопровода, должен, пройдя по перекрытиям второго этажа, лазить к основанию будущей крыши, осмотреть и чердаки.

Школа кирпичная, двухэтажная, в ней будет много просторных комнат. При ней — общежитие, квартиры для преподавательского состава.

Это будет школа второй ступени, и для нее уже подбирается штат учителей.

Из окна вкусный, щекочущий запах: жена учителя варит варенье, и котенок умильно заглядывает в медный сияющий таз, задрав хвост трубой.

«Физический кабинет» школы. Совсем небольшой кабинет, но основное оборудование, вплоть до маленького

электрического прибора, — есть. Между прочим, имеется также и очень хороший микроскоп с препаратами к нему.

Великолепный подарок Новлянского товарищества — эта школа.

По обилию культурных и хозяйственных предприятий Новлянское напоминает культурную германскую или швейцарскую деревню. Живут здесь зажиточно. Много отстроенных высоких и светлых изб. Есть и двухэтажные.

Немало — крыты железом. Есть еще и грязь, и серость, и как-будто порядочное пьянство, и как-будто некоторый оттенок бюрократизма в сельсовете.

Но ведь Новлянское — обыкновенная небольшая деревня. Ее даже нет на карте Иваново-Вознесенской губернии.

Четвертый лоскут — контрреволюционный

...Ночью крепко заверстываются в памяти версты лесной тропы.

Деревня Селищи.

Насторожилась крайняя изба у околицы. Боязливо впускает хозяйин. Едва светит копилка. На нарах, на полатах мужики.

Опасное дело — подпольное собрание в деревне Селищах. Два-три комсомольца, два-три партийца, председатель комитета взаимопомощи, демобилизованный красноармеец. 14 человек — голь пережатая — узнали, что приехал товарищ из газеты. Пришли.

Хозяин тихонько прикрывает окно:

— Рядом Чистяков Петр Григорьевич живет. Неровен час узнает, да еще председателю сельсовета, Курицыну, перескажет. Житья не станет.

Собрание без регламента, без председателя. И хриплый шопот:

— Зажали!

— Лучшие покосы — им. Ссуды — им. И не перечь, не смей и прекословить, выступать.

— Радио комсомольцы поставили. Так нет, разбили, вдрызг разнесли, да еще приговаривали: «Околело бы ваше радио. От него то есть дождь, то нет, — и все не во время».

— Хотели было кирпичный завод построить. Крестьяне согласились. Селищенская лесорубочная артель давала

да Попов Семен, да Куликов Александр завели бузу. Шкотов кричит: «Не нужен завод, заводом будет заведывать коммунист—нашейник. На крестьянской шее сидят комсомольцы, для них ничего строить не будем». Сорвали постройку.

— А Чистяков на сходе заявил, что надел землей бедняков—выдумки коммунистов. Передел участников покоса не состоялся.

— Еще Шкотов, когда хотели выбрать женщину, разорался: «Не надо нам дур. И без них коммунистов-дураков хватит».

— Муравьева, что с комсомольцами работает, избили. Чуть в костер не бросили. А кто бил,—Куликов, да Попов, да председельсчета Курицын.

— А прочитав заметку про себя в газете «Смычка», Курицын советовался: «Что же братцы, как быть?». Кононов посоветовал. «Комсомолу головы надо поотрывать. А то ни одного дерева срубить нельзя. Все докажут».

— А Чистяков сорвал поступления взносов в КЮВ.

— Председатель сельсовета заявил. «Суд у нас купленный, хороших мужиков осуждает». Секретарю комячейки зря деньги платят, всю деревню комсомолом заразил».

— Пьяный Балин влез в «красный уголок», надебоширил. Его суд и судил. Курицын же после приговора публично обругал суд.

— А всему делу заводила—Бутарев Василий Федорович. ПроЙдоха, на собрания не ходит, лесопромышленник бывший, да и теперь потаенно лесом торгует.

...Нет конца бедняцким жалобам. Белесыми пятнами просветлили окна, когда «подпольщики» разошлись.

Можно ли назвать Курицына, Кононовых, братьев Куликовых, Шкотова, Попова, Чистякова—кулаками?

Они не эксплуатируют наемного труда, не ведут торговли. Официально, по «юридическим признакам», они не кулаки.

Кононов Александр—«малозажиточный». У самого зажиточного, Шкотова—3 лошади, бычок, 3 коровы, 5 овец,

свинья. У Куликова 3 лошади, 2 бычка, 2 коровы, 4 овцы. Другие несколько менее зажиточны. При средней сумме (учетной) годового дохода середняка по деревне в 150—250 рублей, доход Шкотова определен в 950 рублей. Куликова Ивана—в 600 рублей, прочих—от 350 до 500 рублей. При этом сравнительно большие неделинные семьи. Земельные наделы количественно (но не качественно) не особенно превышают норму.

Краткий экономический анализ подтверждает, что они не кулаки, но зажиточные середняки, верхняя середняцкая прослойка. Между тем, все, что говорили о них на «подпольном собрании», целиком подтверждается.

Из этого нам надо сделать серьезные выводы:

Девять лет назад, во время гражданской войны, большинство членов этой селищенской группы были с кулаками, участвовали в контрреволюционных восстаниях. С того времени кадыйские волостные и макарьевские уездные работники не сумели ни отторгнуть их от кулачества, ни пресечь их беспорядочного влияния в деревне.

Антисоветские элементы, между тем, действовали сплоченно. Они провели председателем сельсовета маломощного крестьянина Курицына, который «советскую власть за копейку продал». Они оказывали и оказывают ему материальную помощь и добились того, что Курицын стал их подголоском и рукой в волости.

Наиболее зажиточная часть середняков завоевала местный соваппарат и с его помощью открыто и нагло воздействовала не только на экономику деревни, но и перешла к открытым политическим выступлениям.

Деревенские задачи партии не были выполнены в Селищах.

Лоскут пятый—индустриальный

Семигорье. Каменка, знаменитая бывшая Коноваловская отделочная фабрика.

Паротурбины. Основной двигатель. Он для фабрики то же, что солнце для

земли,—от него вся энергия, источник жизни всех этих металлических зверей—машин.

Ну, кто скажет, что под этим стальным кожухом, жужжащим монотонно и ритмично,—гигантская, неописуемая быстрота, скорость движения—три тысячи оборотов в минуту. А с виду—такой спокойный зверище, как-будто ленивый, сонный.

У него невероятный «рабочий день». Двигатель работает 23 часа в сутки и 1 час в сутки «отдыхает»: работает на холостом ходу. Странная машина, странная фабрика и, вместо трубы,—дымосос: искусственная тяга.

В силовом отделении—переоборудование: вместо 9 котлов разных давлений и четырех различных систем,—устанавливается один гигантский котел. Поверхность нагрева этого трубчатого котла будет 400 квадратных метров.

Котел сделан у нас в СССР, его доставила наша государственная фирма «Тепло и Сила». Переустроены и насосы. Их работа «согласована» так, что они подают вместо 14 тысяч ведер воды в час—24 тысячи ведер.

Совсем непонятен мне, дилетанту, «гринельный» насос. Точно живое разумное существо, он сам автоматически регулирует подачу воды. Вот чуть двинулся его металлический сустав—рычаг: потребовалось немного воды. Снова замер: воды пока больше не нужно. Чудесный этот насос предохраняет от опасности самовозгорания.

— Что такое агрегат?

— Целая система приспособлений, друг с другом связанных, занятых единым производственным процессом, вернее,—сливших разные процессы в один.

Он красит ткань, промывает ее, закрепляет и отжимает. Когда-то такую работу (и гораздо хуже) проделывали десятки людей. Потом—несколько машин. Сейчас, силами самой фабрики,—все это поручено одной машине.

Особые «ванны» для фиксажа, специальный сервировочный аппарат.

При всей мешанине всевозможных машин, фабрика—и это справедливая гордость ее администрации—чиста, как стеклышко.

Ленты материй вздыбились и стоят, словно невиданные экзотические деревья,—целая роща.

Но они, оказывается, вовсе не стоят. Они растут, стремительно и безостановочно тянутся вверх, в щели второго этажа: механизированная передача ткани в верхние отделения.

Ручные тележки остались только как исключение. На их спинках названия: «Бузотер», «Буян», «Разбойник». Так окрестила их рабочая молодежь.

Едкий сернистый запах: сернистое крашение, черный цвет, прочный и немаркий—ходкий экспортный товар.

Шесть-восемь раз прогоняют ткани сквозь краски, чтобы напитались, окрасились равномерно. Кропотливая, надоедливая возня. Зато из-за границы сыплются заказы на этот товар.

Совсем магия—анилиновое крашение. Ткань попадает в какую-то бесцветную жидкость. Потом ее гонят в огромное помещение, похожее на обыкновенную духовую печь. Сквозь стекла видно, как под влиянием жара ткань начинает зеленеть. Сперва по краям, потом все сближаются, расширяясь, зеленые полосы, и, наконец, из печи выходит густо-зеленая лента. Ее прогоняют через другой раствор, и тогда она становится совершенно черной.

Палилка, опаляющая на тканях необходимый пушок,—раскаленные металлические валы, между которыми пропускается ткань. Малейшее замедление в действии этих валов,—и ткань сгорит. Все выверено до секунды.

Валы с особыми иглистыми лентами, расчесывающими бумажную ткань и делающими ее совершенно подобной тканям суконным.

«Серебристые каландры», придающие тканям свежесть и блеск.

«Импрессионистское» впечатление производит уборочный отдел Каменской фабрики. Ткани красные, вишневые, малиновые, кирпичные, багровые, зеленые, травяного цвета хвои и цвета морской воды, розовые, коралловые, цвета черешни,—синие, белые, черные.

На огромную сумму в два десятка миллионов выпускает фабрика этот веселый цветистый товар.

Фабрика выполняет ряд иностранных специальных заказов. Например, ткань, разрезанная заранее на куски трех размеров—для халатов на высокий, средний и малый рост, — отправляемая на Восток. Особый сорт «Далембо», очень ходкий в Средней Азии и за ее пределами. Всевозможные сатины, нанбуковые ткани, шерстянки, молескин—бумажные сукна.

Фабрика известна в Афганистане и в Персии.

Кромка, обрамляющая лоскуты, — партийная

...Поют.

Голоса несутся словно от самого леса, от стволов,—белых березовых и морщинистых, темных сосновых,—от шумливой зелени, от крыш, краснеющих сквозь просветы между деревьями.

Разные голоса: чистые, прозрачные, как студеные ключи; высокие, ломкие, как водяные лилии; низкие, маслянистые, жирные голоса, голоса, как бархат и как ржавая сталь, шершавые, блестящие, светлые, цветистые голоса.

Ярится где-то гармоника, и слова песни, как птицы, взлетают к кронам деревьев.

Зазвонил колокол: дробно, пронзительно, призывно. Пение смолкло. В невысокое деревянное здание зашагали люди. Группами, в одиночку, веселыми, гомонящими ватажками—френчи, гимнастерки, майки, пестрые блузки, ситцевые платья.

У них славное прошлое, у этих гомонящих ватажек: десятки лет тюрем, мучительные ночи на этапах, неопишуемые воспоминания, крепко заверстаные, и версты сибирских дорог, томительных одиночек угрюмых централов, каторжных истязаний.

— С какого года в партии?

— Я «молодой»,—скромно улыбается человек в колючей седине,—только с 1905 года.

Десять лет каторги не в счет. Этот «молодой» вечерами рассказывает невероятные и такие истинные вещи.

— Да, селедка, обыкновенная астраханская сельдь бывала орудием жесточайшей пытки.

— Да, из подошвы, простой подошвы от сапога можно сделать ложку и этой ложкой хлебать скудное арестантское варево.

— Да, вот товарищ Н.—член партии с 1902 года. Он хорошо знает, что такое свинчатка, казачья плеть, знает вкус крови на губах и боль вышибленных зубов.

«Мишка», «Ванька», «Матрешка», — у каждого стаж, которого хватило бы на пятерых комсомольцев.

«Мишка», «Ванька», «Матрешка»—старейшие политические борцы, живая история,—шутят пересмеиваются, перебрасываются прибаутками, анекдотами и до седьмого пота, до лоска штанов корпят над учебниками. Самый обыкновенный в школе учебник — арифметика.

Но:

— Фурманов? Митюшка?—это свой паренек, ивановский.

— Владимир Ильич, бывало, говаривал...

— Помню я, на Пятом съезде партии...

— Ну и что ж; очень просто, Тарасов-Родионов возобновляет старый хвостизм, помним мы хорошо.

— Ты, товарищ, Горького недооценил. Не отметил, братишка, какое влияние имел Алексей Максимович в 1903—1908 годах. Он учителем был.

— Теперь по-ученому понял,—радуется очкастый старик, преодолевший сложную марксову формулу расширенного воспроизводства капитала.

Школа первой ступени — и Маркс в подлиннике.

Где еще встретите такое сочетание?

— Лунком.

— Что такое?

— Лунный комитет.

Учреждение, весьма осуждаемое в «Студеных ключах», не поддающееся полному уничтожению.

Луна на Волге чертовски красивая, ночи теплые, и в блестящей водяной зыби кажется, что по луне пляшут и кувыркаются десятки лун. А огни Кинешмы, фабрик, заводов нанизаны сверкающими гирляндами, удваивающимися в воде.

Хорошо гулять теплой ночью по волжскому берегу.

И «лунком» существует, несмотря на яростные нападки чрезмерно серьезных товарищей.

В дождливые вечера на террасе бывшей генеральской дачи собирается молодежь. Не только партактив, но и парни из окрестных деревень и отдыхающие из «Соколова», соседнего дома отдыха, веселятся под гармошку. «Русская», «Казачек», «Барыня», «Лезгинка» и «Цыганочка»,— сверкают пятки проворных ног, притоптывают с переборами, отбивая чечетку, лихие сапоги, постукивают каблук туфель.

Рояль, волейбол, крокет, прогулки — недолгие досуги учащихся и отдыхающих партийцев.

Учеба совмещается с отдыхом. Но учеба очень напористая, требующая напряжения,—и отдых подвигается туго:

нет времени отдыхать. Потому решено не считать курсы партактива отдыхом и не засчитывать пребывание на курсах за отпуск.

Как проходит учеба? Самодеятельность, умение самому работать над книгой— вот основа работы парткурсов.

...Готовятся к последней беседе: «О самокритике». Сосны да березки—старые очкистые большевики и веселый молодняк—вплотную засели за стенограммами речей, докладов, обращения ЦК.

Завтра раз'едутся по всем лоскутам те, чьими трудами все меньше делается неопределенные цвета в таблицах и все больше пространства покоряет красный цвет социалистической экономики. Два десятка лет—и лоскутное одеяло станет однотканным куском.

9. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАЯК

Борис Кушнер

Степной путь величественно однообразен. Отлогие широкие холмы плавно ширяют, как земляные волны. В степи стоят суслики, кое-где идет запоздалый крестьянский обмолот, с палатками, ребятишками, задумчивыми кошками. На горизонте курганы, курганы и скирды.

Вновь ночь застигла нас в степи, и снова, как на Кубани, только чуть послабее, поднялись от травы горькие и вольные запахи. Звезды над степью сразу брызнули светом, как будто кто-нибудь повернул электрический выключатель.

Небо темнело, синело, сгущалось. Потом прорезалась вдалеке бледность зарева. Потом зарево поднялось выше и из белого стало розовым. Над Терской степью, над Кумой, так же, как над Кубанью, Манычем и Салом, вставало ослепяющее сияние.

Из глубокой дальней сини донеслось внезапно веяние непривычной здесь, нестепной свежести. Запахло водой. И вот на юге, на полпути к горизонту, едва дорога выползла из балки, блеснула сталью поверхность не то озера, не то большого пруда.

— Это что?

— Коммуна «Маяк».

Лошади зафыркали на далекую воду, и тачанка жестче запрыгала по малоезжей колее.

В этой глухой сини, в неутихшей еще гражданской войне, в партизанщине и бандитизме, за суховеями и за мглой возникла осенью 1920 года коммуна «Коммунистический Маяк». Слава о ней далеко прошла за пределами края. Про нее писал Троцкий в «Правде». О ней существует целая литература.

Миновав озеро или небольшой пруд, необычно белешую в степной ночи по верхность стоячих вод, завернули мы за длинный каменный свиной сарай. Тут нас яростно атаковали свирепые псы коммуны. Дикий лай их от ожесточения переходил в вой и в рычание. Так рычат и воют, вероятно, в неизмеримой тропической кровожадности дикие звери джунглей. Однако, оглушительный шум, поднятый псами, никого не потревожил в коммуше. Нам пришлось долго кружить по двору, уклоняясь от яростных псов, пока не нащупали впотьмах проезда во второй, внутренний, двор.

Здесь слышен был артезианский колодезь, невидимый в темноте. Из его грубы, журча, бежала вода и с плеском падала в какой-то водоем. У колодца умывались. Звучали молодые голоса. Из окон и из раскрываемых дверей одноэтажного узкого здания падали полосы неяркого света. Сквозь них проходили туда и сюда черные силуэты, создавая впечатление многолюдства.

Никто не удивился нашему появлению и не вышел к нам навстречу. Никто не спросил — кто мы? Зачем приехали из степи в глухую ночную пору? На нас не обращали внимания, нас игнорировали. Долго бродили мы беспризорно по двору. Заглянули в дверь узкого освещенного здания — оно оказалось столовой. Взобрались на высокое крыльцо главного дома и здесь, наконец, встретили агронома, заместителя председателя коммуны. Сам председатель был в отлучке. Заместитель чувствовал себя хозяином и поэтому, вероятно, обратил на нас внимание и оказал нам гостеприимство.

Агроном ходил по двору босиком, несмотря на ночную свежесть, с непокрытой головой и в расстегнутой косоворотке. Говорил он не длинно, очень веско и положительно, тоном убежденнейшего фанатика. В его голосе, как и в голосе остальных коммунаров, слышались явственно нотки затаенного сожаления и презрения к некоммунарам. Так, вероятно, звучит голос у старых убежденных сектантов, когда им приходится говорить с приверженцами господствующего, по их мнению, еретического, учения. Между нами и коммунарами не было никакой разницы в убеждениях и, как потом выяснилось, почти никаких расхождений во мнениях. Однако, сектантские нотки в голосах коммунаров не затухали и при прощании звучали так же явственно, как и при встрече. Устойчив след многолетней привычки противопоставлять себя окружающей среде.

Мы смыли степную пыль с лица и с рук под холодной и напористой струей артезианского колодца. Нас отвели в столовую коммуны и, несмотря на поздний час, накормили с примитивным деревенским радушием — не-

сложно и обильно. На ночлег нас устроили в спальне для холостых. Молодежь отправили на сеновал и каждому из нас предоставили отдельную кровать.

Холостяцкие постели коммуны своей некультурностью ничем не уступают постелям, на которых мы провели предыдущую ночь в гостинице села Воронцово-Александровского. Разнятся друг от друга они лишь тем, что в сельской гостинице белье на постелях меняется раз в несколько недель, в холостяцкой же спальне коммуны «Маяк» едва ли его когда-нибудь сменяют. А если это и делается, то уже так редко, что по наружному виду белья нельзя составить себе никакого представления о промежутке времени, прошедшем со дня последней смены. Матрацами служат суровые мешки, незаботливо набитые сеном. Они жестки и неудобны. Слишком маленькие подушки, твердые, как будто песком наполненные, всю ночь заваливаются в щель за сеник. В древней Спарте ценили больше комфорт и удобства, чем в степной коммуне. Несмотря на усталость и на городскую привычку сладко поспать под утро, мы встали наравне с коммунарами.

С утра агроном деловито и обстоятельно принялся знакомить нас с устройством и хозяйством коммуны. Не мало раз приходилось ему давать такого рода урок. Он повел его уверенно и точно, как опытный школьный учитель.

Обход начался с хлебного амбара. Новый урожай был еще не обмолочен, и в каменном здании на полу и на чердаке оставалось лишь немного проплогодней пшеницы. На чердаке амбара было круглое слуховое окно, из которого открывался лучший вид на усадьбу. К окну этому пробрались мы, ступая прямо по поверхности зерна. Ноги утопали в зерне по щиколку. В амбаре стоял густой, пьяный, почти удушливый запах чуть забродившей пшеницы. С трудом высвобождая ноги из сыпучей массы, переливавшейся с сухим шуршанием, я вспоминал слышанный где-то рассказ о каком-то злополучном человеке, оступившемся и

упавшем в открытый глубокий заком с зерном. Он утонул в нем. Агроном что-то поучительно раз'яснял насчет хлебного амбара, его емкости и техники хранения зерна. Я слушал рассеянно — все неотвязно думалось: как мучительно должна была быть смерть несчастного, утонувшего в пшеничном озере.

У слухового окна мы слушали, притихши, волнующий рассказ из истории коммуны.

Коммуна была организована в 1920 году рабочими Незлобинской паровой мельницы, прекратившей работу из-за отсутствия хлеба. Под коммуны были забраны усадьба и земли овцевода Карпушина.

История первых лет типична для подавляющего большинства сельскохозяйственных объединений того времени. Текучесть состава. Сначала в коммуну шли все — и рабочие, и бедняки, и батраки. Шли и крепкие кулачки с своим капиталцем и с крепкой хозяйской думушкой, как бы капиталец этот получше уберечь в революционное лихолетие, а если удастся, то и приумножить за счет неосмотрительности советской власти. Но внутренняя железная логика коммунарской жизни и коммунарского хозяйства не мирилась с присутствием классово-чуждого элемента. В тяжких внутренних неладах и неурядицах, томясь в разладах и склоках, изживала коммуна противоречивую пестроту своего состава. К весне 1921 года из 120 едоков в коммуне остается всего лишь половина. И в последующие годы состав коммуны обновляется несколько раз почти полностью. В настоящее время из старожиллов-основателей осталось всего лишь несколько человек. Пройдет немного времени и о былых горячих и тяжких днях молодые коммунары будут узнавать не от очевидцев и участников, а из устной традиции. Живые и олицетворенные еще сегодня эпизоды революционной борьбы станут народным эпосом.

Быть может, мы, стоя у слухового окна хлебного амбара, были последними слушателями, которым довелось еще послушать рассказ о вооруженной

борьбе коммуны за право на существование, построенный исключительно на сухом захватывающем сообщении одних лишь оголенных, неприкрашенных фактов в том виде, в каком сохранила их память очевидцев и участников.

Весь 1921 год был годом борьбы с белыми и зелеными бандами. Страшна и однообразна повесть о грабежах, налетах, осадах и вылазках. Коммунарам приходилось защищать не только свою коммуну. Крестьяне окрестных сел не раз звали их к себе на помощь против нападавших банд.

Пахать в поле выезжали с винтовкой. Чуть увидит такой землероб на далеком степном горизонте подозрительный дымок или чуждого всадника, тотчас же выпрягает коня и сам превращается в конного разведчика.

Не раз коммунарам доводилось отстреливаться и выдерживать почти правильную осаду. С эпической строгостью и точностью перечислял рассказчик имена коммунаров и коммунарок, павших во время этих схваток.

Особенно ярко был рассказ о налете зеленого атамана Валентина Канаря.

По всему Северному Кавказу широкой и нехорошей славой пользовалось имя жестокого бандита. Его отчаянно смелые и внезапные налеты бывали подчас совершенно неотразимы. В те годы крестьяне мало занимались земледелием. И редко где над степью в урочное время подымался от сжигаемых соломенных скирд розовый отблеск южного сияния. Зато и в покос, и в обмолот, и в пахоту, во все крестьянские календарные сроки без различия ярко стояли в небе зарева от разграбленных и подожженных Канарем хуторов и сел.

К коммуне Канарь подошел с особой бандитской почтительностью. До нападения прислал подметное письмо:

«Здравствуйти дарагия таварищи, мы зеленаи просим вас брости сваих камунестов. Брости слушать ихние краспаречия. Довольно Ани нас сваим краснаречием довели до голода и водят раздетых. А с еми пашли Атцы и Матерья жоны и дети валяюца под забором от голоду. Вы посмагрите дарагие таварищи сами приехавших срасеи

людей как ане сами валяюца в холодных сараях. А камунесты им говорили переезжайте на кавкас. Будут вам хоромы и дома и Все хозяйство Ну где же все это взять как ни с нас, струдавого народа. Посмотрите поймали ли мы хоть буржуя, нет ани все ушли за границу. Дарагие таварищи вы не подумайти, што у нас правят офицерство, нет у нас, если, неправильна зделант афицер то мы тоже расстреливаем как камунестов. А мы идем за народ что угодно народу.

С почтением к Вам

Ваш Таварищ

Валентин Канарь».

Дождавшись, когда председатель и часть коммунаров раз'ехали по неотложным делам, темной ненастной ночью нагрнулся с бандой атаман. Брасплох захватить коммуну ему все же не удалось. Коммунары ждали нападения и были к нему готовы. Пулемет работал исправно.

Из слухового окна хорошо виден двор усадьбы и окружающие его постройки и часть степи. Рассказчик широкими жестами показывал, откуда велось наступление, как были расположены коммунары и где спрятали женщин. Атака началась из-за птичника. Хотя темнота ночи и затрудняла оборону, однако, вначале все шло хорошо, и коммунары успешно отражали напор вдвое более численного противника. Казалось, никакая настойчивость Канаря не одолеет твердого упорства коммунарского пулемета. Осажденные уже были почти уверены, что придется бандиту откатываться ни с чем. Но в это время одна из женщин, пробиравшаяся к амбару, увидела, или это только померещилось ей, из-за стены страшную рожу целящегося в нее бандита. С криком:

— Спасайтесь, погибает! — бросилась она бежать без оглядки.

Ее душераздирающий крик навел панику на осажденных. Большинство побросало винтовки и попрыгало в ночную темноту, ища, где бы укрыться среди построек и хозяйственного инвентаря.

Бандиты одним ударом овладели коммунной. Живо разграбили общий сундук, учинили короткую расправу, снарядили и отправили обоз с награбленным добром и смылись, едва только разнесся по коммуне слух о приближении отряда Красной армии.

То, что видно сейчас с чердака хлебного амбара, ничем не напоминает былых кровавых и огненных дней. Усадьбин двор обнесен с трех сторон каменными одноэтажными амбарного типа строениями. В одном из них, в том, что стоит в ряд с хлебным амбаром, прорезаны небольшие окна и организована общественная столовая. Главный жилой дом деревянный. С той стороны, где нет строений, усадьба ограждена от степи кирпичной решетчатой оградой. Залегши на нее, хорошо было отстреливаться от напавших со стороны степи бандитов. В квадратные отверстия между кирпичами удобно просовывались ружейные стволы.

Двор между строениями и кирпичной стеной занят артезианским колодцем и большим сквером. Сквер разбили сами коммунары. Он еще очень молод. Неокрепшие деревца насажены аллеями, между ними разбиты газоны и клумбы. Работа слегка неряшливая, и новенький сквер имеет уже несколько залущенный и затоптанный вид. Люди, очевидно, не привыкли еще к этой недавней своей потребности, не сжились с ней.

Суровы и строги нравы коммуны. Суров ее быт, и немалой строгости требует ее напряженное хозяйство. Экономическая база коммуны — это старое, типичное для всего края, экстенсивное степное, пшенично-зерновое полеводство. Поля коммуны, как и крестьянские поля, в полной мере подвержены всем бичам и невгодам этой страны. Наравне с крестьянами приходится коммунарам страшиться суховея, засухи, сухого тумана, мглы и черной бури. С трудом и медленно поворачивают они свое земледелие на новые рельсы. Вводят многополье, правильный севооборот, пропащные культуры и, главное, основное — чистосортные, наиболее засухоустойчивые семена всех культур, в первую очередь пшеницы. Уже более

половины посевной площади занято чистосортными посевами. Развивают понемногу травосеяние и всеми силами налегают на животноводство. Успехи в этом направлении значительны. Валовой доход от полеводства за прошлый год был равен 23.974 рублям, животноводство дало 16.820 рублей. Соотношение очень благоприятное для условий Терской степи.

Наиболее доходной животноводственной отраслью в хозяйстве коммуны является свиноводство. Стадо в 221 голову, считая в том числе двух огромных чистопородных хряков и всех розовоносых поросят, принесло за год чистого дохода 1.364 рубля 50 копеек. С особой гордостью, с уверенным сознанием значительности достигнутых результатов показывали нам коммунары свой обширный каменный свинарник, расположенный на в'езде в усадьбу со стороны озера. Свинарник чист и светел. Оборудован с полным свинячьим комфортом.

На широкую ногу поставлен птичник. Более тысячи голов всякой птицы клюет зерно, несет яйца и пронзительно голосит на птичьем дворе. Однако, с птицей год вышел неудачным. Грачи занесли из соседних деревень эпидемию, и птичий мор погубил около 800 штук племенной птицы.

Убыточным оказался и сыроваренный завод. Недостаточно строг был контроль над сливаемым молоком, часто зря гоняли автомобиль-грузовичок, нерационально использовали рабочую силу.

В степи за пределами усадьбы показали нам предприятие, редкое в этих краях. Кирпичный заводик, на котором изготовляли настоящие глиняные обожженные кирпичи вместо обычно употребляемых в степи больших саманных кирпичей из смеси соломы, навоза и глины, высушенных прямо на солнце. Кирпичный заводик и затаенная любовь, с которой ходили вокруг него коммунары, казались залогом того, что коммуна не остановится в своем росте и развитии. Будет дальше шириться, строиться и развиваться.

За заводом с высоты небольшого холма рассматривали мы и оценивали овечье стадо коммуны. Коммунары ме-

чтали о широком, привольном и прибыльном степном овцеводстве. Постепенно, с трудом, но с упрямой выдержкой и настойчивостью заводили они и множили овечье племя. Всего навсего пока что накопили полтора ста голов. Овечье стадо «Коммунистического Маяка», конечно, не похоже на однородные чистокровные мериносовые отары, виденные нами на концессии Круппа. Овцы коммуны разношерстны, разнородны, и пестрым небольшим пятном расплзались по степной траве между холмом и озером, похожие издали на разостланную киргизскую кошму. Тут были и курдючные овцы, и мериносы, и метисы всех степеней.

Подлинной гордостью коммуны, тем, что сразу решительно и принципиально отличает ее от деревенского и хуторского крестьянского хозяйства, является ее машинный сарай и машинный инвентарь. Четыре трактора, плуги, культиваторы, сеялки, конные грабли, сенокосилка, веялки, сортировки, триеры и шесть уборочных машин составляют парк, который не стыдно поставить рядом с машинными парками немецких концессий, принимая во внимание различные размеры хозяйства. По однотипности, тщательности подбора и заботливости содержания он во всяком случае стоит далеко впереди дорогой и пестрой коллекции машин у Круппа.

Уход за машинами отличается той тщательностью и любовной педантичностью, на которые способна только рука верующего фанатика. Коммунары как язычники поклоняются машине. Они верят в машинную культуру и машинное обновление мира тверже и крепче, чем их предки верили когда-либо в религию. Они знают не из книжек, а из личного опыта, что машина в руках трудящихся—это коммунизм.

На семистах гектарах степной земли «Коммунистический Маяк» сумел применить все методы ведения крупного культурного сельского хозяйства и усвоить себе все его преимущества. В результате хозяйство, заложенное в дыму и в огне революции рабочими Незлобинской мельницы, упрочилось и укрепилось. Достигло солидного баланса в сто тысяч рублей и весьма значи-

тельной при таком балансе чистой прибыли за минувший год в 12.633 руб. 67 копеек.

В борьбе за правильное, расчетливое и продуманное ведение хозяйства коммунары усвоили себе суховатый и решительный деловой тон. Они являются категорическими противниками всякого рода необоснованных опытов и предпринимательского задора. Они продвигаются вперед шаг за шагом. Непокорлемимо верят в достижение конечной цели. Торопливость чужда их природе, а рисковать они не хотят ничем.

С удивлением, качая головами, слушали они наш рассказ о том, что в концессионных питомниках в Сальской степи пытаются разводить персики и абрикосы. Они не одобряли немцев, выписывающих на Кубань из Германии чистокровных рысаков и патентованные, непригодные для кубанских дорог экипажи.

И наши предложения не имели у них никакого успеха. С нескрываемой иронией выслушали они наши горячие речи о кудряше, об использовании его волокна и о всех грандиозных и заманчивых, вытекающих отсюда, перспективах. Когда мы замолкли, коммунары как ни в чем не бывало заговорили о пшеничных сортах—о белотурке, альбидуме, земке и кооператорке.

— А как же вы насчет льна-кудряша?—спросили мы, озадаченные.

Коммунары отвечали, что они продвигаются вперед медленным шагом, считают вредной торопливость в хозяйстве, однако, они не располагают временем настолько свободным, чтобы тратить его на пустые разговоры.

Пропагандист не должен быть обидчив. Мы не обиделись на грубоватую эту колкость и продолжили настаивать на своем. Напрасно. Не стали коммунары разговаривать о льне.

Разъяснив нам толково и обстоятельно крепкие основы тяжелого своего бытия, показав в натуре материал-

ную его оболочку—столовую, ясли, драмкружок, школу и пр.—коммунары снарядили нас для дальнейшей поездки в степь.

Тут выяснилось, что и суровым непреклонным коммунарам свойственны человеческие слабости, что и они не прочь иногда выйти из рамок хозяйственно необходимого и позволить себе некоторую роскошь. Зря они осуждали немцев за кровных рысаков. И у коммунаров слабым местом оказался их легковой выезд. Должно быть, степь в этом виновата.

В высокую, легкую на ходу тачанку запрягли пару полукровных трехлеток. Справедливость требует все-таки сказать, что рослые гнедые полукровки в тачанке бесконечно больше подходят к степной обстановке, чем немецкие рысаки в патентованном экипаже. Там—культурная роскошь, которая настолько превосходит уровень окружающей обстановки, что роскошью этой почти нельзя пользоваться. Здесь наоборот. Тачанка и полукровные трехлетки—это, если и роскошь, то все же имеющая корни и обоснование в окружающем. Это—высшая ступень того, до чего к настоящему времени можно было довести степную культуру. В них нет никаких противоречий и никаких невязок с ней.

Добрые лошадки крупной рысью взяли с места и так, не сдавая, унесли нас верст за 15 в степь по волнообразной ее поверхности, то спускаясь крутыми подъемами в долину реки Подкумка, то вновь по изрезанным обрывам подымаясь в степь.

Слева вдалеке пробелели строения бывшего монастыря. Степь под легким ветром хорохорилась голая, обстриженная после уборки урожая. Остались в ней лишь полынь да чернобыльник. Над жнивьем кружился черный коршун. На телеграфной проволоке, бегущей через степь, сидела задумчиво хищная птица лунь.

10. ПИСЬМА ИЗ ЯПОНИИ

(От нашего корреспондента)

Л. Гамильтон

I. В борьбе с «опасными мыслями»

Япония переживает сейчас еще небывалую по широте и интенсивности волну репрессий. Правительство открыло крестовый поход против так называемых «опасных мыслей», которыми год от году все больше заражаются широкие массы японских рабочих, крестьян и интеллигентов. Тут нет ничего удивительного. Реакция тоже имеет свою логику: кабинет Танаки, выступивший на внешнем фронте открытым душителем национальной свободы Китая, не мог не выступить столь же откровенным душителем начал политической свободы и в своей собственной стране. И вот в результате целая полоса жесточайших преследований против всего, что хотя бы в самой отдаленной степени напоминает коммунизм, социализм, подчас даже самый обыкновенный буржуазный либерализм...

Начало походу было положено в марте—апреле текущего года, когда по хорошо известному рецепту полицией был открыт страшный «коммунистический заговор» и в разных частях Японии арестовано до 1.000 человек. Часть из арестованных впоследствии была выпущена, но несколько сот продолжают сидеть до сих пор в ожидании «сенсационных» массовых процессов. Одновременно была закрыта «левая» пролетарская партия Родо-Номинто и «левые» профсоюзы, объединяющиеся в федерацию «Хиогикай» (компартия и раньше была нелегальной).

Далее началась «чистка» высших школ от «радикальных элементов». Японское студенчество, в отличие от студенчества большинства европейских стран, вербует в значительной своей части из мелкобуржуазных и крестьянских слоев и обнаруживает легкую восприимчивость к передовым идеям нашей эпохи. Этому в немалой степени способствует и наблюдающееся сейчас в Японии перепроизводство интеллигенции со всеми вытекающими

отсюда последствиями. Неудивительно, что правительство в своей бешеной борьбе с «опасными мыслями» обрушилось бичами и скорпионами и на учащуюся молодежь. Среди той тысячи арестованных, о которых я упоминал выше, были не только рабочие, но также и многие сотни студентов. Правительство этим не удовлетворилось. Во всех японских университетах под разными наименованиями существуют кружки и общества для изучения экономических и социальных вопросов. Полиция давно уже считала эти организации главными очагами «опасных мыслей», чуть ли не грозными штабами «коммунистической революции». Особым приказом министра народного просвещения Р. Мизуно все названные кружки и общества были распущены. При этом дело не обошлось без курьезов, бросающих яркую полосу света на внутреннее положение Японии наших дней. В процессе ликвидации «Общества изучения социальных вопросов» в г. Сендай выяснилось, что главными вдохновителями его были... сын министра народного просвещения Мизуно и сын министра двора Икки. Картина, невольно вызывающая в памяти эпоху народничества в России!

За студентами пришла очередь профессоров. Среди последних тоже имеется значительное количество «радикалов», представляющих всю гамму политических цветов, от умеренного либерализма до довольно крайних течений марксистской идеологии. Естественно, что подавляющее большинство таких «радикалов» встречается на факультетах гуманитарных наук (социальных, юридических, литературных). И вот внезапно на них открылись суровые гонения. Были составлены «черные списки» неугодных профессоров и приват-доцентов, части из них было предложено самим подать в отставку, остальных попросту уволили под давлением министерства просвещения. Особенно пострадали университеты в Токио, Киото и Фукуоке.

Однако, весенние репрессии были только цветочками. За ними, ближе к осени, стали появляться ягоды. Правительство решило действовать по двум линиям—по линии министерства внутренних дел и по линии министерства просвещения.

По линии министерства внутренних дел началось лихорадочное укрепление позиций жандармерии и полиции. Численность той и другой была значительно увеличена, при чем правительство открыло особое бюро для руководства борьбой с «опасными мыслями», так сказать, в «национальном» масштабе. Борьба эта должна была вестись по последнему слову техники,—естественно, что для ознакомления с максимальными достижениями в данной области специальные люди были посланы во все крупнейшие центры Европы и Америки. Кроме того, приступлено к созданию постоянной сети шпионажа за границей для выслеживания путей проникновения «опасных» элементов в Японию. В Токио же формируется сейчас достаточный кадр полицейских агентов, на обязанности которых лежит изучать «опасные» доктрины, особенно коммунизм, по первоисточникам и быть постоянно в курсе всех деталей работы Третьего Интернационала и других революционных организаций. Не ограничиваясь перечисленными мерами, носящими по преимуществу «профилактический» характер, правительство решило также усилить и «карательную десницу». В результате был издан специальный закон о «сохранении мира» в стране, грозящий смертной казнью всякому участнику или пособнику организации, ставящей своей целью изменение основ существующего государственного или общественного порядка. До таких геркулесовых столпов до сих пор не доходило, кажется, еще ни одно буржуазное правительство!

По линии министерства просвещения было проявлено не меньше энергии. 17 апреля министр просвещения Мизуно издал специальную инструкцию губернаторам провинций и главам высших школ, в которой он,

после горьких сетований по поводу угрожающего роста «радикальных идей» по окончании мировой войны, следующим образом характеризует задачи своего ведомства:

«Изучение наук, искусств и морали в высшей или низшей школе, в учебном заведении или вне его должно иметь одну цель — прославление нашего национального характера, процветание и славу нашей страны».

Мизуно не остановился только на словах. Он приступил также и к весьма решительным действиям. Преподавание английского языка в японских школах сокращается (авось, меньше «опасных мыслей» будет проникать из-за границы). Изучение социальных наук в университетах суживается и ставится под самый бдительный контроль властей. Вводится новая кафедра, с большим количеством недельных часов,—кафедра буддизма, с обращением особенного внимания на буддийскую мораль. Вся программа высшего образования перестраивается с таким расчетом, чтобы воспитывать в студенчестве максимальную силу непроницаемости для «опасных мыслей»...

А поздней осенью пришла коронация, и правительство еще раз и притом в небывало грандиозных масштабах решило дать битву «красному призраку». В целях предупреждения каких-либо «выступлений» в столь деликатный для господствующих классов момент полиция арестовала на все время коронационных торжеств свыше 5.000 «подозрительных». Так как в тюрьмах для них места не нашлось, то были выстроены специальные бараки, где «подозрительные» должны коротать время нелепым бездействием. В дополнение к обычным полицейским силам, которые в Японии более чем достаточны, на время коронации были специально мобилизованы еще 30.000 человек из числа наиболее «надежных» элементов для несения обязанностей по «охране мира и порядков». Своры агентов тайной полиции наводнили города и села районов, где должно было происходить торжество. Вся страна приняла вид почти военного лагеря, с напряжением ожидающего удара с стороны какого-то грозного врага..

Да, правительство Танаки объявило крестовый поход против «опасных мыслей». Куда он приведет? На этот вопрос ответит будущее. Пока же можно только сказать, что история уже не раз видала такие походы, и не раз уже показывала, что из них, в конце концов, получается.

II. Есть ли перенаселение в Японии?

Да, есть ли?

Послушать японских журналистов, политиков, экономистов, — перенаселение в стране огромное и с каждым днем принимает все более грозные размеры. В качестве доказательства они обычно проводят целый ряд цифр и фактов. Население Японии за 1872—1926 гг. увеличилось с 33 до 63 млн., т.е. на 91 проц. Рождаемость в стране высокая и все возрастающая: в 1871—80 гг. она составляла 25,1, а в 1921—25 гг. уже 34,5 на тысячу. Так как смертность одновременно обнаружила сравнительно мало колебаний (1871—80 гг. 19,6, 1921—25 гг.—21,9), то ежегодный прирост поднялся с 5,5 до 12,7 на тысячу. Конкретно это означает, что в послевоенные годы население Японии увеличивается в среднем на 700—800 тыс. в год. Как результат этого стремительного роста населения, Япония с 1922 г. уже не в состоянии довольствоваться собственными продовольственными ресурсами, а вынуждена ввозить все увеличивающееся количество пищевых продуктов, в особенности риса. В то же время серьезнее прежнего ставится вопрос об эмиграции, как о средстве разрежения слишком густого населения страны.

Насколько обоснованы все эти жалобы и аргументы?

Перенаселение, вообще говоря, понятие очень условное и трудно поддающееся точному определению. Не без основания можно утверждать, что в сущности каждая капиталистическая страна перенаселена. Иначе, как объяснить наличие в ней явной и скрытой безработицы, низкой заработной платы рабочих, нищеты больших кругов крестьянства, эмиграции и т. д. Ко-

нечно, в этом смысле перенаселена и современная Япония.

Однако, когда представители японской буржуазии сейчас говорят и пишут о перенаселении страны, они имеют в виду нечто совсем иное. Они хотят сказать, что в рамках капиталистического строя, где постоянная резервная армия и полуголодное существование масс являются нормой, Япония имеет слишком много избыточного населения, пропорционально гораздо больше, чем другие державы. Верно ли это?

Попробуем оценить критически приведенные выше аргументы.

Что Япония—густонаселенная страна, не подлежит сомнению; однако, в этом отношении она не представляет ничего слишком исключительного. По переписи 1925 г. в Японии приходится 157 чел. на 1 кв. клм., в то время как в Бельгии эта цифра составляет 250, в Голландии—217, в Англии—189, в Германии—132, в Италии—131 и т. д. Так же несомненно, что прирост населения в Японии (12,7 на 1.000) высок, значительно выше, чем во Франции (2,0), Англии (7,7) и Германии (8,8), но он довольно близко подходит к приросту в Соед. Штатах (10,7) и Италии (12,2) и существенно уступает приросту в Канаде (14,0), Австралии (14,2), Голландии (15,2), Аргентине (18,1), СССР (20,0). Япония и здесь не дает рекордных цифр. Очевидно, в смысле количества жителей и темпа их увеличения островная империя находится не в худшем положении, чем целый ряд других больших и малых государств.

Далее, проблема питания. Вообще говоря, факт ввоза больших количеств продовольствия из-за границы сам по себе еще не является безусловным доказательством перенаселения. Лишь бы было чем за это продовольствие платить, т. е. лишь бы экспортные возможности страны были благоприятны. Англия в предвоенный период жила, по крайней мере, на 60 проц. чужим продовольствием, и, однако, по капиталистическим масштабам, являлась

страной чрезвычайного процветания, не знавшей сколько-нибудь серьезной проблемы перенаселения. Недостаточно доказательны поэтому и японские аргументы от продовольствия. Но все-таки, как обстоит дело с продовольственным положением страны?

Японский пищевой бюджет построен весьма своеобразно. Он состоит на 90 проц. из хлебных злаков (рис, пшеница, овес, рожь, ячмень, при чем на долю риса падает 64 проц. всего бюджета) и на 10 проц.—из рыбы, овощей, растительных масел, сахара и т. д. Мясо почти не употребляется (в среднем приходится 1 кило в год на человека).

С хлебными злаками дело обстоит так. Из 15,5 млн. тонн, потребляемых Японией ежегодно, 11,1 млн. составляет рис и 4,4 млн.—все прочие виды хлебов. Много ли Япония ввозит их из-за границы? Рису—500 тыс. тонн, т. е. 5 проц., прочих хлебных злаков—600 тыс. тонн, т. е. 14 проц., вместе—1,1 млн. тонн, или 7,6 проц. всего количества хлебных злаков разного рода, потребляемых в стране. Все остальное дает сама островная империя, включая сюда ее колонии—Корею и Формозу.

Что касается рыбы, овощей, масел, мяса и пр., то все это почти исключительно домашнего происхождения. В итоге можно с полным правом утверждать, что современная Япония, по крайней мере, на 95 проц. обеспечена собственным продовольствием. Много ли найдется в мире стран, которые так мало зависели бы от заграницы в сфере пищевых продуктов?

Наконец, эмиграция. Как велика она? В предвоенные годы среднее ежегодное число эмигрантов колебалось около 10 тыс. За период 1917—26 гг. оно составляет около 15 тыс. При этом в послевоенную эпоху даже не замечается какой-либо постоянной тенденции к росту. Число эмигрантов сильно скачет по годам (от 11 до 23 тыс.) без всякой видимой закономерности. При 60-миллионном населении страны это совершенно ничтожные цифры! В параллель вспомним, что в предвоенную

эпоху даже в «благополучной» Англии ежегодно число эмигрантов составляло обычно 200—300 тыс. при общем количестве населения 45 млн., а в менее «благополучной» Италии—даже 300—400 тыс. в год при общем числе населения в 35 млн.! В послевоенный период, несмотря на все рогатки для иммигрантов, установленные в Соед. Штатах и некоторых других странах, из Англии и Италии все-таки ежегодно эмигрирует 90—100 тыс. человек!

Насколько слаба японская эмиграция, может свидетельствовать хотя бы тот поразительный факт, что за четверть века фактического хозяйничанья в Манчжурии Япония в состоянии была перебросить туда всего лишь 200 тыс. человек!

Еще замечательнее цифры внутренней колонизации. Вот уже 18 лет, как японское правительство всеми возможными и мыслимыми средствами мобилизует переселение японцев в Корею,—и все-таки до сих пор ему удалось туда перекинуть только 80 тыс. человек! Чрезвычайно медленно и с большим трудом идет также колонизация северного острова Хоккайдо, располагающего еще значительными пространствами свободных земель.

Какой же вывод можно сделать из всех вышеприведенных фактов и цифр?

Только один. Представители японской буржуазии сильно преувеличивают остроту проблемы населения в Японии. Пока (вопрос о более отдаленном будущем мы оставляем в стороне) в видимого перенаселения (конечно, в рамках капиталистических отношений) в стране нет. И шум, дыммаемый сейчас около данной проблемы в Японии, имеет, главным образом, политическую подкладку: внутри и вне страны он должен служить дымовой завесой для прикрытия и для оправдания империалистической экспансии ее господствующих классов.

III. Японский император

Отгремели пушечные салюты, облетели лепестки хризантем на придворных банкетах... Схлынули сотни тысяч

знатных и незнатных гостей из Кплото... Разбросаны, развеяны по ветру десятки миллионов рублей, ассигнованных на редкое торжество...

Коронация молодого императора Хирохито (ему сейчас 27 лет), державшая всю страну в напряжении в течение целого месяца, кончилась. И теперь своевременно и уместно поставить вопрос, что же представляет собой японский император — не Хирохито специально, а японский император вообще, — как политический фактор?

Если заглянуть в текст конституции, то покажется, что права японского императора необычайно велики. Он, в сущности, почти самодержец. Род его объявляется (ст. 1) вечным, а личность (ст. 3) — священной и неприкосновенной. Вся полнота власти в его руках. Он считается верховным главнокомандующим армии и флота (ст. 11). Он самостоятельно объявляет войну, заключает мир, подписывает договоры с другими государствами (ст. 13). Он созывает и распускает парламент (ст. 7). Он назначает и увольняет министров, которые только перед ним ответственны, и он же дает санкцию каждому законодательному акту парламента (ст. 5). В перерыве между сессиями палат (а по японской конституции они заседают лишь 3 месяца в году) он может издавать специальные указы по всем вопросам, включая и финансовые, имеющие силу закона (ст. 8 и 70). А в случае неутверждения парламентом бюджета в силу автоматически вступающего года (ст. 7). Самой собой разумеется, что императору принадлежит право амнистии, право раздачи титулов, чинов и орденов, право объявления всей страны или отдельных частей ее на осадном положении, и т. д. Наконец, цивильный лист в его нынешних размерах (4½ млн. иен) не подлежит утверждению парламента. Куда же дальше?

И однако, если от параграфов конституции обратиться к живой жизни, картина получится совсем иная. Реально японский император играет чрезвычайно скромную политическую роль. Его власть на практике

едва ли превосходит власть английского короля, который, как известно, «царствует, но не управляет».

Как и почему это выходит?

Для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, необходимо сделать маленький экскурс в прошлое Японии.

Официальная легенда утверждает, что нынешняя династия сидит на японском троне непрерывно уже 2½ тысячи лет, и император Хирохито — по порядку 124-й монарх в своем «вечном», никогда не умирающем роде. Не станем спорить с легендой. Для наших целей важно и интересно отметить тот факт, что в течение почти целого тысячелетия (931 — 1868 гг.) власть императора всегда оставалась лишь тенью власти.

Семь веков японского феодализма (931—1603) прошли в непрерывной кровавой борьбе между бесчисленными владетельными князьями, из среды которых то и дело подымались могущественные временщики, носившие титул сначала «регента», а позднее (с 1192 г.) «сегуна» и фактически являвшиеся военными диктаторами, если не всей, то, во всяком случае, значительной части страны. Таковы знаменитые в японской истории «фамилии» Фудзивара, Тайра, Минамото, Жадза, Асикага, в течение ряда столетий державшие в руках реальную власть в государстве. А что делал в это время император? Он сидел в Киото в состоянии полного бессилия и изоляции и «позволял» всем этим «регентам» и «сегунам» править от его имени страной.

Затем декорации изменились. Пришла «эпоха Токугава», тянувшаяся около 2½ веков (1603—1868) и превратившая Японию в сильно централизованное полицейское государство. Реальная власть принадлежала «сегунам» из рода Токугава, устроившим свою столицу в Едо (нынешнее Токио). Феодализм не был уничтожен совсем, но все владетельные князья были приведены к покорности дому Токугава и отчасти превращены в придворных «сегуна» и высших бюрократов. А император? Он попрежнему оставался в

Киото и опять-таки «позволял» от своего имени править страной токугавским военным диктаторам. В этот период положение императора стало особенно унижительным и тяжелым. Ему было запрещено покидать свой дворец. Феодалным князьям под страхом уничтожения всего их рода запрещено видеться с императором. Когда князья из юго-западной Японии отправлялись по делам в Едо, они обязаны были обигать Киото. «Сегун» самовластно вершил все государственные дела и определял «цивильный лист» императора. Этот «цивильный лист» временами был так ничтожен, что двор нередко сидел на сухом хлебе и мерз зимой в неотапленных помещениях.

Невольно встает вопрос: каким образом, при таком положении вещей, императорская династия могла вообще сохраниться? Почему «регенты» и «сегуны» не отправили ее в сорную корзину истории, присвоив себе всю полноту власти не только де-факто, но и де-юре?

Объяснение этого странного факта лежит, повидному, в том обстоятельстве, что на протяжении всего указанного тысячелетия ни один военный диктатор не чувствовал себя действительно полновластным хозяином страны. Всегда шла явная или скрытая борьба между несколькими крупнейшими феодалами. Династия Токугава тоже не удалось целиком ликвидировать владетельных князей. В такой обстановке даже номинальная власть императора играла роль известного политического фактора: тот феодал, на сторону которого становился киотский заговорник, приобретал в глазах широких масс населения ореол известной «легитимности», а вместе с тем и некоторые преимущества перед своими соперниками. Поэтому военные диктаторы не решались покончить в чистую с императорской династией, а предпочитали использовать ее в качестве безвредной ширмы своего господства.

С такими традициями императорская власть перешла в эпоху новой Японии. Изменилось ли существенно ее положение в течение последних 60 лет?

Очень мало. Самый переворот 1868 г., с которого обычно ведут начало пореформенной Японии, был опять-таки ничем иным, как победоносным восстанием более передовых (экономически и политически) южных и юго-западных феодалов, тесно связанных с развившимся к тому времени торговым капиталом, против пережившего себя «токугавского режима», базировавшегося на более отсталых (экономически и политически) феодалах центральной и северной Японии, не имевших за собой поддержки «купеческого сословия». И, как испокон веков было заведено в японской истории, «повстанцы» и на этот раз решили укрепить свои шансы привлечением на свою сторону «киотского узника». Своим официальным лозунгом они сделали «восстановление императорской власти». Вековая традиция торжествовала.

А дальше?

В течение последующих шести десятилетий феодализм в его старых формах был ликвидирован, но до сих пор остались весьма крупные пережитки феодализма. Исчезли владетельные князья, но имеются могущественные семейно-клановые группировки, которые теснейшим образом переплелись с банковским, промышленным и торговым капиталом и которые сейчас де-факто управляют страной. А император? Он попрежнему играет роль ширмы, старинной, красиво разрисованной японской ширмы. Ему воздают почти божеские почести (в том числе и на страницах конституции), но с ним мало считаются в делах государственного управления. Вековая традиция опять торжествует!

В последние 30—35 лет наблюдается весьма любопытная эволюция. Из предыдущего ясно, что в эпоху пореформенной Японии царствующая династия должна была вступить «бедной», почти «нишей». Однако, первый император этого периода — Мейдзи — был человек весьма сообразительный и вполне современный. Из контрибуции в 400 млн. иен, уплаченной Японии Китаем после войны 1894—95 гг., ему удалось получить в свою личную пользу 20 млн. иен. С этого пошло благополучие цар-

ствующей династии. Мейдзи пустил деньги в оборот, и сейчас имущество императорской семьи, включая земли и строения, оценивается примерно в 1 миллиард иен. При этом весьма замечательно, что в качестве акционера она участвует в целом ряде крупнейших капиталистических предприятий страны, таких, как, напр., государственный банк Японии (владеет почти половиной акций), корейский и формозский банки, Южно-Манчжурская жел. дорога, сахарные плантации на Формозе, разработки угля на Хоккайдо, бумажное производство «Фудзи», «Японское почтовое пароходство», то-

кийская «Газовая Компания», «Отель Имперяль» в Токио и т. д. Дивиденды, получаемые с акций, служат весьма удачным дополнением к сравнительно скромному «цивильному листу». На наших глазах происходит, таким образом, процесс органического сращивания «вечной» и «священной» династии, ведущей свое легендарное происхождение от богини солнца Аматерасу, с верхами современной японской буржуазии. Тем легче становится ей играть роль ширмы для политических и экономических махинаций господствующих классов.

Кобе

II. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

«Rule, Britannia» и «свобода морей». — Промак сэра Говарда. — Германия перед лицом комиссии экспертов. — За фашизмом — католицизм. — И все-таки русский рынок...

«Rule, Britannia» и «свобода морей»

«На три тысячи миль океана маячит в облаках колонна адмирала Нельсона, победителя битвы при Трафальгаре» — так писала недавно одна бульварная английская газета. И, откликаясь на эту патетическую фразу, писал в еженедельнике «New Leader» находящийся сейчас в Америке известный английский социалист Брейльсфорд: «Этот памятник олицетворяет наши традиционные притязания на господство над морями: он стоит в самом возвышенном месте города, возвышаясь, как башня, над статуями поэтов, королей и генералов, как напоминание нам самим о нашем прошлом и как молчаливый вызов всякому чужеземцу, который посещает наши берега. Мы, которые не удосужились поставить самый скромный бюст Дарвину, выбрали победителя при Трафальгаре, чтобы господствовать над вашей столицей».

«Владычество над морями, Британия» — таков символ веры того сред-

него англичанина, которого с таким усердием выращивает современная английская школа, для которого издается пресса лорда Ротермира и читаются проповеди англиканскими попами. И вот теперь этот символ веры оказывается под угрозой — за господство над морями начинается прямое соперничество между Англией и Соединенными Штатами. «Было бы бесконечно менее опасно, — пишет тот же Брейльсфорд, — если бы спор шел из-за экономических вопросов — каучука, нефти или расчетов по долгам. Было бы сравнительно легко вскрыть анти-социальные интересы какой-либо ограниченной, хотя бы и могущественной, группировки. Но в могуществе флота заинтересован как будто бы каждый англичанин, и это подводит нас прямо к такому положению, где нет места для компромисса, где во всей своей обнаженности встает вопрос о силе, о мировом господстве».

Конечно, и борьба за господство над морями в такой же степени имеет эко-

номический характер, как и борьба за обладание источниками нефти, но для отравленных ядом буржуазной идеологии широких масс мелкой буржуазии и даже отсталых слоев рабочего класса классовые корни этого соперничества выступают менее ярко, вуализуются завесой из патристических предрассудков, и тем самым опасность вооруженного столкновения между двумя величайшими морскими державами мира становится более грозной.

Об этой опасности предпочитают сейчас — в предвыборный период — молчать консервативные министры Англии. Ибо они больше всего повинны в обострении англо-американского соперничества. И именно по этой причине о ней заговаривают теперь главные соперники консерваторов на предстоящих выборах, деятели британской рабочей партии. Свой — в значительной степени показатель — пацифизм выдвигают они в качестве предвыборной платформы против заносчивого империализма консерваторов. Но этот пацифизм Макдональдов может лишь в слабой степени затормозить развитие того соперничества между английским и американским империализмом, выразителями которого являются Черчилли и Чемберлены, с одной стороны, и Гуверы и Кулиджи — с другой.

Бывший, — а быть может, и будущий, — «рабочий» премьер Англии — Рамзей Макдональд — поместил в американском журнале «The Nation» статью «Англия и Америка», в которой в свойственном ему благочестивом тоне возлагает на бога надежды, что спор между Англией и Америкой будет ликвидирован мирными средствами. Он признает, что «практическая политика как Англии, так и Соединенных Штатов — та самая, которая предшествовала мировой войне и подготовила ее». Но вся беда, по его мнению, состоит в том, что с обеих сторон выступают для разрешения вопросов морских вооружений военспецы, а не дипломаты. Именно этим объясняется, по мнению Макдональда, неудача Женевской конференции 1927 г. об ограничении морских вооружений. Вместо адмиралов, которые выступали на этой конференции, обе

страны должны были бы назначить по 5-6 своих наиболее выдающихся государственных деятелей, которые сумеют извлечь из темной атмосферы взаимных подозрений основные трудности, стоящие в области отношений между Англией и Америкой.

Является ли наивный тон этих заявлений Макдональда дипломатическим маневром или просто отражает неслыханное от всякого пуританизма лицемерие — безразлично. Важно одно, что макдональдовский рецепт менее всего отвечает действительности. Достаточно для этого ознакомиться с заявлениями сенатора Бора при обсуждении вопроса о морских вооружениях в сенате.

Бора пользуется репутацией пацифиста и принадлежит к числу наиболее прогрессивных сенаторов САСШ, если только этот термин применим к американским сенаторам. Он, наверное, был бы участником той конференции, которую проектирует Макдональд. Но именно внесенное им к биллю о крейсерах дополнение о «свободе морей» представляет собой наиболее резкую отповедь английскому канону «Владычеству над морями, Британия».

«Моя идея свободы морей, — заявил Бора, — заключается в праве нейтральных стран перевозить товары так же свободно во время войны, как и во время мира, за исключением перевозки военной контрабанды или случаев, подпадающих под понятие блокады — действительной, а не только объявленной на бумаге».

Эта невинная на первый взгляд формула является как раз такого рода требованием, на которое Англии труднее всего согласиться. Ибо оно выбивает из рук английских империалистов их главное орудие войны. Известно, что победа союзников над германской коалицией была одержана именно благодаря той блокаде, в которой английский флот держал Германию. Английский флот не только не допускал ввоза в Германию предметов военного снаряжения, но и предметов продовольствия и сырья, необходимого для военной промышленности. Эта блокада рас-

спространялась не только на германские порты, но фактически и на все нейтральные страны. Ввоз каких бы то ни было предметов в пограничные с Германией страны допускался лишь в пределах их собственного потребления во избежание дальнейшей переправки в Германию сухим путем. Такое расширение понятия блокады создавало для владычицы морей, Англии, фактическое положение мирового гегемона.

Именно против возможности повторения такого полжения вещей во время будущей войны, — а именно об этой будущей войне только и думают государственные деятели всех капиталистических стран, несмотря на все пакты Келлога, — и направлена формула Бора. «Ни одной нации, — подчеркнул в своей речи Бора, — не может быть позволено иметь в своих руках господство над морями. Соединенные Штаты никогда не согласятся, чтобы их торговля могла зависеть от морского могущества той или иной державы. Если мы не придем к признанию прав нейтральных государств и идеи свободы морей, то я позволю себе предсказать, что в 1931 г. не останется и следа от решений Вашингтонской конференции... Мы будем строить флот не только против сильнейшей державы, но и против всех комбинаций сильнейшего...».

В чем смысл этой неприкрытой угрозы? Соединенные Штаты уже сейчас принимают решение о постройке 15 крейсеров и одной авиоматки к 1931 году — сроку, когда кончится сила действия Вашингтонской Тихоокеанской конференции 1921 г., воспретившей постройку военных судов мощностью свыше 10.000 тонн и поставившей некоторые рамки соперничеству держав в деле морских вооружений. А если к этому времени Англия не согласится на признание принципа «свободы морей», то Соединенные Штаты откажутся от прежней конвенции и начнут строить такой военный флот, который стал бы сильнее не только английского, но и англо-французского или англо-японского флота. Поскольку финансы Англии

не позволяют ей соперничать в этом отношении с Соединенными Штатами, формулу Бора приходится рассматривать, как своего рода длительный — с сроком действия на два года — ультиматум Англии.

В сущности говоря, именно это ультимативное требование «пацифиста» Бора и было тем подводным камнем, с которым столкнулась тройственная конференция 1927 г. об ограничении морских вооружений. Соглашаясь на равенство английского и американского флотов по числу и тоннажу больших крейсеров, Англия требовала свободы для каждой страны строить какое угодно число легких крейсеров. Фактически это означало бы ограничение Америки в деле постройки мощных судов и оставляло бы за Англией ее преобладание в области легких крейсеров. Английская делегация ссылалась при этом на разбросанность ее владений, что требует большого подвижного флота, и на ненужность этого рода судов для Соединенных Штатов. Американская делегация решительно отвергла это требование Англии. Не нужно быть военным специалистом, чтобы понять, что в основе этого разногласия уже тогда лежал вопрос о свободе морей. Ибо большое количество легких крейсеров было нужно Англии не только для «защиты своих разбросанных владений», но и для возможности полностью парализовать снабжение своего противника в будущей войне со стороны нейтральных стран. И именно поэтому Америка и не хотела оставить Англии этого преимущества.

Конференция 1927 г. осталась безрезультатной не только по вине военспецов, как думает — или делает вид, что думает — Макдональд. Вопрос шел о том, согласна ли Англия без боя отказаться от своей претензии на право быть владычицей морей. А вопрос этот такого рода, что полюбовное его разрешение окажется делом не легким не только для адмиралов, но и для «пацифистов» Бора и Макдональда, ибо он отражает основное противоречие английского и американского империализмов.

Промах сэра Говарда

Нам приходилось уже указывать (январская книга «Нового Мира») на общий характер англо-американского соперничества и на ту роль, которую вопросы внешней политики будут играть в предстоящих в этом году выборах в палату общин. И либералы и рабочая партия готовятся использовать недовольство очень широких слоев не только рабочего класса, но и буржуазии, агрессивной политикой Чемберлена, обострившей отношения Англии с Америкой.

Английские консерваторы, учитывая широту той борьбы, которая идет сейчас между Англией и Америкой за мировое господство, несомненно ведут более последовательную политику с точки зрения традиционного английского империализма, чем их соперники из лагеря Макдональда и Ллойд-Джорджа, пытающиеся сочетать английские традиции, от которых они отнюдь не отказываются, с некоторой дозой нечленораздельного пацифизма. Они предвидят неизбежность столкновения английского и американского империализмов и пытаются путем соглашения с Японией и Францией создать достаточно грозный блок против Соединенных Штатов, пока те еще не осуществили своих замыслов, ставящих крест на мировой гегемонии и морском преобладании Англии.

Тем не менее, эта перспектива грядущего столкновения с Америкой и безенного соперничества с ней в вооружениях определенно отпугивает от консервативного правительства миллионные массы избирателей. Консерваторы предпочитают поэтому отмалчиваться на избирательных собраниях от щекотливых вопросов внешней политики и переносить центр тяжести своей выборной агитации на вопросы внутренней политики, хотя и в этом отношении правительству Болдуина нечем похвастаться перед избирателями. Выступивший в качестве застрельщика предвыборной кампании со стороны правительства Винстон Черчилль поспешил сесть на старого конька консерваторов и начал запугивать буржуазных

избирателей ужасами большевизма, который якобы подчинит себе Англию в случае победы рабочей партии.

Однако, попытка отвлечь внимание масс от грозных перспектив англо-американского соперничества натолкнулась на неожиданную неприятность. Английский посол в Вашингтоне Говард, желая несколько рассеять предубеждение Америки против английской политики союза с Францией и Японией, сделал туманное заявление о том, что английское правительство намерено предложить Соединенным Штатам созыв новой конференции по ограничению морских вооружений. Заявление это хотя и было выгодно правительству Болдуина с точки зрения избирательной кампании, — до некоторой степени вырывало у либералов и рабочей партии возможность нападок на воинственный характер политики Чемберлена, — но оказалось совершенно неприемлемым для английского министерства ин. дел, ибо оно несомненно должно было вызвать подозрения со стороны французских союзников, понимающих, что отдельные переговоры Англии с Соединенными Штатами фактически сведут к нулю заключенное в 1928 г. англо-французское военноморское соглашение. В результате министерство ин. дел оказалось вынужденным опубликовать официальное сообщение, в котором вопрос о созыве англо-американской конференции по ограничению морских вооружений признавался находящимся лишь в стадии предварительного обсуждения.

Легко себе представить, какую бурю вызвало это официальное дезавуирование министерством ин. дел мирных заявлений Говарда. Орган рабочей партии «Daily Herald» немедленно откликнулся статьей, в которой официальное сообщение министерства рассматривалось, как лучшее доказательство того, что страна не может ждать сохранения мира от консервативного правительства.

Положение консерваторов на выборах будет несомненно гораздо более трудным, чем на ноябрьских выборах 1924 г. Было бы, однако, затруднительно уже сейчас заниматься предсказаниями об

исходе выборов, тем более, что правительство Болдуина имеет возможность, как и всякое правительство, преподнести избирателям в последний момент какой-нибудь сюрприз, который может повлиять на настроение избирателей. Исход почти всех дополнительных выборов в палату в 1928 г. был неблагоприятным для консерваторов: они потеряли ряд округов в пользу рабочей партии, а в тех округах, которые им удалось отстоять, их большинство стало менее значительным.

Очень вероятной считается возможность образования в будущей палате такого состава, при котором ни консерваторы, ни рабочая партия не будут иметь абсолютного большинства голосов, и решающая роль будет принадлежать нескольким десяткам либеральных депутатов. Либералы заранее это учитывают и уже сейчас намерены извлечь все выгоды из этого положения.

Очень характерно в этом отношении заявление одного из лидеров либеральной партии Герберта Самюэля о том, что либералы не намерены повторять свою политику в парламенте, избранном весной 1924 г., когда они своей поддержкой обеспечили полугодовое существование не имевшего абсолютного большинства правительства рабочей партии. Это заявление либерального лидера имеет, повидимому, целью заставить рабочую партию уже заранее пойти с либералами на соглашение либо о составе будущего кабинета, либо по вопросу о соперничающих кандидатурах на выборах.

Как известно, в Англии не требуется абсолютного большинства на выборах, чтобы быть избранным в парламент: кандидат, получивший относительное большинство голосов, избирается депутатом, — института перебаллотировок Англия не знает. Это очень выгодно для сильных партий — консерваторов и рабочей партии, для либералов же предпочтительнее была бы система перебаллотировок, так как исход последних зависел бы от поддержки либералов. А свою поддержку либералы давали бы лишь при условии уступки им известного числа мандатов в округах,

где их кандидаты собрали порядочное число голосов.

Учитывая это обстоятельство, Герберт Самюэль и выставил лозунг изменения системы выборов. Он указал, что на последних 28 дополнительных выборах 18 депутатов были избраны лишь относительным большинством и, следовательно, не могут претендовать на то, что они представляют волю большинства населения своих округов. Факт этот свидетельствует, по мнению Самюэля, о том, что старая система выборов, соответствовавшая принципу двух конкурирующих между собою партий, в настоящее время, когда на арене избирательной борьбы выступают три партии, отжила своей век. Самюэль предлагал поэтому, чтобы консервативная партия, имеющая большинство и в палате лордов и в палате общин, провела бы еще до новых выборов закон об изменении конституционного избирательного закона в смысле назначения перебаллотировок, если в первом туре ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов.

Не приходится думать, чтобы правительство Болдуина последовало совету Самюэля, но самое предложение либерального лидера и вся его позиция интересны как показатель того, что либералы не прочь на известных условиях — напр., на условии изменения избирательного закона — вступить в будущей палате в блок с консерваторами. Реально, однако, позиция либералов, как и всех других партий, определится лишь после выборов, когда силы партий в будущем парламенте будут точно определены.

Орган левого крыла либеральной партии «Manchester Guardian» высказывается, впрочем, за союз с рабочей партией. В посвященной этому вопросу статье «Либерализм и рабочая партия» в номере газеты от 13 февраля высказывается мысль, что либерализм не может идти на соглашение ни с законными консерваторами, ни с доктринерами социализма. «Тем не менее, — пишет газета, — надо честно признать тот факт, что между боевым прогрессивным либерализмом и умеренными массами рабо-

чей партии, не имеющими ничего общего с крайними формами социализма, существует известная родственная связь». Если вместо слов «умеренными массами» поставить «умеренными лидерами», то либеральная газета совершенно права: господа Макдональды и Томасы, действительно, не имеют ничего общего с социализмом, и практически их почти ничто не разделяет от либерализма. Часть этих лидеров уже открыто говорит о союзе с либералами и включении их в будущий кабинет Макдональда, но большинство предпочитает пока не ставить этого вопроса.

Германия перед лицом комиссии экспертов

Англо-американское соперничество, естественно, находит свое выражение и в работе комиссии экспертов по определению суммы и способов уплаты германских репараций. Общую характеристику репарационной проблемы мы дали уже в февральском номере «Нового Мира». Имеющиеся пока сведения о ходе работ этой комиссии еще недостаточны, чтобы позволить говорить о ее результатах. Но уже первые сообщения, проникшие в печать, несмотря на то, что заседания комиссии ведутся секретным порядком, дают картину политической борьбы Америки, с одной стороны, и Англии и Франции — с другой, за Германию. Если союзники стремятся добиться через комиссию экспертов погашения своей задолженности Соединенным Штатам (и задолженности Франции ее английским «друзьям») и иметь возможность после перевода германских платежей на Америку добиться соглашения с Германией на предмет создания англо-франко-германского блока против Америки, с одной стороны, и СССР — с другой, то точка зрения американской делегации прямо противоположная. Возглавляемая американским экспертом Морганом банковская группа, конечно, материально заинтересована в коммерциализации германских платежей, т. е. в выпуске на американском денежном рынке займа для Германии, который дал бы ей возможность «рассчитаться» с союзни-

ками, а последним — с Америкой, но они хотят обусловить свое согласие на предлагаемую союзниками сделку (а без согласия Morgana она неосуществима) уступками со стороны Англии в вопросе о морской гегемонии и созданием такого статус кво, при котором Германия находилась бы в политической и экономической зависимости от Америки и поддерживала бы ее международную политику.

О том, как разойдется в комиссии экспертов весь этот клубок противоречий, придется говорить не раньше, чем через месяц, а сейчас интересно остановиться на характеристике внутреннего положения в Германии в этот серьезный момент ее существования как международной единицы.

Среди общественных кругов Германии сейчас сталкиваются две точки зрения по вопросу о ее международной ориентации. Большинство германской буржуазии с недоверием относится ко всяким авансам со стороны союзников (тем более, что авансы эти большой ценности не представляют) и предпочитают, не слишком обостряя своих отношений с Англией и Францией, ориентироваться на завоевание имеющего огромное будущее советского рынка при поддержке и сотрудничестве американского капитала.

Но имеются и противники этой точки зрения. В нашей ежедневной печати уже отмечались статьи известного представителя рейнской тяжелой индустрии Рехберга о необходимости экономического соглашения между Германией и Францией на предмет создания европейского континентального политико-экономического блока, к которому впоследствии можно было бы привлечь и Англию. Эту точку зрения поддерживает и газета «Bergwerkszeitung», орган германской тяжелой индустрии.

Рехберг и «Bergwerkszeitung» отражают интересы той группы представителей тяжелой индустрии рейнских провинций, которая и до войны была тесно связана экономическими узами с Францией и которая особо остро воспринимает оторванность от французского рынка после перехода к Франции Эльзаса и Лотарингии. Для них пер-

спектива скорейшей эвакуации союзными войсками Рейнской Вестфалии является вопросом первостепенной важности, ибо эвакуация устраняет одно из серьезнейших политических препятствий к экономическому сближению между Францией и Германией. Эта материальная заинтересованность господ Рехбергов в эвакуации рейнских провинций заслоняет у них и всякие соображения «патриотического» характера и более важную для Германии проблему экономического продвижения на восток.

Но не только рейнские заводчики пытаются направить германскую политику в сторону западной ориентации. Ту же тягу на запад обнаруживает и довольно значительная часть политиков из с.-д. лагеря. Их «западничество» объясняется, как нам приходилось уже указывать, той борьбой, которую с.-д. ведут против коммунистической партии за идейное влияние на Германский пролетариат. С их точки зрения, ставка на СССР влечет за собой невольное признание политических и экономических успехов коммунистов Советского Союза, а это, в свою очередь, повышает среди рабочих и престиж германской компартии.

Однако, этот западнический курс господ социал-демократы избегали до последнего времени проявлять в вполне открытой форме и ограничивались злобными выпадами против СССР. Тем любопытнее появление в январском номере с.-д. журнала «*Sozialistische Monatshefte*» статьи Людвиг Кесселя, в которой последний уже прямо ставит вопрос о необходимости политического соглашения с Францией. «Жизненный интерес Германии, — пишет Людвиг Кессель, — требует, чтобы Вилгельмштрассе (германское министерство ин. дел) взяло решительный курс на сближение и установление *modus vivendi* с континентальной Европой, где находятся корни нашего экономического процветания».

В этой цитате надо обратить внимание на слово «континентальной», ибо Кессель ориентируется именно на сближение с Францией в противовес стремлению всех германских министров ин.

дел и Штреземана в частности найти точки соприкосновения с Англией. Политика эта, по мнению Кесселя, потерпела крах: «В вопросе о разоружении и воссоединении с Австрией Германия имела против себя всю Европу; а в вопросе репарационном она не имеет на своей стороне ни Европу, ни Америку».

Идея Кесселя состоит в том, чтобы создать политическую и экономическую коалицию континентальной Европы против англо-саксонского блока, который, по мнению Кесселя, создастся рано или поздно в результате компромисса между Англией и Америкой. Мы не станем останавливаться на выдвигаемых Кесселем соображениях в защиту его точки зрения, ибо они носят совершенно отвлеченный, «теоретический» характер. Как он и сам признает, в настоящее время руководители французской внешней политики — правильно или неправильно — ценят конкретные выгоды от соглашения с Англией гораздо выше проблематических выгод от сближения с Германией. Как указал один из бывших французских министров Кольра в газете «*Gaulois*», французы предпочитают чувствовать себя в безопасности от германского военного реванша, чем гнаться за экономическими выгодами от сближения с Германией, если это сближение ставит под угрозу версальские завоевания.

Кессель может сколько угодно оспаривать целесообразность этого антигерманского курса внешней политики Франции, но факт остается фактом: большинство французской буржуазии в настоящий момент еще слишком находится под впечатлением двух войн с Германией, чтобы ради Германии рвать с Англией, какие бы экономические выводы это ей ни сулило. Даже заинтересованные в экономическом сближении с Германией круги французской буржуазии (их точку зрения отражает де-Монзи) предпочитают добиваться того или иного экономического соглашения с Германией лишь в обстановке англо-французского союза и политического давления на Германию. Строить германскую политику в настоящий момент на политическом соглашении с Францией и всей конти-

нентальной Европой против Англии и Америки — это значит заниматься гада-нием на кофейной гуще, и ни Штреземан, ни даже коллега Кесселя по партии Герман Мюллер пойти на это сейчас не могут.

Говоря о внутреннем положении Германии перед лицом комиссии экспертов, нельзя пройти мимо и давно уже тянувшихся переговоров о реорганизации германского кабинета в смысле превращения его из т. наз. «делового кабинета», в котором участники отдельных партий представлены персонально, в подлинное коалиционное правительство, участие в котором означало бы оформленный блок, от социал-демократов до народной партии включительно.

В основе этого стремления к организационному оформлению буржуазно-социал-демократического блока лежит, с одной стороны, желание иметь в Германии к моменту разрешения репарационной проблемы сильное правительство, могущее выступать перед союзниками с должным авторитетом, а с другой — необходимость дать Мюллеру возможность, пользуясь полным доверием буржуазии, лавировать с достаточной ловкостью при разрешении тех ожесточенных экономических боев, в полосу которых Германия сейчас вступила.

Наибольшую трудность при разрешении этой министерской проблемы представляет распределение портфелей между католической партией центра и народной партией. Центр претендует на предоставление ему трех портфелей, в том числе военного министра и министра оккупированных областей (населенных, главным образом, католиками). Народная партия требует, чтобы коалиция была распространена не только на имперское правительство, но и на прусское (где портфели были разделены лишь между с.-д., демократами и центром), при чем в Пруссии они должны получить не менее двух портфелей. Поскольку удовлетворение претензий этих двух партий может идти лишь за счет известного урезывания одной из них, оно натывается на «арифметические» трудности. Но за этой арифметикой стоит и политика:

вновь оживают былые споры между католиками (центром) и сугубо протестантской народной партией, наследницей существовавшей в эпоху Гогенцоллернов партии национал-либералов, ведшей тогда упорную борьбу против католицизма. Это расхождение давало себя чувствовать при прохождении т. наз. школьного закона, где требования центра о расширении конфессиональных школ встретили сопротивление как слева, так и справа — со стороны народной партии.

За фашизмом — католицизм

Это обострение религиозного вопроса в республиканской Германии и стремление католиков расширить сферу своего влияния представляется тем более характерным, что оно происходит в тот момент, когда католицизм во всем мире снова пытается отвоевать потерянные им, — казалось бы, безвозвратно, — позиции одного из могущественнейших факторов политической жизни.

Война 1914—1918 г., которую в союзническом лагере называли «последней» войной и «войной за демократию и культуру», привела на самом деле к новому росту вооружений, к замене буржуазной демократии в ряде стран фашистской диктатурой, а ныне приводит к восстановлению могущества церкви — этого вековечного оплота политической реакции.

Подписанный 12 февраля Латеранский договор между Италией и Ватиканом, восстанавливающий, хотя и в микроскопических размерах, папское государство и конкордат между папой и Италией, восстанавливающий права и привилегии католической церкви в Италии, привлек к себе внимание всех политических кругов Европы. Завязалась даже своеобразная международная полемика по вопросу, кто больше выиграл от Латеранского договора: папа или Муссолини. При чем франко-бельгийская печать, начиная от французского официоза «Temps» и кончая вандервельдовским «Peuple», подчеркивала, что договор этот знаменует капитуляцию папства перед итальянским фашизмом.

Если подходить к этому вопросу с точки зрения внутренней итальянской политики, то надо признать, что сыграли от договора и папа и Муссолини. Два оплота реакции подали друг другу руку для совместного удушения освободительного движения итальянского пролетариата. Черные рубашки получают от черных сутан «божье благословение» на расправу с рабочим классом, черные сутаны получают возможность отравлять сознание рабочих и крестьянских масс, опираясь на поддержку чернорубашечной диктатуры. Стоило ли Муссолини заплатить папе за эту поддержку 700 миллионов лир (в виде возмещения за потерянные 60 лет тому назад папские владения), конечно, виднее самому Муссолини. И если французская печать полагает, что католицизм прогадал, поступив на службу к итальянскому фашизму, то она исходит из воззрений международного характера, а не из анализа внутренней политики итальянского фашизма.

Язвительные замечания «Temps» по адресу папского престола вызваны, конечно, опасением, что огромная масса католических миссионеров на Востоке станет отныне орудием итальянской политики. Это, конечно, менее всего улыбается французским империалистам. Перед мировой войной, когда из трех крупнейших католических государств Италия не имела никаких сношений с Ватиканом, а Австрия не имела колоний, французская буржуазия могла позволить себе роскошь антиклерикальной политики вплоть до воспрепятствования преподавания религии в школах и конфискации имущества монашеских орденов.

Соглашение между Ватиканом и Муссолини — при наличии колониальных устремлений фашистской Италии — в корне меняет дело. Католицизм становится серьезной международной силой, и прежние антиклерикалы меняют фронт. Но еще до Латеранского договора антиклерикализм во Франции стал терять почву. Радикальное министерство Эррио оказалось вынужденным восстановить дипломатические отношения с Ватиканом. В благодар-

ность за это папа отлучает от церкви французскую роялистскую группу «Action Française», ниспосылая тем самым свое «благословение» на буржуазную французскую республику. А папский нунций в Париже восхваляет «мирную» политику Бриана, того самого Бриана, который был некогда автором закона об отделении церкви от государства и изгнании монашеских орденов из Франции.

В конце прошлого года правительство Пуанкаре внесло предложение о частичном возвращении церкви права владеть имуществом и предоставлении французским католическим миссионерам в колониях и странах Востока права открывать свои отделения и представительства во Франции. Предложение это натолкнулось на сопротивление радикалов и привело даже к министерскому кризису, окончившемуся уходом радикальных министров из кабинета Пуанкаре. Но было бы ошибочно думать, что сопротивление радикалов имело принципиальный характер, наоборот, протест против предложения о расширении прав церкви и, в частности, миссионерских обществ был лишь подвернувшимся под руку предлогом для атаки радикалов на Пуанкаре, атаки, вызванной чисто внутренними сдвигами борьбы политических партий во Франции.

Об изменении отношения французской буржуазии к католицизму свидетельствует хотя бы тот факт, что при обсуждении во французской палате вопроса о положении в Эльзасе все буржуазные партии обнаружили склонность использовать влияние католических попов для ослабления симпатий эльзасцев к протестантской Германии. И сам Эррио от имени радикалов считал необходимым заявить, что он против механического распространения на Эльзас антиклерикальных законов, существующих в остальной Франции.

Однако, этот процесс сближения между французской буржуазией и католицизмом в настоящее время еще не завершен, и тем сильнее озлобление французской печати на то, что Муссолини забежал вперед, заключив соглашение, равносильное тесному союзу,

с главой католической церкви. Французской печати вторит и печать английская. Английский либеральный еженедельник «New Statesman» высмеивает удовлетворение папы по поводу создания папского государства и говорит: «Папская независимость, полученная из рук Муссолини, легко может свестись к зависимости папы от Италии... ибо Италия несомненно попытается использовать католическую церковь,— и без того в значительной степени италянизированную,—как орудие своей национальной политики».

Все эти соболезнования союзнической печати по поводу попавшего в итальянский плен католицизма в действительности носят характер напоминаний пале об опасности чисто итальянского курса политики Ватикана. И в то же время они свидетельствуют о том, что «безбожная» республиканская Франция готовится к сближению с престолом «святейшего отца». При чем в основе этого стремления лежат не только стремления международного характера, но и желание буржуазии использовать влияние церкви и по линии внутренней политики: когда дело идет о борьбе с революционным движением пролетариата, нельзя пренебрегать таким опытным и хорошо организованным союзником, как католическое духовенство.

И все-таки русский рынок...

Вооружения идут лихорадочным темпом, милитаристы и пушечные заводчики всех стран потирают руки, фашизм и всевозможные типы военной диктатуры стали нормальным порядком управления в доброй половине европейских государств, поповское кадило выступает на авансцену политической жизни, овеяв духом средневековья «рационализированный» капитализм двадцатого века. Реакция торжествует повсюду, и экс-кайзер Вильгельм, празднуя в изгнании свое семидесятилетие, спрашивает у приглашенных им на праздник «республиканских» генералов, скоро ли «отечество» призовет его на «трон отцов».

И—парадокс истории—именно в настоящий момент торжества реакции во всех капиталистических странах, всюду растет интерес к Советскому Союзу и усиливается стремление к установлению с ним нормальных дипломатических и торговых отношений. Мы не говорим о рабочих—среди них симпатии к героической борьбе рабочих СССР никогда не угасали,—а об их классовых угнетателях—о промышленниках, банкирах и министрах капиталистических государств.

Не проявляя излишнего оптимизма, не принимая желательного за реально существующее, только подводя итоги фактам и регистрируя заявления, исходящие из капиталистических кругов, надо притти к выводу, что в международном положении Советского Союза в последние полгода наблюдается ряд симптомов, свидетельствующих о значительном сдвиге.

Впрочем, предоставим слово передовику посвященного вопросам внешней политики французского еженедельника «Europe Nouvelle» (номер от 9 февраля). Отмечая успешное завершение наших экономических переговоров с Германией и предоставление нам долгосрочных кредитов американской «Дженерал Электрик Компани», автор пишет: «Так становятся все более тесными—с германской стороны официальным путем, а с американской путем посредничества крупных трестов при молчаливом согласии Вашингтонского правительства—экономические узы между Советским Союзом и различными его поставщиками».

Чтобы оценить все значение этого вывода, надо учесть, что он отражает несомненно настроения довольно влиятельных политических и экономических группировок той страны, которая до сих пор менее всего обнаруживала стремление вывести отношения с нами из того тупика, в который они попали с начала 1927 г. И именно отсталость Франции в этом отношении заставляет автора этой редакционной статьи поставить вопрос: «Может ли Франция оставаться бездеятельной при наличии тех новых тенденций, которые становятся все сильнее в других странах?».

И, предвосхищая навязшую в зубах отговорку о царских долгах, автор продолжает: «И следует ли связывать вопрос о торговых отношениях с вопросом о долгах?». Перечислив все те невыгоды, которые терпит Франция от отсутствия у нее определенного экономического статута в СССР, и, противопоставив им те преимущества, которые добились Германия путем заключения с нами торгового договора, автор отвечает: «Ни Германии, ни Соединенным Штатам не приходится иметь дело с защитой таких огромных довоенных интересов в России, как Франции. Но, с другой стороны, очевидно, что отсутствие торгового договора мешает расширению обмена между СССР и Францией. И не пора ли подумать о заключении практического соглашения, не ставя его в зависимость от урегулирования вопроса о долгах, для того, чтобы не приносить верного будущего в жертву прошлому, ликвидация которого остается сомнительной».

В этой цитате характерно желание покончить с традицией выпячивания вопроса о долгах и вплотную подойти к налаживанию экономических отношений с Советским Союзом, отношений, которые сулят Франции «верное будущее». Автор статьи понял, — а он, конечно, выражает не свое личное мнение, — что «русский рынок» (выражение «советский рынок» еще не вошло в обиход даже тех заграничных органов печати, которые уже научились писать СССР вместо «Россия») стал фактом, который приходится оценивать не только с точки зрения выгод сегодняшнего дня, но и в особенности с точки зрения тех перспектив, которые он открывает всем контрагентам Советского Союза. Он понял, что приобретенные Германией по торговому договору с нами права (в области облегчения везды коммерсантов и коммивояжеров, отправки к нам товарных образцов, коммерческих публикаций, охраны фабричных марок и т. д.) важны не только потому, что в результате германский экспорт в СССР уже дает прирост в десятки миллионов рублей, но и потому, что Германия создает себе базу, пользуясь которой, она сумеет

укрепиться на русском рынке, когда размах нашей внешней торговли будет в несколько раз больше, чем в настоящее время. И если тогда французская буржуазия вспомнит об СССР, то она найдет, что ее место уже занято другими.

Мы остановились на статье во французском журнале именно потому, что она отражает растущее понимание значения экономических отношений с СССР в той стране, которая в этом отношении доселе плелась в хвосте других государств. Мы считаем ее показательной и в том смысле, что она свидетельствует о полном крахе той политики по отношению к СССР, началом которой положил Чемберлен, разрывав с нами в мае 1927 г. дипломатические сношения. Ставка Чемберлена на то, чтобы окружить нас кольцом экономической блокады, подорвать всякую возможность нашего хозяйственного развития, поставить нас на колени и затем уже взяться за экономическую «обработку» СССР, как колониальной страны, оказалась битой. Несмотря на все давление Англии, сумма предоставленных нам заграничными фирмами и банками кредитов (и частично гарантированных правительствами и муниципалитетами) в 1927—28 г. значительно возросла по сравнению с предыдущим годом. А совершенно явный интерес, проявляемый к советскому рынку Америкой, интерес, который неизбежно рано или поздно должен привести и к восстановлению дипломатических отношений с нами, окончательно ставит крест на бесмысленной затее английских твердолобых дипломатов.

Крах чемберленовской политики стал ясным для всех и в самой Англии. Предстоящий в марте приезд в СССР английской промышленной делегации привлекает к себе внимание решительно всей английской печати. И то упрямое игнорирование — скорее показное, чем действительное — этого факта, которое проявляет правительство Болдуина, свидетельствует лишь о том, что английские консерваторы попали в тупик, из которого им трудно выбраться. А английская буржуазия де-

лает из этого упорства правительства вывод, который вряд ли будет ему приятен.

Мы указывали выше, что либеральная партия колеблется сейчас в вопросе, с кем идти в будущем парламенте: с рабочей партией или с консерваторами. Но по вопросам внешней политики—в частности по вопросу об отношениях с СССР—у них нет колебаний.

Мы позволим себе закончить настоящий обзор одной выдержкой из любопытной статьи «Макдональд и Чемберлен», помещенной в либеральном еженедельнике «New Statesman»: «Когда мистер Макдональд говорит о том, что надо считаться с Россией как с фактом, то это не значит, что марксизм является для него идеалом. Рассматривать Россию как факт и стремиться извлечь из этого факта пользу для Великобритании, это значит вести не

опасную, а, наоборот, самую здоровую и разумную национальную политику. Если в самом деле Макдональд ищет мира и торговли—лучшего мира и более значительной торговли—с Россией и рассчитывает добиться хорошей сделки с Советами, то мы решительно предпочитаем его нынешнему хозяину Доунинг-Стрит (англ. мин. ин. дел)».

Таков голос английской буржуазии. Советы, марксизм, ленинизм—все это для буржуазии вещи неприятные, но русский рынок—это факт, от которого не отгородиться декламацией Черчилля. Можно ненавидеть большевизм и даже строить против него козни, но торговать с большевиками необходимо, а раз надо торговать, то приходится заключать торговые договоры и вступать в дипломатические сношения. Вот вывод, к которому приходят и в Германии, и в Америке, и в Англии, и во Франции.

Книжное обозрение

1. НИКОЛАЙ БОГДАНОВ «Первая девушка». Бориса Гроссмана.—
2. М. СЛОНИМСКИЙ «Западники». М. Поляковой.—
3. В. КАВЕРИН «Скандалист или вечера на Васильевском острове». С. Пакентрейгера.—
4. ИВАН НОВИКОВ «В гостях у себя». Н. Замошкина.—
5. А. КОЖЕВНИКОВ «Веники». Н. Замошкина.—
6. А. БЕЛОРУКОВ «В непогоду». Бор. Анибала.—
7. Д. ПЕТРОВСКИЙ «Червонное казачество». И. Поступальского.—
8. БАНКИМЧАН-ДРА ЧАТТЕРДЖИ «Саиб пришел». Р. Шор.

Николай Богданов. — «Первая девушка». Романтическая повесть. Изд. «Молодая Гвардия». 1928 г. Стр. 254. Ц. 1 р. 25 к., папка 20 к.

Николай Богданов — писатель молодой. Несколько книжек для «среднего и старшего возраста» — большая часть его продукции. Рецензируемая книга — первое крупное произведение Богданова.

Человеческий материал, который использован в «Первой девушке», — комсомольцы в эпоху «Sturm und Drang'a», в годы гражданской войны. Саня Ермакова, главное действующее лицо повести, первая девушка, вступившая в деревенскую комсомольскую ячейку. Автор проводит Саню через ряд событий, в которых она проявляет себя организатором, заражающим других самоотверженностью. Позже в городе разыгралась трагедия девушки, ложно понявшей идею свободной любви.

И в обрисовке персонажей, и в описании деятельности организации автор избежал штампа. Повествование развивается живо, органично. Автор умеет создавать не только интересную ситуацию, но и находить художественно-правдивый выход из нее. Большое внимание к деталям, придающим описаниям естественность, дополняющим основное, обнаруживает в Богданове

писателя, серьезно относящегося к работе над художественной прозой. Стиль «Первой девушки» вполне соответствует характеру рассказчика Алехина, деревенского комсомольца-романтика.

Богданов не совсем еще свободно владеет языком. Свежие, «свои» образы, обороты речи чередуются с надуманными (последних, впрочем, немного). Временами речь рассказчика излишне корява. Не все персонажи хорошо обрисованы. Так, Богданов вводит четырех Иванов, пространно характеризует каждого из них, но в результате ни один целый Иван в памяти не остается.

Революционно-пролетарская направленность и содержание «Первой девушки» совершенно достаточны для того, чтобы читатель мог сделать вывод о необходимости «повысить цену на человека». Но автор дает «приложение», в котором говорит о судьбе персонажей и излагает свой взгляд на рассказанные Алехиным события. Это послесловие насквозь публицистично, а потому ненужно.

Отмеченные выше недостатки не настолько велики, чтобы сугубо снизить ценность книжки. Отдавая дань половой проблеме, самой модной в современной литературе, Николай Богданов отказывается от «смакования острых

блюд». Злоключения Сани Ермаковой звучат как подлинная трагедия, — трагедия, лишенная, вместе с тем, упадочных настроений.

Среди произведений литературного молодняка, да и не только молодняка, «Первая девушка» выделяется как одно из наиболее талантливых. Если в дальнейшей работе Николая Богданов пойдет по пути наибольшего сопротивления, из него может выработаться значительный писатель. «Первая девушка» позволяет это утверждать.

Борис Гроссман.

М. Слонимский. — «Западники». Соч., т. II. М. Изд. «Зиф». Стр. 143. Ц. 1 р. 30 к.

3-ю часть книги занимает новая повесть Слонимского «Западники». Человеческие фигуры советских граждан за границей даны в плане неглубоких, псевдо-психологических эскизов. Повесть-повествовательные пред'истории их совершенно не оправданы и чересчур развернуты. Основа повести, которую трудно назвать этим именем, так как она, в сущности, совершенно лишена сюжетного стержня, это — путевые заметки русского туриста за границей, с холодноватой добросовестностью отмечающего и красные черепичные крыши, и исключительную чистоту германских деревень, и блестящие костюмы польских уланов, и скопление вещей и людей в Париже, т. е. все то, что полагается отметить в любой записной книжке. Номинальный герой повести Андрей почти не выявлен и является скорей поводом для репортерской передачи обычных бесед советских граждан с иностранцами с национализме, большевизме и т. д.

Из остальных рассказов два — «Начальник станции» и «Сумятица» — были уже напечатаны в предыдущих сборниках рассказов Слонимского (один из них носил название «Зыря»), другие — «Деревянные ноги», «Однофамильцы», «Четвертая ставка» и «Романтик», появляются впервые. В них намечается, хотя и в почти анекдотических очертаниях, фигура центрального героя флегматичного творчества Слонимского — безвольного неудачника («Однофамильцы»), физически искалеченного

(«Деревянные ноги»), с остатками старой морали, в которую он сам не верит, но во имя которой вершит вымученные добрые дела, неумеющего желать ни жизни, ни смерти («Однофамильцы»). Рядом обыватель, маленький хищник с рваческой психологией (Никита Козлов, Васька, Карп Щукин), сумевший устроиться на теплое местечко. Попытка затронуть психологию этих двух отрицательных типов нашего времени лыбопытна, но в рассказах Слонимского далека от серьезного осуществления.

Бытовое течение рассказа у него неожиданно ломается скомканной и произвольной фабулой, незанимательной и ослабляющей общественную значимость вещи. Особенно резко выявлена эта черта в рассказе «Деревянные ноги», где посещение скромным бухгалтером соседки неожиданно заканчивается на двух страницах обретением утерянной невесты, пьяным притоном и убийством. Тяга к произвольной и неожиданной фабуле была проявлена автором еще в романе «Средний проспект» и мелких рассказах раннего периода. На это уже указывала критика. Пора бы Слонимскому от нее избавиться. Психологию своих героев, очень несложную, автор сопровождает подстрочниками и комментариями, что окончательно убивает эмоциональную силу его произведений, и без того бескровных. Рассказы Слонимского неизмеримо слабее его интересного романа «Лавровы» и представляют шаг назад на творческом пути.

М. Полякова.

В. Каверин. — «Скандалист или вечера на Васильевском острове». Изд. «Прибой». 1929. Стр. 297. Ц. 2 р. 25 к.

О некоторых кругах интеллигенции до сих пор не было еще написано такой грустной книжки, какую написал В. Каверин. Правда, грусть вставлена в рамки веселой насмешки и сарказма, но и веселый сарказм книги звучит порой как надгробная эпитафия.

Речь идет об узкой группе ученых, академиков, лингвистов, литераторов. Это — мир призраков, теней, человеческих копий; людей замкнутой культу-

ры, обреченных, но не желающих примириться со своей обреченностью. Одни отщепляются от нее шуткой, другие — цинизмом, третьи — скандалят; впрочем, скандалят почти все бесплодно и бездельно. Наиболее даровитые исходят желчью, ядом, попирают самих себя, «опровергают самих себя». Катастрофическая их судьба, крушение и гибель обнажены В. Кавериным с сострадательной иронией. В сущности, показан крах той особой психологической категории людей, которую можно не узколитературно, а широко окрестить формалистами. Логические состязания, игра ума, как самоцель, — вот основные черты этого психологического типа. Игра эта кое-что давала им в прошлом, но решительно ничего не дает в настоящем. Основные персонажи романа — профессор Ложкин, талантливый скептик Драгоманов, остроумный, находчивый, язвительный журналист Некрылов — даны в процессе саморазоблачения. Все они хотят сохранить декорум независимости или обрести ее вновь. Игру в независимость они продолжают по инерции. Они социально обеспокоены и потому терпят крах, как работники. Дальние потомки «умных ненужностей», они, в лучшем случае, способны на скандал, потому что оскандалилась их психическая конституция, не выдержавшая испытания нового времени.

Об этих скандалах В. Каверин рассказывает с ироническим соболезнованием и не без некоторой прощальной дружеской грусти.

«Лица, пытающиеся усмотреть здесь сокровенный злокозненный умысел, — пишет словами Марка Твена в эпиграфе к роману Каверин, — будут расстреляны по приказанию автора начальником его артиллерии».

В тоне и духе этого эпиграфа написана вся книга. Роль артиллерии в самом романе выполняет новое время. Автор выполняет роль остроумного корреспондента с поля брани, которое он обошел после ожесточенной схватки. Он притворяется, что сожалеет о гибнущих. В этом притворстве и суть его иронии, которая положена как формальный принцип в основу романа. Очевид-

но В. Каверин сам, как художник, прощается в этом романе с искусством как игрой.

С. Пакентрейгер.

Иван Новиков. — «В гостях у себя». М. Изд. «Федерация». 1929 г. Стр. 255. Ц. в папке 2 р.

Как умирает любовь — вот основная и очень невеселая тема последних рассказов. Ив. Новикова. Но не стоит особенно печалиться: изображаемая в книге любовь — усталая, запоздалая любовь ущербных людей, утешающих себя надеждой встретить в наши дни «тургеневских женщин» и верящих в возможность беспечального «путешествия на остров любви» (XVIII-й век!). Тщетные надежды! Поистине — «Хромая любовь» (так называется лучший рассказ в книге).

Как взрослый человек смотрит на шалости детей и, любясь ими, покровительственно к ним относится, так и Ив. Новиков обращается со своими неудачливыми влюбленными героями, интеллигентами средней руки: слегка иронически и добродушно, но все же с тайной завистью к людям, смеющим дерзать... Но хищная жизнь, как известно, пожирает «один за другим все призраки». Болезни, глупая красота женщин, озверелое сладострастие совсем не мечтательных соперников и многое другое — вот «камни», о которые спотыкаются «герои». Комического в них больше, чем трагического, и автор — скептик старшего призыва — иногда не прочь это подчеркнуть.

Совершенно очевидно одно: влюбленные холостяки Ив. Новикова терпят крушение не только потому, что поздно спохватились и успели постареть, но и потому, что они «частники», бескрылые существа, никогда не имевшие вкуса к общественной жизни, не получившие в жизни нужной закалки, грустные и скучные люди. Добродетельные помбухи. У них камни в печени. Они неопытны не только в делах «трижды сладчайшей» любви, но и при всех столкновениях в жизни, где требуется борьба. Солидность их обманчива. Они — сорокалетние молокососы.

Страницы, посвященные чистому лиризму любви, ее полушопотам и благостям, удаются Ив. Новикову. Но иногда особо бархатные модуляции его художественного голоса переходят в «сладчайшие» тона — и тогда становится не по себе. Грубости же и мрачные лики жизни, на которые тоже не скупится писатель, выглядят в его книге как-то неестественно и даже топорно. Не веришь, например, в тяжелую повесть жизни Клавдии Плаксиной, вузовки, отдавшей себя на поругание во имя «красоты» и «торжествующей любви». Подлинно осовременить рассказ о Клавдии («Большое седло») писателю не удалось, хотя он к тому несомненно и стремился. Так что единственная попытка отказаться от своей темы об умирающей любви вышла у писателя наименее убедительной. Старому писателю трудно, повидимому, дается современность.

В этом отношении он более преуспел не в рассказе, а в пьесе «В гостях у себя». Пьеса характеризуется, с одной стороны, острой проблемностью (возвращение на родину эмигранта-инженера в целях завязать искренние трудовые связи с возрождающимся на социалистических началах государством), а с другой стороны, всеми элементами драмы настроения. Ибсен с Чеховым и современная драматургия определили ее стиль, не лишив пьесы самостоятельной ценности в литературном отношении.

Выход писателя за пределы провинциальных тем и настроений в современность следует отметить как положительное явление. Однако, Ив. Новикову на этом пути встретятся большие барьеры, которые он должен будет преодолеть.

Н. Замошкин.

А. Кожевников. — «Веники». Повесть. Изд. «Молодая Гвардия». 1928 г. Стр. 252. Цена в папке 1 р. 50 к.

«А первое место будет веникам, нашим вятским березовым веничкам, от которых пошел Жернаков в гору и нашол мильён капиталу» — таким эпически-традиционным зачином открывает-

ся камско-волжская бывальщина бурлака Архипа о немолые Жернакове и его безрассудной страсти к наживе. Другой бурлак Епешка («собачливый человек» на язык) только одну часть правды сказал о своем хозяине: «от черной совести» пошло-де богатство Жернакова...

Было время, когда на Волге и Каме существовали девственные места для приложения торговой предприимчивости, когда выходил победителем первый тот, кто начинал... с копейки. И вот березовые веники победно хлынули в степные просторы нижней Волги. И пошло... За вениками рогожи, за рогожами сплавной лес на самоплавах, и вслед им — деньги, деньги... «Не бери рабочего кнутом, а бери рублем да вином» — вот чем взял Жернаков, сохранивший мужичий — «в грязи и лохмотьях» — облик и в мильёнах. Капитал в его жизни — «сонная грёза», навождение, бесконечный подъем. Когда-то повстречавшийся прохожий человек — странник — указал ему путь к обогащению. Таков был «указующий перст» судьбы. Когда пришел грозный Октябрь, «крестьянский сын» Жернаков покорно распростился со своим неспокойным могуществом и взялся за соху, найдя в ней предназначенную подругу жизни.

Что это — легенда? Да, много поэтически-легендарного скрыто во всей истории Жернакова. В повести вновь ожили стародавние мотивы греховности богатства и верности земле-матушке. Теплятся в ней потухающие огоньки бывальщины, странствующей в лесах, в отдалении от промышленных центров. Сюда же надо отнести и страдальческий образ Микитюшки Культапого, умершего от тоски по исчезнувшим соловьям (деньги убили соловьев...), и нежную молчаливую Алёнушку, и чаровницу — уездную Клеопатру, на время пленившую сурового Жернакова, и заботу мужика-мельничика об односельчанах, и их совместную вражду с барином Ундрисом, и, наконец, образ рассказчика лодмана Архипа — бескорыстного артиста своей профессии.

Несомненно, А. Кожевников поддался в какой-то мере обаянию, идущему от всего этого мира. Идиллические черты имеются в его повести. Да и трудно было, перенося на бумагу подобный материал, удержаться писателю от искушения. Одна песня «Вейся ты, вейся, капуста» — чего стоит! Материал обязывал художественно полюбить изображаемое. Но будет ошибкой заподозрить талантливого писателя в отсутствии критицизма и необходимого знания главных причин событий. Кожевников видит, понимает и не скрывает, откуда что пошло... Первый ведь веник был продан не без обмана! Жалование бурлакам накидывается тогда, когда начинает буйнить Епешка! Труд бурлаков эксплуатируется своим же «братом» — Жернаковым. «Черная соевь» оскаливает свои зубы. Здесь кончается идиллия.

Своеобразный синкретизм яви и вымысла придает «Веникам» особый колорит художественной истины. Соответственно изображаемому материалу и философия людей, показанных в повести, вполне пассивная: человеку не дано уйти от самого себя... Однако, «все старые истории на революции кончились, все новые с нее зачались» — вот в этой фразе Архипа, да в словах автора: «Ветер моих дум летит в будущее» и начинается новая философия жизни, которой обрывается книга.

«Веники» — оригинальное и обещающее произведение малоизвестного писателя. Чувствуется, что А. Кожевников знает жизнь и ласкает добытый им материал единственно-нужной лаской взыскательного художника, способного ощутить красоту и в бытосании. Повесть оригинальна и по оформлению. В нее вставлены семь новелл-воспоминаний, передаваемых устно Архипом о жизни Жернакова и о самом себе. Композиционно этот «второй» план важнее «первого», т. е. текущей жизни бурлаков-плотовщиков, роль которых в повести сведена к слушанию, репликам и незначительным поступкам. Но и в этой значительности все же есть «аромат», свойственный большинству вставленных новелл. Всё же

бурлаки очерчены довольно скупой, и о них можно кратко сказать так: Ибрагим — человек, который поёт, Петро, — который молчит, Епешка, — который балагурит, и т. д.

События первого, а отчасти и второго плана повести определяются целиком местом и обстоятельствами образа действия — той подвижной сценической площадкой, т. е. плотом, на котором все и происходит. Отсюда самобытность и своеобразная художественная «производственность» повести. Особенно это относится к словарю повести. На плоту не то что на берегу: «и слова другие польются»... «Слова» эти меткие, сухие, как бы просмоленные, — бурлацкие, одним словом.

Бурлацкая жизнь, как известно, не впервые изображается в русской литературе. Но в отличие, например, от Решетникова и Мамина-Сибиряка, А. Кожевниковым не только показана «резвая правда» (слова Тургенева о «Подлиповцах») бурлацкого труда, но и ее художественная правда, которая вполне обходится без сентенций и традиционного «народолюбия». Правда, А. Кожевников недостаточно раскрыл именно тяжесть труда сплавщиков, обратив главное внимание на судьбу мельничика. Контрасты от этого получились несколько сглаженными. В этом и заключается ее главный недостаток, если не придавать особого значения «анархическим» элементам в ее композиции.

Н. Замошкин.

А. Белоруков. — «В непогоду» (повесть-хроника). Изд. «Земля и фабрика». М.—Л. 1928. Стр. 265. Ц. 1 р. 90 к.

«В непогоду» — повесть о двух слепых музыкантах, в годы голода, разрухи и гражданской войны двинувшихся на хлебную Украину на заработки.

Самое примечательное в ней, конечно, то, что написана она автором — слепым с младенческого возраста, который, вместе со своим другом, также лишенным зрения, беззастенчиво пустился в столь длинное, по тем временам, путешествие; побывали на Украине, на Дону, на Кубани, всюду преодо-

левая трудности пути и заработка, иногда непосильные и зрячему.

В центре этой книги — провинциальный украинский городок, где оба они прожили довольно долгое время, играя в кинематографе — один на скрипке, другой на пианино.

Частая смена властей городка, столь характерная для Украины периода гражданской войны, нашла в повести свое, не лишнее интереса, отражение, как и та работа, которую, при установлении советской власти, вел автор, сотрудничая в газете и организуя провинциальных музыкантов в союз.

Несмотря на то, что «В непогоду» написана слепым, познающим мир лишь слухом, осязанием и обонянием, такое «ограниченное» мироощущение в книге не отражается или отражается слабо.

В этом отношении, конечно, больший интерес представляет «Слепой музыкант» Короленко, но Белоруков, взяв на себя скромную роль хронографа, и не задавался, повидимому, целью раскрыть описанное так, как его воспринял бы не человек вообще, а слепой человек.

Тем не менее, на отдельных страницах повести ощущается повышенная нервная и слуховая восприимчивость автора, чувствующего взгляд и чутко улавливающего интонации и акцент собеседника.

Но в центре работ и дней слепых музыкантов стоит труд, не только дающий заработок, но и наполняющий их жизнь, все же замкнутую и обособленную.

Повесть предваряют статья проф. Залкинда «Личность и творчество слепого» и достаточно подробные биографические данные об авторе, откуда видно, между прочим, что в прошлом году исполнилось 25 лет литературной деятельности Белорукова, работавшего, главным образом, в специальных журналах для слепых.

Бор. Анибал.

Д. Петровский. — «Червонное казачество». Изд. «Земля и фабрика». М.—Л. 1928. Стр. 64. Ц. 1 р., перепл. 25 к.

«Вывелось казацкое сословие» в советской поэзии. Умер Хлебников, по-

степенно ликвидировали свои партизанские настроения Асеев и Тихонов. Один Д. Петровский настолько прочно чувствует свою связь с лихим кавалерийским прошлым, что, не раздумывая, выпускает в 1928 г. «Червонное казачество» — цикл стихов о гражданской войне.

Пороком Д. Петровского в большинстве его военных стихов всегда было отсутствие у поэта классовой ориентации, сомнительная выдержанность его сознания, часто подменявшегося неорганизованным, разгульным восхищением «романтикой» военных побойщ. Иными словами, перед некоторыми стихотворениями Д. Петровского мы оставались не без смущения, плохо понимая, кому они адресованы: конникам Буденного или головорезам Шкуро?

Впечатлению от такого монолитного цикла, как «Червонное казачество», конечно, более отрадное. Есть, бесспорно, есть и тут что-либо в роде немотивированного воспеания какого-нибудь «казака», в походе наплодившего целую «деревеньку». Но «Реквием красному Дундичу» (литературно интересный и тем, что здесь удачно сближены русский и сербский языки: «Ясеница с Лугомиром ждуть Ресаву, шум встает над Шумадийскими лесами... постреляли, порубили псы сербина...»), «Переход через брод» («Стой, Стрый, быстрый!—в брод, братва...»), «Бой под Бахмачем» («То под Бахмачем было дело: Десна-речка похолодела. И руины дворца Мазепы под Батуриным, будто дети, приседают от бомбы гула: наступают полки Бэгуна...»), «Перекоп» («Шли кони по льду Сиваша, подковою топча большак...») и некоторые другие вещи принадлежат нам своей исторической определенностью.

Как и следовало ждать, в «Червонном казачестве» Д. Петровский не без грубости мобилизовал свои давние поэтические силы — часть прежних заготовок, иногда и намеренно неряшливые ритмы, лексику военных лет, знание фольклора, украинизмы и т. д.

В заключение все же будет не лишним выразить Д. Петровскому пожелание больше к исчерпанному в «Червон-

ном казачестве» материалу не возвращаться, памятуя, что «Галька», одна из его недавних книг, по сей день убедительно говорит о том, что автор ее имеет все возможности сделать свой кругозор более широким, тематику более активной и свежей.

И. Поступальский.

Банкимчандра Чаттерджи. — «Саиб пришел». Роман. Перевод с бенгальского Т. А. Корвин-Круковской. «Библиотека всемирной литературы». 1928. Стр. 253. Ц. 1 р. 25 к.

Английские ученые часто называют Б. Ч. Чаттерджи «бенгальским Вальтер-Скоттом». В действительности значение его в истории бенгальской литературы несравнимо больше значения Вальтер-Скотта, — Чаттерджи не только создатель бенгальского «реалистического» исторического романа, но и обновитель литературного языка, сумевший сблизить его с живой устной речью, освободить от бремени ученых архаизмов — ненужного балласта санскритских слов.

Правда, в технике исторического романа Б. Ч. Чаттерджи есть характерные элементы, сближающие его поэтику с поэтикой Вальтер-Скотта; но сходство это чисто внешнее, основанное преимущественно на усвоении Чаттерджи некоторых приемов композиции английского исторического романа — введение в историческую фабулу вымышленной любовной интриги, одновременного развития действия в двух планах, широкого использования пейзажа.

Общая установка бенгальского писателя, его концепция изображаемых событий отличаются от мировоззрения английского романиста. Вальтер-Скотт — идеолог консервативной части английской джентри начала XIX в., апологет патриархального поместья; Б. Ч. Чаттерджи — яркий представитель молодой либеральной буржуазии, возникшей в Бенгалии в середине прошлого века. Его взор направлен на будущее, он склонен критически расценивать наследие прошлого, он выступает в защиту либеральных реформ

в области «ословных и семейных отношений». Освободительный оттенок приобретают и националистические настроения у Чаттерджи — сына угнетенной колониальной страны. Все это делает творчество Чаттерджи несравненно более созвучным настроениям нашей современности.

Но, думается, для русского читателя обаяние Чаттерджи будет заключаться не только в элементах реализма, не только в его общем настроении, но и в тех мотивах его романа, которые унаследованы им из богатого прошлого старой бенгальской и санскритской литературы — лирической, дидактической и драматической: в поразительных по красоте лирических описаниях природы, в изысканных сравнениях и метафорах, в тонких психологических зарисовках, в глубоких в своей наивности рассуждениях — во всем том, что Чаттерджи влагает в уста и мысли своих героев и, в особенности, героинь. Интересны и реминисценции эпоса у Чаттерджи — например, блуждания в лесу Шойбалини напоминают аналогичную ситуацию в эпизоде о Нале и Дамаянты.

Перевод в общем очень хорош; нужно бы возразить лишь против некоторых мелочей, — так, непонятного для русского читателя «Налараджу» (стр. 106) следовало бы заменить хорошо известным (по Жуковскому) злосчастным «Налем-царем». Примечания в некоторых случаях можно бы расширить, в особенности там, где, как на стр. 105—106, автор намекает на определенные, хорошо известные каждому бенгальцу мифы, непонятные, разумеется, русскому читателю.

Во внешнем оформлении книги удачно использованы старинные мусульманско-индийские миниатюры.

Р. Шор.

Б. Травн. — «Корабль смерти». Роман. Перев. с немецкого Э. И. Грейнер-Гекк. Изд. «Моск. Рабочий». Серия «Новинки западно-европейской революционной литературы». М.—Л. 1929. Стр. 326. Ц. 1 р. 60 к.

Вы — моряк, ищущий работу, — матрос, кочегар или угольщик. Находясь на

чужбине, вы потеряли все документы. Без них на корабль не попадешь. Консул вашей страны (подразумевается любое государство, кроме СССР) новых не выдает: докажите, что вы действительно наш подданный, что вы не срыгаются от полиции (докажешь ему без гроша в кармане!). Кроме того, возможно, вы—эльзасец или уроженец Познани и, плавая, не позаботились своевременно о переходе во французское или польское подданство. В таком случае, от вас будут отказываться и Германия, и Франция, и Польша, все консулы, каждое «отечество». Вас будут гнать, переправлять из страны в страну: беспаспортный, бродяга. Такому место только на «корабле смерти», куда берут, не считаясь с мнением консулов, всяких отщепенцев.

«Корабль смерти»—помятая коробка, океанский гроб, который может принести паровой компании всего только страховую премию. Он еще приползет несколько раз к берегам восставшего Марокко с огнестрельными «консервами», а затем, как-нибудь ночью,—тихонько пойдет ко дну с большей или меньшей частью матросов.

Книга Травэна интересна прежде всего сведениями о жизни «почетных мертвецов»—команды «корабля смерти». Если вообще матрос современного парохода—рабочий, для которого не существует никакой «морской этики»,—то команда «корабля смерти»—каторжники, брошенные на галеру, в пловучий изношенный средневековый

ад. Трудно поверить, что в наше время возможна и существует такая попытка сверхколониального размаха.

Изображая полусимволический «корабль смерти» и «мертвецов», которым больше некуда податься, Травэн разоблачает хозяев послевоенного капиталистического мира, изрезавших Европу границами, обожествивших участников «великой» войны за борт жизни. Восхищение «этими молодцами-большевиками» переплетается в книге с ненавистью ко всяким эксплуататорам-начальникам, хозяевам, представителям государственной власти. В книге звучит нота горечи, отчаянья, сомнения в том, что положение может быть изменено.

В книге отчетливо выражена психология неорганизованного, измученного, затравленного пролетария, одного из многих, которые после соответствующей обработки делаются великолепными бойцами.

В том, как книжка написана, заметна установка на матросское балагурство. О пароходе автор всегда говорит, как моряк-профессионал, точно о живом существе, заставляя вспомнить о другом профессионале—Джозефе Конраде, давшем непревзойденные по силе отрывки того же характера.

Самый выдающийся дефект перевода—«географического оттенка»: вместо Булони везде настойчиво упоминается Болонья.

Я. Фрид.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ „НОВОГО МИРА“

С апрельской (№ 4) книги „Нового Мира“ начнутся печатанием ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

известного немецкого публициста

ЭГОНА ЭРВИНА КИША

„ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ“

(ПОЛИТИКА, БЫТ, ПРАВЫ и КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКИ)